ISSN 0130–6545

3.1993

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ДЕРЕК УОЛКОТТ
День поминовения

ХУЛИО КОРТАСАР
Рассказы

АЛЬБЕР КАМЮ
Ренегат, или Смятенный дух

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГИДЫ

Феминизм: идеи и образы

INGRES

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ — заместитель главного редактора
Н. Н. СКУРСКАЯ — ответственный секретарь
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заведующий отделом критики и публицистики

Л. А. ЖМЫРЕВ — коммерческий директор

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, М. Н. ВАКСМАХЕР, Е. Ю. ГЕНИЕВА,
В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ,
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. Э. ИВАНОВА,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, А. В. КАРЕЛЬСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ,
А. С. МУЛЯРЧИК, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. Л. САЛГАНИК,
Е. М. СОЛОНОВИЧ, Н. Л. ТРАУБЕРГ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания),
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

3 март 1993

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕРЕК УОЛКОТТ — День поминовения *(Пьеса. Перевод с английского Андрея Сергеева)* 5

ИОСИФ БРОДСКИЙ — «Шум прибоя» (1983) *(Эссе)* . 33

Поэты «новой волны»

РЫШАРД КРЫНИЦКИЙ, АДАМ ЗАГАЕВСКИЙ, ЮЛИАН КОРНХАУЗЕР, СТАНИСЛАВ БАРАНЧАК *(Перевод с польского Владимира Британишского. Составление и предисловие Виктора Ворошильского)* . 35

БОББИ ЭНН МЕЙСОН — Там и здесь *(Роман. Окончание. Перевод с английского М. Д. Литвиновой и М. А. Литвиновой. Послесловие Л. Лазарева)* 46

АЛЬБЕР КАМЮ — Ренегат, или Смятенный дух *(Рассказ. Перевод с французского И. Радченко)* 127

ХУЛИО КОРТАСАР — Рассказы (*Перевод с испанского И. Глущенко*) . 135

Литературное наследие

ХАСАН ДЕХЛЕВИ́ — Газели *(Перевод с фарси Семена Липкина)* . 146

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД: «Феминизм: идеи и образы» 150

СИМОНА ДЕ БОВУАР — Из книги «Второй пол» *(Вступительная глава. Перевод с французского Н. Мавлевич)*. 151

ФЭЙ УЭЛДОН — Лишний! или Месть жены *(Рассказ. Перевод с английского В. Воронина)*. 162

ХЕЛЬКЕ ЗАНДЕР — Три дамы К. рассказывают истории *(Фрагменты книги. Перевод с немецкого Л. Бухова)*. 190

ЭРИКА ДЖОНГ — Стихи *(Перевод с английского А. Шараповой)*. 210

МАРГАРЕТ ЭТВУД, ДЖОН АПДАЙК — Женское Тело *(Два письма. Перевод с английского О. Алякринского)*. 213

НАОМИ ВУЛФ — Миф о красоте. Как представления о красоте используются против женщин *(Главы из книги. Перевод с английского О. Басинской)*. 219

ИРИНА САНДОМИРСКАЯ, БОРИС КУЗЬМИНСКИЙ — Пауза и слово, или Есть ли имя у боли *(Беседа в редакции)*. 236

У книжной витрины 245

Курьер «ИЛ» 248

Авторы этого номера 253

© «Иностранная литература», 1993

На нашей обложке помещены следующие репродукции:
на 1-й и 2-й стр.— ЖАН-ОГЮСТ-ДОМИНИК ЭНГР «Источник» и «Портрет мадемуазель Ривьер»;
на 3-й стр.— АНРИ де ТУЛУЗ-ЛОТРЕК «На диване»;
на 4-й стр.— КОНСТАНС МАРИ ШАРПАНТЬЕ «Мадемуазель Шарлотта дю Валь д'Онь»

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ИЛ»

Впервые на русском языке публикуется несколько лирических рассказов чешского писателя ИВАНА КЛИМЫ, книги которого о жизни Чехословакии после разгрома «пражской весны» долгие годы не издавались на родине, но приобрели широкую известность за рубежом.

ОЛДОС ХАКСЛИ. «Через много лет» — один из шедевров знаменитого английского писателя. Герои этого романа-притчи бьются над решением проблемы долголетия. Однако, как выясняется в финале книги, погоня за бессмертием таит в себе неожиданную и страшную опасность.

Новые переводы лучших песен группы «РОЛЛИНГ СТОУНЗ»

Эссеистика ХОСЕ ОРТЕГИ-И-ГАССЕТА, представляющая новую грань творчества знаменитого испанского философа XX века.

Главы из книги известнейшего в западном мире экономиста, социолога и политолога РАЛЬФА ДАРЕНДОРФА «Современный социальный конфликт».

ДЕРЕК УОЛКОТТ

День поминовения

ПЬЕСА

Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Посвящается Аликс Уолкотт и Рут и Джо Мур

Действующие лица

Альберт Перес Джордан — школьный учитель на пенсии, шестьдесят пять лет.
Мейбл Джордан — его жена, под шестьдесят.
Фредерик Джордан — их сын, за тридцать.
Мистер Баррли — американский турист.
Эстер Хоуп — англичанка, под тридцать.
Аниа Гершель — американка (та же актриса, что Эстер Хоуп).
Мистер Пилгрим — издатель «Бельмонтского горна», за шестьдесят.
Корреспондеит «Бельмонтского горна», лет двадцати, он же ученик и официант.

Действие происходит в наши дни в гостиной дома Джорданов в старой части Бельмонта (пригород Порт-оф-Спейна, Тринидад).

Действие первое

ПРОЛОГ

Предрассветный час. Гостиная в доме Альберта Переса Джордана в Бельмонте. Темное дерево, разноцветные стекла в окне над дверью, в углу кадка с папоротником, кушетка с линялой обивкой в цветочек, торшер с бахромой и большой старомодный письменный стол, за ним восседает Джордан в одном жилете без пиджака и в шлепанцах, руки сложены на животе. Напольные часы бьют четыре раза. На некотором удалении от стола в полутьме Корреспондент с кассетным магнитофоном. Перед Джорданом — маленький микрофон.

Корреспондент. Сегодня День поминовения, мистер Джордан, седьмая годовщина февральской революции, во имя которой погиб ваш сын; завтра на улицах Порт-оф-Спейна будут манифестации, демонстранты с красными знаменами постоят минуту в торжественном молчании перед вашим домом...

Джордан. ...окна которого будут закрыты... Погоди. Ты что, не стер бой часов?

Корреспондент. Часы будут бить еще, мистер Джордан. У нас ведь времени много. Вы готовы?

Джордан. Это словно запуск на мысе Канаверал. Мальчик, я сижу и чувствую себя, как астронавт, только отправляюсь я в путешествие вне времени.

Корреспондент. Я это уже записывал. Щас сотру.

© 1980, by Derek Walcott

Джордан. Никаких «щас сотру»! Сей-час сотру! Мальчик, ты пишешь в газету Эзры Пилгрима, а как ты выговариваешь слова! Все вы, молодежь Тринидада, научились щелкать машинками, а книгу в руки взять не желаете.

Корреспондент. Мистер Пилгрим просил меня показать вам, как устроена эта машинка. Чтобы вы могли включать сами. Нажимаете сюда — запись. Вперед. Назад. Попробуйте.

Джордан. Нет. Единственная машина, которой я доверял, был мой старый велосипед «Рейли». И тот спятил и вдруг околел.

Корреспондент. От чего, мистер Джордан?

Джордан. От бешенства. Одна бешеная сука хотела вцепиться в защепку на брюках и укусила велосипед. Теперь он лежит в сарае, заржавел, как моя латынь. Я готов.

Корреспондент выключает магнитофон. Джордан нервно ходит взад-вперед по комнате.

Я бы все это написал на бумаге, но рыжий осел, твой издатель, не хочет об этом слышать. Говорит, береги глаза. Говорит, ты совсем ослеп и пока не совсем потерял память, я пришлю мальчика с магнитофоном — раз ты не можешь писать, ты надиктуешь. Что надиктую? Он говорит: историю своей жизни. А я говорю: моя жизнь — ничто, Эзра, я всю жизнь жил дураком. А он говорит: ни про чью жизнь нельзя сказать, что она ничто, особенно про твою. А я говорю: я поэт, Эзра, у меня нет способностей к прозе. А он говорит: у старых людей зрение притупляется; так вот, когда твое зрение притупляется, память твоя обостряется, и раз ты не можешь писать прозу, ты, по крайней мере, можешь говорить прозой. И я говорю: это ты взял у Мольера. Ты ведь знаешь, я был учителем. Меня дразнили Джордан Пиджак.

Долгая пауза.

Я был учителем. Одно время я исполнял обязанности директора Бельмонтской средней школы. Меня не утвердили. Я был учителем.

Пауза.

Который учил чему не нужно. *(Он подходит к вешалке и надевает учительский пиджак. Он сразу помолодел. Снова садится за стол, раскрывает книгу и декламирует.)*

Как часто редкий перл, волнами сокровенной
В бездонной пропасти сияет красотой;
Как часто лилия цветет уединенно,
В пустынном воздухе теряя запах свой.

Быть может, пылью сей покрыт Гампден [1] надменный,
Защитник сограждан, тиранства смелый враг;
Иль кровию граждан Кромвель необагренный,
Или Мильтон немой, без славы скрытый в прах [2].

Слышно покашливание. Он пережидает.

В сенате вызывать восторг, рукоплесканье...

Шум аплодисментов.

Я этого не потерплю! Говоря на вашем дурацком жаргоне, мне сёнь чегой-то не хоцца, шоб меня затыкали. Так что, если кто считает себя сенатом, вот этой линейкой я разлиную ему рукоплещущие руки — и это будет игра слов, но не шутка. Итак. Страница — страница сорок три, автор — Томас Грей. Моя мать тоже учила в школе, и когда мне было лет сколько вам, она читала мне вслух этот самый отрывок. Это стихотворение — элегия...

[1] Джон Гампден, вернее, Гемпден (1594—1643) — английский государственный деятель, защищал права парламента от притязаний короля. Смертельно ранен в схватке с роялистами. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] Стихотворение Томаса Грея (1716—1771) «Элегия, написанная на сельском кладбище». Перевод В. А. Жуковского

Далекие голоса школьников становятся громче.

Голоса. Э-ЭЛЬ-Е-ГЭ-И-Я!
И я! И я! И я!

Джордан. Ты слышишь голоса? Мальчик, ты слышишь эти голоса? Они превратились в толпу, они одурачили моего сына. *(Все еще находясь в прошлом, уверенным тоном.)* Автор этой элегии Томас Грей...

Голоса. Грей — значит серый, Грей — значит скверный. *(Нараспев.)*
Серый цвет грязный,
Черный цвет прекрасный.
Джордан холуй,
Он обалдуй,
Джордан холуй, обалдуй, белый негр!

Джордан, повернувшись, хватает со стола линейку.

Джордан. Дай сюда руку, дрянной мальчишка!
Дай сюда руку, я говорю!
Так! Так. А теперь поверни!
Поверни свою руку, дрянной мальчишка!
Ладонь твоя розовая. А? Что?
Так вот, усвой, дрянной негритенок,
Так же, как для твоей руки,
Для искусства и литературы
Цвет не имеет значенья!

(Хлещет себя линейкой по ладони.)
Цвет не имеет значенья!
Понял? Понял? Понял? Понял?

Пауза.

(Джордан какое-то время стоит с протянутой ладонью. Потом он трет ею лоб и улыбается.)

Корреспондент. Ваши самые известные рассказы — те два, которые во всех антологиях,— конечно, «Баррли и крыша», сатира на нашу независимость, и «Как я участвовал в войне» — о любви. В какой мере они основаны на вашем личном опыте? Можем мы сказать, что Альберт Перес Джордан брал материал прямо из жизни?

Джордан. Можете. Если готовы пойти под суд за клевету. Это чистая выдумка. В нее я всегда добавлял немножко жизни. Как соус к мясу. *(Читает).*

На стену сзади проецируется текст.

Корреспондент. *(Передает Джордану небольшую книжку, напечатанную в местной типографии, и объявляет в микрофон.)* Итак, неподражаемый А. П. Джордан читает свой последний рассказ... «Баррли на крыше»... впервые опубликован в «Маяке» в мае 1971 года.

Джордан. *«Баррли и крыша»,* мальчик!

Корреспондент удаляется. Джордан в свете прожекторов. За ним на стене напечатанная на машинке или аккуратно переписанная страница. Джордан читает.

Эпиграф из Уильяма Блейка: «Злейшие враги человека — его собственный Дом и Семья».

Пошатываясь, входит Пилгрим.

Пилгрим. Правильно!

Джордан подходит к вешалке, надевает другой пиджак, шарф и шляпу. Пилгрим напевает в ритме калипсо.

Убегай, Адольф Гитлер, убегай!
Убегай, Адольф Гитлер, убегай!

Пилгрим пьет. Джордан подходит к нему, они вдвоем проходят по сцене пошатываясь.

Джордан *(читает)*. «Каждый раз, когда Уилберфорс П. Падмор, служащий, а по призванью поэт, возвращался домой с заседаний Тайного Братства, его неизменно сопровождал его закадычный друг Родди Бродуотер, причем оба они были в черных костюмах с черными шарфами и в сдвинутых набекрень черных шляпах, что придавало им сходство с подпившими гробовщиками и по части подпития не слишком противоречило действительности, ибо в эти минуты друзья были неизбежно и несомненно навеселе».

Пилгрим. Спокойной ночи, А. П. *(Направляется прочь. Останавливается, оглядывается.)* До воскресенья!

Джордан. «Расставшись с Бродуотером, Падмор оказывался в одиночестве под неверно мерцавшими звездами и голосом, чья мощь зажигала окна Бельмонта и разжигала ярость его старой верной жены, извещал уснувшее человечество. *(Кричит.)*

«Мейбл!
Мейбл!
Я
пришел
домой!»

Валится в тень. Свет гаснет.

Сцена 1

Джордан. Мейбл! Мейбл! Я пришел домой. *(Швыряет шляпу на вешалку. Шляпа падает, он поднимает ее и опять надевает.)*

Мейбл *(за сценой)*. Сукин сын, ты не мог прийти позже?

Джордан. «Его жена откликнулась. Прелестно! Падмор полон иронии». Лучше бы я сидел дома. Я хочу есть.

Мейбл *(входит, на ней ночная рубашка, халат, шляпа и ботинки)*. Попросил бы Эзру Пилгрима, он бы тебе что-нибудь приготовил. Думаешь, я не слышала вас тут на улице? И не лезь в холодильник, там пусто. Твой сын пришел домой. Ты хочешь, чтобы я тебе готовила в половине четвертого? Переселился бы ты к своему Эзре Пилгриму!

Джордан. Ты же все равно не спишь. «Куда ты?» — участливо осведомился Падмор».

Мейбл. Иду за покупками. Ты что, против? *(Медлит, возвращается.)* Послушай, Альберт, ты обязательно должен быть дома в шляпе? Ты что, будешь в ней спать?

Джордан. «Падмор прекрасно знал, что шевелюра его редеет».

Мейбл. В шляпе дома — плохая примета. Сними, пожалуйста.

Джордан. «Миссис Падмор, если в непосредственной близости от меня окажется кто-нибудь или что-нибудь, перед чем надо снять шляпу, я ее тотчас сниму. А до тех пор...»

Мейбл. Предупреждаю тебя. Если ты ляжешь спать в шляпе, я лягу в ботинках. Можешь передать это Падмору.

Джордан. Мейбл! Мейбл! Как ты одета? Что, если в таком виде ты попадешь под машину? «Падмор испытал приступ веселого страха».

Мейбл уходит. Незаметно входит Фредерик в пижаме.

Тридцать с лишним лет полного взаимонепонимания.

Фредерик. Чтой-то ты, пап?

Джордан. Фредерик, ты взрослый человек. Сколько тебе — тридцать один, тридцать два? Люди принимают тебя за моего младшего брата. В тех редких случаях, когда мы вместе. И вот среди ночи ты выходишь из детской, как младенец, которому нужен стакан молока и печенье, и в довершение всего называешь меня «пап». Нет, нет... Фредерик, я Альберт Перес Джордан, учитель на пенсии, мне будет шестьдесят пять, я устал, мне все надоело. Больше всего мне надоел ты, Фредди, Фредоносный Фредди. Иди спать.

Фредерик. Ну, па...

Джордан. Фредерик, Фредерик, Фредерик, Фредерик, Фредерик. «Ну, па» — лишь слегка отвратительнее, чем «чтой-то ты, пап». Мы с тобой на Тринидаде. Нормальные идиоты могут обмениваться репликами вроде «Как оно, папуля?» или «Мамулечка, как здоровье?» Но я все надеялся, что ты художник. Ты работал сегодня?

Фредерик. Да, папочка. Спокойной ночи.

Джордан. Сын, подойди сюда. Скажи мне спокойной ночи и поцелуй. Не бойся.

Фредерик. Я не боюсь. От тебя разит перегаром.

Джордан. Мальчик, поцелуй своего отца! Вот так. Ничего с тобой не случилось. А теперь сядь и, пока твоя мама, твоя мамулечка — ма — выгуливает свою дурь, расскажи мне, что ты написал, или лучше принеси сюда, чтобы выслушать суждение полного профана.

Фредерик. Я не могу, пап. То есть «это ваще́ невподъем, па».

Джордан. Боже, я проклинаю тот день, когда выучил сыновей правильному английскому языку. Вероятно, это был протест против вульгарности и приземленности вашей родительницы. В наше время, при независимости, правильный английский сделал тебя неудачником, анахронизмом. Я вздыхаю о колониальных временах, Фред, мой мальчик, почему ты не хочешь показать папе свою живопись?

Фредерик. Она на стене. Она... Это... Это фреска.

Джордан. Я знаю, что такое фреска. На которой стене?

Фредерик. А ты не распсихуешься?

Джордан. От искусства не распсихуешься. Фред, ты у себя дома. Тебе предоставил стипендию Фонд имени Альберта Переса Джордана. Я твой меценат, не в моих интересах мешать тебе расписывать что ты там такое расписал, черт возьми, стену, что ли?

Фредерик. Не. Я расписал крышу.

Джордан. Фреска на крыше! Великолепно! Должно быть, она предназначена для пролетающих самолетов. Милый мальчик, тебе не приходило в голову, что фреска на крыше может стать помехой воздушному сообщению?

Фредерик. У меня с собой фонарик. Хочешь покажу?

Джордан. Если в Ватикане зеваки ложатся на спину и зевают на творение Микеланджело, то почему бы мне, милый Фредди, не пройтись с тобой на крышу нашего маленького пригородного дома? Веди же! Надеюсь, ты не забыл на ней расписаться?

Фредерик и Джордан уходят; хлопнув дверью, входит возбужденная Мейбл. Она полагает, что Джордан, как обычно, лежит на кушетке.

Мейбл. На это потребовалось все мое христианское долготерпение! В четыре часа идти к этому Гарри в «Ночной бар и гриль»! В одном халате выслушивать, как он был боксером. А он стоит у плиты в шляпе — и при всех забулдыгах и мусорщиках спрашивает: «Как там ваш профессор, миссис Д.?» Я не зову людей мистер Г. или мистер Р. Я тоже преподавала в школе, я уважаю алфавит. *(Она уходит в общую комнату, снимает там халат и шляпу, выходит и направляется на кухню. Она говорит не оборачиваясь, обращаясь к пустой кушетке.)* Ты что, онемел от стыда? *(Подходит к пустой кушетке.)* Ты меня слышишь? Куда это он испарился? Альберт! Куда он исчез? *(Шум над головой. Она вслушивается.)*

Джордан. Мейбл! Ты можешь подняться сюда на минуточку? Кажется, наш мальчик создал шедевр.

Мейбл *(глядя вверх)*. Альберт! Кто-то ходит у нас по крыше.

Джордан. Это я, это мы. Это мы. Я смотрю на работу Фредди. Ночью, при фонаре. С точки зрения профана, это величайшее произведение после Пикассо.

Мейбл *(кричит)*. Так вот чем он там занимался весь день! Он два дня говорил мне, что заделывает дыры.

Фредерик. Мама, я и хотел заделать, я просто увлекся.

Джордан. Ты идешь сюда, Мейбл?

Мейбл. Не. Никуда я не иду. Куда мне с моим артритом. И твоя акула остынет. Я сейчас куплю билет и утром взгляну с самолета. По дороге в Тобаго. Нет. *(Она разговаривает с собой.)* Нет, совсем не в Тобаго. Моя родная сестра Инес умоляет меня плюнуть на этих мартышек и прилететь к ней в Бруклин. *(Снова кричит.) Скажи Фредерику, мама увидит все по дороге в Штаты.*

Входят ликующие Джордан и Фредерик.

Джордан. Остановите печатные машины, созовите корреспондентов и критиков, я не обманулся в мальчике! Насколько я понимаю, твой сын Фредерик создал шедевр! Сын, я снимаю перед тобой шляпу! Больше того, я бросаю ее в воздух! Я в восторге! Гип-гип ура! *(Срывает с головы шляпу.)* Мейбл! Мейбл! Ты знаешь, что сделал наш Фредерик?

Мейбл. Ешь свою акулу. Фредди, иди спать. Твой папа бесится от безделья.

Джордан. Ты купила только один бутерброд?

Мейбл. Конечно, один. Откуда мне знать, что за полночь, когда весь Бельмонт спит, вы вдвоем торчите на крыше?

Джордан. Ты проголодался, мальчик?

Фредерик. Угу.

Джордан. Жертв, жертв, искусство требует жертв. Отдай бутерброд ребенку. Я так взволнован. Мой совет тебе, Фредди, приколоти крышу как следует. Уходя из дому, гляди, на месте ли крыша. Мейбл, это касается и тебя. За считанные секунды машину растаскивают на части; люди крадут целые автобусы. Оставь мне этот кусочек акулы, не то и он исчезнет. Спасибо. *(Берет кусок бутерброда.)* Гарри помнит, что я люблю с перцем. Хозяйка, ты знаешь, что сделал наш мальчик? Железо на крыше волнистое, он взял и раскрасил волны: красная — белая, красная — белая, красная — белая, а из дыр сделал звезды. На мой взгляд, это большой американский флаг. Дань уважения Дяде Сэму. Если бы к нам теперь приехал мой брат, мой брат-близнец, твой дядя-близнец! Фредерик, ты возвеличил наш дом. Ура! Я прощаю тебя.

Пауза.

(Кричит.) Бездельник! Ты торчал целый Божий день на чертовой крыше и снова сделал меня посмешищем! Превратить мой дом в «Янки Дудль»! И после всего ты хладнокровно жуешь единственный бутерброд, за которым твоя бедная мама ходила в бурю и ливень.

Мейбл. Какая там буря, какой ливень — ходила и ходила.

Джордан *(к Мейбл)*. Когда я на тебе женился, моя мама сказала, что мой талант погубят хлопоты по хозяйству. Я погубил свою жизнь. И отправляюсь спать. *(Уходит.)*

Пауза.

(Возвращается.) Купи десять галлонов скипидара и завтра же смой эту мерзость с крыши. И найди себе работу! *(Уходит, надев шляпу.)*

Мейбл. Не сердись на него, Фредди. Твой папа стал совсем...

Джордан возвращается без шляпы.

Джордан. Прости меня, мальчик. Я понял, что́ ты изобразил. Призыв о помощи. Спаси нас, Америка! Вопль из «третьего мира». Верно, Фредерик?

Фредерик. Па, это всего-навсего флаг на крыше.

Джордан. И все же. Некоторым образом оказалось, что крыша моя, а флаг американский.

Фредерик. Ты хочешь, чтобы я написал английский?

Джордан. Браво! Это, по крайней мере, воздает должное вечным ценностям твоего отца! Будет хоть на что поглядеть! Итак, сегодня — искусство! Завтра — скипидар! *(Уходит.)*

Фредерик. Ты права. Я сам за него не спокоен.

Джордан возвращается, он в свитере и трусах, на голове шляпа.

Джордан. Больше того, нас могут принять за американское посольство и разбомбить. *(Уходит.)*

Мейбл *(собирает со стола крошки)*. Я давно перестала надеяться, что этот дурак образумится. Еще когда он за мной ухаживал, он водил меня к месту, где старый ку́ли Сурадж разводил уток. Все там было загажено, но он задирал нос повыше, швырял крошки уткам в зловонную лужу и восклицал: «Мы кормим лебедей Эвона». Англичанин до мозга костей. Пьяный болван. Вообразил, что он один может говорить по-английски. Я тоже преподавала в школе.

Фредерик. Я знаю, ма.

Мейбл. Правда, в начальной школе. Но все равно преподавала. И я чистокровная тринидадка с Аримы.

Фредерик. Папе пора перестать мечтать.

Мейбл. Папе пора перестать мечтать. Ты хочешь убить папу? Каждый вторник они с Эзрой Пилгримом просаживают столько, что хватило бы выкупиться из заклада. Но он убежден, что какой-нибудь лотерейный билет так его и дожидается. *(Встает.)* Фредерик, зачем ты раскрасил крышу?

Пауза.

Тебе обязательно нужно было писать у него на темени «Боже, храни Америку»?

Фредерик. Я живописец, ма.

Мейбл. А я, прости, думала, ты художник. Но раз ты стал красить крыши, ты можешь сколько-то зарабатывать. Можно заново окрасить весь Порт-оф-Спейн. Боже, уже утро! Поди полюбуйся, как выглядит флаг на рассвете, а потом смой его, не то у старика будет удар.

Фредерик. Он научил меня одной вещи, ма: не изменять самому себе.

На веранде появляется Баррли.

Мейбл. Фредди, прошу тебя, не будь как твой отец. Кому нужен флаг на крыше?

Баррли стучит в дверь, Мейбл открывает.

Баррли. Хелло!

Мейбл. Боже! *(Захлопывает дверь.)* Входите, пожалуйста! Фредди, прими его. *(Уходит.)*

Фредерик открывает дверь.

Баррли. Можно войти? Это ваш дом? Я к вам по делу.

Фредерик. Сейчас позову хозяина. *(Кричит.)* Па! Тут один белый хочет что-то продать.

Джордан *(кричит)*. Скажи ему, что я сплю!

Баррли. Я не продаю. Я покупаю.

Фредерик. Он не продает, он покупает!

Мейбл *(из соседней комнаты)*. Фредерик, извинись и иди переоденься.

Джордан. Угости его соком.

Фредерик. Угостить чем?

Джордан. Ну чем-нибудь.

Мейбл. Фредерик, пожалуйста, переоденься.

Появляется Джордан.

Фредерик. Доброе утро, пап. *(Уходит.)*

Джордан. «Чем вы можете мне помочь, сэр? — осведомился Падмор». Прошу прощения за мое дезабилье.

Баррли. Я сам чувствую, что чересчур утеплился для этой погоды. А вы, вы что, это ваш дом, сэр? Ваш телефон молчит как убитый.

Джордан. Я его пристрелил. Вы американец? Я вас слушаю.

Баррли. Моя фамилия Баррли, с двумя «р».. Остановился в «Хилтоне». Род занятий — игрок на бирже, волей-неволей наблюдаю за птицами, мое хобби, грубо говоря, искусство.

Джордан. С тремя «с»? Присаживайтесь.

Баррли. Я звонил, но тут близко и приятно пройтись. Я сразу к делу. Я хочу купить вашу крышу. Я наблюдал полет мухоловки и вдруг увидал вашу крышу.

Джордан. Купить мою крышу? Которая над головой? Вы, американцы, решили, что можете купить все на свете. Купить мою крышу? За сколько? «В этот момент вошла миссис Падмор».

Входит Мейбл с банным халатом в руках.

Мейбл. Это мистер Баррли. Мы говорим об искусстве, он хочет купить нашу крышу.

Мейбл. Погодите минутку, я сейчас.

Баррли. Конечно.

Мейбл. Твое облачение, Монтесума. Счастлива познакомиться. Не хочу встревать, но пока мы не говорим об искусстве, ничего, если я прочту стишок? Я сама написала.

Джордан. Вот видите? Мы — семейство творцов.

Мейбл. Это стихи об обычной жизни. Я скажу наизусть. И сейчас же. Называется «Да будет воля твоя, «Хай-лоу».

Баррли. Хай-лоу. Это африканское божество?

Джордан. Это супермаркет.

Мейбл *(становится в позу)*.

ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ, «ХАЙ-ЛОУ»,
Рис.....пятьдесят центов
Сардины....полтора доллара
Курица.....два с полтиной
Солонина...один доллар
Яйца, две дюжины...два с полтиной
Мясо.....

Джордан *(роясь в кармане)*. Я уловил суть, дорогая. Не позволяй себе лишнего.

Баррли. Я бы хотел это опубликовать.

Мейбл. Это не в рифму, зато сама жизнь. Если Фредерик все не выпил, угости джентльмена соком... Извините меня, пожалуйста... Можно тебя на минутку, Уилберфорс? *(Джордан отходит в сторону. Мейбл делает вид, что роется в кошельке, яростно шепчет.)* Ты ведь себя знаешь. Так не вздумай продать дом, понял? Мне нужна старая крыша над головой. С флагом или без флага. *(Уходит.)*

Джордан. У Сократа была Ксантиппа, у Самсона — Далила, у меня — Мейбл. Крышу расписал мой сын Фредерик. Надо подождать, сейчас он придет и назначит цену. Хотите соку?

Баррли. Ничего мне не выставляйте.

Джордан. Очень может быть, вы все же нас выставляете. Да присаживайтесь! Стало быть, вы коллекционируете крыши?

Баррли. Я не коллекционирую искусство, сэр, я коллекционирую жизнь. Когда я покупаю жизнь, она становится искусством. Я люблю все неиспорченное, естественное, а эта крыша как раз естественная. Я полагаю, мне придется купить весь дом?

Джордан. Надо думать. А почему бы не весь остров?

Баррли. Великоват. Может быть, что-то поменьше.

Джордан. Не́вис [1] вам подойдет?

Баррли. Нет, спасибо. На сегодня с меня хватит крыши.

Джордан. Мы к вашим услугам, мистер Баррли.

Входит Фредерик.

---

[1] Небольшой остров недалеко от Тринидада.

Фредерик. Я не продам. Я слышал.

Баррли. Я открываю чековую книжку.

Фредерик. Я закрываю разговор.

Баррли. Черт побери, вот это характер!

Фредерик. Во всем виноват он.

Джордан. Этот мальчик — болван! Он унаследовал мои принципы! Фредерик, второго такого случая у тебя не будет!

Фредерик. Соку не осталось? Ты же сам мне велел смыть все с крыши. А теперь ты меняешь песенку из-за какого-то янки-туриста.

Баррли. Я не турист. Могу показать документы. Я коллекционер. У меня есть ольденбурги, раушенберги...

Фредерик. Айсберги, гамбурги — не пойдет.

Баррли. Художник. Ваш сын настоящий художник.

Джордан. Фредерик, сейчас же пойди и принеси крышу. Или часть ее.

Фредерик. Отстань!

Баррли. Так, мой мальчик! Борись! Не уступай! Что вы пристали к парню? Вы же слышали, что он сказал? Вы, обыватель!

Джордан. Черт бы вас побрал! Вы на чьей стороне, Баррли? Фредерик, каждому художнику нужна поддержка. Баррли хочет тебя поддержать. Мистер Баррли, объяснить вам, что такое поддержка? Так слушайте. Вы смотрите большие фильмы об исследователях Африки и Антарктики. Они затеряны в джунглях и снегах, их осаждают пигмеи, их засыпают лавины, у них страдание, голодание, обмерзание, всякое прочее «ание». Я это говорю, чтобы вы, сэр, поняли одно. У них есть поддержка. Понимаете? Поддержка. Вот у меня нет поддержки. Я один как перст. Возьмите Бэрда, Шеклтона, Линдберга на ледяном севере или в раскаленной пустыне — люди вкладывают в них деньги, чтобы они могли страдать и открывать. Страдать и открывать — это и мой девиз, но никто меня не поддерживает, ни правительство, ни фонд, ни частные лица. И вот Альберт Перес Джордан один в джунглях, в ледяных сердцах людей, и у него нет ружья, и никакого ему сафари! Вот что такое поддержка! Фредерик, продай. Это мой дом. Продай — иначе Фонд Джордана лишает тебя стипендии!

Баррли и Фредерик. Нет!

Джордан. Продай!

Фредерик. Нет!

Баррли. У мальчика ценные качества. Характер. Гордость. С двумя «р». Я вам дал визитную карточку? Вот моя прощальная. *(Он дает карточки Фредерику и Джордану.)* Маленький-маленький стишок выражает мою политику. Джентльмены, не угодно ли прочитать?

Фредерик и Джордан *(читают)*.

Если делишки идут не гладко,
и дальше вроде не будет сладко,
и независимость, ох, не рай —
обращайся к Штатам. Учел? Гуд бай!

Баррли. Учтите! Чао!

Он уходит. Фредерик и Джордан рвут карточки.

Джордан. «Баррли шагал по освещенному утренним солнцем Бельмонту, опьяневший от восхищения. Ибо действительно, стоит ли приобретать весь мир, если при этом теряешь крышу над головой». Конец.

Входит Корреспондент. Пауза.

Корреспондент. Один критик радикального направления недавно писал: «Как бы занимательны ни были рассказы такого рода, они, быть может, всего лишь самозащита человека, который закрывает глаза на реальную жизнь нашего общества и находит единственный выход в сатире. Нам ничего не известно об авторе, но если бы он лично пережил подобный конфликт, из него, может быть, получился бы более значительный писатель. Джордан привык скрывать правду за ухмыляющейся маской, которой нет дела до страданий людей с черной кожей». Что вы можете возразить на это, сэр?

Джордан. Выключи, пожалуйста. Если бы я показал им мое истерзанное, кровоточащее сердце, это меня не спасло бы. Знаешь ли ты, знаешь ли ты, мой мальчик, что́ бы они увидели? Впрочем, пусть смотрят. Эй, вы, смотрите!

Фредерик. Успокойся, пап. Не отчаивайся. Ты пойдешь с нами?

Джордан. Нет, не пойду. Если я дал слово, я его держу, чего бы это ни стоило. Когда он погиб, я поклялся, что в годовщину его смерти не выйду из дома. Поклонись ему от меня. У его могилы я не желаю видеть тех волосатых негров, которые сбили твоего брата с пути истинного. Я пойду туда один.

Фредерик. Ты не ходил ни разу. Прошло семь лет, а ты не ходил ни разу.

Джордан. Я ходил! Ходил! По-твоему, я вру?

Мейбл входит с кухни с черным галстуком для Фредерика.

Мейбл. Надень, Фредерик. Ты не какой-нибудь революционер. Я сейчас. *(Уходит в спальню.)*

Фредерик. Ты был солдатом. Пойдем с нами! Лейтенант ополчения Альберт Перес Джордан, пойдем с нами!

Джордан. Я пойду один. Поклонись ему от меня. Поклонись ему и плюнь во всех, кто придет.

Фредерик. Господи. Я побуду на веранде, я больше не могу этого слышать.

Выходит. Входит Мейбл в шляпе и перчатках.

Мейбл. Конечно, ты не пойдешь к Младшему? Через семь лет!

Джордан. Я запретил тебе произносить его имя в моем доме. Пусть мертвый останется мертвым! Семь лет я молчу, с самых проклятых похорон, и ты клялась мне на Библии, но ты, проклятая баба, и не способна молчать.

Мейбл. Хватит! Черт возьми, он был и мой сын! Господи, прости, что я чертыхаюсь. Хватит — слышишь?

Джордан. Только подумать, за что он умер! За лозунг на стене? Ради чего он дал себя застрелить, за — «Долой белых!» или «Власть черным!»? И ты видишь, как сегодня люди рыдают? Ты видишь, как они возлагают цветы на могилу юного дурака?

Мейбл. Может быть, он погиб потому, что ты был на другой стороне. Или не хотел быть ни на чьей стороне. Ты закрыл глаза и ждал, что наступит рай,— как сейчас ты ждешь, что выиграешь в лотерею.

Джордан. Стало быть, Младший погиб из-за меня? И это говоришь ты? Женщина, твой язык — скорпион.

Мейбл. Ладно. Мы оба его убили. Я убила его псалмами, и Христом, и косынкой, как у всех негритянских мамаш в кино, и, может быть, для него я была пугалом, а ты — черным англичанином, и, наверно, ему было так стыдно за нас, что он просто должен был куда-то пойти и что-то там сделать. Только подумать, как же он умер! Дурацкий случай! Беспорядки на Вудфорд-сквере, полицейский испугался и выстрелил... Альберт, нашего сына убила наша страна.

Джордан. Аминь. Аминь. А когда он погиб, эти двуличные негры захотели сделать из него мученика. Они потребовали отдать им тело моего сына. Для чего? Для карнавала или святой мессы?

Фредерик *(с веранды)*. Пошли, ма.

Мейбл. Альберт, ты отдал им тело нашего сына и не пошел на похороны. Твоя гордыня! Твоя чертова гордыня! И теперь тебе не хватает мужества пойти на его могилу?

Джордан. Может быть, Младший этого не хочет? Может быть, его праху будет не по себе, если я приду?

Мейбл. Если ты придешь... Хочешь знать, что там происходит? Что мы там делаем седьмой июнь? Фредерик не говорит ни слова, он стоит и потеет под солнцем, и видно, как ему худо. Он стоит с одной стороны...

Джордан. Я не желаю этого слышать...

Мейбл открывает Библию.

Мейбл. Я хочу тебе сказать, что пышной церемонии не бывает. Я стою с другой стороны. Я читаю — вот здесь у меня заложено: «Краса твоя, о, Израиль, поражена на высотах твоих...» [1] и так далее. Очень коротко. Очень просто. Фредерик кладет венок. Я закрываю книгу и...

Джордан. Мейбл...

Мейбл. Я закрываю книгу и говорю, очень спокойно: «Младший, твой отец обещал, что придет в будущем году». Десять — пятнадцать минут, и все. Подождать тебя?

Джордан. Мне слишком больно, миссис Джордан. Слишком. Женщина, не поселяй в этом доме печаль. Жизнь продолжается.

Входит Фредерик.

Фредерик. Господи, перестаньте вы оба орать. Ма, оставь его, пошли! Не то я пошел один.

Джордан. Орать? Ты считаешь, что мы с мамой все время орем? А ты, что делаешь ты? Каждый год ты идешь с ней на могилу и тотчас сбегаешь в горы — работать. Работать? Не проведешь меня, мальчик! Ты сбегаешь в горы и прячешься, потому что эти воспоминания для тебя так же невыносимы, как для меня. Как и для меня. Так что не лезь не в свое дело — я кончил!

Фредерик уходит.

Боже, дай мне выиграть в лотерею — чтобы им увидеть, на что я способен.

Мейбл. Опять химеры! Химеры опаснсй, чем малярия. Господи, этот человек спятил на старости лет! Дай мне силы уйти из этого дома, пока не совсем поздно.

Джордан. Воображаешь, я буду грустить по тебе? Что я не справлюсь? *(Подходит к двери и распахивает ее широким жестом.)* Дверь открыта. Тебя ждет весь мир. Иди же, иди. Я жду.

Пауза. Мейбл цокает зубом.

Мейбл. Альберт, закрыл бы ты дверь.

Пауза.

Альберт, ты стоишь на сквозняке. Ладно, ваше величество, когда хватитесь, знайте, меня нет! И может быть, я не вернусь! *(Уходит.)*

Джордан. Миссис Джордан! Сделайте одолжение! Не возвращайтесь!

Мейбл *(из-за сцены)*. Постараюсь!

Звуки уличного движения. Яростно лает собака. Джордан подходит к креслу, берет газету. Потом медленно кладет ее. Глядит в потолок. Садится. На сцене темнеет. Часы бьют пять раз.

Джордан. Рождаешься в одиночестве. Страдаешь в одиночестве. Умираешь в одиночестве. Так? *(Он снова глядит в потолок.)* Знаешь, с тех пор как Твой собственный сын умер, мы не слишком много слышали о Тебе.

Сцена 2

Сцена та же. Джордан сидит в кресле. Из темноты доносится голос Корреспондента.

Корреспондент. Вы потрясающе читали, мистер Джордан. Герои были совсем как живые. Маленькое техническое замечание. Если во время второго рассказа вам надо также ходить по комнате, возьмите микрофон в руки, не то звук будет гулять туда-сюда.

---

[1] Вторая книга Царств. I, 19.

Джордан. Такова жизнь, молодой человек. Она гуляет туда-сюда.

Корреспондент включает магнитофон и говорит в микрофон.

Корреспондент. Вы прослушали «Баррли на крыше», сатиру А. П. Джордана, опубликованную в прошлом году. Один из первенцев нашей литературы, рассказ «Мое участие в войне», нас переносит на тридцать лет назад, в старый колониальный Порт-оф-Спейн.

Джордан. «Как я участвовал в войне». Вот как.

Корреспондент. Вы хорошо помните рассказ?

Джордан. Смутно.

На стену сзади проецируется: А. П. Джордан. «Как я участвовал в войне».

Корреспондент. Он был опубликован в сорок восьмом году.

Джордан. Чтобы залечить рану.

Корреспондент. Какую рану?

Джордан. А, ерунда. Это все ложь. Я все придумал. Это случилось с моим знакомым. А ее звали не Хоуп, а Эстер Траут. Мне и надо было написать Траут, а не Хоуп. С чего начинается? «В сладкие дни...»?

Корреспондент читает. На стену проецируется снимок Джордана в фуражке добровольца и военной форме времен второй мировой войны. Джордан, слушая, встает и медленно удаляется. Молодая англичанка Эстер Траут входит и садится за стол.

Корреспондент. «В блаженные дни второй мировой войны, отнюдь не будучи англичанином, я считал себя таковым. Будучи колониалом, я не считал себя таковым. Вся Англия принадлежала мне, и ее наследие, и ее война. Я обожал Англию, и идеальным олицетворением Англии для меня была моя непосредственная начальница в Бюро информации, прелестная мисс Эстер Хоуп, Эстер Надежда».

Бюро информации. Утро. Корреспондент переставил должным образом мебель и удалился. Двадцатипятилетняя Эстер Траут сидит за письменным столом. Над ней на стене большой английский флаг. Входит Джордан, останавливается у двери. В руке у него роза.

Джордан. Извините великодушно, что опоздал, мисс Траут, но и тут можно сказать, что во всем виновата война. Позвольте пожелать вам приятного рабочего утра. И да не увянет под нашим тропическим солнцем английская роза.

Эстер. Ваш английский язык почти безупречен, мистер Джордан. Когда вы станете самим собой?

Джордан. Я весь вечер прождал в «Клубе писателей и читателей». И еще кому-то я посвятил стихи. Догадайтесь кому. Только не просите меня прочесть. Я не спал всю ночь, стараясь понять, что случилось.

Эстер. Прием в Доме правительства. Пришлось идти... Вы... Мистер Джордан, почему я обязана это вам сообщать? Вы пришли за ключом от библиотеки?

Джордан *(берет ключ)*. Снова библиотека. Пыльные тома... Значит ли это, что я не буду иметь счастья...

Эстер. И еще. *(Вынимает записку.)* Что это такое, мистер Джордан?

Джордан. Что это такое?

Эстер. Вот это самое? *(Читает записку.)* «Мисс Траут, я обожаю вас с той минуты, как вы появились в нашем Бюро. Я не обольщаюсь надеждами. Я преклоняюсь пред вами, над пропастью, разделяющей наши эпохи и расы. Не хотите ли выпить со мной после работы? А.Д. P.S. А потом выйти за меня замуж?» Это что, шутка, мистер Джордан? Если это шутка, то мне она кажется глупой. С чувствами, мистер Джордан, не шутят. Это опасно. *(Рвет записку.)* Итак, будьте умницей и выбросьте из головы этот вздор. Потому что мы с вами можем стать хорошими друзьями. И пожалуйста, идите в библиотеку. Ну! Да, кстати...

Джордан. Я вас слушаю.

Эстер. Что случилось с последними номерами «Иллюстрейтед Лондон ньюс»?

Джордан. Они у меня дома, под замком. Как заложники. До тех пор, пока вы не отобедаете со мной.

Эстер. Вы же знаете, что они всегда должны быть в справочном отделе. Мне за это голову снимут.

Джордан. Страсть сделала меня безрассудным, мисс Траут.

Эстер. В библиотеку, мистер Джордан. Сейчас война. Ну!

Джордан уходит. Эстер отрывается от работы, подпирает щеку ладонью, улыбается, потом сидит, уставясь в одну точку; свет гаснет.

Сцена 3

Джордан *(декламирует)*.

Что ж, снова ринемся, друзья, в пролом,
Иль трупами своих всю брешь завалим!
В дни мира украшают человека
Смирение и тихий скромный нрав;
Когда ж нагрянет ураган войны... [1]

Эстер. Что это значит, мистер Джордан?

Джордан. Простите, что я в гражданском — я просто не успел нацепить сбрую.

Эстер. Нацепить сбрую?

Джордан. Я вступил в местную самооборону. Жду звездочек. Лейтенант ополчения Альберт Перес Джордан. Тс... Здесь и у стен есть уши. Все слушают — от кроткого ягненка из конторы до тигра на поле брани. Надеюсь, меня тяжело ранят; тогда вам придется за мной ухаживать. Здорово, только подумать! Простите.

Эстер. Вы насмотрелись войны в кино, Альберт. В действительности война не такая. Война — дело скучное и утомительное. Министерства, снабжение, бумаги. Проверьте, пожалуйста, этот реестр.

Джордан. Как знать. Может, и у нас произойдут события.

Эстер. События? У кого — у нас?

Джордан. На войне.

Эстер. На Тринидаде?

Джордан. Относитесь к моим словам серьезно, мисс Траут. Есть подводные лодки. Есть угроза вторжения.

Эстер. Вторжения?

Джордан. Вишистская Франция рядом [2]. Она топит наши корабли. Наши парни идут ко дну. Сочли, что я необходим здесь, в тылу, и не взяли меня в действующую армию. Был слух, что меня ожидает офицерский чин. По крайней мере, одна звездочка. Но что-то непохоже. Чернокожий офицер в английской армии — редкое зрелище, правда?

Эстер. Еще бы. Снимите вашу нелепую фуражку и помогите мне проверить реестр, несчастный идиот.

Джордан. Когда вы называете меня идиотом, мисс Траут, я чувствую себя принцем. Если бы я был в военной форме, вы пошли бы со мной в ресторан?

Эстер. Реестр!

Джордан. Может, пошли бы? Я не могу дешифровать вашу улыбку.

Эстер. Мне говорили, что вы помолвлены, мистер Джордан. Это верно?

Джордан. Да. То есть нет. С той минуты, как я встретил вас, это ничего не значит. Только кивните, и я разорву помолвку. Для меня она ничего не значит.

Эстер. Зато для меня она что-то значит. Мы будем сегодня работать?

Джордан. Выходит, все безнадежно?

Эстер. Не безнадежно, а бессмысленно. Небольшая разница.

Джордан. Я пошел в армию, чтобы вы на меня обратили внимание.

---

[1] Шекспир. «Генрих V». III, I, перевод Е. Бируковой.

[2] В Вест-Индии были французские колонии, верные Петену.

Да, я готов умереть, чтобы вы на меня обратили внимание. Неужели это ничего не стоит?

Эстер. Вы не сдаетесь?

Джордан. Разве Англия сдалась? Уинстон сказал, что мы будем сражаться до последнего солдата. На пляжах, на местах высадки. Мы никогда не сдадимся!

Эстер. Мы?

Джордан. Да. Вы. *(Снимает фуражку.)* Понятно.

Эстер. Прекрасно. Продолжим: страница пять, третий абзац. Нашли? Что случилось, мистер Джордан?

Джордан стоит, уставившись в одну точку.

Джордан. Когда-нибудь, когда-нибудь. У нас будет свой собственный флаг. Свои собственные войны! И британский лев на коленях подползет к тринидадскому квенку.

Эстер. Что такое... квенк, мистер Джордан?

Джордан. Неужели вы не знаете, мисс Траут? Это маленький лесной зверек, он делает вид, что он медведь. Как я. Так что возьмите вашу войну, ваш флаг, вашу розу, ваш ключ и выставьте их в витрине! *(Гордо уходит.)*

Эстер. Да... Наконец независимость!

Она улыбается. Свет гаснет.

Сцена 4

Приглушенные звуки тропической ночи. Свет направляется на Эстер, сидящую за столом. Потом на Джордана. Эстер встает, потягивается, присаживается на край стола, задумалась. Скидывает туфли, снимает китель, танцует.

Джордан. «Однажды вечером Падмор прогуливался по своему обычному маршруту Рейли — сэр Уинстон и вокруг Саванны. Увидев свет в окне Бюро, он поспешил туда в надежде поймать шпиона in flagrante delicto [1]. В тени дверного проема он замер, очарованный, и на глазах его проступили слезы. В тот момент озарения он понимал, что хотя танцовщица и наблюдатель состарятся и переменятся, музыка и вызванное музыкой видение пребудут в нем навсегда. Роза, которую он когда-то принес ей, увяла и почернела, но по-прежнему стояла на столе. Это вселило в него Траут, Хоуп, Надежду».

Сцена 5

День. Тихая музыка: «Сильфида». Письменный стол изображает ресторанный столик. Корреспондент, одетый официантом, стелет скатерть, ставит свежесрезанную розу и т. д. Входит Джордан с тремя последними номерами «Иллюстрейтед Лондон ньюс».

Официант. Слушаю вас.

Джордан. Я заказывал столик. Лейтенант Джордан. Ко мне придет коллега по службе. Из Англии.

Официант. Надеюсь, он не опоздает. Война, понимаете, затемнение, комендантский час.

Джордан. Я знаю. Когда он пробьет, мы удалимся.

Официант. Ого! Вот это да!

Входит Эстер. Официант ее усаживает.

Джордан *(вручает журналы)*. Заложники. Как обещал.

Пауза.

Я люблю вас, Эстер. Я люблю вас, и мне страшно.

Эстер. Перестаньте же.

Джордан. Хорошо.

---

[1] На месте преступления (*лат.*).

Официант уходит.

Вы все знаете, больше ничего не нужно.

Эстер. Я боялась, что вы надо мной смеетесь, понимаете? Это балет «Сильфида». Я в нем танцевала. Была сильфом. Мне следует похудеть. Здесь, вдали от войны, я набираю вес.

Джордан. Вы балерина?

Эстер. Была. Война прервала все. Хорошо, что выключили. Но у кого-то здесь шикарный вкус, мой дорогой. Я пришла, потому что, кажется, самое время выяснить отношения. Больше никаких игр! Я терпеть не могу ухаживаний. Мы не слишком-то склонны к флирту, мы, брр-рританцы. Так что ваши записочки действовали мне на нервы. Ничуть это не лестно. Я подумала: кто этот глупый человек? Я моложе вас, Альберт, но в жизни я видела много больше. Ничего, что я так болтаю? Понимаете, я говорю для нашего блага.

Джордан. О да-да, продолжайте.

Эстер. У меня полно печальных историй о войне, я не буду рассказывать вам о себе. Разве в двух словах. По-британски. Ни отца, ни матери. Одна как перст. Нет, нет. Это наша война. Это Европа опять разрывает себя на куски. Когда я родилась, она разорвала на куски моего отца. Я выросла сиротой. Жених погиб на «Арк ройал» [1]. Совсем мальчик, все равно погиб, и я попросила, чтобы меня перевели сюда. Теперь мне здесь даже нравится. Не надо над этим смеяться, Альберт, я думаю, вы глупый, восторженный и симпатичный человек. Три месяца вы беспрестанно ко мне приставали. Это было похуже бомбежек. Я все обдумала, всевозможные осложнения, но если вы так хотите, я буду вашей женой.

Пауза.

Понятно? Как ее зовут, Альберт? Вашу невесту.

Джордан. Это важно?

Эстер. Я просто хотела знать, кому вы меня предпочли. Я полагаю, вам надо уйти из Бюро. Иначе придется уйти мне.

Джордан. Извините меня, любимая. Мне на минуту надо в уборную. *(Уходит. Возвращается, медленно идет к креслу, декламируя на память.)* «Я пробыл в уборной двадцать лет. Я никогда больше не разговаривал с Эстер Траут, то есть с Эстер Хоуп. Я не зашел в Бюро — даже за своими вещами — до тех пор, пока она не уехала в Англию. К своей войне. Ошибка моей жизни. Остаться в границах своей расы, не выйти за эти границы даже во имя любви. Эстер! Таких, как она, я никогда не увижу. С тех самых пор я — разум, лишенный родины. С того самого дня я знаю свое место». Конец. Какой рассказ тебе нравится больше, мистер... забыл фамилию. Сейчас вспомню. Робертс... Ро... Ро... Твое лицо...

Корреспондент. Роджерс, сэр. Вы учили моего отца.

Джордан. Да, да. У меня было два Роджерса, которые годятся тебе в отцы; один довольно застенчивый, а другой тупица, но руками творил чудеса. Сейчас у него гараж.

Корреспондент. Это мой отец, сэр.

Джордан. Не то чтобы тупица. Просто он ненавидел книги. Я помню, он сделал нам превосходный шкаф. Я любил его. Я любил их всех, понимаешь? Как его дела?

Корреспондент. Спасибо, сэр.

Джордан. Ну конечно, гараж Роджерса! Скажи ему, что Джордан Пиджак передает привет, и спроси, помнит ли он этот шкаф.

Корреспондент. Хорошо, сэр.

Джордан. У него был забавный череп. *(Показывает руками.)* Его прозвали Манговая Голова — о Боже, Боже, как я это вдруг ясно увидел,— и я его гладил по голове... На темени была смешная впадина, как расселина, ха-ха! И я говорил: «Ты опять не выучил то-то и то-то, Манговая Голова» — и клал ему руку на темя, и он в ярости скалил зубы. Да, он был

---

[1] Английский авианосец, потопленный нацистами.

хороший мальчик. Напомни ему про шкаф, слышишь, не забудь, и скажи, что у него отличный сын.

Корреспондент. Хорошо, сэр. Может быть, мы продолжим?

Джордан. Не знаю, что стало с другим Роджерсом. Их, беспомощных, самоуверенных, я каждый год выпускал в свет. Каждый год! Это меня убивало. Ты немного похож на моего сына. Чем дольше ты сидишь в этом доме, тем больше ты на него похож.

Корреспондент. Это один из моих вопросов. Все на Тринидаде знают, что произошло с вашим сыном. Почему вы об этом не написали?

Джордан. Потому что... Потому что это должен был сделать гром, а не мышь с авторучкой, вроде меня. Тебе пора идти. Память у меня такая прекрасная, мистер Роджерс, что я уже путаю живых и мертвых. Читать эти рассказы — все равно что вызывать духов. Они такие реальные, а реальность так нестерпима. Я боюсь всемогущего воскрешающего слова. Приходи как-нибудь в другой раз. В твоей машинке все их голоса, это очень странно.

Корреспондент. До свидания, сэр.

Джордан. До свидания, мистер Роджерс.

Корреспондент встает и уходит. Джордан остается в гостиной. На веранде Корреспондент проходит мимо Анны Гершель. Она сидит на стуле, усталая, на руках у нее ребенок... Медленно, неуверенно она поднимается.

Джордан. Он забыл свой учебник. Как он будет готовить уроки? *(Изображает молодого Джордана и ученика Роджерса.)* Где твой учебник, Манговая Голова? Как ты будешь готовить уроки без учебника? *(Изображает ученика Роджерса.)* «Я забыл его дома, сэр. Он потерялся». *(Джордан смеется. Открывает книгу, читает.)* «Ошибка моей жизни. Остаться в границах своей расы, не выйти за эти границы даже во имя любви. Эстер! Таких, как она, я никогда не увижу».

Дверь, скрипя, открывается. На пороге стоит Анна Гершель, молодая белая женщина, на руках у нее спящий ребенок, с плеча свисает сумка. Джордан не оглядывается.

Анна. Можно войти?

Джордан. Я счастлив, что вы пришли. Я оделся, Траут. Иногда я говорю не Хоуп, а Траут. Это такая шутка. Это игра, в которую вы когда-нибудь, может, сыграете. Входите.

Свет гаснет.

Действие второе

Сцена 1

Сцена та же. Гостиная на другое утро. Джордан в цветастом халате с кистями, Эзра Пилгрим сидит на кушетке, рядом с ним бутылка рома и содовая. Он медленно тянет ром. Джордан терпеливо ждет.

Джордан. Любовь не гибнет и не лжет.

Пилгрим. Я не в силах начать неделю без стаканчика-другого, и ты это знаешь, мальчик. Ничего, ничего, не волнуйся, Ал. Я не про стихи. Порядок. Читай. Читай.

Джордан указывает ему на бутылку.

Нет-нет, я все. Убери бутылку.

Джордан *(декламирует)*.

«Любовь не гибнет и не лжет.
Умрут влюбленные. Любовь
в сердцах других влюбленных вновь
бессмертной розой расцветет.
И эту розу мы сквозь дым
годов, где гибли сыновья

и предавали нас друзья,
слезами счастья оросим.
Надежда, жившая во мне
всю жизнь, хоть гибли сыновья
и предавали нас друзья,
сейчас, на грани бытия,
мне просияла в тишине.
А. П. Джордан».

Пауза.

Твой приговор, Пилли!

Пауза.

Ты же знаешь, я вынесу любой.

Пилгрим наливает себе.

Пилгрим. Это вроде как на рождественскую открытку. Или еще хуже — как на последней странице подпись под мутной фотографией покойника. Но зато автор — А. П. Джордан, и я не сошел с ума, чтобы его отвергать. Как называется?

Джордан. «День поминовения». Эпиграф: «Посвящается Э. Т.». Нет, «Посвящается А. Г.». И вшивые восемь с половиной долларов тебя не разорят. Рождественская открытка? Ты знаешь, кто лучше всех писал для рождественских открыток? Уильям Блейк. А в общем, делай что хочешь. Может, это недостаточно современно для твоего псевдорадикального листка, но что могу, то могу.

Пилгрим. Альберт, я же тебе сказал, что с радостью напечатаю. Сегодня понедельничное утро, не мучай старого друга. Я ценю твои произведения, особенно рассказы, и я тебе сказал, что пришлю мальчика с магнитофоном, чтобы ты надиктовал свои воспоминания. Береги глаза! А эта вещица кого-то ох как касается. Что значит «предавали нас друзья»? Какие друзья?

Джордан. Послушай, Эзра Пилгрим! Ты думаешь, кроме тебя, у меня нет друзей? Ничего себе самомнение! Ладно. Ты прав. Никого, кроме. Это просто стихотворение.

Пилгрим. «Гибли сыновья». Это не просто стихотворение, Альберт.

Джордан. Послушай, Эзра, я знаю, что ты мечтал стать адвокатом. Так вот, я слишком стар, и нечего упражняться в красноречии на мой счет. Слышишь? Друзья предавали — и точка. Сыновья гибли — и все тут. На восемь с половиной долларов правды.

Пилгрим. Ты имеешь в виду мое так называемое влияние на Младшего? Что я позволял ему рыться в моих книгах? Что я заставлял его читать Сезера, и Маркса, и Фанона [1]? Что в этом дурного?

Джордан. Я говорю о жизни. О жизни, понял? О жизни.

Пилгрим. Что я брал его статьи в «Горн»?

Джордан. Эзра...

Пилгрим опять берет бутылку.

Пилгрим. О жизни? Я старый холостяк, Альберт. Мне не так повезло, как тебе, и у меня нет никакой семьи, кроме вот этого.

Джордан. Не так уж тебе не повезло, Эзра. Ты чуть не украл у меня сына. Оставь в покое бутылку!

Пилгрим. Младшего?

Джордан. Да.

Пилгрим. Украл у тебя сына? А-а... так вот о чем эти стихи. Вот что значит «предавали нас друзья». Я выпью еще стаканчик, Альберт, потому что...

Джордан. Взгляни правде в лицо, Эзра. Пора. Мы боимся, боимся, боимся взглянуть правде в лицо. Эти стихи — правда...

[1] Эме Сезер — поэт с Мартиники, сочетает революционные взгляды с национализмом. Франц Фанон — алжирский левацкий идеолог.

Пилгрим. Я пытался украсть у тебя сына.

Джордан. Друг мой...

Пилгрим. Что же такое ты мне приписываешь? Я помог убить мальчика? Я был для него дядя Эзра.

Джордан. А я был для него дядя Том. Я его отец, и я дядя Том. Ты печатал в «Горне» его революционный вздор, потому что ты, Эзра, сам помирал от страха; ты отрекался от всей доставшейся нам культуры. Друг мой, вспомни-ка, кем мы были и какие принципы почитали священными?

Пилгрим. Я думал, что я издатель, для меня новость, что я еще и убийца. Альберт, ты меня называл кем угодно, только не убийцей. О Боже!

Джордан. Тс! Разбудишь ребенка.

Пилгрим. Какого ребенка?

Джордан. Неважно. Просто перестань кричать. В доме ребенок.

Пилгрим. Надеюсь, Мейбл ничего не узнает. У тебя тут кто-то есть, Альберт? У тебя девушка, потому что Мейбл сбежала? Ладно, это меня не касается. Но я не собираюсь уйти из твоего дома и всю жизнь носить в сердце чувство вины за Младшего. Не собираюсь. Слышишь?

Джордан. Прошу тебя, не кричи, Эзра, они убили его. Они прострелили его насквозь. И они разорвали мое сердце, теперь ничем, ничем его не залечишь.

Пилгрим. Почему «они»? Его застрелил в запале тупой полицейский. В стране было военное положение.

Джордан. Дурное общество, дурное общество. Вспомни, Эзра, в каком обществе мы провели нашу юность! В обществе великих умов, великой музыки. Так, Пилли? И образованностью мы превзошли самих себя — так, Пилли, мальчик? Пока наши сверстники гонялись за юбками, пили грог и по-собачьи нюхали зад стариковской пенсии, мы с тобой тут на веранде, там, возле кадки с папоротником, после работы, забыв про обед, читали друг другу Карлейля, Маколея, Эдуарда Булвер-Литтона! Да, друг мой, А. П. Джордан и юный Эзра Пилгрим приобщались к культуре.

Пилгрим. Альберт, Бельмонт наш — деревня; представь, что твой сын был деревенским Гампденом.

Джордан. Мальчик был дикий, Эзра. Он обзывал меня фашистом, он был совсем дикий. У него были дикие приятели, дикие идеи. Он говорил, что я распоряжаюсь в доме, как на уроке, но со времен армии у меня слабость к дисциплине. Иногда мне хочется выпороть ремнем всю эту чертову страну со всеми ее министрами. Мальчишки! *(Передразнивает.)* «Почему не работает телефон?» Хлясь! «Опять отключили воду?» Хлясь! Хлясь! Мальчик был дикий. Прости меня, Пилли. *(Наливает Пилгриму из бутылки.)* Я тебе кое-что хочу показать. *(Подходит к проигрывателю.)*

Пилгрим. Альберт, черт побери, не могу же я сейчас слушать музыку.

Джордан. В доме тихо. Мейбл нет, и Фредерик ушел. В каждую годовщину гибели Младшего он убегает в горы. Ты это знаешь.

Пилгрим. Послушай, Альберт. Я понимаю, ты на пенсии и тебе скучно, но сегодня ведь понедельник, адский день в типографии. Я зайду после работы, а сейчас, если можно, давай стишок.

Джордан. Никаких «давай стишок»! Дай мне стихотворение.

Пилгрим. Дай мне стихотворение. До обеда культура речи у меня хромает.

Джордан. И ты просто так возьмешь и напечатаешь? И даже не спросишь, кто это А. Г.?

Пилгрим. Да, возьму и напечатаю, Альберт. Меня беспокоят строки, которые касаются меня, но я его напечатаю. На этом я пошел.

Джордан. Спроси.

Пилгрим. Что спрашивать, друг? Это не мое дело.

Джордан. Не пожимай своими дурацкими плечами, Эзра Пилгрим!

Пилгрим. Слушаюсь, учитель! Я не пожимаю своими дурацкими плечами. Итак, кто такой А. Г.? Гитлер. *(Поет.)*

Убегай, Адольф Гитлер, убегай!

Пауза.

Альберт, я упаду в обморок от любопытства.

Джордан. Старик, ты упадешь в обморок от потрясения. Вчера поздно вечером в этот дом вошла девушка. Девушка с улицы — такая усталая, что она проспала все это время и просыпалась, только чтобы кормить и пеленать ребенка. Она стояла здесь на веранде около калитки с папоротником. Американка, бродяга. Я уложил их в комнате Младшего. Они уснули, а я глядел на них — это было пиршество для глаз. Так вот, ее зовут Анна Гершель.

Пилгрим. Значит, я могу идти?

Джордан. Я ходил по дому на бархатных лапках. Я предупредил солнце, чтобы оно не звенело лучами. Я хотел, чтобы она отоспалась после тридцати пяти лет блужданий по разбомбленному Лондону. Ложась спать, она сказала мне в шутку: «Может быть, я когда-нибудь потанцую для вас» — как Эстер, Эстер Траут. Верь мне, Эзра, она — Эстер Траут.

Анна выходит из спальни.

Пилгрим. Понятно. Пока! Удивительно.

Анна. Привет... Я не знала...

Пилгрим. Хелло. Доброе утро.

Джордан. Анна, это мой дорогой друг и издатель Эзра Пилгрим.

Анна. Боже, да я на небе. Шутка.

Джордан. Вы проспали целую вечность. Эзра — ярый балетоман и дирижер-надомник вроде меня. В воскресенье утром он ставит пластинку, открывает бутылку, садится в кресло и дирижирует с закрытыми глазами. Я включу... Вы не потанцуете для мистера Пилгрима?

Пилгрим. Альберт...

Анна. У-у-у, постойте, наконец-то! Что, для мистера Пилгрима? Боже, я думала, тут какая-то ловушка. Потанцевать? Но это Шопен.

Джордан. Видите ли, нам так редко представляется возможность. Я думал...

Анна. Вы спятили. Простите. Я хочу сказать... О Боже, я влипла. Извините меня. Это я пошутила на ночь, насчет танцев.

Джордан. Да, я знаю. Вы ничего не обещали. Я думал, что, может быть, вы подарите радость, восторг, чистое духовное наслаждение двум старикам...

Анна. Танцевать? После родов я не танцевала... Я не балерина... и сейчас полдевятого... утра.

Джордан. Простите. Мое предложение прозвучало немного непристойно...

Анна. Миссис Джордан вернулась? Я хочу сказать ей спасибо.

Джордан. Она уехала.

Анна. Уехала. Ага... Понятно. Ужасно сожалею, мистер Пилгрим, но я, понимаете, никогда не была такой уж известной танцовщицей. Так, офф-офф-офф-бродвейская цыганка... И ничего непристойного, мистер Джордан, вы отродясь не можете ни сказать, ни сделать... Поверьте.

Джордан. Это был всего-навсего эгоистический безумный порыв. Не сердитесь на меня. Пилли, тебе пора на работу. Боже, я чувствую себя грязным распутником.

Пилгрим. Рад был познакомиться с вами, мисс...

Анна. Просто Анна. Мне нравится Тринидад. Вы счастливый человек, что живете в такой прекрасной стране и имеете такого прекрасного друга, как мистер Джордан.

Джордан. Пилгрим, тебе пора на работу.

Анна подходит к проигрывателю и хочет поставить пластинку.

Не надо танцевать, мисс цыганка. Моя просьба может показаться действительно непристойной...

Пилгрим. Молчи, Альберт, все всё понимают...

Джордан. ...а я отнюдь не имел в виду ничего непристойного, я просто хотел в это дивное, прекрасное утро показать моему другу, что есть еще изящество и невинность в нашем убогом мире...

Анна. Присаживайтесь, мистер Пилгрим... Так, здесь есть пассаж легато, это мне будет полегче. Черта ли! *(Она находит на пластинке часть помедленнее.)* Спрячьтесь куда-нибудь, и я попробую... Это как Сусанна и Старцы, только они были просто старые похабники. И это не профессиональный просмотр. Я счастлива — и какого черта, хватит болтать, леди... *(Она танцует.)*

Пилгрим любуется ею, начинает аплодировать.

Нет, нет, не хлопайте. Это ужасно! Ужасно! *(Останавливается.)* Выключите музыку. Пожалуйста. Пожалуйста, выключите.

Джордан. Это было прекрасно...

Пилгрим. Удивительно. Старики всегда лелеют подобные воспоминания. Однажды в Лондоне я видел Павлову.

Анна роется в пластинках, выбирает одну.

Анна. Чья это?

Джордан. Сына. Младшего или Фредерика.

Анна. Этот ритм мне подойдет больше. Если придется расплачиваться за гостеприимство. *(Она ставит пластинку, оглушительный рок; танцует, дикие движения, как в диско.)* Джентльмены, будьте как дома, ловите кайф!

Джордан. Прекратите! Нет! Лучше б она умерла. Лучше б она умерла! Что они сделали с тобой, Эстер? За что ты себя так мучаешь?

Анна. Я не хотела, чтобы у вас было ложное впечатление. Я не святая, мистер Джордан.

Пилгрим. Никто не святой, детка.

Джордан. «Никто не святой, детка»! Пилгрим, перестань говорить, как янки! И вообще тебе давно пора на работу.

Пилгрим. Однажды в Лондоне я видел Павлову. Она была как юная березка при лунном свете. И сейчас на мгновенье...

Анна. Я не Павлова, мистер Пилгрим. Благодарю вас. *(Подает ему руку.)*

Пилгрим. Дай вам Бог счастья, Анна. Присматривайте за ним. Он опасный. Он сидит в кресле и ткет паутину воспоминаний. Пока, Ал! *(Уходит.)*

Анна. Он милый человек. У вас милые друзья. Друг, какая во мне злоба. У!

Джордан. Вы считаете, что с вами дурно обошлись?

Анна. Дурно обошлись. Ах нет, нисколько. Была такая секунда, когда показалось, что я снова... Понимаете? Вы стали...

Пауза.

Забудьте об этом. Я хочу почувствовать благодарность за эти часы покоя. Вы так и не спросили, кто я.

Джордан. Я сразу понял, кто вы.

Анна. Вот как? Тогда вы знаете больше, чем я сама. И вас это не пугает? Довольно оскорбительно. Не знала, что это так заметно. Нет, я не такая резкая, это я говорю резко. Господи, никогда не спала так долго... Понимаете, начинаешь звездочкой в каком-нибудь крохотном городишке, потом получаешь первый удар: таких, как ты, десять тысяч; а потом начинаешь мстить своему честолюбию и не успеешь оглянуться, как у тебя ребеночек, а папаша сбежал. И еще объявление: «Требуется танцовщица», и вот ты, Павлова с Род-Айленда, в десять утра пляшешь «Пугливых цыплят» под красными лампочками в пустом баре в Нью-Джерси, и на титьках у тебя по звезде, но, черт возьми, ты все равно пляшешь.

Джордан. Все люди искусства идут на компромиссы. Не плачьте, милая. Лучше говорите.

Анна. Я вышла из того бара в мороз и на солнце и почувствовала себя такой замаранной, такой опустившейся, что заняла где сколько могла и в аэропорту сказала: «На юг! Чем дальше, тем лучше». И это был самый дальний билет! Мне необходимо отмыться. Я готова сейчас же уйти. Я скоро покину вас, мистер Джордан. Как только мне переведут деньги. А пока я вам очень признательна. Очень. Вы как святой или что-то вроде, вы это знаете?

Джордан. Я не святой.

Анна. Вы так и не спросили, кто я.

Джордан. Я думал, вы сами расскажете, когда придет время. Если пожелаете. А сейчас ничего не надо рассказывать.

Анна. По сравнению с вами я грубая и вульгарная.

Джордан. Вы станете знаменитостью. Великой балериной. Вы прославитесь, и я буду говорить: «Анна Гершель танцевала в моем доме».

Анна. Больше я в это не верю. В славу и все такое. То есть я считаю, это нормально — быть о себе высокого мнения. Понимаете? Не надо ждать, что похвалит критика.

Джордан. Я понимаю.

Анна встает, прохаживается.

Анна. Не говорите «я понимаю». Потому что вы не понимаете. Простите. Но вы действительно ни черта не понимаете. Простите меня. Слишком легко полететь по наклонной плоскости и, не моргнув, оказаться на дне. Когда вы попросили меня танцевать, я подумала: вот, вот оно — словно себя увидела в грязном зеркале. Снова Восьмая авеню. Безработная бригада. Я участвовала во всех спектаклях, я была незаменимая дублерша во всех кордебалетах — свободолюбивая, свободно любящая Анна. Знаете, как я смотрела на мир? Господи, очисти мои помыслы!

Джордан. Анна, вы слишком жестоки к себе.

Анна. Не слишком. Кого я ненавижу, так это себя. Я ждала, ждала, что это случится. И дождалась — расплатилась собой с квартирохозяином. А потом так и пошло — ничего за ничего. Я говорю как шлюха. Я не шлюха. У меня нет другого платежного средства.

Джордан. Дорогая моя... дорогая...

Анна. Я бы так хотела опять верить людям. Раз я вся выложилась перед одним парнем. То есть выложила душу. Поднесла на тарелочке...

Джордан. Вы обнажили перед ним душу, а он устрашился и убежал. Старая история...

Пауза.

Вы можете говорить с английским произношением?

Анна. Я? Не. Не выйдет.

Джордан. А вы пробовали? Может быть, на сцене?

Анна. Разве что пару раз. Для смеха. Тоже мне радость. А что?

Джордан. Вы могли бы сказать: «Теперь мне здесь даже нравится. Не надо над этим смеяться...»?

Анна. С английским произношением? Это выйдет ужасно.

Джордан. Попытайтесь, пожалуйста. Один раз. Для меня.

Анна *(хихикая)*. Я же танцовщица, я не драматическая.

Джордан. Ну попробуйте. «Теперь мне здесь даже нравится. Не надо над этим смеяться... Альберт».

Анна. О'кей. *(С утрированным просторечным выговором.)* «Теперь мне здесь даже нравится, не надо...» *(Хохочет.)* Совсем как кокни, а?

Джордан. Какого вы вероисповедания?

Анна. Никакого. А что?

Джордан. Подойдите поближе, прошу вас.

Анна. Ничего не понимаю. Я же танцевала.

Джордан *(поднимает согнутый локоть)*. Пожалуйста.

Анна. Это труднее, чем платить за квартиру. *(Берет его под руку.)* С ума сойти. Что же дальше?

Джордан. Взгляните на свет. Где Траут, там Хоуп, там Надежда.

Замрите на миг. Склоните голову от стыда — нет, поднимите ее гордо, с вызовом.

Анна. Гордо, с вызовом.

Джордан. К сожалению, мы опоздали на двадцать лет, достопочтенный ребе, но у меня было легкое недержание мочи и тяжелый приступ трусости, не говоря уж о колониальном комплексе неполноценности,— но все-таки мы пришли.

Анна. Гордо и с вызовом — это ужасно.

Джордан. Так что проделайте все это как можно скорее, и я буду вам премного обязан — вы восстановите мою честь, ведь я остался верен слову,— и пусть это будет в первый и последний раз, как крещение, а то дело объявите недействительным — потому что двоеженство серьезное преступление, спросите Мейбл, и можете поцеловать невесту — но не слишком. *(Обращается к Анне.)* Я ведь сдержал слово, правда?

Анна. Вы кого-то любили, да?

Джордан. Во время войны.

Анна. И вы до сих пор с ней видитесь?

Джордан. Я с ней разговариваю. Это вздор. Потому что она умерла. Утонула в бассейне в Корал-Гейблс, во Флориде. Пыталась высвободиться из резинового круга — и инфаркт. Жизнь — нелепая штука.

Анна. Простите.

Джордан. Есть ли прощенье мне?

Анна. Есть. Вы меня познакомите с миссис Джордан?

Джордан. Конечно. Мейбл — памятник мне. И вы полюбите моего сына Фредерика — это я знаю. У него сердце матери.

Анна. Его картины — они странные.

Джордан. Современное искусство. Это его они должны бы застрелить за такое дерьмо.

Анна. Не надо так говорить. Мне надо погулять с ребенком. Может, пойдем вместе?

Джордан. Вам не кажется, что это будет выглядеть дурно?

Анна. Почему?

Джордан. Вам так не кажется?

Анна. Разумеется, нет. Я хочу, чтобы вы пошли. Пойдемте.

Фредерик входит на веранду, этюдник через плечо, под мышкой холст.

Фредерик *(напевает)*.

И снова, друзья, на пляж, на пляж
И там сожжем докрасна зады...

(Громко говорит.) Я дома, профессор. Я пришел и хочу есть. *(Входит.)* Что это?

Джордан. Фредерик, это Анна Гершель. Анна, это Фредерик.

Фредерик. Анна Гершель.

Анна. Хелло.

Джордан. Анна — великолепная танцовщица.

Анна. Ничего подобного. Ваш отец был очень добр. Я устала, и заблудилась, и... *(Джордану.)* Звучит липово, правда?

Фредерик. Анна, вы любите живопись?

Анна. Я в ней мало что понимаю.

Слышен плач ребенка.

Фредерик. Что это?

Анна. Это ребенок...

Фредерик. Ваш?

Анна *(кивает)*. Мой... Я как раз хотела с ним погулять...

Фредерик. Он в комнате Младшего. Потрясающе! Она была такая пустая. Пойдемте, пойдемте, вы с ним погуляете, я его повожу. Мальчик? Мы вместе с ним погуляем, и я прожужжу вам все уши о моей живописи. Я не краду вас у старика? Я краду ее у тебя, профессор?

Джордан. Кради — благословляю. Я думал, ты голоден.

Фредерик. Профессор, как ты можешь сейчас говорить о еде? Анна, в его душе нет поэзии. Он обыватель. Пошли, пошли... Я только закину это добро. Я был в горах...

Он обнимает Анну за плечи, и они уходят. Джордан включает проигрыватель. Тихая музыка. Свет гаснет.

Сцена 2

Неделю спустя. Та же сцена. Утро. Мейбл у окна. Джордан в кресле.

Мейбл. Альберт, ты для меня чересчур молодой, слышишь? Семь дней я отдыхаю в Принсес-Тауне, и за эти семь дней ты не только заводишь девицу, но еще ухитряешься заиметь младенца. За одну неделю столько сделать успел один Всемогущий. Если ты будешь так жить на пенсии, я умру. От изумления.

Джордан. Но ведь это ты меня бросила, старая королева.

Мейбл. Я вернулась домой, да. Но я вернулась домой не затем, чтобы видеть в окошко, как мой последний сын и хиповая девка прогуливаются по парку под ручку, как муж и жена. Я пойду прибью вывеску, слышишь? «ПАНСИОНАТ ДЖОРДАНА».

Джордан. Под ручку? Надо поглядеть. *(Он подходит к окну, постояв, обнимает Мейбл за талию.)* Семь лет назад их могли тоже убить. Может быть, есть Надежда.

Мейбл. Альберт, как ты только ее впустил? Как дал себе задурить мозги?

Джордан. Я тебе говорил. Она истратила все до последнего цента, чтобы улететь как можно дальше, на край света.

Мейбл. Бельмонт — это край света?

Джордан. Она прилетела к друзьям. Они живут где-то поблизости. Но адрес был не то старый, не то неверный, а на гостиницу у нее не осталось. Самолет опоздал на четыре часа, куда можно она добралась на такси, а после пошла пешком.

Мейбл. Потом она взглянула в окно и увидела Папу Бельмонтского, сияющего сквозь стекло, и — о чудо! — у нас жилица. Она должна уехать, Альберт. Ты сам это знаешь. Чтобы остаться здесь насовсем, она зацепилась за Фредерика.

Джордан. Послушай, Мейбл!

Мейбл. Гляжу я на тебя — тебе она тоже нравится, а, Альберт?

Джордан. Тоже? Что ты имеешь в виду?

Мейбл. Ты думаешь, все, что я делаю,— это готовлю обед, пою гимны и терплю твои настроения? Ты думаешь, я не умею читать? Ты думаешь, я не поняла, кто такой Падмор? Ты думаешь, я не читала «Как я участвовал в войне» и не поняла, что, если бы ты тридцать лет назад не был таким трусом, ты бы меня бросил, а? И вот я гляжу, как ты глядишь на нее, и вижу в тебе воспоминания и раскаяние. Господи, неужели я вернулась сюда ради этого?

Джордан. Женщина, у тебя разыгралось воображение. Это тебе бы, черт побери, быть писателем.

Мейбл. Ты думаешь, это ты написал давно; пусть давно, книга-то есть; ты не можешь убить книгу; ты думаешь, мне не больно выглядеть такой дурой? Ты написал там жестокие вещи, Альберт. «Когда я на тебе женился, мама сказала, что мой талант погубят хлопоты по хозяйству. Я погубил свою жизнь». Что «Баррли и крыша», что «Как я участвовал в войне» — думаешь, мне не больно?

Джордан. Женщина, я не хотел сделать тебе больно. Просто мне не хватает таланта. Поэтому и рассказы мои — мелкота. Я мелкий человек, Мейбл.

Мейбл. Так или иначе, я тебе это всегда говорила, никогда не поздно найти кого-нибудь помоложе, хотя бы просто другую. Так вот, если в мое

отсутствие промеж вами что-нибудь было, я не хочу вам мешать. Я всегда чувствовала, ты всегда давал мне почувствовать, что я тебе мешаю.

Джордан. Мешаешь? Где бы, по-твоему, я был сегодня, а, женщина? В каком-нибудь кабаке, цитировал бы Шекспира и Макóлея кучке беззубых пьяниц. Мне никогда не хватало величия, чтобы писать о простых вещах, об истинном великолепии, о тебе, дорогая.

Мейбл. На кой черт мне великолепие, Альберт? Я хочу спокойно дожить свои дни, хочу быть уверенной, что не помешала тебе как писателю. А сейчас я вижу в твоих глазах сумасшедшую страсть, точно ты хочешь опять стать молодым и сбежать с ней... Это невыносимо.

Джордан. Мейбл. В этом доме ничего дурного не произойдет. Я не желаю оскорблять воспоминания. Все очень просто. Слушай, Мейбл: Уильям Блейк. *(Декламирует.)*

Добро. Смиренье. Мир. Любовь —
Вот перечень щедрот,
Которых каждый человек,
Моля и плача, ждет... [1]

Мейбл уходит.

Цени в себе Добро и Смиренье, чтобы не отогнать ангела от своей двери...

Входят Фредерик и Анна с ребенком на руках.

Фредерик. Привет, па.

Анна. Хелло, мистер Джордан. Кажется, пеленки мокрые. *(Уходит.)*

Фредерик. Славно прогулялись. Что-нибудь случилось? По твоей спине видно, что ты не в себе.

Джордан. С того дня, как ты отказал этому болвану Баррли, я знаю, что ты, Фредерик, взрослый мужчина.

Фредерик. На что понадобилось тридцать лет.

Джордан. Такова жизнь.

Фредерик. Ладно. Я взрослый. Что из этого?

Джордан. Не упускай возможности. Действуй из принципа и наплюй на сплетни. Ты понимаешь, о чем я?

Фредерик. Весьма смутно...

Пауза.

К чему ты клонишь, профессор?

Джордан. Ты знаешь это стихотворение...

Фредерик. Какое стихотворение...

Джордан. Грей, «Элегия». И я! И я! И я!

Фредерик. Ты декламируешь его тридцать лет... Я знаю его сзаду наперед.

Джордан. Это стихи о забвении, об упущенных возможностях... Сплошные «если бы» да «когда бы»... Послушай...

Фредерик. Ближе к делу, па. И хватит декламировать.

Джордан. Послушай, мальчик. Самое страшное для отца — видеть, как сын повторяет его прежние ошибки. Когда я смотрю на вас и вижу, что это не Фредерик Джордан и Анна Гершель, а Альберт Перес Джордан и Эстер Траут, тогда я понимаю, что ты, мальчик, можешь унаследовать от меня только страх и позор. Ты любишь ее — забудь прошлое и займись настоящим. Не задавай ей вопросов, и пусть она не задает вопросов тебе. Возьми ее такой, как она есть, со всем, что у нее есть, и научи ее принимать тебя таким, как ты есть. А прошлое, сплетни и что скажут люди — забудь об этом. Сил у тебя хватит. С того дня, как ты отказался продать крышу, я знаю, что сил у тебя хватит.

Фредерик. Я пошел в тебя, па.

Джордан. У нее есть все, что тебе нужно. Она умная, честная; женись на ней, вот тебе мое благословение.

Фредерик. Беда с тобой, па. Что она, твоя собственность, что ты

---

[1] Перевод В. Топорова.

распоряжаешься ею? Ты не повелеваешь всем светом. Перестань командовать. Решать ей, не тебе.

Джордан. Прости. Да, ты прав. Но не просиди всю жизнь в уборной...

Фредерик. Что ты хочешь этим сказать?

Входит Анна.

Джордан. Что я хочу сказать... Что мне надо в уборную! (*Уходит.*)

Анна. Что случилось?

Фредерик. Он говорит, что ничего не видит в этих очках и не может позволить себе новые. Вот он и злится.

Анна. Может, это просто близорукость. Когда я сюда пришла, он так меня рассматривал и назвал другим именем: Эстер. Кто такая Эстер?

Фредерик. Ты читала его рассказы. Ты хочешь спросить, была ли она в самом деле?

Анна. Угу. Если все в самом деле так было, то это ужасно! Как он с ней обошелся!

Фредерик. Но так и должно быть. Что ты хочешь от белого негра?

Анна. Фредди Джордан, паршивый черный шовинист, поди-ка сюда! Поди-ка сюда! *(Она гонится за ним, шутливая борьба, они обнимаются.)* Ты ему сказал?

Фредерик. Нет еще.

Анна. Ты хочешь, чтобы сказала я?

Фредерик. Нет, Анна. Я скажу сам.

Джордан возвращается.

Джордан. Ах, простите. У вас разговор. Не буду мешать.

Анна. Пожалуйста, не уходите, мистер Джордан... Прошу вас, сядьте... Фредерик хочет...

Джордан. Я понимаю, понимаю...

Фредерик. Ничего ты не понимаешь. Я всю жизнь слушал тебя. Теперь ты послушай.

Джордан. А что, если я обо всем догадался?

Фредерик *(Анне)*. От него можно спятить. Слушай, что я тебе скажу.

Джордан. Я просто волнуюсь. Я умолк.

Пауза.

Молчу.

Пауза.

Я нем, как камень.

Пауза.

Как могильный камень.

Фредерик. Анна уезжает. Погоди...

Анна. Мне пора. Этот дом становится моим домом, но это не так. Об этом мы говорили в парке. Благодаря вам и миссис Джордан силы ко мне вернулись, и я в состоянии ехать домой. Перевод я получила еще вчера, но все не решалась сказать вам.

Джордан. Вы же знаете, вы можете жить здесь сколько угодно. Эта неделя была... В общем, я был счастлив. Я думаю, вам тоже повезло. Видите, как все получилось? Где есть Траут, там есть Хоуп, есть Надежда. Фредерик будет вам хорошим мужем. Он взял у своего отца самое лучшее...

Фредерик. Не торопи события, пап.

Джордан *(поднимается, возбужденный)*. Мальчик, если я сейчас что-нибудь делаю, так это именно тороплю события. Простите меня, я тороплю события, потому что видите эти часы? Посмотрите на них!

Фредерик. Черт возьми, папа, послушай...

Анна. Мистер Джордан, прошу вас...

Джордан. Эстер...

Анна. Меня зовут Анна...

Джордан. Этот маятник каждым взмахом отсекает кусок вашей жизни. И я говорю вам: не медлите. Делайте то, что считаете нужным, и наплюйте на весь мир.

Анна. Успокойтесь, пожалуйста, мистер Джордан.

Джордан. Я успокоился, Анна. Анна Гершель.

Анна. Я уезжаю. Как я сказала. Но я уезжаю не с вашим сыном. Я уезжаю одна. Мы любим друг друга, но совсем не в том смысле, как вы думаете. Вы меня слушаете?

Джордан. Я слушаю. Я все это уже слышал... Но я слушаю.

Анна. «Теперь мне здесь даже нравится. Не надо над этим смеяться, Альберт, я думаю, вы глупый, восторженный и симпатичный человек. Три месяца вы беспрестанно ко мне приставали. Это было похуже бомбежек.

На стену проецируется Эстер в военной форме.

Я все обдумала, всевозможные осложнения, но если вы так хотите, я буду вашей женой».

Проекция на стене медленно гаснет.

Вы не слушали, мистер Джордан.

Джордан поднимается, глядит на них растерянно.

Джордан. Я слушал. Я это уже слышал. Так когда вы едете?

Анна. Сейчас. Так легче. Фредерик позвонил, вызвал такси, вещи уложены.

Фредерик. Я провожу ее в аэропорт.

Джордан. Лети с ней на одном самолете, мальчик! Не будь болваном, как твой старик! Тебе следовало уехать еще в тот день, когда сумасшедший янки захотел купить эту крышу. Ты тогда сделал ошибку и будешь раскаиваться! Теперь тебе дают еще один шанс! Уезжай отсюда. Я здесь засох, засохнешь и ты. Ты же художник. Божьей милостью. Вот об этом и твердит это чертово стихотворение. Не хорони здесь себя заживо. Садись на самолет.

Пауза.

Простите меня.

Фредерик. Ты остался здесь. Я остаюсь.

Джордан уходит.

Анна. Он никогда не сдается? Впрочем, из него вышел бы замечательный свекор.

Фредерик. Об этом мы уже говорили.

Гудок такси за окном.

Уже приехал.

Входит Мейбл.

Мейбл. Вы могли бы побыть у нас, пока не приведете себя в порядок.

Анна сдерживается, молча уходит.

А где его величество Монтесума? Я что-то скверно себя чувствую.

Фредерик. Где-то поблизости, надо думать, дуется. Этот человек решил, что я должен повторить его жизнь. И сделать то, чего он сам не сделал. А я не могу до него докричаться. Так же как в свое время не мог Младший.

Мейбл. Этот человек? Этот человек — твой отец. Он учил кое-кого из лучших людей страны. Не смей говорить «этот человек». Не могу понять, почему он в таком отчаянии.

Входит Анна с ребенком и сумкой.

Альберт! Альберт! Иди скорей сюда.

Анна. Я напишу ему записку.

Мейбл. Нет. Он придет.

Анна. Что я могу всем вам сказать? У меня целую неделю был собственный дом. Глядя на вас, я обрела силы. Я не пишу писем, но, может, когда-нибудь про все это напишу и пришлю. Фредерик, помоги, пожалуйста, с сумкой... Как думаешь, он не придет попрощаться?

Мейбл. Альберт!

Появляется Джордан, в руке у него роза.

Джордан. Я был в саду, выбирал розу для Павловой. *(Декламирует.)* «Как часто редкий перл, волнами сокровенной...»

Мейбл. Боже, опять стихи...

Джордан *(декламирует)*.

В бездонной пропасти сияет красотой...

Снова гудок такси.

Как часто лилия цветет уединенно,
В пустынном воздухе теряя запах свой...

(Целует ее.) В день поминовения принято дарить маки, мисс Хоуп. Но для вас — этот маленький цветочек, мисс Надежда Эстер Анна Гершель Траут.

Мейбл. Чертов таксист разгуделся.

Джордан. Джордан обалдуй,
Джордан белый негр...

Анна. Мы пошли?

Джордан. Такси уже здесь?

Анна дает ему в руки ребенка.

Мейбл. Скажи что-нибудь, Альберт.

Пауза.

Ты что, проглотил язык?

Джордан закрывает глаза, поднимает руку и благословляет ребенка.

Джордан. Пусть этот младенец... Пусть этот младенец... *(Передает ребенка Мейбл.)* На. Подержи. *(Уходит в соседнюю комнату.)*

Мейбл. Держите. *(Отдает ребенка Анне и уходит за Джорданом.)* Что с тобой? Что случилось, Альберт? Это из-за Младшего? Скажи мне. Ну поговори со мной. Что ты плачешь, как маленький? Альберт, пора быть взрослым!

Фредерик и Анна ждут.

Фредерик. С ним будет порядок. Пошли.

Анна. До свидания. До свидания!

Мейбл входит в комнату и подходит к окну.

Мейбл. До свидания, Анна. Прощайте! Прощайте! *(Она глядит на входящего в комнату Джордана.)* Господи, понимаешь, у меня жуткая боль в груди. Она меня прикончит.

Свет гаснет.

Я готовлюсь уйти, Альберт. Сиди смирно и не вставай. Я готовлюсь. Подвигом добрым я подвизалась [1], как говорится в Писании. Я закончила свои труды, и, хотя подвигом добрым я подвизалась, в общем, против тебя, я не страшусь. Меня там ждет Младший и целая куча людей, которых не так уж хочется видеть, да Бог меня туда так и не позвал. И уж наверняка я там буду чистить до блеска корону, которую Он предназначил тебе. Потому что ты был вздорный, тупой и упрямый, а для меня все равно был король. Я устала и ухожу. Выключи рефлектор. И еще, Альберт... *(Она направляется к двери, оглядывается.)* Не трать деньги на лотерею. Потому что не выиграешь. *(Уходит.)*

---

[1] Второе послание к Тимофею, 4, 7.

Джордан один.

Джордан. Старая королева меня покинула. Как и молодой принц. Ах, Эзра, Эзра! Я вооружался для встречи со смертью, но обезоружен утратами. В беспорядки, когда все кричали «Власть черным!», погиб мой сын. Он побежал туда из презрения ко мне — не из надежды же на всеобщее счастье,— и вот его нет, и ничего в стране не изменилось. Другой сын избрал медленное умирание дома — искусство. Теперь он живет в этой стране как отшельник. Я принес в жертву двух сыновей, одного — политике, другого — искусству. Мой брат, вокзальный носильщик, сейчас во главе профсоюза Хартфорда в Коннектикуте — он постоянно и лицемерно зазывает меня в Штаты. Он прекрасно знает, что там я не найду себе места. Я бы не нашел себе места и в Англии. Я был там однажды, и мне она показалась противной. Пилли, помнишь, какой она виделась нам отсюда? Архипелаг в сверкающем море. Города, где все расы соединились и образуют единую расу. Афины. Слава Греции. Ты это помнишь, Пилли, друг. Не говори, что не помнишь.

Пилгрим в черном костюме и шарфе появляется на веранде.

Пилгрим. Я помню. Помню это чересчур хорошо.

Джордан. Какая-то учительская конференция. И каждый день я дрожал, что вдруг столкнусь с Эстер Хоуп. Нас на поезде отвезли на ферму в Беркшире, Пилли, парней с Мальты, из Судана, со всего Содружества. С Цейлона... В смертоубийственный холод...

Пилгрим. В этом-то и тоска нашего поколения, А. П. Империя скрылась в сумерках, и нам плохо видно. Вчера в первый раз в жизни купил лотерейный билет.

Джордан. Ты, Пилли? *(Смеется.)* С чего это?

Пилгрим. Понимаешь, Альберт, надо было чем-то себя подхлестнуть. Сиди, сиди. И не сдавайся. Продолжай воспоминания. Получается превосходно. Я пришлю мальчика. *(Он тает во мраке.)*

Как прежде, входит Корреспондент.

Джордан. Я ведь учил, учил этих маленьких чертенят. Учил со страстью. Чему надо, чему не надо. Некоторые из них сегодня важные шишки. Судьи. Но в классе я был сам гнев Господень, да, Пилли, друг. Когда я входил, там была гробовая тишина — такой тишиной приветствуют королей. Я учил их с любовью, которую не могли победить книги, и я вызывал в них страх, который придал им веру в себя. *(Он поднимается.)* И вот я состарился, Пилли, друг! Где ты? Не покидай меня и ты, Эзра Пилгрим. Эта рука сжимала ремень, как скипетр; и вот я состарился и рука дрожит, но все равно я скажу: да сверкнут из глаз ваших молнии, когда вы вспомните всех умерших, всех умерших, могилу за могилой — они стоят в вашей памяти, как пустые школьные парты,— и скажете себе: на них обрушивал громы старый Джордан Пиджак, чтобы учить, учить! *(Он надевает пиджак. Подходит к доске. Это уже молодой Джордан.)* Юные бездельники, я стараюсь вдолбить в ваши головы, что́ именно говорит Томас Грей: неважно, где ты родился, неважно, что ты ничем не прославился,— в тебе все равно вся слава, все величие мира. Ты вселенная, в тебе они родятся и умирают. Запомни же ты, Младший, ты, Уолкотт, и ты, Браун, и ты, Фонсека, и ты, Манговая Голова, что поэт размышляет о судьбах самых скромных людей. С первой строки элегии. А теперь закройте учебники и читайте наизусть! *(Он читает строку за строкой, класс повторяет.)*

Джордан и голоса школьников.

Уже бледнеет день, скрываясь за горою;
Шумящие стада толпятся в стороне;
Пастух бредет домой усталою стопою,
Предоставляя мир молчанию и мне [1].

Свет гаснет.

---

[1] Свод из двух переводов В. А. Жуковского «Элегии, написанной на сельском кладбище».

ИОСИФ БРОДСКИЙ

«ШУМ ПРИБОЯ» (1983)

Поскольку цивилизации конечны, в жизни каждой из них наступает момент, когда центр больше не держит. В такие времена не войско, а язык спасает их от распада. Так было с Римом, а до того с эллинистической Грецией. Скрепляющую работу в подобные эпохи выполняют провинциалы, люди окраин. Вопреки распространенному мнению, мир не кончается на окраине — как раз там он раскрывается. И на язык это влияет не меньше, чем зрение.

Дерек Уолкотт родился на острове Сент-Люсия, в краях, где «заходит, устав от империи, солнце». Тигель рас, нагреваемый этим заходящим солнцем, гораздо больше любого плавильного котла к северу от экватора. Область, откуда явился поэт,— настоящий генетический Вавилон; язык там тем не менее — английский. Если Уолкотт и пишет иногда на диалекте креолов, то не для того, чтобы поиграть стилистическими мускулами или расширить круг читателей,— он отдает дань наречию, которым пользовался в детстве — до восхождения на башню.

Подлинные биографии поэтов подобны птичьим, почти тождественны: их подлинные факты в звучании голоса. Биография поэта — в его гласных и зубных, в его метрах, рифмах и метафорах. Свидетельствуя о чуде существования, совокупность произведений писателя — всегда в некотором смысле евангелие, чьи строки обращают написавшего их гораздо радикальнее, чем читателя. У поэтов выбор слов говорит больше, чем сюжет; вот почему лучшие из них ужасаются при мысли о том, что будет написана их биография. Если мы хотим узнать о происхождении Уолкотта, лучшее пособие — страницы его стихов. Вот что сообщает о себе один из его персонажей — и что можно рассматривать как автопортрет поэта:

Я просто красный нигер, который любит море,
У меня основательное колониальное образование,
Племени я голландского, негритянского и английского,
И либо я — никто, либо я — нация.

(Подстрочный перевод)

Эта беспечная строфа информирует об авторе ее так же надежно, как песня, избавившая вас от труда выглянуть на улицу,— о присутствии птицы. Диалектное (в оригинале) «любит» свидетельствует о том, что «красным нигером» он называет себя не ради красного словца. «Основательное колониальное образование» вполне может означать Университет Вест-Индии, который Уолкотт окончил в 1953 году, хотя не только это... Как минимум, мы слышим здесь и презрение к идиоматике, характерной для господствующей расы, и гордость туземца, это образование получившего. «Голландское» — потому что по крови Уолкотт в самом деле отчасти голландец, отчасти англичанин. Учитывая, однако, характер страны, относишь это скорее к языку, чем к крови. Вместо «голландского» (или вместе с ним) могли стоять французский, хинди, креольский диалект, суахили, японский, испанский той или иной южноамериканской разновидности и т. д.— все, что слышал человек в колыбели или на улицах. [...]

Вест-Индия — громадный архипелаг, раз в пять больше греческого. Если бы поэзия определялась только материальным опытом, Уолкотт располагал бы материалом, в пять раз превосходящим тот, что был в распоряжении барда, писавшего на ионийском диалекте и тоже любившего море. В самом деле, если есть поэт, с которым у Уолкотта много общего, то он отнюдь не английский: скорее это — автор «Илиады» и «Одиссеи» или

Сокращенный перевод с английского.

же автор «О природе вещей». Ибо изобразительная сила у Уолкотта — поистине эпическая; от сопутствующей же утомительности его спасает краткость фактической истории страны и чуткость его уха к английскому языку — чуткость, которая сама по себе — история. [...]

Уолкотт — не традиционалист и не модернист. Ни один из наличных «измов» и соответствующих «истов» для его характеристики не подходит. Он не принадлежит ни к какой «школе», стае — да их и не так много в Карибском бассейне, если не считать рыбьих. Есть искушение назвать его метафизическим реалистом, но реализм по определению метафизичен — и наоборот. Вдобавок это попахивало бы прозой. В нем можно найти и натурализм, и экспрессионизм, и сюрреализм, и имажизм, и герметизм, и исповедальность, что угодно. Он просто поглотил, как кит поглощает планктон или кисть — палитру, все стилистические наречия, какие мог предложить Север; теперь он сам большой.

Метрическое и жанровое разнообразие его завидно. В общем же он тяготеет к лирическому монологу и к повествованию. И это, и стремление писать циклами, и пьесы в стихах свидетельствуют об эпических наклонностях поэта — и пора, наверно, так его и читать. Скоро уже сорок лет, как его пульсирующие строки неудержимо накатываются на английский язык подобно приливным волнам и намывают архипелаг стихотворений, без которого карта современной литературы сливалась бы с обоями. Он дает нам больше, чем себя или «мир»; он дает нам ощущение бесконечности, воплощенной в языке, равно как и в океане, всегда присутствующем в его стихах: и фоном, и передним планом, и как тема, и как метр.

Иначе говоря, его стихотворения представляют сплав двух вариантов бесконечности: языка и океана. Следует помнить, что общим родителем обеих стихий является время. Если теория эволюции, в особенности та часть ее, согласно которой мы все вышли из моря, еще не дает течи, то и тематически и стилистически поэзия Дерека Уолкотта представляет собой пример наивысшего и наиболее логичного развития вида. Определенно ему посчастливилось родиться на этой окраине, на этом перекрестке английского языка и Атлантического океана: оба набегают сюда волнами, чтобы затем откатиться. Тот же характер движения — на берег и назад к горизонту — выдерживается в строках Уолкотта, в его мыслях, жизни.

Откройте его книгу и увидьте: «серая, железная гавань / открылась на ржавом шарнире чайки», услышьте, как: «дребезжит небесное окно, / будто вдруг врубили обратную передачу», учтите, что «в конце предложения начнется дождь. / На краю дождя — парус». Это Вест-Индия, это край, который по исторической наивности принял однажды фонарь каравеллы за свет в конце тоннеля и дорого заплатил за ошибку: то осветился вход в тоннель. Такого рода ошибки случаются часто, как с архипелагами, так и с отдельными людьми. Если тем не менее мы должны обозначить этот случай как вест-индский и назвать область Вест-Индией, сделаем так, но поясним, что имеем в виду страну, которую открыл Колумб, колонизировали британцы и обессмертил Уолкотт. Добавим также, что для придания краю статуса лирической реальности требуется больше щедрости и больше воображения, чем для открытия или эксплуатации чего-то, что было сотворено ранее.

Поэты «новой волны»

Перевод с польского ВЛАДИМИРА БРИТАНИШСКОГО

Составление и предисловие ВИКТОРА ВОРОШИЛЬСКОГО

«Поколение-68»

Некогда я написал и опубликовал в варшавском журнале «Веньзь» небольшую статью под названием «Молодые поэты». Первая фраза, сама себе удивляясь и радуясь, сообщала: «Я снова начал читать молодых поэтов, их дерзкие стихи и задиристые статьи, я вслушиваюсь в их голоса на поэтических вечерах, я читаю высказывания критики за них и против них, присутствие молодых поэтов вдруг приобрело для меня значение, какого уже долгие годы не имело».

Это написано двадцать лет назад — в середине 1972 года,— тогдашние «молодые поэты» давно успели стать зрелыми мужами и либо (как некоторые) осуществились в польской поэзии, уже независимо от своего поколения, либо (как другие) отошли на второй план и перестали привлекать внимание читателей. Что ж, такое расслоение, такая дифференциация судеб — жестокий закон художественного процесса, и спорить с ним бесполезно.

Но поколения существуют реально, и те поэты, которых я должен представить, не случайно воспринимались и осмыслялись при посредстве этой категории. Существует нечто такое, как общее переживание поколения. Например, для поэтов, родившихся в двадцатых — и в России, и в Польше,— таким общим переживанием была вторая мировая война; в Польше, для части из нас,— также и то, что наступило сразу после: новый строй в передвинувшихся границах страны, его патетические иллюзии, молодой активизм и постепенное внутреннее испепеление тех, которые поверили было утопии; и еще порыв 1956 года, попытка преобразования деревенеющей действительности в меру собственных мечтаний о ней, а еще позднее... но ведь не об этом поколении — моем — я должен сейчас говорить. Следующее после него — поэты, родившиеся в тридцатых,— характеризовалось большой живостью в создании литературных групп, формулировании программ, затевании журналов. Но именно об этих поэтах написал в определенный момент известный критик Юлиан Рогозиньский, что они «взяли за исходный пункт переживание сомнительной подлинности, которое подкрепляли риторикой», и что «стихи этих поэтов с одинаковыми лицами, а скорее масками, останутся документом (не первым, впрочем, в истории), как можно о фиктивных переживаниях цветисто говорить». Выносить такой вердикт всему поколению было, конечно, несправедливо, потому что и в нем, как и в каждом, можно встретить индивидуальности, которых обобщающий диагноз не касается. Теперь, спустя годы, можно признать не столько виной, сколько бедой этих «неподлинных», что в момент дебюта они имели дело не с действительностью *становящейся,* но с действительностью, которую они *застали* и всеохватывающая инерция которой подшепнула им тактику приспособления, соглашательства и — как сказано — риторики, «цветистого говорения» ни о чем.

Неудивительно, что очередное поколение, поэты 40-х годов рождения, бунтари и неверы, столь резким жестом отрезали себя от своих непосредственных предшественников. В их глазах мир, который те принимали, бесповоротно рушился и компрометировал себя, им неприятно было создавать даже видимость того, что они участвуют в его порядке, живут по его кодексам, пользуются его языком. Это отмежевание, столь же спонтанное, сколь и программное, так бросалось в глаза, что дебютантов конца 60-х годов критики сразу же окрестили — не слишком, впрочем, оригинально — «новой волной», и эта этикетка прилепилась к ним надолго. Сами они предпочитали другие названия, охотнее всего они называли себя «поколением-68», ссылаясь таким образом на историческую ситуацию, которую ощущали — а может быть, в какой-то мере и творили,— как на главное переживание поколения. Об этом я скажу чуть позже, а сейчас пора назвать хотя бы несколько главных героев этого события в польской поэзии. Ими были: Адам Загаевский (род. в 1945 г.) и Юлиан Корнхаузер (род. в 1946 г.), оба из Кракова, Станислав Баранчак (род. в 1945 г.) и Рышард Крыницкий (род. в 1943 г.), оба из Познани, Ежи Кронхольд (род. в 1946 г.) из Цешина и Яцек Березин (род. в 1947 г.) из Лодзи. Едва ли не все они учились или только что окончили факультеты философии или филологии, некоторые входили в редакцию издававшейся в Кракове газеты «Студент» (которую вскоре у них отобрали). Думаю, случайность, что среди фигур первого плана «новой волны» трудно указать кого-нибудь из Варшавы. Тогдашние наблюдатели поэтической сцены проглядели участие в переломе еще двух выдающихся ровесников «поколения-68» — Эвы Липской из Кракова [1] и Рафала Воячека из Вроцлава (оба 1945 года рождения). Правда, эти поэты не участвовали в коллективных манифестах и к тому же дебютировали несколько раньше остальных. Липская двигалась в пространстве, обозначенном более старшей ее учительницей и приятельницей Вислявой Шимборской, и в первый

[1] Стихи Э. Липской см. в «ИЛ», 1975, № 12. *(Прим. ред.)*

момент Липскую принимали даже за способную подражательницу — это было несправедливо, ибо при всем, что объединяло (и объединяет доныне) обеих превосходных поэтесс (ирония, парадоксальность взгляда на мир, своеобразное философствование в стихотворении-притче), у каждой из них — собственный тон, и тон Липской, если ограничиваться простейшей характеристикой, более горький и мрачный. Однако то, что Липская ставила свой голос в акустическом пространстве, в котором воспринимали Шимборскую, означало такой же, как демонстративные жесты «поколения-68», отказ признать фасадное существование апробированных свыше журналов и поэтических групп подлинной жизнью поэзии. Это был отказ такой же, но как бы недовыраженный, и понадобилась однозначность ситуации лет на пятнадцать более поздней, чтобы в изданном бесцензурно томике Липской заметили эту общность с поколением — с его этической и также эстетической позицией,— чего не умели разглядеть в ее раннем творчестве. Бунту поколения созвучны были также — по-своему — скорбная безвыходность и отчаяние Рафала Воячека (покончившего самоубийством в 1971 году).

Что означал в Польше 1968 год, почему его печатью припечатала «новая волна» свое главное переживание и насколько был понятен этот сигнал для читателя, особенно молодого? Год этот начался инцидентом — одним из многих, какие в разное время провоцировало «партийное руководство культурой»,— а именно снятием со сцены Национального театра в Варшаве спектакля-драмы «Дзяды» Мицкевича, будто бы возбуждавшего нежелательные ассоциации и реакции публики; этот инцидент стал как бы детонатором целой серии событий. Коллективный протест писателей, манифестации студентов Варшавского университета, их грубый разгон милицией и боевиками из «рабочих», аресты и процессы, забастовки солидарности в высших учебных заведениях по всей стране, усиливающиеся репрессии, увольнение профессоров и закрытие целых факультетов университета, отправка студентов в армию, организованные по команде митинги заводских коллективов под антиинтеллигентскими и антисемитскими лозунгами, а под этот аккомпанемент — перегруппировка партийных кадров, занятие должностей деятелями, явно связанными с Госбезопасностью, хищными и циничными, выбрасывающими на свалку даже традиционную «идеологию» и без стеснения пользующимися языком попросту фашистским... Кульминация этих событий имела место в марте — и потому слово «март» осталось в сознании современников равнозначно словосочетанию «1968 год». Но до конца календарного года было еще далеко, и в августе новым шоком стало участие польской армии во вторжении в Чехословакию и подавлении «пражской весны», которая в течение нескольких месяцев поддерживала и наши надежды на «человеческое лицо» господствующей системы. В августе те, кого недобили в марте, опять протестовали и опять пошли в тюрьмы...

Спустя годы на вопрос, считает ли он по-прежнему 1968 год главным опытом своей генерации, Станислав Баранчак отвечает: «...если не для всех тех, которым в марте было двадцать или чуть за двадцать, то по крайней мере для наиболее беспокойной духом и интеллектуально активной части этого поколения мартовские события были потрясением, решающим переживанием... Март стал датой, после которой определенные иллюзии — прежде всего иллюзия возможности «ревизии» марксизма, а также иллюзия возможности сохранить аутентичность культуры при власти цензуры — развеялись бесповоротно».

Поэты «новой волны» чувствовали себя, стало быть, участниками более широкого общественного движения, в котором столь существенную роль предстояло сыграть их непосредственно вовлеченным в политику ровесникам (как Адам Михник, 1946 года рождения), чувствовали себя теми, естественный импульс которых — дать выражение этого потрясенного и возмущенного сознания в литературе и особенно в поэзии. Суть перелома можно упрощенно передать так: если их предшественники принимали окружающий мир как неизбежный, а в то же время, послушные невысказанным наказам, уклонялись от того, чтобы показать его в полном свете, маскировали, «эстетически» фальсифицировали, то поэты «новой волны», наоборот, подвергая этот мир сомнению, не спасались от его реальностей в украшательские иллюзии, но старались подойти как можно ближе к реалиям, разоблачить их, разобрать до винтика. Это касалось как осязаемой материальности мира, так и его идей, комплексов, лицемерств — эти последние прослеживались в официальных ритуалах и в человеческой психике, в языке пропаганды и в поэтическом языке. В программах, формулировать которые молодые поэты не боялись, часто повторялись слова «недоверие» и «правда». Баранчак предварил свой первый томик 1970 года «Несколькими допущениями на тему современной поэзии». «Она должна быть недоверием,— утверждал он.— Критицизмом. Срыванием масок. Она должна быть всем этим до тех пор, пока на этой Земле не исчезнут последняя ложь, последняя демагогия и последний акт насилия».

Сколь бы наивно ни звучал этот дебютантский манифест, ему сопутствовала — не только у этого автора — поэтическая практика, никоим образом не наивная, а осознающая свои инструменты, внимательно выбирающая традиции, формы и напряжение поэтического голоса. Одним из важных направлений, к которым обращались (особенно в Познани), была так называемая «лингвистическая поэзия» мастеров, которые были на четверть века старше (Бялошевский, Вирпша, Карпович),— выявление в сочетаниях слов их многозначности, таящейся в них возможности нетрадиционного и вовсе парадоксального понимания — при том, что «поколению-68» этот лингвистический прием служил для более важной цели: для разоблачения и разрушения всей отрицаемой им ложной действительности. Интересно, что поэты «новой волны», тяготея более, чем их предшественники, к регулярности стиха и осторожнее следуя капризам свободного воображения, воспринимались на фоне тех (да, пожалуй, и на более широком фоне тогдашней литературной жизни) как явление поразительной свежести и яркости. Я тоже так их воспринимал — отсюда мое приветствие «молодым поэтам» на страницах «Веньзи» — и по прошествии лет радуюсь, что меня не обманывала интуиция, приписывавшая такое значение их появлению среди нас.

В цитированном интервью Баранчак говорит дальше, что «для правильной оценки важности той перемены (то есть перелома 1968 года в польской литературе.— *В. В.*) нужно выйти за рамки категории поколения и увидеть, сколь действительно многих в литературе захватили тогда искания новой правды и новой формы. Для меня весьма символичным был факт, что на первом собрании редакции журнала «Запис» [1] в 1976 году могли встретиться писатели, представлявшие столь разные поколения».

Упомянутый тут «Запис» был нелегальным литературным журналом, издававшимся писателями разных генераций — от Анджеевского до Загаевского — в течение пяти лет, предшествовавших возникновению в Польше «Солидарности». К верному наблюдению Баранчака могу без ложного стыда добавить, что на старших писателей — к которым принадлежал и я — кроме общественно-политической действительности влиял также побуждающий пример талантливых молодых новичков. Иногда он был попросту импульсом, чтобы вернуться к собственным, на какое-то время забытым начинаниям.

Писательские и человеческие судьбы героев «новой волны» были разные, но некоторые мотивы повторялись у многих из них: участие в оппозиции и наказание за это (от включения в «черные списки» «непечатных» авторов до ареста и интернирования во время военного положения), подпольное издательское движение, в двух-трех случаях эмиграция, а параллельно всем этим приключениям — усердная, неутомимая творческая работа, от года к году растущий итог ее и, вопреки запретам, все более широкая известность у читателей, а после перемен 1989 года уже явное признание и популярность.

«Новая волна», разумеется, отхлынула, стала историей — современность удержала несколько отдельных превосходных писателей, данная презентация которых русскому читателю по необходимости чересчур фрагментарна и поверхностна и может дать ему лишь самое общее понятие о событии, каким стало в свое время их вступление в литературу.

Станислав Баранчак, поэт, эссеист, переводчик поэзии, является также ученым-филологом и вот уже десять лет профессором Гарвардского университета в Кембридже, штат Массачусетс, США. После выхода последней книги его стихов «Открытка с этого света» некоторые рецензенты вдруг открыли у него «метафизическую перспективу». «Но она же была у меня всегда»,— справедливо возмущается поэт. И поясняет: «К метафизическому видению приходишь не через неприятие мира сего, но именно через этот мир, через его конкретные и реальные формы существования, даже самые тривиальные». Стоит учесть и этот автокомментарий, читая раннего, «политического» Баранчака.

Адам Загаевский живет в Париже. Он издал за эти годы кроме стихов несколько томов прозы и эссе, его переводили на разные языки, награждали и чествовали. Его прекрасные стихи всегда, пожалуй, были внешне менее агрессивны, чем стихи его друзей, более сосредоточенны, более классичны, погружены в культуру. Это свойство не изменилось, лишь еще дистиллировалось и сгустилось. Кажется, что ход новейшей истории принес Загаевскому (автору, в частности, тома эссе «Солидарность и одиночество») облегчение, освобождая от некоторых обязанностей, диктуемых именно солидарностью, и прощая ему грех предпочтения отстраненности и одиночества.

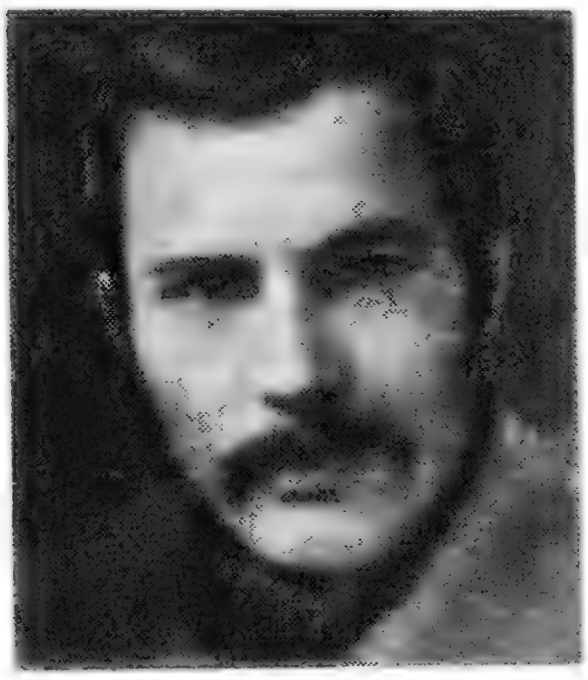
Корнхаузер и Крыницкий живут в Польше, первый издавал в свое время очередные поэтические сборники, потом что-то как бы застопорилось, но он по-прежнему выступает как критик, публицист, исследователь, в том числе и как исследователь той формации, к которой принадлежал. Крыницкий основал в Познани издательство, печется об издании поэзии друзей, в частности Баранчака, естественно, борется с трудностями, потому что книжный рынок сложный, нелегко существовать на нем, не подпираясь ходкой литературой, но коммерческим соблазнам Крыницкий по-прежнему не поддается. Его развитие как поэта отмечено растущим недоверием к словам, которые, к сожалению, должны, однако же, оставаться строительным материалом стихов, хотя он определенно предпочел бы обходиться без них; новые стихи его все более сдержанны, все более лаконичны, да и в старых при перепечатке он отбрасывает все, что ощущает лишним, и стремится к обнажению нагой мускулатуры мысли, не соблазняя читателя эмоциональной позой или украшательством. Вспоминается Пастернак:

Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

Считая Крыницкого поэтом большого масштаба, я надеюсь, несмотря ни на что: его ревностное и мучительное борение с первородным грехом избытка слов не должно привести к полной немоте. Пока что голос Крыницкого, с трудом добываемый из горла, слышен очень явственно, как и голоса еще нескольких его ровесников из «поколения-68»... Слышны также голоса идущих за ними — или против них,— но это уже другая история.

---

[1] Слово «запис» по-польски значит «включение в список», в частности, «включение писателя в список тех, кому запрещено печататься», такие писатели и создали журнал. Но «запис» также — «запись, записывание»; журнал должен был стать «записью ситуации» (из предисловия к первому номеру). *(Прим. перев.)*



РЫШАРД КРЫНИЦКИЙ

Фашисты меняют рубашки

Фашисты опять меняют рубашки.
Черные рубашки меняют на белые годины,
на белые пятна в посмертных газетах опустевшего города,
со страниц которого выведены последние следы крови,
не преобразившейся в знамя.

Разбрызганный мозг размозженного танком животного,
разбрызганный мозг побережья,
разбрызганный мозг океана,
разбрызганный мозг бренного мира,
фашисты опять меняют рубашки
свои и своих жертв.

На белых рубашках меньше заметны следы мозга,
на черных рубашках меньше заметны следы крови.

Фашисты опять меняют посмертные рубашки бренного мира
и берут из камер храненья защитные черно-белые флаги,
которые даже в качестве некрологов бывают фальшивы.

Язык, это дикое мясо

Збигневу Херберту и Господину Когито [1].

Язык, это дикое мясо, растущее в ране,
в открытой ране уст, кормящихся лживой правдой,
язык, это обнаженное сердце, острие нагое,
которое беззащитно, этот кляп, который затыкает
глотку словам, этот зверь за решеткой
человечьих зубов, это нечеловеческое, что растет в нас
и перерастает, этот красный флаг, выплевываемый вместе
с кровью, это раздвоенное, что обвивает, эта
правдивая ложь, которая манит, как мед,

этот ребенок, который, учась правде, правдиво лжет.

[1] О Збигневе Херберте и Господине Когито см. «ИЛ», 1990, № 8.

Внешняя, внутренняя

Внешняя: в комедии «Старый муж»
заменить слово «старый» словом «молодой»,
а слово «желтобрюх» словом «уж»,
поскольку «желтобрюхами» называли
в салонах Варшавского Герцогства
солдат польской пехоты,
в «Сне в летнюю ночь» вычеркнуть фразу
«стены имеют уши»,
запретить постановку «Сына Иуды»
по роману «Эли Маковер»,
поскольку проблему польско-еврейских отношений
автор решает в духе укрепления солидарности
евреев с поляками,
что вредно для русских интересов
в нашей стране;

внутренняя: обойти молчанием;

внешняя: собрала огромное количество актов,
конфискованных рукописей, изданий. Можно ее трактовать
как официальную историю литературы;

внутренняя: не оставляет после себя ничего,

даже следов опустошенья.

Так мало

Бедные наши умершие
смотрят на нас своими
призрачными очами
и видят все, что у нас еще впереди,—
но и они не могут помочь
или предостеречь,
если уж и война и мир
так мало нас научили.

К сожалению

Плохие стихи
не перевоспитают деспота.
Это касается, к сожалению, также и хороших стихов.

* * *

Много прошел я километров,
много страниц я измарал,
чтоб написать три? четыре строчки, в которых

кишмя кишат слова.

* * *

Хочешь существовать, хрупкий стих?
Если ты будешь рождать отчаянье и причинять боль,

сгинь, пропади.

АДАМ ЗАГАЕВСКИЙ

Правда

Встань отвори дверь развяжи веревки
выпутайся из сети нервов
ты переваривающий кита Иона
Откажись подать руку этому человеку
выпрямись осуши тампон языка
выйди из кокона раздвинь эти слизистые
зачерпни побольше воздуха в легкие
и медленно помня о правилах синтаксиса
выскажи правду ты же для этого служишь
в левой руке ты держишь любовь а в правой ненависть

Стихи о Польше

Читаю стихи чужеземных поэтов
о Польше. Ведь есть у немцев и русских
кроме винтовок также чернила,
перья, немного сердца и много
воображенья. В их стихах Польша
похожа на дерзкого единорога,
кормящегося шерстью гобеленов,
она прекрасна, слаба, безрассудна.
Не знаю, каков механизм иллюзий,
но и меня, читателя трезвого, восхищает
сказочная беззащитная страна, которую
растерзывают черные орлы, голодные
монархи, Третий Рейх и Третий Рим.

* * *

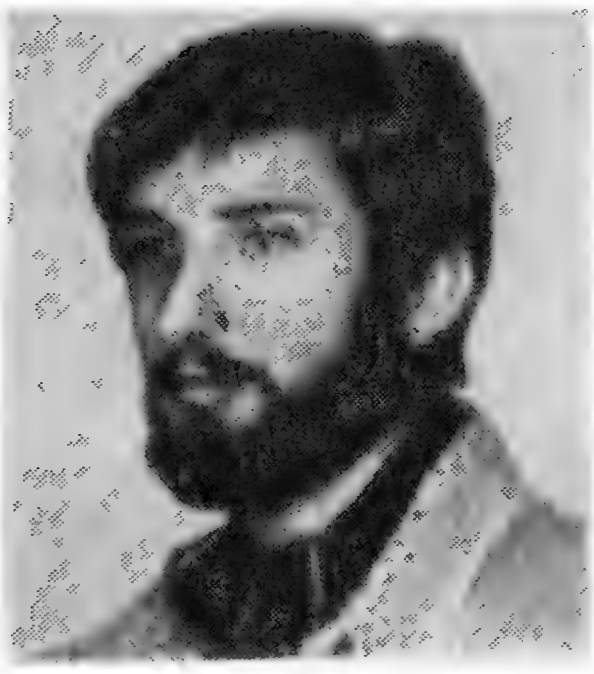
А ведь свобода должна была бы
быть также свободой от слов, которые
нас вяжут, и от друзей, неразумно
требующих верности. Или
это иллюзия такая же самая,
как пресловутая смерть?
Или ты оказываешься
рабом свободы?

Пораженье

Мы умеем жить лишь в дни пораженья.
Дружбы делаются глубокими,
чуткая любовь поднимает голову.
Даже вещи становятся чистыми.
Стрижи танцуют в воздухе,
освоившиеся в бездне.
Трепещут листья тополя.
Недвижен только ветер.
Темные силуэты врагов отделяются резче
от светлого фона надежды. Крепчает
мужество. Они — говорим о них, мы — о себе,
ты — обо мне. Горький чай нам сладок
как горечь библейских пророчеств. Лишь бы
не захватила нас врасплох победа.

Огонь, огонь

Огонь Декарта, огонь Паскаля,
пепел, искра.
В ночи пылает костер незримый,
огонь, который горит не сжигая,
а лишь творит, будто он хотел бы
вернуть в мгновенье все, что забрали
все пламена на всех континентах,
библиотеку в Александрии, веру
римлян и страх малой девчурки
из Новой Зеландии.
Огонь, как орды
монголов, палит дотла деревянные
и каменные города, но возносит
незримые дворцы и легкие зданья,
велит Декарту
низвергнуть философию и построить новую,
превращается в пылающий куст терновника,
будит Паскаля, колотит в колокол
и топит его от избытка рвенья.
Вы видели, как он читает книги?
Страницу за страницей, неторопливо,
как кто-то, кто только что научился
разбирать по складам.
Огонь, вечный
огонь Гераклита, жадный посланец,
мальчишка с черными от ягод губами.



ЮЛИАН КОРНХАУЗЕР

Счастье ощутимо на ощупь

Стучит ли в мой мозг
водка, сон, колотит ли дружба,
болеющая извечно гриппом (в отдельной
палате)? Входит ли
в двери моей научной работы
магическое число, не связанное
с государственным строем, терпкое, острое,
как Хлебников, пляшущий на развалинах
реального мира?
Никто не знает. Критик румянится
в майоране, мир публикует статистику,
поднимает платьице, обнажая толстые бедра.
Сделай вот так — и мир делает так,
делает так отважно, это длится всего лишь
секунду, не больше, особенно радуется
поэт, штурмующий фестивали доброты,
целующий толстые губы шахтера Пентека,
который прожил неделю вне социализма,
пил собственную мочу и кричал во все горло:
шахтер, ты жив? шахтер, ты жив?
Отвечало глухое молчанье,
всегда отвечает глухое молчанье, когда
мы вопрошаем со дна мира: брат, ты жив,
ты еще жив? Оттиснутая на бумаге
фотография свивается в желтую, сухую
трубку, в лоб целуют тебя футболисты команды
«Шахтер» из города Забже, счастье ощутимо на ощупь,
как дощатый ящик стола, полный апельсинов
и писем, которые не пропадают.

Над листом бумаги

Хочу написать еще три-четыре
Стихотворенья перепрыгнуть колодец
Страха вписать в красную книжечку
Группу крови черкнуть карандашиком
Дату рожденья продать друзей
Отправить письмо правительству выбить
Окно хочу выбить окно выбить
Беспощадное невидимое окно иронию

Города который свищет протяжно
В любое время вбить острые
Пальцы в голубя раздувающего
Легкие как паровая машина сбросить
С себя доверие как армейскую
Плащ-палатку склониться над
Листом бумаги на котором пишет
Смерть

Тарахтенье

Твердят, тушь чересчур черна,
твердят, проценты, проценты,
твердят, за работу, которая запечатывает
мозги, умывает широкое лицо, руки,
цветущие, как больной картофель.
Будущее, узкое в бедрах,
ясно определяет задачи, собирает в
конверт аплодисменты, рисует, отважно
рисует брови, газеты истекают слюной.
На снимках мы, как прежде, молодые,
на лацканах блестящие значки,
над Вислой выпячены груди к солнцу,
скандирующему стихи, парусные лодки
полнее, чем надутое ветром знамя. Мы
полнее, чем все встречаемые по дороге
самосвалы памяти, мы кладем палец
на уста, чтоб не вытекла наша юность.
Включаем приемник, слушаем, не
стреляют ли где-нибудь, не стреляют ли
в нас, не гонят ли нас с работы,
не гонятся ли на лестнице, не произносят ли
речи вместо нас, когда мы спим в наших
розовых, мягких, разложенных на 24
срока кроватях, когда коллективно насилуем,
коллективно насилуем, вслушиваемся в
тарахтенье двигателя, рвущего в клочья
неподвижный город с торчащей челюстью.

Идти

Идти не задерживаться не задерживаться
задушить страх задушить страх закусить губы
закусить губы представить образ представить образ
продвигаться вперед продвигаться кричать
не уклоняться не уклоняться быть
быть давать гнать бдить
бдить строить строить не оборачиваться
не оборачиваться воздвигать воздвигать выжить
выжить вжиться вжиться идти

СТАНИСЛАВ БАРАНЧАК

Заполнить разборчивым почерком

Родившийся? (да, нет; ненужное
зачеркнуть); почему «да»? (обосновать); где,
когда, зачем, для кого живет? с кем контактирует
поверхностью мозга? с кем близок
частотой пульса? родственники за границей
тела? (да, нет); почему
«нет» (обосновать); причастен ли
к движению крови эпохи? (да, нет); пишет ли письма
самому себе? (да, нет); пользуется ли
телефоном доверия? (да,
нет); питает ли
и чем питает недоверие? откуда черпает
средства содержать себя в строгом
непослушании? состоял ли под
страхом? насколько владеет
собой, языками?
ордена и знаки отличия, особые
приметы? состояние гражданского
мужества? собирается ли
иметь детей? (да, нет); почему
«нет»?

Займи прошу мне место

Из цикла «Дойти до прилавка, или Стихи покупателя»

Займи прошу мне место
которого так мало
между вон тем вельможным
и этим вот бомжем
(они стоят друг к другу ближе, чем казалось;
их тел, сродненных давкой, поет единый пот:

Хоть тебя толкаем
хоть тебя толкаем
но тебя спасаем
но тебя спасаем);

держи прошу мне место
вернусь и встану снова
меж этих с алкоголем
и тех с автомобилем
(хоть те и эти дружно пускать меня не будут,
их глаз, столь схоже чуждых, звучит единый взгляд:

хоть тебя шпыняем
хоть тебя шпыняем
но и сохраняем
но и сохраняем);

мне не поможет бегство
в отъезд ли, в сон, в себя ли —
меж этих титулованных
и тех татуированных
вернусь и встану снова (ведь где-то в недрах кровных
тех и других я слышу одну и ту же кровь:

хоть тебя калечим
тычем и пихаем
но тебя и лечим
и оберегаем
хоть тебя калечим
тычем и пихаем
но тебя и лечим
и оберегаем)

Открытка с этого света

Жаль, что Тебя здесь нету. Я поселился в пункте,
из которого даром вид мне открыт широкий:
где тут ни станешь на остывшем грунте
этой сплющенной точки, всюду над головой
та же темная бездна
с вечной своей немой
отповедью. На климат жаловаться бесполезно.
Воздух — о лучшем и мечтать наивно.
Есть чем глазу развлечься: клин журавлей, тень пышных
пальм, небоскребы, облако лепно́е.
Но обо мне довольно. Что у Тебя там слышно,
и что, скажи мне, видно
если быть Тобою.

Жаль, что Тебя здесь нету. Я живу в мгновенье,
что разрастается в раковую опухоль эпохи;
как будут позже размышлять над нею
те, что на целую толщу мощную нас превзошли.
стоя на нашем слое,
на нашей гнили, лжи
неуничтожимой синтетике, трудясь над смесью иною
отчаянья, отходов и ошметков,—
не знаю. Как пресс сжимает металлолома отребья,
секунда бьет, сжимая все былое.
Но обо мне довольно. Как Ты проводишь время —
и значит ли время что-то,
если быть Тобою.

Жаль, что Тебя здесь нету. Я обитаю в теле,
в котором закодированы тайные судьбы и сроки,
смерть ли, пожизненный ли срок — на деле
разница небольшая, раньше иль позже черед,
но меня это чтенье
за живое берет,
триллер крови и ужасов, роман-река, чье теченье
финал свой смутный мне узнать позволит,
лишь когда, холодея, поднять не смогу уж больше
прикрытые теплой ладонью веки.
Но обо мне довольно. Как Ты себя чувствуешь с болью
моей — болеешь ли столь же
о Твоем человеке.

БОББИ ЭНН МЕЙСОН

Там и здесь

РОМАН

Перевод с английского М. Д. ЛИТВИНОВОЙ и М. А. ЛИТВИНОВОЙ

В ночь перед танцами была гроза. Сэм слышала, как Эммет хлопает окнами. Эта гроза должна проверить на прочность его фундамент. Правда, миссис Биггс сказала, что все фундаменты «текут» и надо непременно купить насос в «Сиерсе», но Эммет ответил, что у него есть свой план.

Утром моросило. Они вышли во двор, осмотрели канаву, и Эммет сказал озабоченно:

— Может, придется рыть и по южной стене.

— Лягушки там, в той канаве,— сказала Сэм. Сквозь водяную рябь она видела круглые лягушачьи глаза.

— Кыш отсюда, лягушка! — крикнул Эммет. Лягушка нырнула в мутную воду.— Когда под домом вода, разводится уйма всякой живности.— Он поежился: — Москиты, головастики, водомерки, грибки, плесень, черви и даже змеи.

В доме было сыро, пахло плесенью и старыми, всегда влажными стенами. Обои отклеивались, из-под них виднелись предыдущие слои — яркие, грубоватые, словно лезла на волю жизнь, долго томившаяся под спудом. Эммет осмотрел фундамент: в одном месте кладка отсырела, но вряд ли это течь. Лицо у него тоже казалось влажным — от мази, которую прописал врач. Иногда похоже было, что он плачет. Сэм вспомнила — в прошлом году они, как, должно быть, вся Америка, смотрели последнюю серию П*А*Г. Айрин заранее приготовила двойную порцию воздушной кукурузы, и поставила ее в духовку, чтобы не остыла. Последние полчаса фильма Эммет был как в столбняке: герои прощались друг с другом — кончилась корейская война. Даже Айрин рыдала, но Сэм не разнюнилась. Потом она подумала: наверное, тому, кто не смотрел все серии П*А*Г, этот долгий, слезливый финал показался бы очень странным.

Эммет пошел завтракать в «Макдональдс». Вернувшись, он сказал:

— Я видел Джима. Он очень страдает, что жена с дочкой уехали. Но виду не подает.— Эммет покачал головой, расшнуровывая хлюпающие кроссовки.

— Анита говорила, он чуть ли не один все устроил для этого вечера ветеранов.

— Ну да, черт побери. Музыку организовывал, столы, стулья, клеил макеты оружия. А жена вдруг возьми и брось его.

— Как же это случилось? Может, потому что он все время возится с ветеранами?

— Не думаю.

— А я думаю поэтому. А если он сам ее выгнал? Мне кажется, многие ветераны, могу даже назвать кто, сторонятся женщин.

— Женщин там не было,— выпалил вдруг Эммет.— Поэтому они многого не могут понять.

---

[1] Окончание. Начало см. «ИЛ», № 2.

— Ничего себе! Мама столько лет с тобой возилась, а ты — не могут понять,— рассердилась Сэм.— Что же тогда говорить обо мне? Я вообще чувствую себя так, как будто против меня заговор. Как будто за мной следит ЦРУ.— Сэм схватила одну из книжек про Вьетнам и прицелилась в него.— Но я все равно знаю, как там было.

— Только на меня, пожалуйста, не обрушивай,— сказал Эммет, прищурившись.

«Должно быть, решил, что я швырну в него книжкой»,— подумала Сэм, но тут же поняла: он говорит о содержании книги, не хочет он ничего вспоминать. И Сэм сказала:

— Женщины тоже были во Вьетнаме. Медсестра из больницы, например, знакомая Аниты. Да и сама Анита тебя понимает.

— Анита слишком добрая, себе во вред. Люди этим пользуются.— Эммет, наклонившись, заглянул в холодильник. Сэм подошла к нему, чтобы рассмотреть сыпь.

— Уже проходит,— сказал Эммет.

Сыпь подсыхала, и корочки у него на шее выстраивались в узор. Сэм вспомнила таинственный знак «Х» на шее у матери в научно-фантастическом фильме, названия она не запомнила. Инопланетяне пометили ее, как клеймят корову, чтобы изучить работу мозга.

Эммет вытащил оттаивать цыпленка.

— Я вот что решил. Доделаю фундамент и займусь утеплением дома. Посмотрю, может, найду где-нибудь старые двойные рамы или заклею окна клейкой лентой. И зимой нам будет тепло.

— Окна заклеивают только бедняки.

— Ничего, я не гордый.

— Если б ты работал, ты бы давно заплатил долг. И мы смогли бы купить утепленные рамы. Мне надоело старье.

Сэм вдруг подумалось, что вся ее жизнь сработана из чего попало, наспех, из сомнительных Эмметовых поделок.

Эммет бросил мороженого цыпленка в мойку.

— Ну назови мне хоть одну стоящую работу. Сейчас можно устроиться в электротовары, продавать микроволновые печи. Но ведь от них бывает рак! Продавать их аморально. И большинство работ таковы, уж поверь мне.

— От микроволновых печей бывает, значит, рак. А от «апельсина» нет? — съязвила Сэм.— Да на свете полно приличных профессий. Ты мог бы стать, например, диск-жокеем.

— Ха-ха!

— Или устроиться продавать видео. Ты же любишь игры. Парень, знаешь, который работает в пассаже, целыми днями играет в «Пэк-Мэн». И задаром! Не отходит от экрана.

— Очень глупо.

— Или можно тренировать женщин-борцов на грязном скользком поле. Будешь купаться в деньгах. Зрители эту борьбу обожают.

— Что ты меня мучаешь, Сэм. Я обещал Джиму прийти на вечер ветеранов, и это все, на что я сейчас годен.

— Вот здорово! Обещай мне, что будешь танцевать с Анитой.

— Ладно, обещаю.

— Вот бы она надела то розовое платье цвета фламинго.

— Думаешь, Анита будет в своем фламинговом? — Эммет просиял.

— Вполне возможно.

17

Днем звонил с озера Лонни. Отец Кевина накануне вечером водил их в ресторан, угощал бифштексами. И еще Лонни сказал Сэм, что спит с ее трусиками под подушкой.

— Ожидаешь, что явится добрая фея? — пошутила Сэм.

Она засыпала Лонни вопросами — как выглядит дом, в котором они

живут? Где ели бифштексы? Лонни поинтересовался, что она решила купить в подарок его брату на свадьбу. Сэм еще ничего не придумала. Она спросила, каких птиц он видел в лесу. «Запомни, пожалуйста, какие там птицы. Эммет будет очень рад». И ни словом не обмолвилась, что вечером встреча ветеранов и танцы.

Сэм надела джинсы в обтяжку, ремень с заклепками и широкую бирюзовую блузку. Вечер устраивался в спортивном зале общественного центра. В прошлый День Благодарения на танцах в этом зале Лонни подарил ей кольцо. Но сейчас Сэм его не надела. Оно лежит дома, в ящике комода.

В дверях Сэм и Эммета встречал Аллен Уилкинз. В военной форме он не походил на себя — Сэм привыкла его видеть в обычном костюме за прилавком.

— Веди себя хорошо, Сэм,— подмигнул он ей.— А то еще привлекут нас за спаивание малолетних.

— А что, разве я не вправе присутствовать? — невинно спросила она.— Мой отец погиб на вьетнамской войне.

— Ну конечно, Сэм, конечно.

Послышался громкий голос Джима Холли:

— Привет, Эммет, дружище! Посмел бы ты не явиться, я бы сам за тобой поехал и вытащил из дома.

— Я здесь как девица на выданье. Стою, краснею,— улыбнулся Эммет, пожав Джиму руку.

— Мы свозим тебя в Луисвилл, пусть сделают анализы на «апельсин».

— Подпол у меня затопило, фундамент протекает,— усмехнулся Эммет.— Может, пока я здесь, мой дом рухнет.

— Может, и рухнет, а мой уже рухнул,— развел руками Джим.

— Сью Энн еще не раз пожалеет,— сказал Эммет.

— Ей предложили место, где она прежде работала. Пусть попробует жить отдельно. Может, у нас и получится что-то вроде модного нынче «супружества на расстоянии».— Он рассмеялся.— Стараемся идти в ногу со временем.

Сэм огляделась: где же Том? Утром она пробегала мимо его мастерской и видела его спину, согнутую под странным углом в темной пещере гаража. «Фольксваген» еще там, и она тешила себя мыслью, что он не продает его, ждет, когда она сможет купить.

Спортивный зал был украшен как на день рождения. Красно-бело-синие ленты из жатой бумаги, воздушные шары. В углу возле трибун нацелил ствол большой зеленый танк из картона. Под баскетбольной корзиной большой стол с питьем и закусками: пиво, лимонад, чипсы. Эммет принес купленную пиццу, и чьи-то жены приготовили соус. Напротив, под второй корзиной — проигрыватель и микрофон. Диск крутился, звучал тягучий голос Боба Дилана. Сэм взяла стакан лимонада, чипсов и пошла к столу с пластинками. Проглядела альбомы — «Битлз», «Роллинг стоунз», другие знакомые группы. И выбрала несколько послушать.

Битлы запели: «Все, что нужно, это любовь», и к ней подошел Аллен Уилкинз.

— Там я сотню раз слышал эту песню.

Сэм удивилась.

— Ты слушал битлов во Вьетнаме?

— Да, у парня из моей части был магнитофон. Его девушка присылала ему новые записи. И еще мы слушали армейское радио.— Он помолчал, задумчиво глядя на воздушный шарик, плавающий над баскетбольной корзиной.— Казалось, ничто не связывает тебя с миром. Только эти песни.

— Даже в джунглях слушали музыку?

— Да, конечно. Почти все время приходилось сидеть тихо, прятаться. Но вдруг окажешься в безопасном месте, можно и расслабиться немного,— Аллен улыбнулся.— Я больше всего любил песню «Белый кролик».

Сэм пыталась представить себе, как действовало на вьетнамцев пение Грейс Слик. Почему, услыхав ее голос, они не «балдели» и не бросали

оружия? Если бы они понимали английский, никто бы не победил, кроме песен. Но, слушая сейчас песню «Все, что нужно, это любовь», Сэм понимала — слова ее слишком наивны. Если любовь не помогает понять друг друга двоим, как же быть с целым миром? Но дело ведь не в одних словах. Порой мелодия полна силы и надежды, а слова печальные. Эммет говорит, рок-н-ролл — веселая музыка про грустные дела.

Сэм случайно услышала, как двое говорят про Бадди Мангрема.

— Кто-кто, а уж Бадди-то должен быть здесь. Но ему, бедняге, совсем плохо. И ведь все симптомы налицо, а в УВ ему на днях просто рассмеялись в лицо. Рвота, колики, разлитие желчи, сыпь — все прелести. Ноги у него так сводит, что не может спать. И худеет на глазах. Не может выпить даже глотка пива. Сразу падает с ног, как последний алкаш.

— Типичный «апельсин», это точно. Я слышал, и в моче кровь.

— Да. Дочку у него оперировали в Мемфисе. Старались выправить кишечник. У нее кишки все время перекручиваются.

Пришел Пит Симз с женой. Синди выглядит старше него, подумала Сэм. Синди принесла сырный пирог.

Увидев Сэм, она восхитилась ее ушами.

— Вот это да, девочка! Я бы не выдержала столько дырок!

Сэм была в сережках-гвоздиках, которые ей подарила Дон, и в маленьких вставных сердечках. Новые дырки почти зажили.

В сторонке Пит сказал Сэм:

— Не говори жене, что видела мою татуировку.

— А что она со мной сделает?

— Это не страшно. Вот что она *со мной* сделает...

Он засмеялся и шлепнул ее по заднице. Рука была цепкая, она держала винтовку, подумала Сэм, уворачиваясь.

Со стаканом в руке Сэм разглядывала снимки на доске объявлений. Улыбающиеся солдаты в хаки и ботинках для джунглей на фоне палаток и блиндажей. Ни деревьев, ни кустов, ни травы, только какие-то плоские пятна, хижины, джипы. Ребята приосанились перед камерой — стоят, уперев руки в бедра, такие грозные, бесстрашные. Мальчишки, вроде Лонни, ничего общего со взрослыми мужчинами, что собрались здесь сегодня. Еще Сэм разглядела мешки с песком, пятнистого пса, канистры с горючим. Хоупвелл послал во Вьетнам десятки своих мальчишек. Как-то за два месяца убило сразу троих из одного класса. На стене линованный листок бумаги и на нем список погибших на войне солдат. Ее отца в списке нет. Ничего удивительного, он не из Хоупвелла. Он из деревни с самой окраины штата.

Сэм подошла к Эммету. Он стоял с незнакомым человеком возле стола с игрушечным оружием — пластмассовыми автоматами М-16, пулеметами и минометами, вертолетами и истребителями.

— Смотри, Сэм,— сказал Эммет,— и мы с тобой когда-то такие клеили.— Он вертел в руках «Фантом-2». На столе лежали еще походная рация, бронежилет, плащ-палатка, каска. Каска казалась неправдоподобно маленькой и хрупкой.

— Помнишь, что это, Эрл? — Эммет приподнял плащ-палатку.

— Слишком даже хорошо помню,— сказал Эрл, взял стакан и выпил.

— Вот так, Сэм, и бывало. Берешь плащ-палатку, делаешь из нее тент и спишь под ним. Каска годится для умывания и бритья. А вот рация. Нет только свинины с раздолбаями.

— Я больше ни разу к этим консервам не прикоснулся,— сказал Эрл.— Видеть их не могу.

— Я тоже.— Эммет засмеялся и стукнул кулаком по картонному танку.— Не думал еще когда-нибудь это все увидеть.— Подошел Джим, и Эммет прибавил: — Черт, Джимбо, эта пушка точь-в-точь пенис слона.

— Мне Анита помогала ее клеить,— сказал Джим.— Она просто талант. Кстати, где она? Должна уже быть здесь.

— Это просто музейные экспонаты,— сказал Эммет, вертя в руках старый разбитый радиопередатчик.

Подошла Синди со стаканом и пиццей в руках.

— Ты отлично все устроил, Джим,— улыбнулась она.

— Жаль только, мало народу пришло,— огорченно сказал Джим.— Я хотел видеть здесь всех, всех.

— Оружие как настоящее,— сказала Синди, расправившись с пиццей.

Эрл сказал Джиму:

— По телевизору нас представляют чокнутыми и убийцами. А на самом деле почти все нормально живут. У меня вообще порядок. И работа — поискать.

— Ты, Эрл, наша гордость.

— Просто я не делаю ни из чего проблемы. Конечно, вспоминается всякое. Но во мне победило чувство ответственности. Я научился не терзаться из-за того, что приходилось там делать. Научился с этим жить. Согласен, совсем забыть такое нельзя. Но ведь надо как-то жить. Думать о будущем — о детях. Я хочу быть уверен — с ними такого не должно повториться. Их не заставят воевать на войне, которую нельзя выиграть. Как было с нами.

— Маленькая поправка,— вмешался Пит.— Которую солдатам не дают выиграть. Мы могли победить. И ты хорошо это знаешь.

— Главное не это. Главное — не думать все время о прошлом.— Эрл обвел рукой зал.— Шарики, игрушки.— Он ткнул пальцем в танк.— Зачем? Зачем напоминать? Глупо!

— Да? Глупо? Я поездил в таком танке. И горжусь этим.

Сэм стояла у стола с моделями. Эрл раздражал ее. Скорее всего он пьян.

— Не обращай внимания,— Эммет взял ее за локоть.— Эрл оседлал своего конька, а Пит всегда его дразнит.

Джим оказался в центре спора. Пит защищал его, а Эрл нападал. Злобно глядя на Пита и Джима, Эрл кричал:

— Нельзя жить прошлым, одними воспоминаниями. Надо жить сегодняшним днем. Я ни о чем не жалею, и знаете, почему? Я не ною! Вот почему. Работал и работаю, как всегда.— Он плеснул в Джима пивом.— Вы, нытики, только и знаете, что себя жалеть! Меня от вас тошнит!

— Если Эрл не уймется, Питу придется его утихомирить.— Эммет вел Сэм по залу. Танцевали всего две пары.— А вот и Анита. Погляди-ка на нее.

Анита была в тугих джинсах и ярко-красной майке на бретельках. В глубоком вырезе виднелось начало груди.

— Сегодня она не фламинго,— сказала Сэм.

— Да. Сегодня иволга. Кентуккская иволга.

— Эммет, ну как ты, чертушка? — воскликнула Анита, обнимая его. Он смутился и покраснел.— Привет, Сэм. Серьги у тебя — просто чудо! И выглядишь замечательно.

Она обняла Сэм. От нее очень хорошо пахло, как в том магазине в Падукском пассаже, где у входа автомат разбрызгивает духи. В ушах у Аниты были большие медные серьги. Она смеялась. Эммет тоже засмеялся. Сэм оставила их вдвоем и пошла взять себе чипсов с подливкой. Она съела три пиццы и теперь стояла и смотрела кругом. Жаль, что пришло так мало народу. Пит и Синди танцевали. Сэм пыталась себе представить, как Пит размахивает пистолетом, а Синди урезонивает его. Сырный пирог, который она принесла, был с рокфором. Рокфор воняет, как грязные носки. Сэм от него тошнит.

Вот и Анита с Эмметом пошли танцевать. Анита двигалась плавно, точно следуя ритму. Так танцуют черные. Ее красная майка и пышные волосы словно светились. Эммет танцевал неуклюже, застенчиво и неотрывно смотрел на Аниту, как обычно смотрел на птиц.

Сэм порылась в пластинках. Она искала альбом группы «Дорз», с песней «Конец» из «Современного Апокалипсиса». К ней подошла Анита.

— Я такая пьяная.— Анита покачивалась на тонких каблуках.— Я так волновалась, что увижу Эммета, и вот перебрала. Заметно?

— Ты очень хорошо выглядишь.

— Эммет пошел покурить. Ох, он такой умный,— она вздохнула.— Знаешь, что он мне сейчас сказал? Я просто онемела. Говорит, у него были дурные времена, он пускал пузыри, а теперь, говорит, выплюнул эту жвачку. Смешно, да? Он умеет меня рассмешить.

— Мне нравится, как ты смеешься.

— А знаешь, как у нас началось? Еду я куда-нибудь, вижу, Эммет идет. Я ему говорю: «Давай, подвезу». Я тогда ездила на ярко-красном «мустанге» и думала: вот я какая штучка! Штучка с ручкой.— Анита засмеялась. Она смеялась тепло, от души, и вся пошла ямочками. Как булочка только что из печки, подумала Сэм.— Вот так мы и узнали друг друга. Я его подвозила,— закончила Анита. В стакане у нее плескалось что-то темно-медовое. Подумав немного, она спросила: — Ты, Сэм, наверное, всю жизнь только одно и слышишь — про Вьетнам?

— В общем, да.

— Вот и я расскажу тебе про Вьетнам.— Анита все время глядела по сторонам, высматривая Эммета, а Сэм искала глазами Тома. Две одинокие женщины в ожидании мужчин. И с чего они взяли, что серьги помогут? Рядом с Анитой Сэм чувствовала себя оборванкой. Анита продолжала:

— Когда началась война, я жила словно в тумане. Я только что разошлась с мужем и в шестьдесят седьмом стала ходить на курсы медсестер. Много занималась и думать не думала о войне. Из моих знакомых никто не пошел воевать, казалось, война так далеко. Но однажды весной, в шестьдесят девятом, я ехала на выходные к бабушке в Боулинг-Грин. И в том же автобусе ехали в Форт-Кэмпбелл солдаты. Они были в форме, в зеленых штанах и черных ботинках — как те, что на Пите. Один из них подсел ко мне и заговорил. Он, когда стоял, заглядывал мне через плечо и читал. Сказал, что любит стихи. Меня это поразило. Представь, много ли молодых людей читают поэзию? И он не просто хотел познакомиться, нет. Он вспоминал стихи, читал их мне. И сказал еще, что завтра они отплывают во Вьетнам. И вдруг меня словно током ударило. Я подумала тогда — Боже мой, ведь там его могут убить! Я вдруг так сильно ощутила это. Я не спросила, кто он, и никогда не узнаю, вернулся ли он домой. Из моих знакомых никто не погиб во Вьетнаме. Мои одноклассники старше, они не воевали. Мне тридцать девять. Ты не знала? Но все годы я думала — и у меня было переживание, связанное с войной. Глупо, наверное, но тогда в автобусе я была потрясена. Даже телепередачи из Вьетнама так на меня не действовали. Потому что это было в жизни, я сидела рядом с этими мальчишками. Наверняка кто-то из них не вернулся.

— Да-а,— протянула Сэм, не зная, что сказать.

— И я подумала, если даже я так чувствую, что́ говорить о девушке, чей парень уехал на войну и не вернулся. Или если муж прошел через этот ад? И когда у нас началось с Эмметом, мне казалось, я могу понять... А ты понимаешь, о чем я? Ох, зачем я так напилась? Просто дура. Ты понимаешь меня?

Сэм кивнула.

— Я хочу сказать, Сэм, я понимаю тебя. Правда. Стараюсь понять. Изо всех сил.— Она поправила бретельку.— А вон Эммет. Пойду с ним танцевать.— Она заспешила к нему; ее мелодичный смех закружился над залом.

И тут наконец появился Том. Сэм почувствовала, что краснеет. На нем были джинсы и голубая футболка, в руках бумажный пакет. Он показался ей уверенным, спокойным и независимым. Вот что привлекает в мужчине, думала Сэм, и устремилась ему навстречу.

— Привет, Сэм.— Он улыбнулся, достал сигарету.— А Эммет где?

— Здесь. Я его привела.

— Я было хотел сам пригласить тебя сюда. Ну, чтобы ты пришла со мной, но подумал — вряд ли ты согласишься,— полушутя сказал он.

— Я бы пошла с тобой.

— А что твой парень? Он здесь?

— Какой парень?

Том покивал головой и отвернулся.

— Ну да ладно. Хочешь выпить?

— Хочу. Пойдем выпьем кока-колы,— она потянула его к столу.

— Я подумал, может, добавить чего-нибудь покрепче.

— Как хочешь.

— Подолью немного. Для настроения.

Жидкость в бумажном стаканчике запенилась. Вкус получился горьковатый, крепкий. Это был «Джим Бим», и Сэм сразу вспомнилась коллекция бутылок, которую собирал Лоренцо Джонс. Взгляд ее упал на игрушечные танки и самолеты, стоявшие на столе под баскетбольной корзиной.

— Эй, смотри,— сказал Том.— Эммет танцует с Анитой.

— Наверное, они опять сойдутся. Я бы очень хотела. Мне Анита нравится. Недавно была у нас. Вместе смотрели телевизор.

Они пошли танцевать. Сэм никогда не думала, что Том такой высокий. Высокий, как полковник Блейк. И движения у него мягкие, плавные, будто он дома тренируется, разминает кости. Танцевало всего несколько пар. Анита и Эммет сидели. Анита что-то говорила ему, держа руку у него на плече. Она ласково касалась пальцами его лица. Эммет смущался, то и дело поглядывая на баскетбольную корзину, будто собирался забросить мяч. Танцуя, Сэм еще заметила Джима. Он разговаривал с Бетти и Алленом Уилкинзами, размахивая руками, что-то доказывая. Том достал для Сэм шарик. Она намотала нитку на палец, и он стал парить над ними. В углу, словно какое-то фантастическое чудовище, вспыхивал в мигающих огнях светомузыки, устроенной Джимом, зеленый картонный танк. «Мамаз-энд-папаз» запели медленную песню, Сэм и Том прижались друг к другу в танце, и Сэм выпустила шарик. Том прошептал ей на ухо:

— Ты хорошо танцуешь.

— Ты тоже.— Она не могла разобрать, что у него за одеколон. Запах был персиковый.

Песня кончилась, и они остановились у стола с оружием. Том погладил автомат М-16.

— Меньше настоящего. Настоящий из пластика, легкий и удобный в обращении. Если не считать того, что часто дает осечку.

— Эммет делал когда-то такие модели, и я ему помогала. А вот мой любимый самолет С-141 «Старлифтер». Он очень большой. Эммет говорит, больше, чем «Астродом».

— Джим, конечно, очень расстроен,— сказал Том, положив автомат на стол и окинув взглядом полупустой зал.— Он надеялся, что народу будет тьма. Пойдем поговорим с ним.

— Не понимаю, почему Сью Энн не подождала хотя бы до завтра. Могла бы уехать в Лексингтон и после этого вечера,— сказал Джим Тому.— Мне так неудобно,— он вертел в руках обрывок жатой бумаги, рвал его на кусочки, комкал.

— Будет тебе, Джим. Все же все понимают.

— Думаю, это она сгоряча. Она вечно все делает не подумав.

— Может, ей очень понравилась работа?

— Это точно. Спорить не буду. Ей обещали платить в два раза больше, чем на прежней.

У Сэм закружилась голова. Том подлил ей еще немного виски. Она перестала замечать горький вкус, и ей вдруг стало очень хорошо. К ней подходили какие-то люди, что-то ей говорили: «Рад тебя видеть здесь, Сэм. Пришла немного побыть среди старых свихнувшихся солдат?» или «Не очень верь Тому. У него известная репутация». Это все были шутки, подтрунивания. А ведь люди, как правило, так и общаются между собой. Сэм заметила у стола с закусками Пита, который опять сцепился с Эрлом. Оба размахивали руками, чуть не задевая носы друг другу картонными стаканчиками.

К Сэм подошел незнакомый ветеран.

— Я учился в школе с твоим отцом, Сэм. Я ходил в начальный класс, он в старший. Он тогда уже дружил с Айрин. Они были такая хорошая пара.

— Расскажите, что вы о нем помните! Пожалуйста!

— В выходные дни они ездили в Падуку и гуляли там. Он был славный, спокойный, уравновешенный. В общем, хороший парень.

— Ну, а что все-таки он представлял собой?

— Такой тихий. Не очень разговорчивый.

— А еще что? — Можно было сойти с ума, оттого что все говорили об отце только самые очевидные вещи. Даже Эммет мало чего мог рассказать. Он не очень близко его знал.

— Слушай, что я тебе скажу, Сэм. Дуэйну повезло. Чертовски повезло. Он умер, не зная, что его убило.

— Повезло? Разве живым остаться хуже?

Незнакомый ветеран молчал, сжимая и разжимая кулаки.

— Интересно, он мог быть в том месте, где применялся «апельсин»? — спросила Сэм.

— Если был, так ему действительно повезло, что он погиб.

Том обнял ее за талию и увлек в другой конец зала.

— Не верь этому, Сэм,— сказал он.— Твоему отцу очень не повезло. Ему Бог не дал узнать тебя.

Он опять пытался защитить ее. Но на этот раз она благодарна ему. Он сказал ей такой комплимент. Голова у нее стала совсем легкая. Том глядел на нее так, как будто с уст его готовы сорваться какие-то слова.

— О чем ты думаешь?

— О тебе.

— Да?

Их разговор прервали Анита с Эмметом, оба хохотали до слез.

— Нет, нет! Это я залила вином мою красивую майку!

— Да, красивую, Анита, но не майку,— сказал Эммет, не отрывая глаз от ее груди.— Ты верно заметила.

Прыщи в этом свете были совсем незаметны. Вид у него был счастливый.

Сэм дала Аните салфетку, вынув ее из сумочки. Прихватила несколько в туалете у Марты, когда была у них последний раз. Кажется, это было годы назад. Салфетки розовые, в тон элегантной ванной комнаты. Вспомнился прием у Марты. Мысль перекинулась на скорую свадьбу. Все ждут, что она купит молодым какой-нибудь интересный подарок. Может, купить сборную модель С-141 «Старлифтер» и подвесить под потолком?

Том сжал ее руку.

— Я сейчас вернусь,— сказал он.

Сэм села на раскладной стул и стала ждать Тома. У стены два незнакомых ветерана целились друг в друга из игрушечных М-16. Мимо нее прошла Синди. Вид у нее был озабоченный. Может, она расстраивается из-за своего сырного пирога? Губы у нее плотно сжаты, брови сдвинуты — как у водителя грузовика с контрабандой наркотиков. Джим много выпил, и спорщик Эрл сцепился с кем-то другим. Скрученные красно-бело-синие ленты качались, обдуваемые кондиционером. Наверно, так же скручиваются кишки у дочки Бадди Мангрема.

Газета писала о приеме у Марты — дом был украшен шестами, обернутыми в яркую ткань, с развевающимися бумажными лентами. Сэм подумала о том художнике, который заключил островки вблизи побережья Флориды в розовый пластик. Эммет пришел в ярость — столько погибло птиц, экологическое вредительство, вопил он. Но Сэм была в восторге от выдумки художника — это он высмеял любителей красивых оберток. Вы покупаете цветную бумагу, яркую тесьму, ярлычок для имени, трудитесь, заворачивая подарок, а человек, кому он предназначен, берет и просто срывает всю эту мишуру, ему интересно, что под ней. Цель упаковки — обмануть, но вряд ли она достигается.

Ее отец вернулся домой в пластиковой упаковке. Красивой и прочной. Отличный камуфляж. Эти пластиковые мешки для трупов должны были бы быть красно-бело-синие, все в звездочках, похожих на те, что она рисовала на нотной бумаге, когда занималась музыкой. У ее бабушки Хьюз —

материнская золотая звезда. А Сэм получила свою золотую звезду за исполнение «К Элизе» Бетховена. Но она бросила музыку. Ей хотелось играть песни «Битлз», а учитель музыки никогда не слыхал ни кинков, ни битлов и заставлял ее играть бесконечно скучные этюды. «Только подумать,— вслух сказала Сэм,— не слышать битлов! Чудовищно! «Представь, что нету рая... Нет смысла быть убитым. Нет смысла убивать».

Спортивный зал дергался в мигающих огнях светомузыки, по углам темно, как в окопах, в которых спали пехотинцы под плащ-палатками. Там было, наверное, сыро и грязно. Интересно, какая грязь во Вьетнаме? Или *там,* как говорят ветераны. Такая же, как в траншее Эммета? Или красная, как в Джорджии,— она видела на картинках? Этого она не знала. В окопах, наверное, было полно крыс и пауков, и небо над ними прочерчивали трассирующие пули, выписывая переплетения, отражающие далекий воздушный бой. Похоже, наверное, на светомузыку. Или на головную боль Эммета. Почему это ветераны здесь, в этом пульсирующем зале не предадутся коллективным воспоминаниям? Игрушечное оружие вспыхивало и гасло в мигающем свете. Сэм посмотрела на стол с игрушками, прищурив глаза, и ей показалось, что она видит настоящие танки, транспортные самолеты, видит сквозь туман бомбежку, взрывы снарядов во тьме ночи, окрашивающие все кругом в ядовитые, нереальные цвета. Модели, которые они делали с Эмметом, пылились на полках, а когда краска на них совсем выцветала, Айрин выбрасывала их. Сэм подумала о снайперах, скрытых тропической чащей. Солдаты говорили, они шестым чувством чувствуют, когда снайпер в них целится. Картонный танк был внутри пустой. Белый, красный и синий — это цвета смерти.

— Мне надо было повидать одного человека, поговорить кое о чем,— сказал Том, улыбнувшись, и сел рядом. Он опять коснулся ее руки, а Сэм вдруг поняла, что «Энималз» сейчас поют «Дом восходящего солнца». Эммет ей говорил, что эта песня про публичный дом. Танцевать вышли Аллен с женой. Кроме них никто не танцевал, они двигались медленно, прижавшись друг к другу.

Сэм спросила:

— А у тебя осталась здесь девушка, которая писала тебе туда?

— Да, но ей скоро надоело. Я отвечал редко, и ей надоело ждать.

— Она вышла замуж?

— Да. И правильно сделала. Она не смогла бы со мной. Она хотела нормальной жизни — семью, свой дом, гараж на две машины. В мою жизнь она бы не вписалась. И она вышла за первого попавшегося, неплохо устроенного парня. А знаешь что, Сэм?

— Что?

Он дотронулся до ее сережек.

— Сережки у тебя — первоклассные.

Слуха их коснулись громкие голоса. Это опять заспорили Пит с Эрлом. Они стояли на другой стороне зала, и Сэм не слышала, о чем они говорят. Вдруг она увидела, что Пит упал прямо на танк. Его толкнул Эрл.

— Пит этого ему не простит! — Том бросился разнимать дерущихся.

Эрл с Питом сцепились, как два борца. Упали оба на танк и сплющили его.

— Мои труды! — завопил Джим.— Одна аэрозольная краска сколько стоит!

Разнял их Эммет. Сэм не понимала, как это ему удалось, одно очевидно — Эммета они уважали. Эрл сразу куда-то исчез. Пит же остался, улыбаясь во весь рот. Членовредительства не произошло.

— Я защищал танк,— сказал он.— Защищал, да сам и сгубил.— Пит засмеялся и допил свое пиво.— Ему явно требуется прочистить мозги. У кого, у кого, а у Эрла проблем будь здоров. Даже в УВ знают.

Немного позже Сэм разговорилась в женском туалете с Синди. Та красила губы.

— Пит всегда ухитряется поставить меня в неловкое положение,— сказала она.— Но на этот раз Пит был прав. Эрл нарывался на драку.

— По-моему, он просто был пьян.

— Он не умеет пить,— сказала Синди, промокнув губы желтой салфеткой.— Как это ужасно — с маленькой дочкой Бадди Мангрема.

— Да.

— Я слыхала, у Эммета плохо с печенью. Это правда, Сэм?

— Нет. Думаю, что нет. Вернее сказать, надеюсь, что нет.

— Я видела, что он пьет пиво. Если у него болит печень, пива лучше не пить.

— У него многое болит, но с печенью пока все в порядке,— сказала Сэм, и ее вдруг кольнул страх. Болезни печени она как-то упустила из виду.

— Бадди не может выпить ни одной банки,— сказала Синди, подхватив густые волнистые волосы блестящей заколкой.— Между прочим, лицо у Эммета стало гораздо лучше.

— Он мажет мазью.

Синди все надо знать, подумала Сэм. Ей не нравилось, что в Хоупвелле всем до всех дело.

— Он, кажется, весело проводит время с Анитой,— сказала Синди.

— Да, она очень хорошая.

— Эта женщина много лет охотится за ним. Ты разве не знаешь?

Сэм стала причесываться, и Синди сказала:

— У меня бы не получилось носить столько сережек. Как это ты умудряешься?

— Очень просто. У моей подруги Дон по четыре дырки в каждом ухе. У нее пятьдесят пар сережек.

— К разговору об ушах. Знаешь, что там делали наши парни?

— Что?

По лицу Синди пробежала судорога, и она почему-то дернула себя за прядь волос.

— Наверное, тебе еще рано знать такие вещи, но некоторые отрезали им уши. И привезли их сюда, как сувениры. Даже хвалились этим. Пит тоже привез. А я долгое время никак к этому не относилась,— он был горд, что исполнил свой долг перед страной, и я тоже гордилась. Годы прошли, прежде чем до меня дошло. С тех пор я не могу носить сережек. Все время думаю об этих ушах. Такие красивые, как опята. Маленькие, словно мышиные ушки. Ужас! Все время думаю, как от них избавиться, но куда я их дену?

Сэм не хотелось слушать про коллекцию ушей. Она не верила Синди. И поспешила уйти. Синди вообще не умеет веселиться, не то что Анита. В зале Донован пел «Супермена». «Я знаю, бэби, пляж, которому нет конца». Эта песня была полна тайны, и Сэм вдруг затосковала по шестидесятым годам.

Ей захотелось очутиться возле гаража Тома и смотреть на то, как он чинит чей-то грязный велосипед. Ей захотелось увидеть его шрамы. Может, ему нужна физиотерапия, циркулярный душ. Или горячие ванны. В джинсах Том выглядит еще лучше, чем в мешковатых рабочих штанах. У него сильные ноги и плоские ягодицы. Танцуя с Томом, она чувствовала, что торс его неподвижен, как у манекена, но это придавало ему особый шарм. Ей все в нем нравилось.

Она нашла Тома в компании Джима и Аллена. Джим плакал.

— Всем на все наплевать. Почему пришло так мало народу? Почему никто не танцует? Никто друг о друге не думает, Сэм. Все это время я обманывал самого себя. Это так ужасно.

Аллен пытался успокоить Джима. Но Джим снова наполнил стаканчик из маленького бочонка. Голос его становился громче, в нем все сильнее слышались слезы.

— Я думал, если мы вместе прошли сквозь такое, это что-то да значит,— сказал он.

— Это, действительно, значит,— твердо проговорил Том.

— Эммет ведь тоже так считает, верно, Сэм?

— По-моему, да.

— Он потерял там столько друзей. Столько друзей!

Джим выпил пиво и сказал:

— Не все люди понимают, что там все было не так. Возьмите моего отца. Он думает, я сражался точно так, как он на Тихом океане во второй мировой. Но он был на корабле и видел, как японцы подходят. Он знал, кто враг. Знал, за что воюет. Ему не объяснишь, что Вьетнам совсем другое дело. Отец непрошибаем.

Сэм слушала Джима, и ей становилось невмоготу. Она очень обрадовалась, когда Том сжал ей руку и спросил, не хочет ли она уйти.

— Ты доберешься сам домой, Джим? — обеспокоенно спросил Том.

— Да. Вот немного тут уберу и пойду в «Макдональдс», выпью кофе.

— Я тебя подвезу,— сказал Аллен, взяв Джима за локоть.

Сэм не видела ни Эммета, ни Аниты, значит, они ушли. И она поспешила за Томом к его машине. Когда подходили к стоянке, он протянул назад руку, и она взяла ее. Она чувствовала, что совершает какой-то немыслимо дерзкий шаг. Все равно, что идти с солдатом в дозор. От ртутной лампы падал оранжевый свет — цвет напалма. Напалмовая бомба, застывшая во времени, подумала Сэм. Пальма в ее свете. Напалм. Нет пальмы.

Сначала ей показалось, что у нее на коленях кролик, но это рука Тома. У него узкая, длинная, сильная ладонь — птица, у которой тонкие, крепкие когти. Под ногтями у Тома заметны следы машинного масла. Губы совсем не такие, как у Лонни. У того губы — твердые и в морщинках. А у Тома мягкие, широкие, обволакивающие.

— Что ты со мной делаешь? Нет, лучше я отвезу тебя домой. Боюсь, я позволил тебе слишком много выпить.

— Я не хочу домой. Я живу не по режиму.

— Куда же, по-твоему, нам ехать? — спросил он неуверенно, ожидая, что решение примет она — как будто боялся ответственности.

— Я могу домой не ехать. Эммета дома нет и не будет. И он не узнает, что я дома не ночевала. Он поехал к Аните.

— Я очень рад, что он с Анитой,— сказал Том, поворачивая ключ. Немного подождал и выехал со стоянки.

Сэм включила приемник и настроила его на волну «Рок-95». Опять пели «Битлз», и опять ту же песню. Она где угодно их узнает. Запевал Леннон. «Отстань от киски моей,— пел он.— Говорю тебе, толстый страшный бульдог. Отстань от киски моей». Она должна найти пластинку. Чтоб ее послушали те, кого она любит. Это оставленный ей прошлым залог будущего.

— А это была действительно новая запись битлов,— сказала Сэм, когда они поднимались в квартиру Тома. Он шел сзади, позвякивая ключами. «Ну вот, мы и одни»,— подумала она.

— А я и не знал, что они до сих пор поют вместе.

— На самом деле она, конечно, старая, просто ее нашли недавно. Моя мать помешана на битлах. У нее есть все их записи, а этой нет.

Фонарь у входа был включен. Том открыл дверь и зажег свет на кухне. Старая мойка с одной фаянсовой раковиной завалена грязной посудой. На потертой клеенке стола — липкие круги и крошки. Том нагнулся и поднял с пола кучу белья.

— Я не знал, что будут гости, а то бы навел порядок,— словно извиняясь, сказал он.

Отнес белье в ванную, вышел, и туда вошла Сэм. Казалось, он пробыл в ванной несколько секунд, но однако успел спустить в унитазе воду, которая, пенясь, крутилась против часовой стрелки. А вот на южном полюсе, говорят, вода в унитазах крутится по часовой стрелке. Интересно, как это узнали? И сколько там унитазов? Вообще чтобы такое заметить, надо быть очень наблюдательным. А может, у полярников есть переносные унитазы? У солдат в джунглях, говорят, в сухой паек входила туалетная

бумага. А интересно, голова у нее кружится сейчас по часовой стрелке или против? Она умылась холодной водой. Вытерла лицо влажным, вонючим полотенцем и завела волосы за уши, чтобы видны были серьги. Да, скоро это случится, как в фильмах, когда двое как бы нехотя сплетаются в постели, подчиняясь замедленной съемке. Только не надо обычного обрыва кадра на самом интересном месте. Не хотелось бы ничего пропустить.

Том расправлял на кровати лоскутное одеяло. У бабушки Смит дома такое же. Приятно смотреть, как Том возится с лоскутным одеялом. Наверное, это ему бабушка сшила, подумала Сэм, но спросить постеснялась. В джунглях у них были специальные плащ-палатки от дождя. И спали они в мокрых грязных траншеях.

Том снял рубашку. Не такой уж он и волосатый. И фигура неплохая. Стоя в дверях спальни, Сэм вдруг вспомнила, как пару минут назад, пока он был в ванной, она заглянула сюда и увидела неприбранную постель, лоскутное одеяло, скомканное, лежало в ногах. Пленка в голове перемоталась, и Сэм вернулась в настоящее.

— Иди ко мне,— сказал он.— Иди.

Плечи его были крепкие и сильные. Она осторожно обняла его и потихоньку провела ладонями по спине. Мускулы твердые, как узлы на шнурах портьер. Она боялась сделать ему больно; боялась, вдруг он в постели дернется как-нибудь не так, двинет неловко плечами и у него заболят раны.

Единственное освещение — полоска из-под двери в ванной. Лица его Сэм почти не видела. Пальцами нащупала на спине какие-то бугорки.

— Шрапнель,— сказал он.— Это ничего, ерунда.

Он взял в пригоршни ее груди и осторожно приподнял, медленно и бережно, не то что Лонни, который мял их торопливо и грубо, словно резиновые мячики.

Она вдруг поняла, что включено радио. «Рок-95». «Ад ждет вас, детки!» — визжала Пэт Бенатэр.

— Все в порядке? — спросил Том.

Сэм кивнула. Она попыталась сосредоточиться, но голова по-прежнему кружилась. Яркая полоска света под дверью ванной — словно жирная черта желтого фломастера под главным заголовком ее жизни. Сэм испугалась, что ее стошнит. Она чувствовала какие-то медленные движения, мягкие толчки, но все было как-то не так. Наконец он отодвинулся от нее и сел, навалившись на подушку. Болезнь, подумала Сэм. У него какая-то болезнь.

— Нет, это нелепо,— сказал Том, откидываясь назад и закрывая ладонями глаза. Рука ее скользнула по его животу, и еще ниже. Все какое-то мягкое, как котенок. У него даже нет эрекции. Даже не разобрать, что где, как в жмурках, когда поймаешь и ощупываешь, чтобы узнать, кого поймала, подумала Сэм. Может, он слишком пьян. А может, уже слишком стар для этого.

— Ты такая хорошая,— сказал он.— Обещай, что не будешь смеяться.

— Над чем?

Он потянулся к рубашке на полу и достал сигарету. Размял, постучал по ладони. Чиркнул спичкой. В дрожащем свете она разглядела оспинки у него на плече.

— Не надо было привозить тебя сюда. Все это ужасно.

— Почему?

— Понимаешь, я как в огне, а вот ничего не получается. Я очень тебя хочу.

Сэм положила голову ему на плечо, но он не пошевелился. Молча курил. По радио играли какую-то незнакомую вещь незнакомой группы «новой волны». Так они сидели, молча, и постепенно у Сэм в голове начало проясняться.

— Во всяком случае в совращении малолетней меня не обвинишь,— горько усмехнулся Том.— Я думал, с тобой у меня получится. Ты мне очень нравишься.

Он перегнулся через нее и стряхнул пепел в пепельницу на полу возле кровати. Сэм взяла пепельницу и подала ему. Ей даже не было неприятно, что от него пахнет табаком.

— Тебя туда ранило? — спросила она.— Поэтому?

— Нет. Это все у меня в голове. Будто стена какая-то каменная. Великая Китайская стена. И я бьюсь в нее.

— Никогда не слышала, что такое бывает. Тебя контузило?

— Нет. Со мной все в порядке. Все это в голове. Ты слыхала, что сознание сильнее материи?

— Да.

— Вот мое сознание и мешает мне. Заводит, куда не надо. Я думал, с тобой у меня получится, а вот и нет.— Он запнулся и обнял ее.— Я не хотел обидеть тебя. Таков уж я — в этом все дело.

Сэм прикасалась головой к нему, стараясь быть с ним как можно ближе. Никогда она не испытывала ничего более ужасного. Она не понимала, что он говорит. Ее стало мутить. Свет из-под двери ванной создавал в комнате какой-то болезненный полумрак. Они лежали не двигаясь, пока он курил сигарету.

— Случай довольно обычный,— сказал Том.— У многих та же проблема.— Он загасил сигарету и натянул одеяло на плечи себе и ей. От кондиционера в комнате было холодно.— Я слышал по телевизору,— продолжал он,— что можно сделать операцию. Вшивают мягкую трубку, нажмешь кнопку и ее наполнит подсоленная вода, которая находится в специальном мешочке. Замечательная штука! И трубка эта будет как железная хоть весь год, если надо. Есть еще одна кнопка — нажмешь, и вода сольется. Я видел на экране, как все это действует. И подумал — черт, ведь это именно то, что мне нужно. Машину в мороз нужно подтолкнуть, чтобы завелся мотор. Со мной то же самое — необходима предварительная буксировка.

— М-м, надо достать эту штуку.

— Ха! Она стоит тысячу долларов. Где я возьму такую прорву денег?

— А в больнице УВ такую операцию делают?

— Может, и делают. Но так, что можешь вообще без ничего остаться.

Сэм вдруг представила себе его пенис, как он надувается, растет, точно нос у Пиноккио. Современная технология творит чудеса, нужны только деньги.

— Они продают их богачам-паралитикам, чтобы те могли ублажать своих женщин,— сказал Том.— Но у них все атрофировано. Пойми, Сэм. Я не паралитик. Я чувствую, и это сводит меня с ума.

— Ты можешь считаться инвалидом из-за этого?

— А ты как думаешь?

— Ты обращался в УВ? — Нет, это ужасно. Ее жизнь сосредоточена вокруг двух мужчин, которые зависят от УВ.

— Да. Мне прописали валиум и направили на лечение. Но вернувшись из Сент-Луиса сюда, я перестал лечиться. Что толку? Никакой валиум мне не поможет.

Он повернулся на бок к ней спиной. Сэм не знала, что ему сказать. Ей стало чуть ли не смешно, но она боялась, что если улыбнется, он не так поймет и обидится. Какой абсурд! Она погладила его лицо. Оно было жесткое, уже начала пробиваться щетина.

— Этого никто не знает,— сказал Том.— Если ребята проведают, они будут все время подшучивать надо мной, советовать разного рода заменители. Мне не надо было везти тебя сюда. Ты такая славная девушка.

— Кто тебе сказал, что я славная девушка? Я наркоманка, а сейчас я пьяная. И дядя мой сумасшедший. Ты боишься, что я скажу Эммету?

— Нет. Этого я не боюсь.

Том потянулся и взял еще сигарету. Он не успел закурить — Сэм обняла его и прижалась всем телом, стараясь слиться с ним. Раз уж он не может войти к ней, она вся вокруг него обовьется.

— Вот так и лежи,— сказал он.— Так мы одно целое.— И он зарылся лицом в ее волосы.

— Господи помилуй, Сэм,— сказал он, выбираясь из ее объятий и вдохнув воздуху.— Я не встречал ни одной девушки с такими крепкими мускулами.

Это, наверное, комплимент, подумала Сэм. Когда она проснулась часа два спустя, он и во сне лежал, плотно к ней прижавшись.

19

Утром у нее болела голова, во рту был привкус ржавчины.

На рассвете Сэм повернулась лицом к Тому и ощутила его кислое дыхание. Она снова заснула, а когда проснулась, Тома рядом не было. Простыни были несвежие. Она нашла в холодильнике кока-колу и выпила залпом всю банку. От кока-колы у нее закружилась голова и стало поташнивать.

Том был во дворе, опять занимался своими железками. И руки уже опять черные. Он спросил, будет ли она завтракать — на столе яйца и хлеб. Она ответила, что будет, надеясь, что он поднимется с ней в дом, но он только объяснил, где что лежит — значит, есть она будет одна. Он курил и отхлебывал из банки кока-колу. Тогда она сказала, что, пожалуй, лучше побегает. Пойдет домой и переоденется.

— Скажи, если надумаешь покупать этот «фольксваген», Сэм. Я его доведу до ума,— тихо проговорил Том.

Он кивнул в сторону автомобиля, который простоял у него во дворе все лето, бока его были в ржавых разводах, как будто поросли лишайником.

Она шла домой, щурясь от слепящих лучей солнца, вспоминая прошедшую ночь. Она понимала — он был так смущен, что при дневном свете не мог смотреть ей в глаза. Ему было стыдно. Она не знала, как его успокоить. Злилась на себя — вечно не знает, что сказать. Вчера вечером голова у нее была как в тумане, а сегодня смущение Тома буквально парализовало язык.

Дойдя до «Золотой арки», она подумала про Эммета: вдруг у него та же проблема, что у Тома. Вполне может быть. Наверное, поэтому у него и девушки нет. Может, Эммета так неудачно ранило, и психическая травма здесь ни при чем. Том ей сказал, это у него не ранение, а у Эммета может быть ранение. Эммет не хочет работать, мужчины работают, чтобы кормить семью, а если семьи нет и никогда не будет, зачем себя утруждать. Как просто все объясняется. Женщины хотят работать для самоутверждения, а мужчины — чтобы кормить женщину.

Хорошо бы Тому достать такой «протез», и Эммету тоже, наверное, надо. Интересно, что было этой ночью у Эммета с Анитой. Как, наверное, им хорошо вдвоем в уютной квартирке Аниты. А может, тоже ничего хорошего. В голове у нее зазвучала песенка:

Достаточно искры, чтобы был взрыв,
Ружье — это выстрел,
Пока мы танцуем, глаза закрыв.

Эммета дома не было. Бублик сидел один взаперти, Сэм накормила его и выпустила погулять. Ей расхотелось бегать. Она не протирала уши спиртом со вчерашнего утра, и мочки немного воспалились. Протерев уши, она съела тарелку хлопьев и легла на кушетку смотреть MTB.

Днем она пошла по магазинам. Надо же купить свадебный подарок для брата Лонни, хотя у нее и мелькнула мысль — если она порвет с Лонни, наверное, можно на свадьбу не идти. Приличный подарок ей не по карману. В «Пенни» Сэм быстро прошла мимо торшеров и люстр, чемоданов, баулов и пишущих машинок. Полюбовалась на серебро, фарфор, искусственные цветы. Марта несколько раз помянула рисунок на сервизе Дженнифер, но Сэм как ни силилась, не могла вспомнить, какой фирмы этот фарфор, а прейскуранта свадебных подарков в этом магазине нет, надо ехать в торговый центр. Салфетки на обеденный стол стоят четыре доллара штука. А одной салфеткой не обойдешься. Что это за подарок! Сэм рассматривала простыни, подушки и вдруг вспомнила кровать матери Лонни. Как-то вечером Сэм была у Лонни, в доме, кроме них, никого не было, и ей ужасно захотелось лечь на кровать родителей, но Лонни не осмелился потревожить застланное покрывалом великолепие; и они вместо

этого легли в постель Лонни — на простыни фирмы «Супермен», и Сэм вообразила себя Луис Лейн, улетающей, как на планере, на руках Супермена.

Она ничего больше не чувствовала к Лонни, как ножом отрезало. Вот так же ей вдруг расхотелось есть на Рождество «вишню в шоколаде». Теперь ее сильно влекло к Тому. Что бы такое сделать, чтобы у них получилось? Надо выглядеть соблазнительно, как будто она секс-бомба. Том — взрослый мужчина, от одной этой мысли мурашки по коже. Но как с ним себя вести, она понятия не имеет. Надо будет поговорить с Дон.

Сэм вышла из «Пенни» и двинулась к магазину «Кей-Март», в дальнем конце площади. Простыни там дешевле, зато салфетки на стол просто ужасные. В отделе спортивных товаров Сэм посмотрела купальники, но вид у всех был дешевый, ни одного похожего на соблазнительный купальник Аниты. Послонявшись между прилавков, Сэм вдруг решила купить ярко-красного керамического кота-копилку, у которого на морде сияет широкая улыбка, а на загривке щель для монет. Кот был круглый и толстый, величиной с хороший арбуз. Круглой широкой мордой напоминал Бублика. Прекрасный подарок маме. Кот был очень выразительный, явно со своим собственным характером. Айрин будет счастлива. Он наверняка ее развеселит. И Сэм вдруг так захотелось услышать мамин смех.

— Этих котов хорошо покупают. Отличное украшение для каминной полки,— сказала кассирша.

— Вылитый Бублик,— ответила Сэм.— Мой кот, только он черный.

Она уплатила за кота, и кассирша сказала:

— Спасибо, что сделали у нас покупку.

В дверях Сэм столкнулась с Питом Симзом.

— Вот не ожидал,— сказал он.— Привет, Самбо.

— Привет.

— Эммет благополучно добрался домой? — спросил Пит.

— Я еще сегодня его не видела. А ты как, в порядке? Здорово тебя тот парень отдубасил? — поддразнила она Пита.

— Черт, этот тип еще у меня схлопочет. А что в этой коробке?

— Подарок для мамы.

Сэм не была расположена болтать с Питом. Чувствовала себя как с похмелья, и ей очень хотелось домой. Но она не стала просить Пита, чтобы он ее подвез.

— Что за подарок?

— Да-а так, глупость,— смутилась Сэм.— Глиняный кот. Их ставят на каминную доску. Это сейчас модно.

— А-а,— без особого интереса протянул Пит.

— И еще этот кот — копилка. Ты меня своими вопросами допечешь.

— Люблю допекать. Моя жена этого не выносит.

— Можно понять.— Сэм передернуло: она вспомнила, что́ Синди рассказала вчера вечером в туалете. Но сейчас ей все казалось нереальным.

Пит рассмеялся.

— Моя жена командирша, каких мало. Только и слышишь от нее: «Прекрати сейчас же!»

Пит смешным фальцетом передразнил Синди, точь-в-точь Мик Джаггер, подражающий «Би Джиз».

Он протянул руку и схватил Сэм за локоть, задев косточку, которая как бы бьет током.

— Слушай, Сэм, едем со мной в Нижний. Впереди у нас длинный-предлинный вечер.

— Нет, Пит, не могу. Поищи себе другую подружку.

Пит был небритый, на верхней губе кусочек зубной пасты. Джинсы у него спустились так низко, что, казалось, вот-вот совсем спадут.

— Положила глаз на Тома? Я видел, как вы танцевали.

Сэм промолчала.

— Ну, давай я хоть угощу тебя кока-колой, если уж не хочешь ехать со мной.

— С удовольствием.

Ей очень хотелось пить, и она не могла отказаться от бесплатного угощения. В «Кей-Марте» он во всяком случае никаких глупостей себе не позволит.

Сэм с Питом сидели в небольшом закутке, тянули кока-колу и говорили о «фольксвагене» Тома.

— У моей мамы был «фольксваген»,— сказала Сэм, вертя в руках соломинку.— Мне нравилось его водить. Так надоело всюду таскаться пешком.

— А вот Эммету не надоело, верно?

— Да, он любит ходить. Ездить-то ему некуда. Нужно в Нижний — пожалуйста, ты, Том или еще кто всегда его отвезете.

— Они с Анитой вчера ночью поехали к ней?

— Наверное. Я его еще не видела.

— Я видел утром машину Аниты у бензоколонки. Она проверяла шины. Эммета с ней не было.

— Странно,— удивилась Сэм.— Может, Анита с Эмметом решили поехать куда-нибудь и она готовит машину?

— Эммет дает! — засмеялся Пит и покачал головой, намекая, что ситуация ему предельно ясна.

— Эммет мне сказал, что ты иногда скучаешь по Вьетнаму,— осторожно проговорила Сэм.— Говорит, тебя туда тянет. Это правда?

Пит долго изучал костяшки пальцев, сжимая и разжимая кулаки, повозил локтем по столу.

— Там было здорово,— сказал он, кивая.— Лучшее время в моей жизни. Совсем особенное.

— А Эммет говорит, там было ужасно.

— Конечно, ужасно, по большей части. Но иногда бывало так, как никогда и нигде.

— Ну например?

— Не знаю. Трудно объяснить. Может, это опасность, которую встречаешь вместе с другими. Знаешь, в этом что-то есть, живешь на полную катушку.

Пит отпил кока-колы и сказал:

— Да, черт возьми, я не отпираюсь. Мне там нравилось. Я знал, что делаю. И уразумел кое-что. Увидел черту между жизнью и смертью. Но все кончилось плохо. А какая была бы война, если бы нам позволили победить.

— Не понимаю, кто не позволил?

Пит потянул из своей соломинки.

— Чего тут не понимать? Ведь как там было? Пошлют нас на задание, и тут же приказ — обратно; а потом снова туда же бросят. Иногда просто махнешь на все рукой! Мы все время были как бы в засаде. Подумай, не отвоевать у врага ни клочка земли! Если начинать еще войну, так чтобы обязательно до победы... Знаешь, как мы быстро здесь проложили Ай-24! Сделали разметку, пришли бульдозеры, прорезали холмики и в два счета уложили полотно. И теперь можно ехать в Падуку по прямой. Вот бы там так строить дороги, мы бы выиграли войну. Туда бы эти машины.— Пит засмеялся и продолжал: — Мы бы заасфальтировали Тропу Хо Ши Мина и сделали из нее четырехполосную междуштатную. Тогда бы «мартышкам» от нас не спрятаться. Мы бы им задали перцу. С такими дорогами, как наши, жить можно.

— Да, тут вы молодцы,— сказала Сэм.

— А здорово было бы перепахать все те места.— Он опять засмеялся.— Все равно как перекопать весной сад. Но самой большой проблемой там была погода. Танки буквально тонули в жидкой грязи. У нас была такая мощная огневая сила. Могли бы камня на камне не оставить, если бы был приказ. Да не та стратегия. С нашей техникой и не выиграть войну! Что-что, а техника у нас была! Мы просто все время воевали не так. Не пускали по-настоящему нашу технику. Стреляли ровно столько, чтобы «мартышки» не наглели. Они хорошо изучили наш график, знали, когда

начнется обстрел, когда прилетят вертолеты. Уничтожим мы, к примеру, один склад боеприпасов, а у них уже новый готов, да к тому же там, где никто не ожидал. Такая у них была безупречная система обратной связи. Какие они юркие, увертливые, как гадюки.— Пит стукнул кулаком по столу.— Нет ничего лукавее восточного ума. Знаешь, они на кого похожи? Недалеко от Нашвилла есть небольшой зоопарк, и там показывают городок сусликов. Смотришь через бетонную загородку и видишь голую землю, усеянную круглыми дырами, а под ней целая сеть ходов. Суслики бегают по этим подземным ходам, и выкурить их оттуда можно только снарядами или дымом. Так и вьетнамцы. Держу пари, от Ханоя до самого Сайгона вся земля изрыта ходами. Чтобы выгнать их оттуда, надо очень много бомб. У нас они были. Да что толку. По крайней мере был бы хоть какой результат.

— Как можно результатом считать убийство стольких людей?

Пит не ответил.

— Когда твой отец там воевал, моральный дух еще не улетучился на хрен,— продолжал он.— Прости мне мой «французский», солнышко. У него, наверное, была цель. Потом солдаты совсем деморализовались. Перестали сражаться. Их стали наказывать. И все пошло прахом.

— Тебе там бывало страшно?

— Да, но оглядываясь назад, думаешь не об этом.

— А о чем?

— О многом.— Пит засмеялся. Так смеялся Фрэнк Бернс, двинув свой танк на женскую душевую. А когда Бернс раздавил танком джип полковника Поттера, тот вынул пистолет и стал в танк стрелять. В первую мировую войну полковник служил в кавалерии.

— Мама всегда говорит, что у Эммета мозги свихнулись из-за этой войны. А у тебя тоже мозги свихнулись?

— С чего бы? Мне, слава Богу, ноги не оторвало, не на что жаловаться. Да, я не могу найти постоянной работы, а кто сейчас может найти? Я именно так смотрю на вещи.

Он сунул соломинку в бумажный стакан и стал гонять в нем ледяной кубик.

— Перестань думать о Вьетнаме, Самбо,— продолжал он.— Ты не знаешь, как там было. И никогда не узнаешь. Тебе просто этого не понять. Так что выкинь из головы. Пока самому не придется покорять джунгли, ничего не поймешь.

— Как это «покорять джунгли»?

— Ну, бросят тебя в какую-нибудь Богом забытую дыру, а там эти «мартышки», и ты должен делать то, без чего не уцелеть. Я уцелел и не хочу, чтобы здесь моя жизнь полетела к черту.— Он опять засмеялся.— Если какое-нибудь женское общество добрых советов вправит жене мозги, я буду только рад. Ее давно пора образумить.

Пит, говоря о жене, смешно передразнил ее. Наконец он встал, скомкал стаканчик, бросил его в оранжевую корзину для мусора.

— Мне пора. Не поедешь со мной?

— Нет. Я еще не все купила.

— Ну ладно. Береги себя, Самбо. И не давай дядюшке смотреть слишком много глупых фильмов по кабельному телевидению.

Сэм помахала вслед Питу. Бедный, сентиментальный Пит, подумала она. Как же не сентиментальный, если наколол у себя на груди карту маршрутов своей машины... Как бы презрительно он ни говорил о женщинах, он просто маскирует свои чувства.

— Ты возьми и пойди к Тому, скажи, что хочешь купить этот маленький «фольксваген»,— обернулся Пит.— Глазом не моргнешь, он из него конфетку сделает.

— Скажу, когда пойду работать.

— До свидания, Самбо.

— Не называй меня так, Пит.

«Пит чудак,— подумала она,— каких мало».

20

Завернув к «Крогеру», Сэм, повинуясь какому-то странному порыву, истратила часть бакалейных денег на столь же странные закуски: «сосиски к коктейлю», копченые устрицы, смешной формы крекеры и даже банку копченых осьминогов. Потом купила кошачьей еды и две коробки «бабушкина печенья», которое пекла местная кондитерская фабрика.

Она вернулась домой вся в поту, сумка с покупками оттянула руку, другая затекла от глиняного кота. Эммета все не было. Сэм позвала Бублика, того тоже где-то носило. Она приняла душ, надела чистые шорты и майку с кошками. Опять протерла спиртом проколотые мочки.

Зашла в комнату Эммета: постель не убрана, посередине сбитые в ком простыни. Интересно, они так же пахнут, как простыни Тома? Может, Том все-таки позвонит и попросит прощения. Хотя разве он в чем-то виноват? Но, может, он чувствует себя виноватым. Вот бы он опять позвал ее к себе. На этот раз она сообразит, что сказать. Вчера она была совсем пьяная. Сэм нашла марихуану у Эммета в банке из-под какао. От нее чувствуешь себя совсем не так, как от пива или коктейля. После марихуаны не бывает похмелья, говорят, она даже помогает от него. Марихуана вкусно пахла шоколадом. Сэм вдруг пришла в голову идея. Она пошла в комнату Айрин и порылась в ее шкатулке с безделушками. Часть украшений принадлежала еще двоюродной бабке Бесси, которой когда-то принадлежал этот дом. Сэм взяла шкатулку на кухню и стала в ней рыться. Чего только там не было... Разноцветный бисер, снизки яблочных семечек — украшение хиппи, ожерелья из стекляшек, брошки-звездочки и брошки-солнца, огромные клипсы; там оказалось и колечко Айрин, с ее инициалами внутри, которое она носила в школе. Сэм выбрала пару клипс и надела, посмотрела в маленькое зеркало, висевшее рядом с холодильником. Клипсы впились в мочки, как клещи-кровососы. И она их тут же сняла.

Сэм вымыла тарелки, вытерла клеенку посудной губкой. Посреди стола водрузила купленного кота и, докуривая сигарету с марихуаной, любовалась им. Кот смотрел на нее и ухмылялся. Сэм сунула в щелку на спине окурок. Ей очень нравился кот, как хорошо, что она не показала его этому придурку Питу Симзу. И Лонни не покажет. Он ей устроит головомойку за то, что она не купила его брату красивую фарфоровую чашку на свадьбу. Лонни нужна совсем другая девушка, вроде невесты брата. Блестящие волосы, идеальная кожа, сияющая улыбка: такая не поставит его в неловкое положение и никаких фортелей не выкинет, вроде того, что выкинула она вчера вечером. Не станет прокалывать себе по две дырки в ухе. Или пить кока-колу с Питом. О Пите совсем не хотелось думать.

Сэм включила радио, надеясь послушать Брюса Спрингстина. В его песнях, хочешь не хочешь, было некое тайное знание, как будто ему было ведомо, что именно в эту минуту ты чувствуешь. Но играли какую-то чушь — близнецов Томпсонов. Сэм высыпала безделушки на стол. Теперь у лап кота как будто бились блестящие разноцветные волны. Сэм вспомнила виденный давным-давно фильм «Копи царя Соломона», в котором играла Дебора Кэрр. И воочию увидела грот, полный самоцветов и драгоценностей, сверкающих всеми цветами радуги, хотя фильм был черно-белый. Когда люди смотрят «Психопата», они клянутся, что видят кроваво-красный душ, хотя фильм не цветной. Странно, как ярко некоторые эпизоды запечатлеваются в памяти. Хорошо бы они никогда не стирались, сохранялись, как фотографии.

Пошарив на полках, Сэм скоро нашла среди всякой всячины пузырек с клеем. Клей был густой, как сгущенное молоко. Сэм вдруг подумала, что материнское молоко такое же густое и сладкое. Айрин с гордостью говорит всем, что кормит младенца грудью. А когда Сэм была маленькая, Айрин, наоборот, хвалилась, что кормит дочку смесями из бутылочки. Сэм своего ребенка, если он родится, будет кормить грудью, это так сексуально. Лонни не умел ласкать ее груди, даже иногда делал больно, а Том умеет ласкать, у него получается и нежно и волнующе. Как ей хотелось, чтобы он ей

позвонил, отчаянно хотелось. А вдруг он уже едет к ней? «Я приехал, чтобы поласкать твои груди»,— он это вполне мог бы сказать. Запел Билли Джоэл. Каким далеким и деловым выглядит он в том видеофильме, где на нем комбинезон автомеханика. Хорошо бы, Том уже починил «фольксваген» и приехал к ней. «Я приехал, чтобы отдать тебе этот «фольксваген». Иди сюда, я поласкаю твою грудь». Сэм повесила на шею коту несколько ниток бус. И засмеялась. Вот бы сейчас вернулся Бублик, она бы и ему повесила. Должно быть, то же чувствует Эммет, наблюдая своих птиц. Самая обычная вещь вдруг раскрывает перед тобой тысячи возможностей. Эммет рассказал ей об упражнениях дзэн, они помогают сосредоточиться. Благодаря им человек может управлять мыслями, не давать им разбегаться. Тогда это не произвело на нее впечатления, а теперь она подумала — что̀ если Эммет для того и наблюдает птиц, чтобы мысли не разбегались. И битлы, наверное, поют о том же: «Когда идет дождь, я латаю дыру и собираюсь с мыслями». Вот и Эммет латает дыры, чтобы не лило в дом. Если думать о чем-то волнующем, увлекательном, хотя бы о птицах, воспоминания не так сильно гложут. Эммет следит полет птиц и обо всем забывает. Они его завораживают.

По телевизору показывали воскресную программу для пожилых. Кончилась она песней «Разожги мой очаг». Сэм сделала звук громче. После нее диск-жокей объявил: «Играем рок-н-ролл «Коленкой под зад». Вели «Рок-95» студенты и, сообщая новости, иной раз не могли удержаться и прыскали. Последняя новость на этот час — потерялась кошка. И Бублик куда-то запропастился. Но Бублик частенько пускался в загул. Эммет тоже как в воду канул. Сэм рассеянно смотрела, как муравей заполз в отверстие электрической розетки и спустя мгновение выполз.

После новостей диск-жокей пошутил: «Что общего между слоном и океанским лайнером? Сдаетесь? И тот и другой не умеют летать! Ха-ха-ха!» Сэм терпеть не могла идиотских шуток «Рока-95». Диск-жокеи этой передачи — идиоты, каких поискать.

Вооружившись ножницами, Сэм разрѐзала нитку жемчуга, и жемчужины посыпались на стол, приветствуя долгожданную свободу радостным стуком. Они покатились по столу, несколько упало на пол. Сэм разрезала еще несколько ниток и ссыпала все бусины в тарелку. Затем разрезала снизку яблочных семечек — яблочные семечки отправились туда же. И стала украшать кота. Наклеила на туловище полоски бисера, жемчужин, хрустальных бусинок, превращая его в полосатого тигра. На шею надела бусы из стекляшек, укоротив по мерке. Сэм работала внимательно, аккуратно. По радио звучали песни шестидесятых годов, и Сэм слушала, стараясь не пропустить ни одного слова. Слова значили многое. Вот так же сосредоточенно они с Эмметом когда-то давно рассматривали марки.

Наверху Сэм нашла старое выходное платье, которое Айрин надевала, когда врач-дантист устраивал прием с ужином и танцами. «Зубной бал», называл Эммет эти приемы. «Высший свет», думала Сэм. Она принесла платье вниз и отрезала от него кайму. Кайма была лиловая, очень подойдет красному коту. Королевское сочетание. Приделала на щеки лиловые усы. Кот стал похож на магараджу. На лице у него застыла улыбка, точнее ухмылка. На передние лапы Сэм наклеила по хрустальной бусине. Такая получилась прелесть!

Сэм включила МТВ. На экране появилась жирная физиономия Синди Лопер. По седьмому каналу заканчивались «Собаки войны». И Сэм вдруг подумалось, пожалуй, ничего нет интересней жизни солдата-наемника в Африке, во всяком случае с жизнью в Хоупвелле не сравнишь. Она снова включила МТВ, надеясь все-таки поймать Спрингстина. Том улыбается точь-в-точь как Брюс. Том — единственная радость в Хоупвелле. Ее здесь удерживает одно — возможность работать официанткой в «Бургер-бое», ведь Том частенько туда заходит. Мысль о его увечье ударила ее словно током. Она стала думать о всех загубленных войной жизнях. Ей хотелось плакать, кричать, стучать ногами. Воюйте, ладно, но только против войны. Все эти убитые парни — с той и другой стороны, сколько их! Изувеченные

тела, изувеченные жизни. Парни, так и не ставшие взрослыми, война лишила их возможности взрослого существования. Они — аутсайдеры, изгои, играют в игрушки, болтаются без дела, ведут себя как подростки, которые из робости не заводят подружку. Это чудовищно, не укладывается в голове...

Сэм прилепила лиловый фестон на шею коту. Такого кота можно использовать как контейнер для перевозки наркотиков или начинить взрывчаткой — будет отличная бомба, любой террорист позавидует. На спине у него таинственная щелка. У Губерта Гемфри щелка была в животе. К ней прикреплялся мочесборник. И у мистера Уоттерсона, преподающего обществоведение, она есть. Мальчишки говорили, что своими глазами видели. Прокрадывались в учительский туалет и из кабины видели, как он выливал содержимое мочесборника в писсуар. Но Сэм не верила, что они могли отважиться на такое.

Когда Губерт Гемфри умер, Сэм училась в начальной школе. Их класс смотрел похороны по телевизору. Одни дети плакали, другие хихикали. Сэм не плакала. Она не сентиментальна. А вот Пит сентиментален.

Сэм сорвала в саду одуванчик и сунула в щелку коту. Теперь он походил на короля в короне, раздувшегося от взимаемых налогов. Душевные муки ему явно неведомы. Сэм любила кошек — они по-настоящему независимы, плевать им на общественное мнение. Дон говорит, страх им неведом. Ей о них много всякого рассказывала Ивонна. А Бублика все не было. Обычно около пяти́ он уже сидит перед входной дверью. И от Эммета ни слуху ни духу.

На экране начинался фильм «Пирушка». Лонни называл пирушкой мальчишники. Сэм проверила тридцать один канал, все, какие есть. По одному крутят старый фильм, по другим — бейсбол, новости Си-эн-эн, религиозные проповеди. Вернулась к МТВ и стала смотреть видеофильм «Куин».

Ей очень хотелось есть. Живот бурчал, точь-в-точь дверца электрической духовки, когда включен режим «самый сильный». Она как-то поставила на самый сильный оставшуюся с вечера курицу. И вынула оттуда полную сковородку тонких черно-серых косточек; она их не показала Эммету, он бы подумал, что сгорел кот, и его хватил бы удар.

Сэм позвонила подружке.

— Я весь день не могу до тебя дозвониться,— сказала с беспокойством Дон.— Я купила еще один индикатор. Он тоже показал беременность. Что теперь делать? У меня в животе творится что-то непонятное, точно все время приливает кровь.

— Сходи к врачу, что он скажет,— посоветовала Сэм, чувствуя какое-то странное безразличие.— Срок совсем маленький. Даже аборт еще делать рано.

— Притворюсь, что этого слова никогда не слыхала,— сказала Дон.— Я еще ничего не говорила Кену. Но он заметил в моем поведении что-то странное. Я ему ничего не скажу, пока не буду знать точно.

— Приходи вечером ко мне, посмотрим телевизор,— сказала Сэм.— Эммета дома нет, а я в какой-то прострации.

— У тебя есть дома «хорошенькое»?

— Эммет говорит — «сладенькое»,— рассмеялась Сэм.— Есть, пахнет шоколадом. Мне столько надо тебе рассказать про вчерашний праздник. Приходи, а?

— Сегодня не могу. Обещала брату помочь ему покрасить подвал, немножко заработаю. Он делает бар у себя в приемной.

— А у меня тут такая тоска. Эммета нет со вчерашнего вечера. Наверное, остался у Аниты!

— Вот здорово!

— Мне нравится Анита. Хорошо бы, они опять стали встречаться. Когда ты увидишь Кена?

— Завтра. Мы собираемся после церкви поехать в Падуку. Если я признаюсь, что беременна, боюсь, он может сказать, что я это специально подстроила. Так противно, парни вечно думают, что их хотят подловить.

Поговорив с Дон, Сэм набрала номер Аниты, но никто не ответил. У Дон будет ребенок. Невероятно. Теперь уж она не сможет поехать в Диснейленд. Как жила в Хоупвелле, так и умрет. Надо будет уговорить ее кормить младенца грудью.

Сэм натерла острый сыр, посыпала коржи и поставила их в печку. Когда они испеклись, села есть на крыльцо, запивая кока-колой.

В своем ядовито-желтом «плимуте» подъехала к дому миссис Биггс и стала выгружать покупки.

— Отправилась в магазин и забыла дома чековую книжку. Но они мне, слава Богу, в долг отпустили. Я бы и голову свою забыла, но она у меня пришита крепко.

— Вы не видели Эммета? спросила Сэм. В слепящем солнечном свете миссис Биггс походила на огромную, всю в бородавках жабу.

— Последний раз видела, когда он подстригал у меня газон, два дня назад. Много было травы под кустами форзиции. Я сама туда не достану, очень они густые.

— А сегодня утром не видели?

— Я уехала из дому около десяти. Ездила к дочери. Она взяла на неделю отпуск, варит варенье из ежевики. Кошмар! Вся кухня в синих потеках.

Потом Сэм смотрела теленовости. Президент отправился в Калифорнию. В Вермонте пассажирский поезд сошел с рельсов. Сэм теперь поняла, Рональд Рейган — вылитый Дагвуд Бумстед. Ей послышалось, что едет пикап Лонни, но это барахлил мотор соседского автомобиля. На экране показали наводнение в северо-восточных штатах, в беде оказались сотни людей. Таких наводнений в западном Кентукки не бывает — власти распорядились вырыть несколько озер, отделивших округ от остального штата. Живешь все равно как на острове, отрезанном от цивилизации. Если бы она и правда оказалась на необитаемом острове, ей, наверное, больше всего не хватало бы охлажденных напитков. Однажды ей пришлось писать сочинение на тему, какую бы книгу она взяла с собой на необитаемый остров. Глупая тема, глупее не придумаешь. Вряд ли кто из класса когда-нибудь очутится на таком острове. Мисс Касл хотела, чтобы они назвали Шекспира или Библию, но Сэм из вредности написала, что прихватила бы с собой словарь. Бредовая идея — всюду таскать любимую книгу на случай, если окажешься на необитаемом острове. Когда такой случай выпадет, любимая книга надоест до чертиков. А имея в своем распоряжении словарь, она сочинит себе любимую книгу, какую захочет. Сэм съела два печенья и стала думать, не позвонить ли Тому. У него можно спросить, не видел ли он Эммета.

Вместо этого набрала номер Джима Холли, но никто не ответил. «Пирушка» дошла до середины. Джон Траволта играл своей ямочкой. Красный глиняный кот, казалось, привык к новому обличью, вид у него был явно довольный, скептическая усмешка исчезла. Сэм осторожно убрала кота в ящик комода.

После полудня жара спала, и Сэм вышла побегать. Побежала по территории Теннисного клуба, куда Эммет ходил смотреть строительство дома. Ей вдруг вспомнилось, они с матерью нашли однажды Эммета под кустом на школьном дворе, он был мертвецки пьян и спал. Давно с ним не случалось ничего подобного. Наверное, его спасли от алкоголизма их бдения у телевизора. Эммет был не из тех, кто легко ломает привычки; и Анита, надеялась Сэм, знает, что делать.

Сэм нравились новые дома. Фантастика, двух одинаковых не найдешь. Старые дома в городе или белые деревянные, или из красного кирпича, и все на одно лицо. А новые — большие, стильные, и каждый по-своему причудлив. Сколько женщин — столько фасонов платья, так и эти дома. У одного — балки эпохи Тюдоров, у другого — окна-фонари, у третьего — орлы Кейп-Кода. Остались позади аллея Гольфового клуба, двор Теннисного, побежала по Кантри-кресент, на перекрестке с Парадиз-уей увидела маленькую девочку на трехколесном велосипеде, сделанном под гоночную

машину. Во рту у нее свистулька, и она изо всех сил крутит педали маленькими ножками. Вокруг ни души, кроме малышки на велосипеде. Из гриль-бара, где что-то жарилось на угольях, валил аппетитный чад. Сэм вспомнила, как однажды Бублик стащил у кого-то цыпленка, жарившегося на решетке, и принес домой. Они с Эмметом так хохотали, что чуть не лопнули. Куда все-таки запропастился Эммет? Если он с Анитой, тогда все в порядке. С ней пусть остается хоть навсегда. Вот кому надо жениться, а Дон еще рано выходить замуж.

21

Эммет не появился и в воскресенье. Бублика тоже не было. Сэм набрала номер Аниты — никто не ответил. И Сэм, несмотря на жару — было уже около десяти,— отправилась бегать. Сегодня голова у нее ясная, все вокруг кажется ярким, обновленным, как после грозы. Из памяти не выходит виденный вчера вечером по телевизору фильм «Эдди и Круизеры». «Круизеры», рок-группа, путешествуют во времени. Эдди в фильме исчез. Как Эммет.

В «Макдональдсе» Эммета не оказалось — там было полно посетителей, возвращавшихся домой из церкви в выходных платьях и костюмах. Сэм побежала дальше, следующая остановка кафе «Бургер-бой». На той стороне улицы толпа баптистов, только что вышедших из молельного дома, ожидала начала занятий в воскресной школе. Новый бармен, Уолт, нанявший Сэм на осень, увидев ее, пошутил:

— Привет, Сэм! Надесь, ты будешь приходить на работу в более презентабельном виде.

— Конечно,— ответила Сэм.— Вы не видели моего дядю?

— Он что, потерялся?

— Да нет. Я просто ищу его. Думала, может, он здесь.

Сам Уолт — ему не мешало бы сбросить килограммов десять — в тонкой белой рубашке, синих брюках и в галстуке. Нанимая Сэм, он сказал ей, что ему нужны красивые девушки. Это же он сказал и Дон.

— Пока, Уолт,— махнула рукой Сэм и побежала дальше.

В полдень приехала бабушка Смит и повезла Сэм к себе угостить воскресным обедом. Она была в церкви. Бабушка высокая ростом, с седыми в мелких кудряшках волосами и загорелым морщинистым лицом. Сидя за рулем, она всю дорогу говорила про Флориду. Сэм не сказала ей, что пропал Эммет. Бабушка тоже его не видела, не то упомянула бы об этом.

— Я так устала от бесконечной работы,— сказала бабушка, когда выехали из города.— А Джордж не хочет раскошелиться, ему жалко тратить деньги на поездку — музеи, гостиница, еда. Он так меня утомил своими расчетами, что у меня разболелась голова. Я совсем забыла, что вчера была суббота, и пропустила свою любимую передачу. Потом съела огурец, чего не надо было делать. Но я уверена: когда-нибудь все-таки я попаду во Флориду, в лепешку разобьюсь, а попаду. Это такая пословица, ты ее, наверное, никогда не слыхала.

Дом дедушки и бабушки был в пяти милях от города по главному шоссе; в доме камин, новая кухня, кладовая, крыльцо с декоративной решеткой, а на полу у входа — зеленая циновка. Машина свернула на дорожку к дому, и Сэм вдруг представила себе, как Эммет вернулся с войны. Она не помнила его возвращения, но Эммет явился в воображении как живой — отрешенное выражение глаз, тягостное молчание, не в меру раздражителен. Она не раз слышала рассказы, как бабушка готовила для него деревенскую ветчину, стряпала бобы, пекла пироги, но его ничто не радовало. Встанет ни свет ни заря, выпьет пепси и идет гулять по полям. Возвращается весь мокрый от росы, как кот после ночных вылазок. Долго так не могло продолжаться. Вскоре Эммет уехал на Запад и вернулся со своими хиппи.

— Эммет кончил земляные работы? — спросил дедушка у Сэм, когда она вошла в комнату. Дедушка никогда не ездил в церковь.

— Почти. Осталось уложить еще одно водонепроницаемое покрытие и засыпать канаву,— ответила Сэм, захлопнула дверь и погладила Бастера.

— Вечно он занимается какой-то чепухой,— усмехнулся дедушка.— Я это называю — игра в бирюльки.

— А что с Рыжим? — спросила Сэм.

— Я обменял его,— сказал дедушка.— От него все равно никакого проку.— Дедушка вдруг рассмеялся.

— Что же в этом смешного?

Он покачал головой, засмеялся еще громче и не мог ничего сказать.

— Он смеется над свидетелями Иеговы, которые вчера заявились к нам,— сказала бабушка.— Они второй раз приезжают и должны бы уж понять, что из этого старого скряги ничего не вытянешь.

— Я не скряга!

— Боится расстаться хотя бы с одним долларом,— сказала бабушка, обращаясь к Сэм.— Мне в конце месяца платить взнос на эту поездку во Флориду, так я с тем же успехом выужу у него деньги, как бедные свидетели Иеговы.

— Ослы безмозглые! — сквозь смех сказал дед.— Они приехали, а я как раз косил газон. Тот, что за рулем, опустил окно и говорит: «Уберите свою собаку. Я бы хотел с вами поговорить». Я сразу смекнул, кто они такие. А Бастер так просто залился лаем. Знаешь, что я им сказал? Я им сказал — если вера ваша сильна, могли бы и не бояться собаки. Они сразу и заткнулись. Разозлились на меня и уехали.

Дедушка продолжал смеяться, держась за бока.

— Один из этих свидетелей Иеговы работает кем-то на фуражной фабрике. И деду придется иметь с ним дело. Так вышло неловко.

— Если бы у них была вера, они бы не испугались Бастера.— Дедушка погладил овчарку. Собака застенчиво прижала уши к голове.

— Мне очень нужна вера,— сказала Сэм.— Если бы я верила, интересно, получила бы в награду за веру хорошую работу и автомобиль? — А Том — это волшебное приспособление, мысленно прибавила она.

— Над такими вещами нельзя смеяться, Сэм,— сказала бабушка.— Молодые теряют веру. В церковь никто, кроме стариков, не ходит.

— А может, мне стать свидетелем Иеговы? — сказала Сэм.— Они так много ездят, по всему свету.

— Поражаюсь, почему они всегда разъезжают такой большой компанией? — сказал дедушка.— В той машине было четверо взрослых и трое детей.

— Не знаю. Может, чтобы экономить бензин?

— Перестаньте скалить зубы, пора обедать,— сказала бабушка.— Я только сначала пойду переоденусь. Мы все еще едим тот окорок, который я купила в Сурвее на прошлой неделе по семидесяти девяти центов за фунт. И еще будет мой фирменный салат. Тебе, Сэм, чай со льдом или молочный коктейль?

За обедом Сэм расспрашивала дедушку про хиппи, которых Эммет привез в Хоупвелл много лет назад.

— Правда, что ты их выгнал?

— До сих пор храню палку, которой гнал отсюда этих говнюков.

— Как ты выражаешься, Джордж, при внучке! — возмутилась бабушка.

— Она еще не то слышит по телевизору.

Дедушка встал и показал в окно на куст, росший сбоку дома, там, где подъездная дорога сворачивала к шоссе.

— Видишь этот жасмин? — сказал он.— На этом месте была когда-то клумба с розами. Так один раз эти кретины в ней завязли. Стали разворачиваться в своем размалеванном «фольксвагене», въехали в клумбу. И завязли. Пока буксовали, пропахали две глубокие траншеи на этом месте. Пришлось вывести трактор и вызволять их. В общем, наделали дел. И хоть бы извинились. Так и зияли посреди двора две канавы, пока я их не засыпал. Ну какого черта вздумали кататься по траве в сырую погоду!

— Как раз тогда все и стало меняться в худшую сторону,— вздохнула бабушка.— Когда-то Хоупвелл был тихим городком. Самое лучшее на свете место, чтобы растить детей. Теперь этого про Хоупвелл не скажешь. Молодые нынче не знают цену доллару. Им хочется иметь сразу все.

Бабушка жевала колечки репчатого лука. Дедушка вернулся за стол и принялся за следующий кусок ветчины.

После обеда он закурил сигарету и, опершись о перила крыльца, стал любоваться соевым полем. Кондитерская фабрика, что стояла за его фермой в промышленной зоне, протянула через его поле сточные трубы. И не заплатили деду ни цента за безобразие, которое учинили на его земле, зато обещали, если он вдруг начнет какое-нибудь производство, подключить его сточную трубу к своей системе. Он никогда не начнет никакого производства, заверил он их. И подписал соглашение, как подписывает побежденный договор о капитуляции.

Дед выкурил сигарету и вернулся в дом, где Сэм с бабушкой укладывали посуду в моечную машину. Сэм спросила бабушку с дедом, помнят ли они, как Айрин возила ее в Лексингтон, когда она была еще совсем маленькая.

— Конечно, помню, золотко,— сказала бабушка.— Как раз тогда твоей маме пришлось терпеть в доме дикую гиену, которую Эммет привез с собой из Вьетнама. Она была серая-серая, как крыса.

— Я ее немного помню. У нее еще были смешные светло-голубые глаза.

— И вот теперь Айрин опять в Лексингтоне! — воскликнула бабушка.— На этот раз с другим младенцем. У нее просто страсть таскать своих детей в Лексингтон.

— Я тогда уже не была младенцем,— сказала Сэм.

— Айрин слишком поздно родила этого ребенка,— вздохнула бабушка.— А тебя слишком рано. И тогда ей было трудно, и сейчас.

— У Айрин все не как у людей,— пробурчал дедушка.

— Но ей повезло — дети у нее родились без физических недостатков,— сказала Сэм.— Неужели вы никогда не задумывались, что если бы мой папа вернулся с войны, Айрин могла родить ребенка с врожденным уродством. Наша армия каких только химических веществ там не применяла. Если бы они родили меня после войны, я могла бы появиться на свет без позвоночника или с ластами вместо рук и ног.

— Что ты такое мелешь, Сэм,— сказала бабушка, ущипнув ее за щеку.— Я бы все равно любила тебя, даже с ластами.

— Мама все время говорит, что Эммет свихнулся из-за этой войны.

— Надо было его в детстве драть,— сказал дед.

— Да война почти убила его! — воскликнула Сэм.— Я боюсь, как бы у него не было рака. Уж не говоря о его нервах и снах, которые его так мучают.

— Успокойся, Сэм,— сказала бабушка.— Дедушка уверен, что с ним все в порядке.

— Он был так воспитан. Это был его долг — ехать туда и сражаться.

— Ты горой стоял, чтобы он шел воевать,— бабушка упрекнула деда.— Говорил, армия сделает из него человека. Вот и любуйся теперь, что она из него сделала.

— Ему еще не поздно взять себя в руки,— защищался дед.— Взять себя в руки и гордиться своим боевым прошлым.

С этими словами дед вышел посмотреть телят; Сэм с бабушкой продолжали убирать посуду, и Сэм вдруг осмелилась и спросила бабушку, не из-за войны ли Эммет не живет с женщинами. Вопрос был деликатный, и Сэм задала его обиняком.

— А есть, наверное, мужчины, которые не могут жениться из-за ранения на войне?

— Это не война виновата,— ответила бабушка.— Я всегда грешила на свинку.

— Что, что?

— В одиннадцать лет Эммет заболел свинкой. У него была высокая температура. Он лежал в постели, и ему нельзя было вставать. А он возьми и встань. Свинка его и тяпнула.

— Как это тяпнула?

— Он тогда совсем ослаб от болезни. На ногах не держался, а пошел открывать дверь. После этого он пальцем не мог шевельнуть, не только что. Я чуть с ума не сошла. Тогда свинка его и тяпнула.

— Не представляю себе, о чем ты говоришь?

Бабушка часто в разговоре касалась вещей, которые, по ее мнению, Сэм просто не могла не знать.

— Ты разве не слышала? Свинка так может тяпнуть мальчика, то есть его яички, что у него, когда он вырастет, не будет детей.— Слово «яички» бабушка прошептала.— Может одно тяпнуть, а может и оба. Если тяпнет левое, не будет девочек, если правое — мальчиков. Точно не помню, может, и наоборот. У Эстел Уильямс был брат, его она так тяпнула, одну сторону раздуло, как мяч.

— Подожди, подожди,— Сэм едва сдерживала улыбку. Чудно все-таки говорить с бабушкой про это. Бабушка бы умерла, узнай она, что они делали с Томом Хадсоном.

— Когда болеют свинкой, под ушами раздуваются железы. А потом что, болезнь спускается вниз?

— Никуда не спускается. Просто распухают яички, люди и говорят, «свинка тяпнула». Господи, да что это я? Разве такие вещи обсуждают с молодыми девушками? А между прочим, слыхала я, свинка и девочек тяпает.

— И что?

— А то, что девочка вырастет и не сможет родить.

— А меня свинка не тяпала?

— Тебя — нет. У тебя был прострел,— бабушка вытерла руки о посудное полотенце и, поправив волосы, продолжала: — Давай, Сэм, говорить о другом. Совсем о приличиях забыли.

— Ты думаешь, Эммет поэтому не женится?

— Твой дедушка считает, все это глупости. А я так и не знаю — верить или нет. Иногда думаю, если бы я поменьше говорила об этой свинке, может, он бы ничего такого за собой не заметил и преспокойно женился.

— Мама во всем винит войну. А может, он был ранен, ну, ты знаешь сама — куда?

Бабушка затрясла головой.

— Никогда ничего такого не слыхала.

— О чем это вы, девочки, разговор ведете? — спросил, входя, дед. В руках у него было поильное ведро. Сбоку из ведра торчала большая резиновая соска, чтобы телята могли сосать.

— Это наши маленькие женские тайны,— ответила бабушка, замахнувшись на деда полотенцем.

22

На другой день Сэм спала чуть не до полудня. Встала, обошла весь дом. Никаких признаков, что Эммет ночевал дома или хотя бы заглядывал. На ночь она оставила заднюю дверь открытой — вдруг Эммет явится. Бублика тоже не было. Но о нем она меньше беспокоилась. Спать Сэм легла очень поздно — смотрела передачу «Рок-95». Между записями студенты разных университетов рассуждали о важных проблемах. Были такие, кто защищал ку-клукс-клан, отрицая, что они прибегают к насилию. «Они имеют право на свою точку зрения», говорили защитники. После полуночи Сэм смотрела «Джесс Джеймс знакомится с дочерью Франкенштейна», но фильм ей не понравился.

В полицию было обращаться рано. Надо, чтобы человек отсутствовал по крайней мере три дня. У нее в комнате с фотографии, краем засунутой под рамку зеркала, укоризненно глядел отец.

Сэм съела немного печенья и позвонила Дон.

— Приходи ко мне,— позвала она подругу.

— Сейчас не могу. Мне позвонили с работы, чтобы я сегодня пришла пораньше.

— Ты вчера видела Кена?

— Видела. Мы обедали у него дома с родителями, а потом проехались в Падуку.

— В чем ты была?

— В ярко-розовой блузке и набивной юбке с воланами.

— И десятка два сережек?

— Да,— рассмеялась Дон.— А знаешь что...

— Что?

— Кен, кажется, нашел совсем дешевую квартирку в доме над мебельным магазином Джонса. И начал поговаривать о женитьбе. Можешь себе представить! А я еще ничего ему не сказала. Слава Богу, он в таком настроении, что можно ему сообщить эту новость.

— И у тебя гора с плеч?

— Кажется, все не так плохо складывается. Я тут думала, как я люблю своих маленьких племяшек. Теперь только надо найти предлог, чтобы переехать.

Сэм все-таки не оставила мысль уговорить Дон сделать аборт, но сейчас она ни о чем не могла думать всерьез. Надо сперва найти Эммета.

— Пожелай мне счастья, Сэм,— сказала Дон.

— Желаю, Дон. Скоро увидимся.

— Приходи. Пока.

— Пока.

Сэм нашла фонарик и спустилась в подпол. Вечером она побоялась пойти туда.

После того как Эммет заделал трещины, в подполе стало сухо, но плесенью еще пахло. Весь подпол был завален ненужным хламом. В одном углу лежали кипой газеты «Хоупвелл ситизен» за несколько лет. Их не выбрасывали, чтобы отдать бойскаутам, но те так ни разу и не появились. Рядом лежали сваленные в кучу журналы «Ридерз дайджест». Они разбухли и склеились. «Горняя обитель», журналы тетушки Бесси, аккуратно связанные, лежали на полке. Ее цветочные горшки с землей все еще жались друг к дружке в сыром углу. Айрин забыла вынести их весной наружу — тетушка умерла зимой, и кто-то перенес их сюда. Сэм помнила, как цветы упрямо выбрасывали зеленые побеги, надеясь уловить в темном подвале хоть лучик света; в конце концов отчаялись и завяли. Но не помнила, в каком году они умерли. Увидев засохшие былинки, она вся съежилась от неясного страха. В них было что-то бессмысленное, ненужное, гнетущее, как все то, с чем ей приходится сталкиваться в жизни. Как и этот бак с пустыми бутылками, который стоял здесь испокон веков. Содержимое было выпито еще мужем тетушки Бесси. Тетушка их не выбрасывала, чтобы соседи не увидели их в мусорных баках.

В другом углу валялась груда кухонной рухляди, оставшаяся после ремонта кухни. Сэм посветила фонариком за топкой. Ничего. Открыла дверцу огромного шкафа, куда убийца мог бы спрятать свою жертву. На нее пахнуло сыростью, пылью, машинным маслом. Кроме банок из-под краски, в шкафу ничего не было.

Снаружи Эммет засыпал канаву почти целиком, осталась только довольно глубокая яма перед лазом, ведущим под кухню. Кусок фанеры, которым Эммет прикрывал лаз, свалился. Сэм сунула фонарик в яму и позвала «кис-кис-кис». Сердце у нее оборвалось — вдруг у Эммета был удар и он лежит в этой яме.

Совсем близко просигналил автомобильный гудок. К дому подъехал красный «транс-ам». Из него выскочила Айрин с криком «Незваные гости!» и распахнув руки.

Сэм чуть не свалилась в яму.

На Айрин были босоножки на каблуках и розовые шорты. Она сделала

себе перманентную завивку, отчего голова у нее стала походить на разлапистый куст форзиции. Белая майка была с большим вырезом, и на бледной коже отчетливо проступали веснушки. Айрин обняла Сэм, и сиреневая оправа ее темных очков щелкнула по металлическим сережкам дочери. Айрин отступила на шаг, не спуская с ее плеча руки.

— Просто мне очень хотелось взглянуть на тебя,— сказала она, играя сережками Сэм.— Угадай, кого я привезла,— кивнула она в сторону машины.

Можно было не гадать кого. На заднем сидении спал младенец — растрепанный сверток в непромокаемом подгузнике,— причмокивая во сне губами. А на переднем, согнувшись в три погибели, с подушкой, воткнутой под голову, спал сном праведника Эммет, полы рубахи выехали наружу, верхняя пуговица на джинсах расстегнута. Все лицо в прыщах и каких-то пятнах.

— Как ты думаешь, кто ввалился к нам заполночь, едва держась на ногах?

— Почему ты не позвонила мне? — сердито спросила Сэм.— Бабушка обязательно бы позвонила, если бы он у нее объявился. Она бы поняла, как я волнуюсь.

— Мама устраивает суматоху по всякому поводу, потому что ей нечего делать. Можно сказать, это ее профессия.

Айрин взяла малышку из машины, и Эммет зашевелился.

— Убирайся,— пробурчал он и во сне замахал кулаками.

— Я терпела это всю дорогу из Лексингтона,— сказала со вздохом Айрин.

— А я чуть с ума не сошла, искала его везде,— все еще сердилась Сэм.

Они оставили Эммета в машине, а сами вместе с младенцем пошли в дом. Сэм несла синюю дорожную сумку с пеленками. Айрин сказала, что доехала до Хоупвелла всего за пять с половиной часов. Остановилась по дороге всего один раз — перепеленать малышку и заправиться. Эммет вначале смотрел в окно. А после Элизабеттауна заснул и спит до сих пор. До Лексингтона его довез какой-то парень, высадил Эммета, а сам поехал дальше.

— Он сказал, что у него ничего с собой нет, и обратно ему ехать не на чем,— продолжала Айрин.— Ларри уже спал. А я досматривала ночную передачу. Ты смотрела «Похитителей трупов»? Продолжение? В этом фильме, кажется, что-то есть. Но тут позвонили в дверь, я открыла, на пороге стоит Эммет. Так я и не знаю, чем там все кончилось.

— Их всех похитили,— сказала Сэм.

— Я чувствовала, что к тому дело идет. Но это какой-то неправильный конец.

Малышку положили на софу, и она почему-то заплакала. Айрин стала убаюкивать ее. Личико у девочки было круглое, как булочка. Сэм огорчилась, что и у девочки эта семейная черта. Бублика все не было, как же она скажет Эммету о его исчезновении?

— А ты «Пир привидений» смотрела? — спросила Айрин.

— Нет.

— Напрасно. Ну вот, выхожу я на звонок, а Эммет стоит, опершись на наш самый большой куст. Он такой густой, плотный, даже не примялся. Стоит и улыбается кривоватой улыбкой, как будто задумал какую-то каверзу. Знаешь у него эту улыбочку — немного застенчивая, лукавая, по ней сразу видно, что-то у него на уме. Ну, я ему говорю: «Иди домой, Эммет, отпусти куст». Он пошел шатаясь, как клоун в цирке, вместо носа — шишка, рот до ушей и притворяется, что немой. Он и правда не мог слова вымолвить — так напился.

— Почему ты сама привезла его? — спросила Сэм.

— Не могла же я отправить его автобусом. Автобус идет шестнадцать часов. Останавливается на каждой развилке.

Дверь отворилась, и в кухне появился Эммет. На лице у него была та самая улыбка, застенчивая, но сейчас без капли лукавства.

— Сплетничаете про меня,— сказал он.

— Привет, Эммет,— поздоровалась Сэм.

Эммет взял из холодильника большую бутылку пепси и открыл ее. Пепси зашипела. Он налил стакан и выпил, не бросив даже кубик льда.

Айрин сунула свои сиреневые очки в боковой карман сумки, пошарила внутри и извлекла бумажную салфетку, как фокусник белого голубя из самого неподходящего места.

— Сэм,— сказала она,— ты уверена, что в том фильме всех похитили? Так не должно быть. Обычно в таких фильмах всегда есть хоть одна линия с хорошим концом — герой спасает девушку, и они каким-то чудом ускользают от злодеев.

— Нет, никто не спасся,— сказала Сэм, вглядываясь в Эммета. Джинсы он застегнул. Одежда вся грязная. Та самая, в какой он был на танцах. Даже армейские ботинки все изгвазданы.— Где ты провел выходные, Эммет? — спросила она.— Я так беспокоилась.

— Сразу не объяснишь,— сказал он. Вид у него был усталый и какой-то пришибленный. Руки дрожали.

Айрин налила себе из крана стакан воды. Пластиковую сумку с малышкой поставила на пол, девочка дергала маленькими ножками и гулила. Сэм подумала, не будет ли у ребенка искривления позвоночника от этой сумки.

— Хезер, покажи свои зубки,— сказала Айрин. Малышка загулила и чмокнула губками.

— Она ведь еще очень маленькая, какие же у нее зубки? — спросил Эммет.

— А у нас уже зубки пошли. Она вообще развивается очень быстро, быстрее, чем полагается.

— Она не кусает тебе грудь?

— Нет, очень аккуратно сосет.

— А я слыхала, что некоторые младенцы рождаются прямо с зубами,— сказала Сэм.— И даже с хвостиком. А у этого младенца хвостика нет?

— Что ты городишь, Сэм! Откуда ты это взяла?

Сэм пошла в ванную. У нее что-то расстроился желудок. А тут еще младенец — это ее доконало. У Дон тоже будет такой же, и она будет всюду таскаться с ним. Такая тоска! Как будто Дон попала в лапы похитителей трупов.

Когда Сэм вернулась на кухню, Эммет ел холодный гороховый суп из консервной банки, а Айрин обследовала полки в шкафах.

— В супе «Кэмпбелл» слишком много соли,— сказала она, доставая из сумки банки с детским питанием. Ежевичное пюре, пюре из печени, морковное пюре.

— Дай мне ежевичного пюре,— попросила Сэм.— Я его очень люблю.

— Ну знаешь, Сэм! Это питание для девочки.— Айрин щелкнула крышкой, открыла банку с печенью и помешала в ней ложкой.— Дома я ее не кормлю консервами. Варю пюре, кашку.

— А что делает Лоренцо Джонс?

— Ларри уехал в Хазард навестить брата. Мы договорились, что Рон приедет к нам и починит крышу, а он попал в больницу. У него стал выпадать диск в одном позвонке.

— Хочу на будущий год заняться крышей,— сказал Эммет. Он поставил банку с супом на газету, которую Сэм постелила два дня назад, когда украшала глиняного кота. Он смахнул на пол бусину, и Айрин тотчас подняла ее.

— Как бы Хезер не схватила ее,— сказала она.

— Эммет, а как твоя голова? — спросила Сэм.

— С переменным успехом.

Айрин стала кормить девочку. Хезер измазалась печенкой, и Айрин вытерла ей ротик мокрым бумажным полотенцем.

— Сэм,— сказала Айрин,— как, по-твоему, маме удастся уговорить отца поехать во Флориду? Я звонила ей на той неделе. Она ни о чем другом думать не может.

Сэм объяснила ситуацию:

— Она сейчас злится на деда, он все еще не дал согласия.

— Любит поиграть у нее на нервах,— сказала Айрин.— У них какая-то страсть мучить друг друга. Уверена, что он никуда не поедет. Есть люди, для которых нет ничего страшнее длительных поездок. Для здешних жителей — очень многих, лучше прямо сейчас лечь в гроб, чем мучиться с парковкой. Слава Богу, что я в конце концов вырвалась из этой дыры.

Айрин, пока говорила, держала ложку с морковным пюре у самого ротика девочки, а та, в ожидании еды, покорно держала ротик открытым, как птенец, ожидающий, когда птичка-мама отрыгнет ему в клювик очередную порцию. Увидев открытый ротик дочки, она спохватилась, рассмеялась и сюсюкая попросила у малышки прощения.

— Ты не хочешь вернуться сюда, чтобы все время нас видеть? — спросила Сэм.

— Я хочу вас видеть. Но мне хотелось бы, чтобы вы переехали в Лексингтон. Я ненавижу этот городишко. И дом такой сырой. Вот будет счастье, когда мне не надо будет сюда ездить.

Малышка закашлялась. Айрин стала трясти ее за плечики, похлопала по спинке, пока та не срыгнула печень с морковкой прямо на шею матери.

— Ах ты, грязнулька,— пропела Айрин. Встала и, почерпнув свободной рукой воды из-под крана, плеснула себе на голое плечо. Потом вымыла ротик малышки и поцеловала. Сэм ухватилась за крючок вешалки.

— Ты объяснишь наконец свое поведение, Эммет? — возвысила она голос.— Тебя Анита отвезла в Лексингтон?

Эммет отрицательно покачал головой.

— Вот что, господа,— начал он задумчиво, подвинув стакан и оставив на газете мокрый круг. Сэм вспомнила влажное месиво журналов в подполе, и ей стало тошно. Из-за Эммета ей пришлось лезть в это ужасное подземелье.— Я не сомневаюсь,— продолжал он,— что в меня вселился злой дух и перенес в Лексингтон.— Брови его взмыли вверх.— Это не просто совпадение, что Айрин как раз смотрела «Похитителей трупов». Со мной сыграл злую шутку волшебный боб. Он вырос в той яме, куда выходит лаз из кухни.

— А я там искала тебя,— сказала Сэм.— Думала, с тобой случился инфаркт и ты упал в эту яму под домом и умер.

— Ты хочешь нас уверить, что перенесся в Лексингтон с помощью злого духа? — спросила Айрин. Она положила девочку на софу в гостиной и меняла ей подгузник.— Чумазик ты мой,— приговаривала она при этом.

— Я очутился на пороге ее дома в тот миг, когда она смотрела самое страшное место «Похитителей»,— сказал Эммет.— Я-то и был настоящим концом ее фильма. Она спасла меня, так что видите, конец у фильма вполне счастливый.

— Тебе не впервой выкидывать такой трюк,— сказала Айрин, доставая из пакета новый подгузник. Младенец все это время выделывал ножками вензеля в воздухе.

— Не знаю, что такое нашло на меня,— сказал Эммет, потерев пальцами висок.

Сэм подумала о человеке, жившем в другом конце города, который два года назад уехал из дома в своем грузовике и с тех пор о нем ни слуху ни духу. Исчез, как сквозь землю провалился.

— Я бы хотела, чтобы ты не морочил нам голову, а рассказал все, как было,— гнула свое Сэм.— Я думала, ты с Анитой.

— Анитой Стивенс? — спросила Айрин.— А что, она опять возникла? — Айрин взяла дочку, потискала, поцеловала, спросила: — А где у нас зубки? — Девочка улыбнулась, и в ее розовом ротике блеснул маленький зубик, похожий на бусинку слоновой кости в кулоне Айрин.

Сэм спросила, откуда у нее этот кулон.

— Мне его сделали. Это слоновая кость, но не подумай, пожалуйста, что из-за него убили слона,— стала защищаться Айрин.— Это из клавишей пианино.

— Никто и не думает,— ответила Сэм.

— Кулон сделала девушка из моей группы художественных поделок. Прошу прощения. Не девушка, а женщина. Мы теперь стали употреблять именно это слово. Никто больше не говорит «девушка из офиса».

— А где Бублик? — вдруг спохватился Эммет.

— Где-то гуляет. Только что был здесь,— солгала Сэм.

— Эта софа кишит блохами! — воскликнул Эммет.

— Эммет помешался на блохах,— сказала Сэм матери.

— А когда-то в ней водились клещи,— спокойно заметила Айрин.— Ты, Эммет, просто обязан раздобыть антиблошиную петарду и выкурить насекомых из дома.

Эммет включил телевизор и перепробовал все каналы. По MTB Крисси Хинде с «Претендентами» пела «Обратно в банду». Она стояла, широко расставив ноги, вид у нее был крутой, а «Претенденты» размахивали кирками.

— Ты знаешь эту песню? — спросила Сэм.

— Нет,— ответила Айрин, взглянула на экран и опять занялась ребенком.

У Крисси Хинде тоже был ребенок, отец его выступал с кинками, одной из старых английских групп, которую Айрин когда-то очень любила. Но теперь, разумеется, матери эта новость будет неинтересна.

Когда Крисси кончила петь, Айрин сказала, что они с Хезер немного вздремнут. За окном начал накрапывать дождь. Сэм поднялась наверх и поставила пластинку из альбома кинков; она хотела, чтобы Айрин услыхала их пение и вспомнила старые дни. Хорошо иметь детей, если ты звезда рока, подумала Сэм, даже если это и причиняет некоторые неудобства. Но вот Дон это совершенно ни к чему, ее жизнь, считай, кончена. Может, даже к лучшему, что у них с Томом ничего не вышло. Секс только губит человеческую жизнь. Но ее так тянет к Тому, что даже это ей все равно. Пока пластинка играла, Сэм стояла у окна и смотрела, как идет дождь. Это был мягкий, неторопливый, без грома и молний дождь; такой дождь всегда навевал на нее грусть. Траурного вида голубь принимал под дождем душ, сидя на электрическом проводе. Он поднимал одно крыло и подставлял его струям под мышку, сильно завалившись на бок, чтобы чище промыло. Затем поднимал второе крыло и клонился в другую сторону, наслаждаясь купанием. И тут Сэм увидела Бублика, который метнулся сквозь дождевую завесу к крыльцу. Слава Богу, все дома.

Айрин пригласила Эммета и Сэм поехать в Падуку, в ее любимый ресторан. Один из тех, куда ездила когда-то с Лоренцо Джонсом. Как все изменилось с тех пор, когда они субботними вечерами все вместе смотрели телефильмы! Теперь у Айрин младенец, и на голове прическа величиной с ведро, муж с деньгами и автомобиль «транс-ам». Эммет отравлен «апельсином», и его мучают головные боли. Дон ожидает ребенка... Ехали по шоссе Ай-24 под моросящим дождем, и Сэм казалось, что все они разбегаются в разные стороны. Лонни был еще на озере. Бабушка собирается во Флориду. Даже Эммета почему-то занесло в Лексингтон. Сэм подумала, а куда бы отправилась она, будь у нее своя машина. Айрин ни за что не даст ей посидеть за рулем. Скажет, Ларри хватит удар, если на машине появится хоть царапина.

В ресторане им пришлось взять для Хезер высокий стульчик. Она колотила кулачком по своему подносику, как по барабану, и бросила на пол вилку.

— Нет, вы только взгляните на эти великолепные антикварные стулья,— сказала Айрин.

— Точь-в-точь наши старые стулья из кухни, что валяются в подполе,— продолжала перечить матери Сэм.— Ты их еще покрасила тогда розовой краской.

Эммет дома принял душ, побрился, надел полосатую майку и чистые джинсы. Из-за прыщей на лице он выглядел моложе своих лет. Сэм стала объяснять, что прыщи — последствие отравления «апельсином». Айрин отмахнулась, сказав, что у многих бывают юношеские прыщи после тридцати. Запоздалая реакция на возмужание. Она распространялась об этом, пока Эммет был в душе, так что Сэм надоело слушать. Она даже разозлилась на мать: стала изучать психологию, и теперь у нее на все есть объяснение.

Эммет и Айрин заказали пиво, которое им принесли в высоких бокалах для сока.

— Глупее не придумаешь — пить пиво из бокалов,— сказал Эммет.

— Фирменное блюдо у них — бараньи ребрышки,— просветила их Айрин.

— Мне больше нравится баранье рагу,— сказала Сэм.— Я думала, ты его тоже любишь.

— Люблю, но бараньи ребрышки здесь — пальчики оближешь. Я теперь не ем такую жирную пищу и дома перестала есть жареное.

Эммет заказал порцию ребрышек с салатом из капусты и тушеными бобами. Сэм с Айрин заказали то же по полпорции. Официантка принесла заказ и ворох салфеток. От ребрышек лица у всех стали жирно лосниться. Малышка раскидала бобы по всему столику.

— Ну скажи что-нибудь, Эммет,— взмолилась Айрин.— Все молчишь, от еды не можешь оторваться.

— Я занят,— сказал Эммет, отрывая от кости кусок мяса.

— Расскажи о своем путешествии в Лексингтон,— попросила Сэм.— Кто тебя довез туда? Анита?

— Только, пожалуйста, оставь в покое нечистую силу,— сказала Айрин.— Хезер, сиди тихо.

— Джим Холли,— ответил Эммет, все еще трудясь над костью.— Мы поехали с ним на озеро. Ему захотелось половить рыбу, а я надеялся увидеть белую цаплю. Но он съехал с шоссе не на той развилке. Едем мы, едем, а озера и в помине нет. Что за дьявольщина, говорю я. У нас было с собой две упаковки пива и бутылка «Джим Бима». Так вот и доехали.

— И он высадил тебя у моего дома? — спросила Айрин.

— Я не знал, что он едет на неделю! Там его жена и дочка. И он умирал, как ему хотелось повидать Пэмми. Сью Энн хочет, чтобы он переехал в Лексингтон. Но не знаю, сможет ли он бросить здесь свое дело.

— Ну и что тут страшного,— сказала Айрин, окуная кость в соус.— Почему ты сразу не рассказал правду? Хочешь, отложу тебе своих бобов, Сэм?

— У меня еще есть,— сказала Сэм и повернулась к Эммету.— Я думала, Сью Энн ушла от него.

— Да нет. Все гораздо сложнее. Белое и черное — еще не все на свете цвета, Сэм,— Эммет поднял вверх пустой бокал и огляделся, высматривая официантку.

— Не надо было мне везти тебя, Эммет. Дошел бы домой пешком.

— Ты бы хотела сюда вернуться, признайся, Айрин? — спросил ее брат.

— Куда ты пошел после того, как кончились танцы, Эммет? — вмешалась Сэм.

Эммет пожал плечами.

— Мы с Анитой встретили Джима, Аллена и его жену в «Макдональдсе». Ну, и какое-то время посидели вместе.

Официантка принесла ему еще пива в бокале.

— Знаете, что мы сейчас сделаем? — сказала Айрин.— Мы закажем шоколадно-ореховый торт, потому что в этом ресторане пекут самый вкусный шоколадно-ореховый торт во всей Падуке.

— Ты говорила то же самое о ребрышках,— сказал Эммет.

— А что, разве они были плохие?

— Мне рагу нравится больше. Но и ребра ничего.

— Ну и прекрасно. Доедай, Сэм, свое мясо,— прибавила Айрин и заказала три куска торта.— Что не съедим, возьмем домой.

— Лучший ореховый торт в Кентукки стряпает бабуля,— сказала Сэм. Айрин даже не позвонила матери, чтобы просто сказать ей «здравствуй».

— Сэм, какая муха тебя укусила? — спросила Айрин.— Я не видела тебя два месяца, приехала, чтобы сделать тебе приятное, а ты злишься. И ты еще удивляешься, почему мне хотелось уехать из дому.

— Мы хотим, чтобы ты вернулась обратно,— сказал Эммет.

— Мясо мы возьмем с собой,— обратилась Айрин к официантке, которая взяла было тарелку Сэм.

— С Сэм было трудно жить этим летом,— сказал Эммет.— Лонни бросил работу, она очень расстроилась. Да еще от безделья мается. Работать начнет только в том месяце.

Сэм показала Эммету язык.

— Я бы на твоем месте постыдилась так говорить. Интересно, кому все-таки труднее жить — тебе или мне? В следующий раз, когда захочешь удрать из дому, напиши записку или хотя бы позвони.

— Сэм у нас воспитательница. Как бабушка,— понимающе улыбнулась Айрин.— Но у нее в придачу еще дедушкино упрямство.

Малышка громко закричала и забулькала губами.

— Ах, как мы умеем! — восхищенно воскликнула Айрин.

Айрин вела «транс-ам» через Падуку, как богиня ведет свою колесницу. Легко пересекла железнодорожные линии. Делала левые повороты на перегруженных перекрестках без малейшего затруднения. Сэм сидела на заднем сиденье рядом со спящим младенцем и завидовала матери — вот бы ей так водить машину. Может, все-таки Айрин позволит ей завтра сесть за руль. Она могла бы отвезти Эммета в «Макдональдс», и все бы там восхитились ею. Если бы Айрин погостила у них до возвращения Лонни, она бы подъехала к его дому и сделала вид, что это ее машина — что бы он, интересно, сказал? Хезер ухватила в кулачок ее палец. Ладошка девочки была как тельце бесперой птички. Сэм была рада, что ее мать не опозорила их — не стала дочку кормить грудью в ресторане.

От младенца вдруг сильно запахло кислым. Гороховые стручки в фильме о похитителях трупов были величиной с завернутого младенца. А ведь, как ни странно, младенцы больше походят на растения, чем на людей. От них иногда тошнотворно пахнет, они как-то беспомощно колышутся и растут очень быстро, как арбузы. На этой неделе она видела утром по телевизору арбуз весом 148 фунтов. Если фунт стоит 8 центов, сколько будет стоить весь арбуз? Сэм попыталась умножить в уме, но получаемые цифры сейчас же стирались в памяти.

— Поедем обратно проселочной дорогой,— сказала Айрин,— я хочу вам кое-что показать.

— Твоя мать просто чудо,— сказал Эммет, повернувшись к Сэм.— Жизнь в ней бьет через край.

Эммет улыбнулся и хлопнул сестру по плечу.

— Вот, смотрите,— сказала Айрин спустя немного: сделала поворот на невысоком холме, съехала на обочину и остановилась.— Полюбуйтесь, какая красота! — и она открыла дверцу.

Дождь перестал, солнце ярко светило в разрыве облаков. Было светло, но уже начало слегка смеркаться, как будто каплю лиловых чернил растворили в огромной чаше воды. Айрин сказала, что хотела им показать это место — поля и купы деревьев на склоне холма. Закатное солнце бросало на все косой ярко-золотистый свет. Кое-где в полях грудно росли кусты, островки высоких трав, бросая длинные округлые тени.

— Я всегда любуюсь этим холмом,— сказала Айрин.— Смотрите: ряды живой изгороди, купы деревьев. А вон там громоздятся скалы.

— Но я не вижу здесь ни одного журавля,— сказала Сэм.

— Они теперь встречаются очень редко,— пояснил Эммет.

Однообразие полей нарушали перелески, коврики цветущих трав. А вот дедушкины поля гладкие и ровные, как простыня: ни деревца, ни куста, ни былинки. А здесь точно комната, заставленная мебелью.

— Мне потому это место так нравится,— объяснила Айрин,— что оно, по-моему, очень похоже на Англию. Я видела картины с английским пейзажем, точь-в-точь.

— Англию? — В голосе Сэм послышались насмешливые нотки.

— Вот куда я всегда хотела поехать. Только вряд ли мне это удастся.

Вернулись в машину. Сэм опять сунула свой палец в кулачок девочки, и та не выпускала его до конца поездки. Сумерки быстро сгущались; Айрин включила фары, мчались легко и быстро, виляя по проселкам, мимо старых ферм с перестроенным на современный лад домом. Все дома вблизи дороги; амбары покосились, сельскохозяйственные машины стоят тихо, молча, напоминая допотопных динозавров, которых настигла внезапная смерть от астероидов. И ни одна из этих ферм не походит на Англию.

24

Сэм и Эммет приводили в порядок комнату Айрин, а она в это время смотрела внизу телепередачу «Между нами говоря». Кровать была завалена пустыми баночками из-под крема, старыми журналами, пустыми пакетами, коробками из-под одежды. Эммет часть этого хлама отнес в подпол, Сэм постелила постель — взяла две — одного цвета — нижних простыни. Не могла найти ни одной верхней, для одеяла. Почти все белье было ветхое, бабушка обещала подарить на Рождество пару комплектов.

Сэм видела — как много еще сохранилось в комнате от матери. На полке у окна книжки в мягких обложках и пластинки сорокопятки. Альбомы с пластинками Сэм перенесла к себе. В стенных шкафах и комодах — вещи Айрин, на стенах картинки, которые она рисовала в школе на уроках живописи. Срисовывала из книг. Это была абстрактная живопись, напоминавшая Сэм возбудителей венерических болезней, которых она видела в брошюрах на столе в приемной врача.

Айрин сказала, что Хезер будет спать с ней. Сэм спросила, не боится ли она нечаянно задавить младенца. Айрин в ответ только рассмеялась. На что Сэм заметила, что панды иногда именно так душат во сне своих детенышей. Потом они немного поспорили из-за будущего Сэм. Айрин считала, что глупо прозябать в Хоупвелле, надо все бросить и ехать учиться в какой-нибудь большой университет. Сама Айрин потому стала изучать психологию, что ее интересуют человеческие характеры.

Ночью Сэм слышала, как плакала Хезер. Бублик, находившийся после длительной отлучки в непривычно самоуглубленном и несколько нервном состоянии, улегся спать в ноги к Сэм; услыхав, как Айрин спускается в кухню, он соскочил с постели и тоже устремился вниз. За окном тихо накрапывал дождь, легкий ветер колыхал ветки ивы, и они шуршали о стену дома. Малышка представлялась Сэм чем-то вроде бородавки или волдыря, которые сами собой вырастают на теле; вот счастливая Айрин и таскает ее всюду с собой из-за невозможности расстаться. Так обезьяны долго не расстаются со своим умершим детенышем. Один из приятелей Эммета знал уйму анекдотов про мертвых младенцев, но Сэм не помнила ни одного — в одно ухо влетело, в другое вылетело. Во Вьетнаме матери носили с собой мертвых младенцев, пока те не начинали разлагаться. Воображение живо рисовало эту жуткую картину, хотя ей иногда казалось, что она просто это придумала. В самом конце П*А*Г Хоки сходит с ума, увидев, как мать душит своего ребенка, чтобы тот не плакал. Он видел столько солдатских смертей, но доконала его смерть ребенка. Он и должен был в последней серии сойти с ума, иначе получился бы «счастливый конец». Слишком все было бы просто.

Сэм слышала, как Айрин баюкала малышку, но не могла разобрать мелодии. Шум дождя и шорох ветвей заглушали ее голос. Эммет храпел в прихожей внизу. С вечера он долго не мог заснуть, его сильно пучило после бараньих ребрышек. Уже лежа в постели, Сэм слышала, как его мучает отрыжка. Снаружи проехала машина, свет ее фар обежал стены, и Сэм увидела колеблющееся переплетение веток на стене. Ей тут же

представилось переплетение лиан в джунглях Вьетнама. Они оплетают все покинутые дома, машины. Останавливают даже поезда. Сэм вспомнила фильм «Штуковина», который показывали по ночному каналу. Она не видела его в новой редакции; говорят, он стал гораздо страшнее. «Штуковиной» называли человека-растение из космоса. Посмотрев этот фильм, Сэм долго боялась в темноте проходить мимо кустов и деревьев; ей всюду мерещились жуткие космические посланцы.

Она не могла понять, почему переделывают фильмы ужасов. Наверное, потому, что мир с каждым годом становится все страшнее.

Сэм тихонько спустилась вниз, чувствуя себя в слабом свете ночника привидением. Айрин сидела на кухне и из ложки кормила дочку ежевичным пюре. Лицо малышки было синее, как у детей, о которых говорил в ратуше тот мужчина. Сэм учуяла запах грязных подгузников, брошенных в ведро под раковину, смешанный с вонью сигаретных окурков, идущей из пепельницы на кухонном столе.

— Сэм, ты встала? Мы, наверное, перебудили всех соседей. Малышка захотела есть.— Айрин посмотрела на дочку.— Хезер требует у мамы еды!

— А я хочу пить,— сказала Сэм, налила пепси из начатой банки и выпила безо льда. Затем включила телевизор, показывали «Скрюченную сестру», которую она видела несколько раз. И Сэм выключила ящик.

— Я выпустила кота,— сказала Айрин.

— Эммет умрет, если узнает.

И Сэм бросилась к двери; Бублик забрался под «транс-ам». Сэм схватила его и принесла в дом. Шерсть его была вся унизана мельчайшими капельками дождя.

— Эммет боится, что ночью Бублик может попасть под машину,— сказала Сэм.— Фары ведь ослепляют кошек.

— Зря ты не осталась и не посмотрела до конца «Между нами говоря»,— сказала Айрин, вытирая девочке ротик мокрым бумажным полотенцем.— Очень интересно.

— Я люблю комические фильмы. Мы с Эмметом сентиментальные не смотрим.

— Ты не должна во всем подражать Эммету.

— А почему ты думаешь, что я во всем ему подражаю?

— Просто думаю и все.

Айрин с младенцем на одном колене нагнулась и подняла что-то с пола.

— Откуда берутся эти яблочные семечки? Очень похожи на те, из которых сделаны мои бусы. Я их купила в галантерейном магазине в Лексингтоне. Господи, я бы сейчас за них и пять долларов пожалела,— поморщилась Айрин.

Сэм в поисках еды открыла холодильник. У ее ног терся Бублик. Бараньи ребрышки в пакете были самой лакомой едой. Сэм дала Бублику погрызть одно ребрышко, а для себя нашла пакет с хрустящим картофелем. Бублик отворотил нос и гордо удалился под кушетку.

— Ты испортишь желудок, питаясь всякой дрянью,— сказала Айрин.

— Ну и что?

— Как ну и что?

Айрин круговыми движениями пальца извлекла со стенок баночки остатки пюре. Мать всегда действовала быстро и решительно. У тарелок никогда не мыла дно, только края — чтобы экономить время.

— Если хочешь волноваться о чьем-то здоровье, волнуйся о здоровье Эммета,— сказала Сэм, хрустя картофелем.

— По-моему, лицо у него стало лучше. Он говорит, прыщи как будто проходят.

— Дело не только в прыщах. У него странные головные боли. Он никому про это не говорит, но голова у него болит постоянно. Приступы случаются каждые две минуты.

— С ним так бывало, когда он баловался наркотиками.

Я тебе одно, а ты мне другое. Пойми, я боюсь за него. Этот

«апельсин» может вызвать любую, буквально любую болезнь. Возьми Бадди Мангрема. Выпьет пива, и его тут же начинает рвать. Ты бы знала, сколько у его дочки врожденных дефектов.

Айрин бросила в стакан несколько кубиков льда и налила пепси.

— Знаешь, в чем беда Эммета? — сказала она.— Все эти годы я его пичкала таблетками. Он так и жил — на положении инвалида. А надо было заставить его самого думать о себе. Теперь мое место заняла ты. Если мы оставим его в покое, ему придется пойти работать. И он, глядишь, заплатит свой долг.

— Нет, это рискованно.

— Но я не могу смотреть, как ты с ним мучаешься. Тебе надо пойти учиться. И работать совсем не обязательно. Дядя Сэм заплатит за все.

Уж не назвала ли ее Айрин в честь Дяди Сэма? Ведь она как бы его нахлебница или, лучше сказать, утешительница — одного американца не стало, другой появился.

— Ты ходишь на вечера с танцами? — спросила Сэм.

— Нет. Я теперь не могу танцевать, как раньше. У меня после родов опустился мочевой пузырь. Хезер лежала очень низко. А ты встречаешься с этим мальчиком Лонни? Ты о нем ни разу не вспомнила сегодня.

— Он уехал на озеро,— сказала Сэм и подумала, а что, интересно, они там сейчас делают. Все еще веселятся? Вернется он в среду.

Малышка плакала. Айрин села на кушетку и стала тихонько качать ее, прижав к груди. На ней была ночная сорочка с пристегивающимися бретельками, как у бейсбольной формы. Она отстегнула бретельку и дала девочке грудь. Грудь у нее была молочно-белая, овальная, сосок походил на верхушку сдобных булочек «тутси». Может, поэтому эти булочки так и называются.

— Ты должна пойти учиться в университет. Женщина сейчас может делать все, что пожелает.

— Ты просто хочешь, чтобы я уехала из Хоупвелла и забыла про Эммета. Так же, как хочешь, чтобы я забыла папу,— вдруг выпалила Сэм.— Ты делаешь вид, будто никакой Вьетнамской войны не было. Ты все время стараешься от чего-то защитить меня. Но я не младенец,— она посмотрела на девочку, которая сладко сосала грудь.

В глазах Айрин мелькнула боль, и Сэм пожалела о своей вспышке.

— Я тебе все рассказала, Сэм,— медленно произнесла Айрин.— Я была за ним замужем всего один месяц. Он ушел воевать через месяц после свадьбы, и я больше никогда не видела его.— Она взяла Сэм за подбородок.— Я почти его не помню.

— Где вы с ним поженились?

— Нас регистрировал мировой судья,— улыбнулась она.— Он был фермер. У него была птицеферма, и он нас поженил на крыльце своего дома. Когда мы уходили, десяток кур вырвались в сад, и кругом летали перья.

— А что ты сделала из флага, которым был покрыт его гроб?

— Эммет сшил из него плащ-накидку. Надо же, я совсем об этом забыла. Это когда у нас жили его чокнутые друзья. Я так рассердилась на него. Мне было обидно, что он этот флаг испортил. Но так как я не питаю особенного почтения к армии США, то это, в общем, было не так важно.— Айрин прижала младенца к груди и сказала: — Почему бы тебе не поехать к его родителям? Ты никогда их не навещаешь. Они могут тебе рассказать про Дуэйна гораздо больше, чем я. Думаю, они дадут тебе какие-нибудь его вещи.

— Они меня не любят.

— Любят. Они просто совсем тебя не знают.

— Они не приехали на мой выпускной вечер и даже не прислали никакого подарка.

— Деревенские люди обидчивы. Это ко мне они относятся неодобрительно. Когда ты была маленькая, я возила тебя к ним из чувства долга. Они не были со мной особенно приветливы. Но тебя всегда любили. Души в тебе не чаяли.

— У меня нет машины. Я не могу к ним поехать.

— По-моему, у них есть дневник, который Дуэйн вел во Вьетнаме. Они наверняка дадут тебе его почитать.

Малышка насытилась и стала вертеть головкой. С любопытством посмотрела на Сэм.

— Наверное, больше не хочет,— сказала Айрин, убирая грудь и застегивая бретельку. Потом подняла девочку столбиком, чтобы она отрыгнула воздух, и Сэм вспомнила шутку про моржей.

— Нет, ты посмотри на нее,— сказала Айрин.— Мне было девятнадцать лет, почти столько же, сколько сейчас тебе. Вообрази себя с младенцем на руках. Как бы ты с ним управлялась? Я не могу жить только прошлым. Глупо растрачивать время и нервы. Мне не о чем вспоминать.

— А он знал, что у тебя будет ребенок?

— Да, конечно. Мы ведь переписывались. Он знал о тебе.

— Эммет сказал, это он захотел назвать меня Саманта.

— Ему нравилось это имя. Честно скажу, я уже не помню, как все было. Наверное, и правда это была его идея.

— И все-таки не понимаю, почему ты мне про имя никогда не рассказывала.

— Я не думала, что это так важно.

— Очень важно.

Айрин сидела в ночной сорочке на бретельках и загадочно улыбалась, как Мона Лиза, прижимая к себе младенца, точно это был приторочeнный к ней багаж. И Сэм вспомнила, где она видела вьетнамку, несущую мертвого младенца. Картина встала у нее в воображении как живая. Это была фотография с обложки журнала «Ньюсуик». Увидев этот журнал в руках у Сэм, Айрин схватила его, оторвала обложку и сожгла.

— Ты сохранила письма, которые он тебе писал?

— Да, только не помню, где они сейчас.

— Ты что, не взяла их с собой?

— Наверное, нет. Перед отъездом я выбросила много всякого хлама. Но письма должны быть где-то в моей комнате. Знаешь, что сделай, Сэм? Разбери мою комнату, да и весь дом и устрой распродажу во дворе. Этот дом грозит развалиться под тяжестью всякой рухляди.

— Эммет чинит фундамент.

— Поедем завтра со мной в Лексингтон, Сэм,— сказала Айрин и, протянув руку, ласково погладила Сэм по щеке, откинула со лба прядь волос.— Поедем с тобой в парк, покатаемся на лошадях. Можно съездить в ресторан-поплавок Майка Финка, закажем блюда из морской рыбы.

— Я могу и здесь заказать уху из ершей.

— О Господи, Сэм, что мне с тобой делать.— Айрин встала, осторожно положила младенца на кушетку, пошла на кухню и налила себе еще пепси.— Мне бы не надо это пить,— сказала она и выпила стакан.

— Я хочу кое о чем тебя спросить,— сказала Сэм, когда Айрин вернулась и села на кушетку.— Это касается Эммета.

— Интересно, о чем?

— Он был ранен во Вьетнаме?

— Нет. А что?

— Я думала, может, это причина, почему у него нет романов с женщинами.

— Вьетнам здесь ни при чем,— Айрин рассмеялась,— и, конечно, Эммет не «голубой».— Она поболтала стакан с кубиками льда и оглядела убогую гостиную.— Боже мой, сколько лет я никак не могла вырваться отсюда.

— А почему ты не осталась в Лексингтоне, когда я была маленькая?

— Как ты думаешь, почему? Для моих родителей то, что я уехала в Лексингтон, было преступлением. И Эммет закатил сцену. Он тогда был в очень плохом состоянии.

— А кто был этот Боб, который поехал с нами?

— Да просто так,— сказала Айрин, посмотрев на свет через стакан.—

Мне тогда казалось, что я в него влюблена. Он жил у нас во дворе за домом в палатке.

— Я это помню,— сказала Сэм.— Он давал мне в этой палатке играть на флейте.

— У него была настоящая старинная флейта.

— А где он сейчас?

— Последнее, что я слышала,— он женился и назвал своего ребенка Рэгтайм-Атом. Можешь себе представить жизнь этого ребенка?

— Наверное, они что-нибудь наврали ему, почему они так его назвали,— сказала Сэм.

— Наверное,— Айрин взяла в рот льдинку и стала сосать.

— А кто остальные? Что они здесь делали?

— Все это было чистое безумие. А когда мы приехали в Лексингтон, это был уж просто идиотизм. Помню, мы однажды пошли на обед. Договорились принести с собой что-нибудь белое. Одеться в белое, и вся еда должна быть белая. Я получила приз за белоснежную одежду. На мне было белое платье до пят и белые теннисные туфли. Можешь себе представить?

— А что вы ели?

— Куриную грудку, белый молочный соус, крекеры, «ангельский торт», белое вино. Помню, я принесла белый хлеб, корку у него я обмазала белым сливочным сыром. Все было ужасно глупо, но смешно. Что-то это да значило, но что — не помню.

— А какой приз ты выиграла?

— Фунт сахарных крестиков. Ненавижу церковную символику.

— У тебя с этим Бобом была любовь?

— Да. Но я вернулась обратно. Потому что здесь был свой дом, меня брали на старую работу. И все родные на меня злились. Я чувствовала себя виноватой перед Эмметом, ведь он пошел воевать ради меня.

— Это что, правда так было?

— Кто его знает. Эммет, когда пошел в армию, был совсем еще дурачок. Наверное, думал, это будет что-то вроде охоты на белок. Он еще и зад не мог подтирать, когда его отправили во Вьетнам. Простой деревенский парень.

— Дедушка тоже воевал,— сказала Сэм.

— Ну, это совсем другое дело — вторая мировая война.

— Японцы такие же маленькие, как вьетнамцы,— сказала Сэм.— Хотя среди них уже есть высокие, ведь они теперь едят мясо,— сказала Сэм и подумала: что американцы, если их посадить на рис и овощи, тоже будут полтора метра ростом?

Айрин допила пепси.

— Послушай, что я тебе расскажу,— сказала она.— Ларри знает в Лексингтоне одного парня, у которого сейчас прекрасная работа в рекламном бюро. Он был во Вьетнаме и убил там целую семью, спрятавшуюся в хижине — мать, отца, троих детей, тетушек, дядюшек и бабушку. Он убил их всех. Говорит, что только через два года до него дошел весь ужас содеянного. И тогда он стал наркоманом, ну, и все прочее. Но, в конце концов, он все-таки понял, что надо вымарать это из своей жизни и уйти с головой в какое-то дело. Он женился, у него двое детей, ходит в церковь. И вот я думаю, если он сумел справиться с таким ужасом, Эммет тоже должен попытаться.

— Эммет скорее проголосует за Рейгана, чем пойдет в церковь,— скептически заметила Сэм.— А Эммет убивал во Вьетнаме?

— Понятия не имею. Он никогда об этом не говорил.

— А мой папа?

— Тоже не знаю. Но, Сэм, если они и убивали, в этом нет ничего сверхужасного. Их для того и посылали туда. Дай-ка сумку, она стоит у твоего стула. Я привезла тебе подарок.

Сэм протянула ей сумку, набитую подгузниками и журналами. Айрин вынула из нее зеленую футболку и протянула Сэм. В такой футболке ходила героиня П*А*Г.

— Совсем про нее забыла,— сказала Айрин.— Я помню, ты всегда любила этот сериал.

— Потрясающе! Теперь я буду вылитая Хот Липс.

— Правда, у тебя груди меньше.

— А у тебя не меньше.

— Я ведь кормлю. Иногда я чувствую себя Джин Мэнсфилд.

— Кто это?

— Кинозвезда моей молодости. Грудь у нее была огромная.

Сэм надела футболку поверх пижамы и полюбовалась на себя в зеркало. Улыбнулась, и Айрин в зеркале же ответила ей улыбкой.

— Мам, ты помнишь свой альбом с кинками? Ты очень любила его слушать.

— Да. С Лолой?

Сэм кивнула.

— Гениальный альбом. Я его все время слушаю.

— Мне они всегда нравились.

Айрин встала, потянулась.

— Хочу выехать завтра пораньше. Но ты подумай о том, что я тебе сказала. Если хочешь, я завтра возьму тебя с собой.

— Купи мне машину, и я приеду в Лексингтон,— ответила Сэм.

25

Надо же быть такой идиоткой. Конечно, насчет Лексингтона она пошутила, но ей так хочется машину. Утром Айрин дала ей чек на шестьсот долларов и сказала: «Пойди и купи себе тот «фольксваген», о котором ты говорила». Сэм стало стыдно, она ведь любит мать, а ведет себя так, что можно, пожалуй, усомниться. Очень любит, потому и сердится, что Айрин уехала с этим ничтожеством и он сделал ее беременной. Айрин еще сказала: «Если не хочешь жить в Лексингтоне, не надо. Но машина тебе нужна, сможешь, по крайней мере, навещать меня». Сэм хотела тут же подарить маме кота-копилку, хотела показать, как она любит Айрин, но вдруг поняла: подарок плохой. Смешной кот, весь облепленный бусами, ей не нужен. Малышка еще подавится бусинкой.

— Я хочу заехать на минутку к маме,— сказала Айрин, сунув голову в холодильник.— Надеюсь, Ларри меня не убьет, если я опоздаю. А вот мама убьет, если узнает, что я была здесь и к ним не заехала. Нет ли у вас какой-нибудь еды, пожевать по дороге? — Айрин захлопнула дверь холодильника и прибавила: — Почему я всегда сюда приезжаю? Почему ко мне никто не ездит?

— А я разве к тебе не приехал? — сказал Эммет, входя в кухню без рубашки, в одних джинсах. С заспанными глазами.

Айрин тряхнула в его сторону бутылкой с кетчупом.

— Приехал, и мне пришлось тебя, непутевого, везти обратно.

Сэм сказала Эммету, что у них будет машина, ему это явно понравилось.

— Прекрасно,— сказал он, открыл холодильник и объявил: — У нас кончилось молоко.

— А ты поручишься за меня, Эммет? — спросила Сэм.

— Разумеется. Тем более, что если ты попадешь в аварию, с меня все равно взятки гладки.

— Я в аварию не попаду.

Айрин потрогала сыпь на шее у Эммета.

— Ты пробовал пить пивные дрожжи? — вздохнула она.— Помнишь, я тебе советовала?

— Нет, я пользуюсь бабушкиными рецептами.

Айрин посмотрела на пакет с хрустящим картофелем и вздохнула:

— Эммет,— сказала она,— когда еще раз тебе взбредет в голову посетить Лексингтон верхом на злом духе, дай мне знать заранее, я испеку пирог.

— Не успеешь, я ведь прибуду со скоростью света.
— Видел мою футболку? — похвасталась Сэм.— Мама подарила.
— Она тебя хорошо знает,— улыбнулся Эммет.
— Это он посоветовал купить тебе такую,— сказала Айрин.
— Вот, мам, возьми «бабушкино печенье»,— отворила дверцу буфета Сэм.— Оно очень вкусное.

* * *

Сэм, говоря с Лонни по телефону, сказала ему, что его ждет сюрприз. Вот приедет в среду и увидит. Под сюрпризом она разумела автомобиль; но, конечно, настоящим сюрпризом будет ее решение не ехать на свадьбу в Боулинг-Грин. Ей было все равно, как он отнесется к этому. Не заставит же он силой ее ехать.

Лонни съел на завтрак сырой бифштекс, потому что кто-то сказал, это лучшее средство от похмелья.

— Я думала, сырой бифштекс хорошо прикладывать к синякам, а не принимать внутрь от похмелья. Ну, как ваша холостяцкая рыбалка?

— Потом расскажу. Что помню.

— А что ты сделал с моими трусами?

— Мы украсили ими стоянку. Красота была, как на Новый год.— Лонни прыснул, точно десятилетний мальчишка. И Сэм опять подумала, что взрослые мужчины ей нравятся больше.

Сэм заплатила за машину, за страховку, за временную регистрацию, и на счету у нее осталось еще двести долларов. Какое счастье, она не разучилась водить машину. В стареньком «фольксвагене» Айрин очень трясло, а этот шел плавно. С «фольксвагеном»-то все в порядке, а вот про Тома этого не скажешь. Когда Сэм пришла за машиной, он даже отказался немного покататься с ней. Вымыл машину, протер пастой и немного проехал для пробы, но держался отчужденно, не подпуская к себе, как и в то воскресное утро.

— Ты уверена, что делаешь то, что нужно? — спросил он.

— Раздумал продавать?

— Я бы не хотел, чтобы ты покупала машину, руководствуясь какими-нибудь глупыми соображениями.

— Тебе неприятно, что я осталась у тебя тогда ночью?

— Давай скажем так, какие-то вещи лучше всего забыть.

— Я никому ничего не скажу, если ты этого боишься.

— Я говорю о другом. Этого вообще не надо было допускать.

Он полировал машину драными шортами. На нем были джинсы, спустившиеся почти на бедра, и черная майка. Машина выглядела великолепно. Проржавевших мест не заметно. Том их загрунтовал.

— Поедем покатаемся?

— Нас увидит твой приятель.

— Я же тебе сказала, что мы с ним расстались.

Сэм села в машину и подвинула переднее сиденье вперед. Оно двигалось легко, ни за что не цепляясь. Сэм была потрясена. Опыт говорил ей, что подобные механизмы в автомобилях, как правило, не работают.

— Почему ты так плохо ко мне относишься? — спросила Сэм.— Мне было тогда очень хорошо с тобой. Почему ты не заходишь к нам? Смотрели бы вместе телевизор. Или ты поиграл бы в компьютерную игру.

Она себя чувствовала, наверное, как Анита, которой так не хотелось расставаться с Эмметом. И, конечно, очень смущалась.

— Тебе лучше не вязаться со мной, Сэм. Ты потом обязательно пожалеешь.

— Не пожалею.

— Не надо было увозить тебя к себе. Ведь ты еще совсем девочка.

— По-моему, это мне судить — надо или не надо.— Сэм едва сдерживала слезы.

— Послушай, Сэм, тебе будет гораздо лучше с парнем твоего возраста. А теперь лезь в свое новое авто, катись и радуйся. Только смотри, будь осторожна.

— Я могу врезаться в какого-нибудь идиота на велосипеде,— сказала она.

Том только улыбнулся и помахал ей вслед. Всю дорогу домой Сэм рыдала. Вот, наконец-то у нее свой автомобиль. Но вместо радости слезы. Нет, это какой-то абсурд. Больше всего ее терзало то, что Том стыдится происшедшего той ночью и пытается это скрыть. Ему унизительно сознавать, что Сэм знает его тайну; но ведь ей все равно, да как его убедишь? Он принял решение, это ясно. Но она должна подобрать к нему ключик... Вот она стала знаменитостью. Он видит ее на экране телевизора и понимает, что всегда любил ее. У нее куча денег. Она покупает ему этот... как его... «сексопротез». Или еще: она попала в аварию, отказали тормоза или рулевое управление. Он считает себя виноватым и посвящает ей свою жизнь. Все-таки странно вести машину с зареванным лицом. Бабушка права: «чем больше имеешь, тем большего хочется». Значит, человек никогда не бывает доволен. И даже своя машина не предел счастья.

Она все-таки чуть-чуть обманула Тома. Дон знает все. Но она дала слово, что никому ничего не скажет. К тому же у нее своих проблем навалом.

Днем Сэм заехала за Дон в «Бургер-бой», и они отправились покататься по городу. Ей показалось, что Дон расстроена, и Сэм не стала рассказывать о последней встрече с Томом. Слишком уж обидно он сказал, что ей нужен парень ее возраста. Он думает, что она еще ребенок. Конечно, в какой-то мере, но все-таки не совсем.

Дон наконец-то сказала Кену про ребенка.

— По-моему, он отнесся к этому неплохо,— делилась она с Сэм.— Сначала его как обухом по голове ударили, но он тут же заулыбался, просиял.

Всю дорогу Дон мечтала о будущем: они обязательно снимут эту квартирку над мебельным магазином. Кен знает хозяина, и он сдаст ему подешевле.

— Много мебели нам не нужно,— говорила Дон.— Но я сойду с ума — жить над мебельным магазином, видеть прекрасную мебель и только облизываться!

— А знаешь, что ты можешь сделать,— сказала Сэм,— спускаться ночью вниз и спать на этих огромных королевских кроватях.

Сэм вдруг резко просигналила старухе, сидевшей за рулем в «меркурии» и повернувшей влево без предупреждения.

— Лучший способ самоубийства,— крикнула она в окошко. Собственный автомобиль придал ей уверенности. Ей нравилось, что машина слушается идеально. Можно было развернуться даже на пятачке.

— Я очень люблю Кена,— говорила Дон.— Никого другого не могу представить себе утром в своей постели. Ну да ладно, я знаешь что хотела тебе рассказать. Купила я вчера в магазине курицу. Пришла домой, вынула из нее внутренности в целлофановом пакетике. И меня даже затошнило, мне представилось, что курица родила цыпленка, а он оказался весь из кусочков и его пришлось упаковать в целлофан.— Дон передернуло.

— Мне часто такие вещи мерещатся.

— Знаю. Вытащила я пакетик с внутренностями и вспомнила тебя. Ты бы то же самое подумала. Мы с тобой очень похожи,— она чуть улыбнулась.

— А я про тебя вспомнила, когда смотрела на свою единоутробную сестричку,— сказала Сэм.— Она такая прелесть, но я все-таки не представляю себя с младенцем.

— По-моему, иметь ребенка — не так уж плохо. К ним привязываешься. Я без ума от моих племяшек.

Свернули в сторону торгового центра. Дон решила купить лак для ногтей гранатового цвета. У нее еще оставалось немного денег от прошлой зарплаты.

— Послушай, Дон,— сказала Сэм,— ты всегда делаешь ужасные глупости. Подумай все-таки о себе и сделай аборт.

— Но ребенок — это совсем не ужасно, во всяком случае, для меня. И потом — Кен все-таки тоже имеет право голоса в таком важном вопросе.

— Ничего он не имеет! — Сэм ударила кулаком по рулю.— Ребенка может родить каждый. Особой заслуги в этом нет.

Поток машин разделился надвое, одна часть свернула к торговому центру. Сэм переключила скорость, осторожно передвинув рычаг.

— Я могу натворить много всяких глупостей,— сказала Дон,— но только не эту. Я — курица и никогда не решусь на аборт.

— У тебя совсем маленький срок. Это все равно что выдавить прыщ. Зародыш в это время такой крошечный, что его можно в расчет не брать.

Дон покачала головой.

— Ты не права. Я все время думаю про маму. Я ей дорого досталась. А ведь у нее было много детей и без меня. Она могла бы ценой моей жизни облегчить свою. Наверное, и сейчас была бы жива. Но она выбрала мою жизнь. И поэтому я все время о ней думаю.

— Понимаю,— сказала Сэм.

Движение было очень сильное. Сэм никогда раньше не замечала, как много машин у них в городе, больших длинных машин. Деревья и кусты в очередной раз меняли облик. И люди спешили в торговый центр. Другие спешили обратно домой — толчея была неописуемая.

— Я так рада за тебя, что ты купила машину,— сказала Дон.— Правда рада, Сэм. Она такая красивая.

Сэм отвезла Дон домой и взяла Эммета покататься по городу. Эммет смотрел в окно, махал знакомым. А Сэм вдруг подумала, что деньги, отданные за машину, могли бы пойти в уплату его долга. Он сидел в машине, согнув ноги вдвое, как тарантул в норке. Она высадила его на Шуавей и, пока он делал покупки, каталась вокруг автомобильной стоянки. Наконец-то тяжелый, неудобный ящик с напитками поедет на машине, и Эммету не надо будет корячиться с ним всю дорогу пешком. В магазине он разговорился с женщиной, торгующей оладьями, и Сэм накрутила больше двух миль, катаясь вокруг стоянки в ожидании Эммета.

— Если так будешь ездить, рулевое управление очень быстро износится,— сказал он, садясь рядом с ней.

Наверное, она просто сходит с ума. Дело не в Томе и не в Эммете. Или Лонни. Или в проблемах Дон. Дело в ней самой. Она сама находится в сердцевине всех драм, во всяком случае, ей кажется, что все ниточки тянутся к ней. Но она действительно не понимала, что с ней станется, если все эти люди вдруг покинут город и двинутся за счастьем «навстречу закату» и будут жить спокойно и счастливо. Если у всех у них жизнь дальше пойдет как по маслу, что тогда ей-то делать?

Хорошо все-таки иметь свою машину. Она может мечтать о многих местах, теперь ей доступных — Мамонтова пещера, Центр народной музыки или парк «Шесть флагов». Может свозить бабулю во Флориду. Душа у нее взыграла, как будто с этой минуты она свободна как птица и может делать все, что захочет. Правда, это еще требуется доказать. Но кому?

— Я думаю, мама права,— сказала она Эммету по дороге домой.— Ты должен в конце концов оторвать от дивана задницу.

Эммет только кашлянул в ответ.

Дома Сэм обшарила комнату Айрин в поисках отцовских писем. Нашла сковородку, чтобы печь омлет с сыром, щипцы для завивки, два флакона с краской для волос столетней давности, голландский обогреватель, две картины в рамке с изображением цыплят, пластиковые занавески на кухню, нож, которым извлекают яблочную сердцевину, запечатанную коробку крышек для консервирования, декоративную плетенку с хлебом — вполне достаточно для успешной «дворовой» распродажи. Была еще машинка для гофрировки, которую Айрин купила к Рождеству, когда гофрировка была в моде. Сэм перебрала стопку картинок — дешевые эстампы с утками, пейзажи с закатом и озерами, которые штампуют сотнями;

картина «Море» в лепной позолоченной рамке. В комоде — комбинации, бюстгальтеры без бретелек, трусики с оборванными кружевами; чулки, черные кружевные пояса с подвязками. Все пахло душистым тальком и временем.

Не оказалось писем и в ящике туалетного столика, хотя лучшего места для них не придумаешь: там валялись заржавевшие клипсы, круглые щетки для волос и другая мелочь. Стенной шкаф набит старой одеждой. Сэм печально глядела на широкие старомодные плащи, мини-юбки, еще вполне годные вязаные костюмы. Они висели в шкафу годы. Выбрасывать жалко, можно, конечно, отвезти в штаб Армии спасения. Но как-то стыдно отдавать бедным вышедшее из моды старье, которое сама не наденешь.

На одной из полок в шкафу Сэм нашла несколько небольших картонных коробок, перевязанных тесьмой. В них Айрин хранила фотографии школьных подруг и сувениры, полученные в школе на танцевальных вечерах. И еще этикетки от бутылок и палочки для коктейлей с надписями «Стейсиз», «Ля Флям», «Эмберз». Айрин когда-то их собирала. В последнем классе она ездила на экскурсию в Мамонтову пещеру, и вместе с этикетками лежали путеводители и настольные салфетки из ресторана с картой пещер.

Письма оказались в коробке на самой верхней полке. Тоненький пакет писем, перетянутый резинкой, которая тут же лопнула от прикосновения. Сэм спустилась вниз, взяла несколько галет, бобовый соус, холодное пепси, стакан со льдом и пошла к себе в комнату.

Устроилась поудобнее: пепси поставила на ночной столик, галеты и соус на кровать. Эммета дома нет, постригает у соседки газон.

Сэм разложила письма в хронологическом порядке. Последней — похоронной — телеграммы не было. Бабуля как-то сказала, что эту весть им принес военный чин. Айрин дома не было. Сообщив о гибели Дуэйна дедушке и бабушке, он сел в машину и стал ее ждать. Он был высок ростом, с застывшим лицом и монотонным голосом. Такова была его служба — ездить по штату и сообщать семьям о гибели мужа, сына, отца. В штате Кентукки погибло более тысячи молодых людей, и Сэм представила себе, как этот военный колесит по градам и весям, вторгаясь в мирные дома скорбным вестником. У него, наверное, был выработан сценарий, которому он неотступно следовал. Покинув последнюю в тот день семью,— воображала Сэм,— он остановился по пути домой в молочном баре и с аппетитом съел горячую сосиску, запив молочным коктейлем.

У Дуэйна был совсем детский почерк, буквы большие, размашистые. Писал он карандашом на линованных листках, не оставляя полей.

«Дорогая Айрин.

Не могу передать, как я по тебе соскучился. Не буду даже пытаться описать свои чувства. Все, что я могу,— это привыкать жить без тебя и как можно лучше делать свою работу.

Все здесь совсем не так, как я себе представлял. Но думаю, что выдержу. Никто не знает, что может случиться в следующую минуту. Иногда нас будят в полночь для какой-то проверки. Что они там проверяют, никому не известно. Мы спим в большой длинной комнате. Вполне сносно, только очень жарко. И москиты донимают. Но пока это самое худшее. Ну ничего, думаю, что привыкну.

Все уверены, что война будет короткой. К осени, надеюсь, все кончится. В общем все хорошо, ребята здесь замечательные, нигде больше таких нет. Мне очень повезло, что я попал в 109-й полк, мы живем одной семьей. Когда вернусь, приглашу этого парня из Тригга на рыбалку. Он говорит, что поймал однажды окуня фунтов на пятнадцать на Кентуккском озере. Я ему сказал, посмотрим, какого я поймаю. Мы решили — кто поймает больше рыбы, приготовит рыбный обед на всю компанию. Соберемся двумя семьями. Сидишь здесь и думаешь все время о доме — еще не то придет в голову.

Я ношу твою фотографию в кармане у сердца. Чтобы ты всегда была рядом. Помнишь, ту, где ты стоишь у розового куста в своих красных шортах. Фотография черно-белая, а я все равно ясно вижу твои красные шорты.

Любимая, не беспокойся обо мне. Я хочу, чтобы ты мной гордилась. Мы обязательно нагоним упущенное. Еще как нагоним! Я горжусь тем, что исполняю свой воинский долг. И буду исполнять его как можно лучше. Твои молитвы помогут, и мы одержим победу. Я в этом не сомневаюсь ни на секунду.

Очень тебя люблю, моей любовью можно устлать дорогу от Хоупвелла до Вьетнама».

Сэм уронила на письмо несколько галетных крошек и, послюнявив палец, собрала их. Атомы письма по прошествии лет смешались с атомами ее слюны. А Лонни хоть бы одно письмо ей написал.

Но письмо этого мальчика, ее отца, разочаровало ее. Ни слова о том, каков он, Вьетнам. Все его помыслы о рыбной ловле на Кентуккском озере, а о птицах и рыбах во Вьетнаме — ни строчки.

Следующие два письма были в том же духе. Писал, что днем уже нес охрану. Просил не беспокоиться о нем: он получил прекрасную военную подготовку. И ничего о своих чувствах, одиноко ли ему, тоскливо или, наоборот, он весел и доволен. Тон писем бодрый, приподнятый. А вот четвертое письмо оказалось поинтереснее.

«Твоя новость ошеломила меня. Я чуть с ума не сошел. Неужели правда я бу́ду отцом! Я был так счастлив, что сплясал джигу, а ребята облили меня пивом (не думай, я не выпил ни капли). Иногда нам привозят пиво, но я не пью. Я понимаю ребят — вода здесь для питья не пригодна. Чтобы выпить стакан, надо бросить в воду таблетку, а то подхватишь какую-нибудь гадость. Благодари Бога, что ты родилась в Америке. Все радуются вместе со мной. Боб из Трига говорит, что лично вручит тебе подарок из магазина отца. Его отец работает в магазине, где продаются детские вещи. И может покупать там со скидкой. Я на седьмом небе. Мы здесь спим на земле, но прошлую ночь, клянусь, я не чувствовал, какая жесткая у меня постель. Как жалко, что ты там сейчас одна. Мне бы так хотелось видеть, как ты будешь толстеть. Ты будешь самая красивая мама во всем нашем штате, вот увидишь».

Следующие несколько писем были все о том же, хоть бы в одном — что-нибудь о Вьетнаме. В его письмах слышались пасторские нотки. Он писал о Боге, о Его безграничной милости. И буквально в каждом приписка — молюсь о маленьком. Сэм, читая это, чувствовала себя как-то странно.

«Ты просишь меня рассказать про Вьетнам. Ни тигров, ни горилл я здесь не видел. Я бы сказал так — это не то место, куда хотелось бы отправиться на воскресную прогулку. Здесь очень жарко, куда жарче, чем на Кентуккском озере в августе. А скоро начнется сезон дождей. Говорят, что он длится полгода. Представляешь себе? У нас дома все затопило бы, если бы дождь шел полгода. Было бы почище Великого потопа. Но мы тут очень ждем дождя. Сейчас у нас страшная пылища. Так что трудно держать в порядке оружие, да и моемся не каждый день, но все это скоро изменится. Наш взвод совершил очень удачную вылазку. Нам каждый раз удается хоть немного потеснить врага. Это очень важно! Ты спрашиваешь, какие вьетнамцы. Они все маленького роста и не знают английского. К нам приходит молоденькая девушка, она убирает у нас, стирает и чистит наши ботинки. Никогда еще мои ботинки так не блестели. (Ха-ха!) Пишу — молоденькая девушка. А ей, наверное, лет тридцать. По ним никогда не скажешь, сколько им лет. Пожалуйста, не ревнуй. Она для меня слишком стара!

Места красивые, но этот маленький каменистый пляж прямо за дамбой еще не наш. Дай нам, Господи, захватить его».

Сэм прочитала все письма, от первого, написанного в апреле, до последнего, июльского. Строчки дышали желанием поскорее увидеть Айрин; он с удовольствием писал о своей «работе», о еще одной успешной атаке. Письма пестрели глупыми шуточками и коротенькими наставлениями Айрин вести себя хорошо. Они звучали до странного легкомысленно, как будто он был в отпуске и слал ей любовные открытки. В предпоследнем письме она прочитала: «Я думал о том, как ты хочешь назвать маленького,

я категорически против Даррела. Так звали одного парня из нашего взвода. Но его уже нет. Мне кажется, имя Даррел не принесет счастья нашему малышу. Мне будет тяжело называть его Даррелом. Мелинда Сью напомнила мне одну страхолюдину, с которой я сидел летом в воскресной школе. Мы там изучали Библию. А Билл или Боб — слишком уж просто. Мое любимое имя — Самуил. Оно из Библии. А девочка пусть будет Саманта. Звучит молитвенно. По-моему, оно из первой или второй книги Паралипоменон. Я читаю Библию каждый вечер.

P.S. Если этот парень из «Дайри куин» будет опять к тебе лезть, скажи, что ему не поздоровится, когда я вернусь».

В последнем письме он писал, что служба становится все труднее и что очень мало приходится спать. Он писал, какую радость ему приносят письма Айрин и что очень о ней скучает. Но чувствовалось, что он многого недоговаривает. Мисс Касл, учительница английского, всегда говорила, что писать надо не вообще, а приводя мелкие, но точные подробности. Он просил Айрин не беспокоиться о нем. Поход сквозь джунгли в его письмах выглядел завидным приключением. Не писал, что ему страшно. И больше ни разу не заикнулся о погибших солдатах.

Сэм сглотнула обиду. Отец хотел, чтобы у него родился мальчик. «Саманта» — это уже на худой конец. Отец был, наверное, очень храбрый и, наверное, верил, что защищал Айрин, а значит, в конечном итоге, и ее. Мертвые уносят с собой свои тайны. Интересно, в какой степени надо почитать мертвых, если они, эти мертвые, почти ничего не оставили тебе, разве только крохотную крупицу надежды и веры, унеся с собой свою тайну. Вот он смотрит из-под рамки зеркала, не сводя с нее глаз, пока она жует галеты и читает его письма. И у нее такое чувство, будто он с ней играет в игру-загадку: «Угадай, кто я».

Сэм прочитала последний абзац последнего письма: «Когда я вернусь домой, первое, что мы сделаем,— отправимся в наше кафе «Дайри куин», будем есть гамбургеры и делать все, что делали в наш первый вечер — вечер нашего знакомства. Только нас будет уже трое — ты, я и эта крошка Сэм. Надеюсь, у тебя еще сохранилось то платье. Ха-ха! Оно, наверное, теперь мало тебе».

Сэм взяла с полки в комнате Айрин Библию. Мама даже Библию оставила в Хоупвелле. Нашла книги Паралипоменон и перелистала. В них было полно родословий. Она вспомнила, что Айрин любила в школе для смеха вслух читать о расселении народов из книги Бытия. В школах тогда принято было молиться.

Имени Саманта не было ни в первой, ни во второй книге Паралипоменон. Сэм доела галеты. Весь лед у нее в стакане с пепси растаял.

26

На Лонни машина Сэм не произвела впечатления. Он нажал сигнал, постучал ногой по колесам, точно пробовал на спелость арбуз.

— Ты просто ревнуешь, потому что я купила ее у Тома,— сказала Сэм. Щеки ее вспыхнули — так интимно прозвучало имя Том.

Загар Лонни стал еще темнее. Они с друзьями ловили рыбу с понтона и жарили ее на лагерном костре. Это очень походило на жизнь бойскаутов. Во Вьетнаме ее отец ел свинину с бобами из консервной банки и спал, вырыв яму в земле.

Лонни рассказывал, как вся их мужская компания накупила себе шутливых подарков в книжном магазине для взрослых — кружка в форме женской груди, странного фасона «французские резинки» и десяток порнографических книжек с названиями вроде «Пышный бюст». В другое время Сэм посмеялась бы, попросила показать, но сейчас его рассказ показался ей верхом идиотизма. Лонни сказал, что они украсили лагерь женским бельем — развесили на веревке на уровне глаз, и Сэм вдруг подумала, уж не надували ли они для веселья «французские резинки», но ничего не сказала. Почему-то не хотелось с ним препираться. Надувают же врачи в П*А*Г от

нечего делать хирургические перчатки. Надутые резиновые перчатки походят на коровье вымя.

Когда собираются одни парни, они пьют и говорят про секс. Девушки говорят про мальчиков и наряды. Когда собираются женщины, они обсуждают болезни и делятся кулинарными рецептами. Сэм не знала только, про что говорят мужчины. Взрослые мужчины были для нее тайной за семью печатями.

Лонни забыл принести ее трусики. Пришел он после ужина, поиграл немного с Эмметом на «Атари». Он был до маковки полон рассказов о рыбалке и пиве. Позже Сэм поехала с ним прокатиться в его пикапе. Она видела, что он все еще возбужден от «мужских» разговоров на рыбалке и что скоро остановится где-нибудь на глухом проселке. Сэм подумала об этом с ужасом. Письма отца засели у нее в голове, и все, что Лонни говорил, вызывало у нее в памяти то одно, то другое место из этих писем отца к матери.

Джунгли подступали со всех сторон, и даже мирные клены на Кленовой улице, казалось, прятали в своих кронах метких и беспощадных снайперов. Лонни понятия не имел, как вести себя в джунглях. Его мир замыкался Хоупвеллом. С тех пор как Дон забеременела, Сэм угнетало мучительное чувство, один неверный шаг — и все, жизнь пойдет насмарку. Какая-то нелепая случайность, вроде пули снайпера,— и конец.

Лонни вел машину неосторожно, резко останавливаясь у сигналов «стоп» и с визгом огибая повороты, не пряча своего намерения. После недельного отсутствия пикап его стал греметь еще сильнее. Миновали торговый центр, свернули в сторону «Бургер-боя». Вдоль дороги стали зажигаться уличные фонари.

— Я наконец знаю, что буду делать. Мне пришла в голову гениальная идея. Рассказать?

— Пойдешь в армию?

— Ха-ха-ха! Ну, нет. Можно, конечно, пойти во флот. Флот — не так уж и плохо. На больших авианосцах есть видеоигры, и вообще. Говорят, служить на авианосце не хуже, чем плыть на туристском лайнере.

— И куда ты собрался на своем авианосце? В Ливан или Никарагуа?

— Ты все шутишь. А я говорю серьезно. Я решил поступить на заочные курсы. Где учат чинить фотоаппараты. Прочитал о них в журнале, который мама выписывает. Знаешь, я тут раскинул умом — ведь в городе у нас их негде чинить. Моя тетка посылает свои ремонтировать в Мемфис. Научусь и заведу свое дело. И не надо будет ходить на работу. На курсах мне дадут фотоаппарат и буду учиться. А когда кончу, получу удостоверение.

— Я и не знала, что ты увлекаешься фотографией.

— По-моему, толково придумано. Во-первых, надо было изучить рынок. Бизнес процветает, когда есть спрос на его продукцию. Войди в любой дом в Хоупвелле, что сразу бросается в глаза? Семейные фотографии на стене. А сколько в каждом доме семейных альбомов!

— Люди фотографируются по большей части в ателье или едут в Олин-Миллз. И там их фотографируют в разных видах.

— А где все эти ателье чинят свои фотоаппараты? Наверное, тоже посылают в Мемфис. А я смогу починить их здесь. Могу поспорить, в Хоупвелле тысячи фотоаппаратов.

— Да, конечно,— согласилась Сэм, не проявляя особого восторга,— будешь делать приблизительно то, что Эммет. Только он чинит тостеры и фены. И зарабатывает, кажется, до пятидесяти долларов в месяц!

— Будет тебе, Сэм. Что с тобой сегодня? — Он подъехал к «Бургер-бою», припарковался на дальней стоянке и выключил зажигание.— Пойдем завтра смотреть «Пир привидений».

— Не хочется.

— Что сегодня происходит в этой упрямой головке? — спросил он, вороша ей волосы.

— Не объяснишь. Надо побыть в моей шкуре.

— Прости, что я сказал тогда глупость про Эммета,— он сжал ее руку, но ощутил только мертвую тяжесть всегда мягкой подвижной ладони. Он оставил ее руку и закурил.

— Ты просто начиталась книжек про Вьетнам,— сказал он.

— Я устала от Эммета,— сказала она.— Мама говорит, что ему давно пора стоять на собственных ногах. Думаю, наверное, она права. Мне кажется, я поняла, почему она уехала отсюда.— Сэм открыла дверцу и замахала рукой, выгоняя дым. Рядом с ними парни в «шевроле» пили пиво.— Я все думаю,— прибавила она,— может, с ним что на войне случилось — ранение или что другое, поэтому у него и нет женщины.

— Ты хочешь сказать, может, ему оторвало яйца?

— Можно, конечно, и так выразиться.

Лонни вынул изо рта сигарету и задумался, вид у него был, как у профессионального консультанта, к которому обратились за советом.

— Сомневаюсь, что в этом дело,— сказал он.— Но ты знаешь, что говорит Кевин? Он говорит, отец ему сказал, что «апельсин» может так подействовать. Может накопиться внизу и практически превратить мужчину в женщину.

— Ты серьезно?

— Да. Это мне сказал Кевин.

— А мне бабушка сказала, что его свинка тяпнула, когда ему было одиннадцать.

— Что, что? — не понял Лонни.

Сэм ему объяснила, как могла серьезно. Ничего смешного она в этом не видела. Потом расстегнула молнию на кармашке сумки, вынула кольцо, которое Лонни подарил ей, и протянула ему.

— На,— сказала она.

— Что?

— Я тебе его возвращаю.

— Что это значит?

— Сама не знаю. Все у меня в голове спуталось. И я не хочу идти на эту свадьбу.

— Ты вообще против свадеб?

— Последние дни я много думаю,— сказала она.— Давай подъедем к окошечку. Хочу купить чизбургер. Я ведь почти не ужинала.

— Возьми двойной чизбургер. А то совсем превратилась в скелет.

Пока Сэм ела свой чизбургер, Лонни вертел в руках кольцо.

— Мне не верится, что ты это серьезно,— сказал он.— Тебя, наверное, удивляет, что я так спокоен. Ничего удивительного, я просто тебе не верю. Ты все это на себя напустила.

Сэм проглотила кусок чизбургера. Он был очень вкусный, все-таки грешно так наслаждаться едой в подобные минуты. Она не знала, что сказать Лонни.

— Это Эммет так на тебя действует.

— Нет, не он. Я тебе скажу кто. Дон. Дон — беременна. Но дело, конечно, не только в ней. Если начать объяснять, до утра не кончишь.

— Здорово! — улыбнулся Лонни.— Я всегда знал, что она захомутает Кена. Влюблена в него, как кошка.

— По-моему, это ужасно,— сказала Сэм.— Теперь Дон будет как моя мама. На всю жизнь застрянет в этой дыре. Ребенок отнимает все время. Нет, такая жизнь не по мне.

— Ты сегодня какая-то странная.

— Я вообще странная, ты разве не замечал? Я все пытаюсь открыть тебе глаза, но ты отмахиваешься. Думаешь, что я такая как все в этом дрянном городишке.

— У тебя вся семья странная.

— Это-то я и пытаюсь тебе втолковать.

Лонни включил зажигание и дал мотору немного поработать. Вместе с зажиганием включилось радио, Лонни его выключил; он сидел молча, посасывая сигарету, как малышка сосала грудь Айрин.

— Мама с папой расстроятся,— сказал он тихо.— Они уже считали тебя как бы членом нашей семьи.

— Сомневаюсь.

— Мама хотела свозить тебя в пассаж. Чтобы выбрать платье для свадьбы.

— Мне не надо никакого платья.— И она мысленно увидела себя в черных кожаных брюках, увешанных железками.

— Это все потому, что ты начиталась книжек про войну и смотришь эти сериалы.

— А что тут плохого?

— Все это чушь, выдумка от начала до конца. А вас с Эмметом от телевизора не оттащишь. Там все неправда. Не имеет никакого отношения к жизни у нас здесь. Все в сто раз преувеличено.

— А мне все равно, какая у нас здесь жизнь. Я в этом городишке жить не буду.

Лонни смотрел прямо перед собой. Становилось темно, «шевроле» с богатенькими сыночками выезжал со стоянки, визжа резиной. Сэм чувствовала, как что-то отпустило ее, точно ей удалось наконец развязать туго затянутый узел. Она явно уплывает куда-то, как астронавт на прогулке в небе. Астронавт снабжен ракетным мини-двигателем, у нее же теперь есть свой «фольксваген». Лонни провел ладонью по ее бедру и сжал коленку.

— Сэм,— сказал он,— объясни мне толком, что я сделал не так. Сказал что-нибудь обидное? Может, слишком самонадеян или еще что?

— Да нет.

— Так что же случилось?

— Ты здесь ни при чем.— Она не стала рассказывать ему про письма отца. Могла бы показать их ему. Но ведь он все равно не поймет.

— Знаешь, что я сделаю с кольцом? — сказал Лонни.— Брошу его в озеро. Камешек на берегу океана — вот что я для тебя значу.

— Делай, что хочешь,— сказала она.— Это твое кольцо, ты отдал за него большие деньги.

Сэм выбросила бумагу от чизбургера в мусорный бак, стоявший в двух шагах от пикапа, и вернулась в машину.

— Хочешь, чтобы я отвез тебя домой? — спросил Лонни.— Или добежишь сама — неплохая тренировочка для Олимпийских игр?

— Довези, пожалуйста, если не стал меня ненавидеть. Я к тебе ненависти не питаю!

— Я думаю, ты сама не знаешь, что и к кому ты питаешь,— сказал Лонни, мрачно затянувшись.— Хочешь знать мое мнение — ты собственный локоть от задницы не отличишь.

— Прости,— Сэм ласково дотронулась до его коленки, но он даже не взглянул на нее.

— Можешь забыть о своих трусах,— сказал Лонни.— Я их тебе не верну.

Он высадил ее у дома, не поцеловав на прощание. И погромыхал восвояси в своем разбитом пикапе. Сэм хлопнула кухонной дверью. Ее немного огорчили последние слова Лонни о трусах. Эммет смотрел телевизор и курил, Бублик свернулся калачиком у него на коленях.

Сэм рассказала Эммету, что произошло.

— Ты плохо сделала, что вернула ему кольцо. Лонни очень обидчивый,— заметил Эммет.

— Он до сих пор не знал, какая я злая. От меня можно каждую минуту ждать чего угодно.

— Я думал, ты очень обрадовалась своему «фольксвагену».

— Конечно, обрадовалась. Теперь я могу сесть за руль и уехать куда глаза глядят.— Сэм сделала телевизор потише.— Он говорит, я слишком много смотрю телевизор.

— Ты прозевала ту часть П*А*Г, где Хот Липс вышибла ногой дверь.

— Я тоже способна вышибить ногой дверь от злости.— Скорее всего, она стала такой за тот недолгий срок, пока жила под одной крышей с Эмметом. Наверное, он на всех так скверно влияет.

— Только, пожалуйста, осторожнее с дверью в подпол,— сказал Эммет.— Она и без того болтается на одной петле.

— А могу и мозги кое-кому вышибить. Начну скорее всего с тебя. Так что ты мне не противоречь.

Эммет почесал у себя под мышкой.

— Блохи замучили! — сказал он.— Этот дом кишит блохами. Столько блох, что можно открывать блошиный цирк.

— А во Вьетнаме блохи есть?

— Блохи там величиной с наших щенков.

— Я тебе не верю. Ты прочитал эти письма?

— Да.

— Что ты о них думаешь?

— В них мало что сказано.

— Мало. Никто не может мне рассказать, как там было на самом деле. А я хочу знать, что там было в этих джунглях.

— Полно всяких насекомых. Заросли.

— А еще что?

— Очень грустно об этом рассказывать. Об этом хочется забыть, навсегда забыть.

— А мне кажется, ты вовсе не хочешь забыть.

Сэм подвинула ноги Эммета и села рядом на кушетку. Внезапно ей пришла в голову одна мысль.

— Я вдруг сию минуту поняла,— сказала она.— Ты вырыл себе нору и прячешься в ней. Как будто вокруг тебя враги. Но врагов ведь никаких нет. Вокруг огромный мир, столько всяких дел, столько мест, куда можно взять и поехать. Ты разве не знаешь?

— Поезжай-ка ты лучше сама в Лексингтон и живи там,— сказал Эммет.

— Если я туда уеду, ты сможешь без меня прожить?

Эммет что-то промямлил. Посмотрел на экран, почесал Бублику шею. Бублик повернулся на спину и задрал вверх все четыре лапы.

— Ты тоже можешь поехать в Лексингтон,— сказала Сэм.— Можешь поехать в Аризону, если хочешь. Или в Японию. Что тебя держит здесь? Или оставайся, но найди себе какое-нибудь дело, а не торчи весь день перед телевизором.

— Во-первых, телевизор есть везде,— фыркнул Эммет.— А во-вторых, зачем ехать в Сент-Луис, если хочешь посмотреть игру. Ведь по телевизору можно смотреть и отсюда. И видно лучше. И экономия горючего.

— Всегда все лучше видеть собственными глазами.

Эммет сжал ладонями голову, у него опять начались боли.

— Я уже столько всего насмотрелся собственными глазами.

Он сжимал виски, пока боль не утихла. Сэм прикусила язык. Нельзя все-таки так просто взять и бросить его. Но изменить что-то надо. К тому же предстоит столько еще выяснять. Нет, она не может последовать примеру матери, во всяком случае сейчас.

Айрин как-то сумела отряхнуть с себя прошлое. Стала влюбляться. Сначала этот хиппи, а теперь Лоренцо Джонс. Сэм вся извелась, вдруг Эммет скоро умрет. Хотя, наверное, лучше об этом не думать. Она может сесть в свой «фольксваген» и поехать в Диснейленд, найдет там работу, новых друзей. В один прекрасный день она так и поступит, надо только сначала успокоиться, найти работу, закатиться в свою лунку... И вот едет она по большому городу. Видит — концерт Брюса Спрингстина. Она купит билет в первый ряд. Брюс изо всех выберет ее и будет танцевать с ней, закрыв глаза.

27

Сэм ехала в своей новой машине по проселочной дороге на ферму дедушки и бабушки — родителей Дуэйна. Они пригласили ее погостить на два дня. И она сказала Эммету, чтобы вечером он ее не ждал. Бабушка и дедушка Хьюзы жили далеко от Хоупвелла, и она не видела их почти два

года. Поэтому на душе у нее неспокойно, хотя ей очень нравится ехать в своей машине. Том посоветовал следить за счетчиком и каждые двести миль подливать бензин. Сказал, что отрегулировал указатель уровня бензина, но это механизм тонкий, и налаживать его труднее, чем карбюратор или глушитель, которые просто разбираются.

Все знакомые мужчины любят возиться с железками. Вечно что-то чинят или собирают.

Проехала мимо того места, которое, по словам Айрин, похоже на английский пейзаж. И свернула на узенькую дорогу. Назад убегали старые фермы, они, наверное, ничуть не изменились с того времени, когда жив был отец. Айрин говорила, что Эммет пошел на войну простым деревенским парнем. А Дуэйн жил и совсем в глухомани. Ездил в школу на желтом школьном автобусе за пятнадцать миль от дома. Они с Айрин познакомились на баскетбольном матче. Айрин и Эммет учились в городе, но за обучение приходилось платить, потому что жили они за городской чертой. А сейчас строится для всех окружная школа. Бабуля Смит говорила, что Айрин чувствовала себя в городской школе чужой и, чтобы самоутвердиться, совершала порой диковатые поступки. Например, читала ради смеха скучнейшие родословия на всю комнату отдыха. Сэм гордилась, что мама ее была непокорная.

Сэм хотела полюбить отца, но она так мало о нем знала. Не знала она, и как Айрин относилась к его участию в войне: если Айрин в конце концов поняла, что война — грязное дело, стала ли в чем-нибудь винить Дуэйна? Да и в собственных чувствах к отцу не могла разобраться. Она вспомнила Тома; как бы ей хотелось, чтобы Дуэйн походил на него. Но Том взрослый мужчина, а Дуэйн в письмах совсем мальчишка. Дуэйн и Айрин, любовь восемнадцатилетних. Сэм так хотелось верить, что брак их был заключен на небесах, именно потому она и родилась, именно это делает любовь настоящей. Но теперь она знала, что любовь восемнадцатилетних ненастоящая: Сэм и Лонни, Дон и Кен. Сэм часто слышала обращенные к ней слова — просто чудо, что она родилась, продолжила жизнь отца. Кратким месяцем супружества Айрин и Дуэйна Сэм сумела воспользоваться наилучшим образом. В том месяце она зародилась. Интересно, почему так важна минута зачатия. Ученые пытаются вычислить момент зарождения вселенной. Хотят точно узнать, как и когда это случилось — в результате большого взрыва или как-то еще. А может, все-таки вселенная зародилась тихо, без фейерверков, как зарождается человеческая жизнь. При участии двух существ, которые приятно провели время дома в постели или на заднем сиденье машины. Зачатие ребенка никак не связано с любовью, тайной, чудом или чем там еще говорится в церкви. Это просто трахание.

Дорога, извиваясь, бежала мимо старого большого кладбища. В бескрайних полях там и здесь стояли на бетонных основаниях дома-трейлеры. Позади осталась покинутая деревня: пустые дома, заброшенная кондитерская фабричка, магазин с заколоченными окнами и ржавой вывеской «Апельсиновый сок». Но методистская церковь побелена, новая автомобильная стоянка перед ней посыпана гравием и рядом большой плакат «Помните о Рождестве Христовом».

Дом бабушки и дедушки стоял на узком проселке, у въезда на него висел новый зеленый указатель: «Дорога Боба Джеймса». Боб Джеймс, вспомнила Сэм, был одним из соседей Хьюзов, он родил одиннадцать детей и владел несколькими сотнями акров земли. Уж не умер ли он, пришло в голову Сэм, раз в честь него назвали дорогу.

Почти у самого дома дорогу перебежала пестрая курица. Сэм свернула направо и остановилась. У поворота стояли синий пикап, побитый черный пикап и «понтиак». Увидев Сэм, залилась лаем рыжая собака, запертая в загончик.

Бабушка с дедушкой ожидали ее. Обед был готов. Встречала ее и Донна, сестра Дуэйна с малышом в голубых ползунках на руках. Сэм никогда не относилась к Донне как к тетушке. На бабушке было пестрое платье, в тон бросившейся под колеса курице, волосы собраны на макушке в узел. Пахло от нее политурой и чуть-чуть потом.

— Это у вас какие куры? — спросила Сэм.

— Пеструшки,— ответила бабушка, ведя Сэм в дом через заднее крыльцо, покосившееся и все заставленное ведрами, пакетами с семенами и банками с вареньями и соленьями.

Дедушка обнял Сэм за талию и поднял, как в детстве.

— Хотел проверить, есть ли во мне прежняя сила,— сказал он, смеясь.— Мои старые кости начинают дряхлеть, хожу и поскрипываю.

— Спина у него сдает, а туда же,— проворчала бабушка.

— Гляньте на Сэм,— Донна неодобрительно посмотрела на гостью.— Кости да кожа. Я ее мизинцем подниму.

Стали наперебой расспрашивать о младенце Айрин — есть ли зубки, какие волосики, сколько весит — и сравнивали с малышом Донны. Донна спросила, почему Сэм не поехала с матерью в Лексингтон.

— Ты так и живешь со своим чокнутым дядюшкой?

— Да отстань ты от ребенка,— сказала бабушка.— Ну переехала бы она с матерью, неизвестно еще, как бы это обернулось. По-моему, правильно, что дети хотят жить там, где выросли. Подумать только, сын Билла Холсума платит каждый год триста долларов, чтобы навестить отца с матерью на Рождество. Стыдно сказать, Билл ни разу не видал своих внуков.

— А сын Фреда Тэрнера служит в авиации, его часть расквартирована в Риме,— сказал дед.

— Я видела в программе «Невероятное» итальянское чудо,— сказала Донна.— Одного святого казнили, отрубили ему голову. А одна монахиня собрала в чашу кровь. И вот теперь каждый год в день его поминовения засохшая кровь опять становится жидкой. Ученые проверили — засохшая кровь никак не может превратиться в нормальную. Значит, это чудо. И только один раз это чудо не произошло. В 1980 году, когда были ужасные землетрясения.

— Господи, спаси и помилуй, ни за что не стала бы жить в стране, где творятся такие чудеса,— сказала бабушка.

— Они там все католики,— пояснила Донна.

Бабушка поставила на стол деревянное блюдо с жареным кроликом.

— Болотный кролик,— сказала она.

— Я его подстрелил в низине Коулз-боттом,— сказал дедушка.— Таких больших никогда в жизни не видел. Целую милю тащил домой.

Сэм положила на тарелку две кроличьих ножки, картофельного пюре, немного вареного гороха, зеленого салата и капустного. Донна намяла малышу горошка, у мальчика было угловатое личико и волосы, как утиный пух.

— Я видела тебя в том месяце в городе с какой-то девушкой,— сказала Донна.— Я шла по другой стороне площади. Но все равно было видно, какие тесные на ней шорты. Она всегда так выряжается?

— Зимой, конечно, не так,— возмутилась Сэм.— Между прочим, это моя лучшая подруга.

— Дашь ты ребенку спокойно поесть, Донна, или нет! — рассердилась бабушка.— Она у нас всегда такая приставучая, как репей.

Поговорили о пепелице на табаке. У тех дедушки и бабушки дом лучше, подумала Сэм. Полы у Хьюзов застланы старым линолеумом и нет машины-посудомойки. Бабушка выпила чаю со льдом и сказала:

— Мне хочется кому-то дать подзатыльник. В декабре мы могли бы заключить контракт по пяти долларов за бушель пшеницы, а Джо решил подождать урожая, думал, может, цены поднимутся. Но урожай оказался такой, что цены упали, и мы получили за бушель всего три доллара десять центов. Заработали на пшенице три тысячи, а могли бы получить пять.

— Пилит и пилит меня,— пожаловался дед.— Да откуда же я знал, что такой будет урожай? Иногда ведь приходится и рисковать.

— Мог бы в декабре подписать контракт на пять тысяч долларов. Гарантированных,— сокрушалась бабушка.

— Кто же знал, что пшеница будет такая сильная в этом году,— вступилась за отца Донна.— Я бы тоже так поступила.

Все время, пока ели, Сэм поглядывала на цветную фотографию отца, которая стояла на старом дубовом буфете. Сколько она помнит, этот портрет всегда там стоит. Волосы у отца темнее и длиннее, чем на ее фотографии, и нет армейской фуражки. На этой фотографии он одет в темно-синий костюм. Лицо розовое, как у покойника, над которым поработал кисточкой гробовщик. На лбу волнистая прядь. Сэм прищурила глаза, стараясь вообразить отца за этим столом. Он был бы уже совсем взрослый, как Том. Но, конечно, жил бы совсем по-другому, не в квартире при гараже. Так же бы обсуждал сейчас пепелицу на табаке и цены на пшеницу. Айрин не уехала бы в Лексингтон. А Сэм сейчас бы тетешкала младенца на коленях, как Донна.

Донна с бабушкой говорили о золовке Донны, которая только что въехала с мужем и двумя детьми в кирпичный дом. Донна с завистью описывала новый дом и все его удобства.

— У ребенка есть все, что хочешь. И Джин никогда не носит дешевых вещей. У них есть видеомагнитофон, а спальня стоит тысячу долларов. И никаких тебе забот.

От этих разговоров Сэм стало тошно. Она съела два куска сладкого пирога. Пирог был облит белым кремом. Наверное, таким угощалась Айрин на «белом» празднике много лет назад.

После обеда бабушка достала фотографии, ради которых Сэм приехала. Их было немного, если не считать школьных. Она разглядывала маленькие фотокарточки с надписью «Бернская средняя школа» и под ней год. Из худого, веснушчатого мальчика Дуэйн за школьные годы вырос в худого длинного неулыбу. Теперь школьные фотографии — цветные, ученики снимаются в непринужденных позах у бассейна или под деревом, а эти древние были темные и холодные; глядя на них, Сэм представляла, как ученики сурово таращились в объектив. Дуэйн улыбался только на двух снимках.

— А вот и моя любимая,— сказала бабушка, показывая снимок, на котором был заметен непослушный вихор надо лбом у Дуэйна.— Здесь ему скоро шестнадцать. Он был лучше всех! Такой заботливый сын! Как раз в том году он сколотил мне стол. Он сейчас в конторе у деда.

— Год моего рождения,— сказала Донна.— Надо же, совсем не помню моего родного брата. Какой стыд!

Сэм с бабушкой пошли мыть посуду. Дед лег соснуть немного — вечером ему чинить забор, Донна ушла с ребенком к себе. Муж ее работал на фирме «Юнион карбид», и они пока жили с бабушкой и дедушкой.

Сэм ставила теплые сухие стаканы в буфет. Из буфета тоже пахло политурой. С полки на нее смотрел отец. Последнее время она так часто вглядывалась в его фотографию, что он постепенно стал для нее живым человеком. Который мог бы ее понять.

Бабушка заученными движениями полоскала посуду в мыльной пене, а Сэм забрасывала ее вопросами о Дуэйне.

— Ты пошла в мать, Сэм, в их линию. У тебя глаза Дуэйна, но все повадки Айрин. И скулы широкие, как у нее. Я любила над ней подшучивать. Ох и отчаянная была головушка. Один раз, помню, приехала к нам — они с Дуэйном еще не поженились. Они привезли с собой бумажного змея. Так хочешь верь, хочешь нет, она пошла пускать этот змей на выгон в туфельках на высоких каблуках!

Бабушка засмеялась, и по ее рукам поползли теплые пенные потеки.

— Дуэйн так ее любил. Он был уверен, что Айрин может достать луну с неба.

— А она как к нему относилась?

— Прекрасно,— ответила бабушка, вытирая жирную тарелку губкой.— Конечно, Дуэйн — мой сын. Но другого такого сына вряд ли сыщешь. Матери всегда так думают, Сэм. И он был бы хорошим фермером. Айрин хотела, чтобы он поехал в Новый Орлеан и стал моряком. Айрин всегда мечтала о чем-нибудь необыкновенном. Но он бы туда не поехал. Он бы вернулся прямо домой. Такой уж он был. Наговорит, бывало, что он и то, и то сделает — горы свернет. А как дойдет до дела, за

мамину юбку спрячется. Нет, он бы не уехал отсюда, как сын Билла Холсума.

— Он был хороший сын,— подхватил появившийся в дверях дед.— Никогда не пил и не курил.

— Ты что, не стал спать? — спросила бабушка.— Ты ведь только что лег.

— Да вы тут разговариваете, я и не мог уснуть.

— Джо, расскажи Сэм про Дуэйна. Она очень хсчет побольше узнать о нем. Он ведь ее отец. Не проходит дня, чтобы я не вспомнила, что еще хорошего он сделал. Помнишь — ящик для цветов, который он тогда сколотил для Айрин?

— Он правда очень любил Айрин,— сказал дед.— И я уверен, что и она его любила. Они были совсем молодые. Когда человеку столько лет, сколько им было, он еще не понимает своих чувств. Но я видел ее вскоре после того известия. Оно разбило ей сердце.

— Айрин тогда жила с родителями и ждала тебя. У нее был такой большой живот.

— Мы ее видели нечасто,— сказал дедушка.— Но когда пришло то известие, ее сразу же привезли к нам. И мы стали ждать его вместе.

— Плохо, что не было тела. Мертвого ведь надо обмыть, и обрядить, и посидеть рядом. Мы его получили через три дня. И за эти три дня, пока ждали, мы совсем извелись. Бегали тут кругами, как курица с отрубленной головой. Соседи привезли нам еды. Приготовили все самое вкусное. Но это длилось так долго, что пришлось им ехать домой и готовить еще. Люти Кинниэм привезла ветчины, огромную кастрюлю картофельного салата и три пирога. Я никогда этого не забуду, сколько живу. Мы даже почувствовали вроде как облегчение, когда смогли наконец предать его земле,— бабушка не то всхлипнула, не то коротко рассмеялась.

— Гроб был запаян,— сказал дедушка.— Командование не велело его открывать.

Может, там был совсем и не Дуэйн, подумала Сэм, может, он все еще находится среди пропавших без вести.

— Это меня убило. Но его командир написал, что наш сын исполнил свой долг перед страной. И я нашла какое-то утешение в этих словах.

— Какой же долг он исполнил? — спросила Сэм.— Все знают, что это была глупая война, в которой погибло пятьдесят восемь тысяч наших солдат. Эммет говорит, что они умерли зря.

— Эммет еще и не такое скажет. Он-то не умер,— сказала бабушка.— Дуэйн воевал за благородную цель и погиб. В то время люди не устраивали никаких протестов. Он верил в свою страну и был готов ехать туда и сражаться.

— Если бы вернуться в то время, вы бы пустили его воевать или отправили в Канаду? — спросила Сэм.

— Ох, Сэм,— вздохнула, опустив глаза, бабушка,— людям не дано возвращаться в прошлое.

— А какие-нибудь его вещи прислали вместе с телом?

— Не очень много,— кивнула бабушка.— Одежду я раздала, Айрин отдала нагробный флаг. От всего остального она отказалась, не знаю почему.

— Мама говорит, среди вещей был дневник.

— Да, был. Тоненькая такая тетрадка. Я куда-то ее спрятала.

— Ничего, если я возьму ее себе?

— Не представляю, зачем она тебе? В ней ничего интересного. Вот письма он писал замечательные. Я ни за какие сокровища с ними не расстанусь. А дневник я тебе найду. Только управлюсь с посудой.

Сэм пошла с дедушкой в амбар взять проволоку.

— Что у этого кота с ушами? — спросила она, показав на кота с заплывшими глазами и ушами, которые явно кто-то обкорнал.

— Это я их подрезал. У него в ушах были клещи. А против них одно лечение — подрезать уши. Я и отстриг от каждого по четверти дюйма.

— Первый раз слышу о таком лечении.

— Так же и кроликов лечат. Это еще что! Я видел котов, у которых уши обрезаны под корень,— дед рассмеялся хитрым стариковским смехом.— Ничего-то, я гляжу, ты, Сэм, не знаешь.

Он взял лежащие на верстаке под навесом рабочие рукавицы, гвозди и молоток.

— У нашего кота никогда не было клещей в ушах,— сказала Сэм.— Блохи у него, правда, есть. Эммет от них совсем с ума сходит.

— А у этой собаки — чесотка. Я смешал серу с селитрой и отработанным маслом и при первом удобном случае помажу ее.

— А она от этого не сдохнет?

— Вроде бы не должна. Достань, пожалуйста, кусачки, они на полке возле пакета с удобрением.

Сэм с любопытством оглядывала старый телятник. Когда-то дед здесь держал теленка. Наверное, и отец ухаживал за телятами, которые росли в этом сарае. Теперь коров у деда нет. Сэм протянула кусачки.

— Я в этом году переборщил с удобрением,— покачал головой дед.

Сэм пошла с дедом по пыльной дороге. Она видела вокруг места, по которым когда-то пробегал взгляд ее отца. Здесь недолго жила ее мать. В те дни у нее в животе завелась она, Сэм. Здесь ее корни. Она и сама тут бывала. Все окрест знакомое и — чужое. Ей даже показалось, она видит эти места впервые.

— Помню, Дуэйн привез сюда Айрин первый раз,— сказал дед.— Она была такая же пигалица, как ты. Худенькая, быстрая. Но ничего не боялась. Ходила кругом, спрашивала, что как называется. Ей очень понравились Эммины кактусы, круглые толстые колючки. Говорит — вылитые подушечки для иголок. Нарвала огромный букет цветов. Пошла в поле вдоль изгороди, рвала анютины глазки, васильки, ромашки, не знаю, еще что. Мне бы в голову не пришло делать букет из этих сорняков. Она ведь тоже выросла на ферме. Потому я и удивился.

— Она всегда любила цветы.— Об Айрин они говорили так, словно ее не было в живых. А про Дуэйна говорили вообще. «Это неправильно,— подумала Сэм,— когда о ком-то рассказываешь, важны подробности».

— Сейчас фермерские дети не отличаются от городских,— заметил дед.— У них тоже все есть. Даже машины, и они могут ездить, куда угодно. Раньше ведь как? В город обычно ездили по субботам. А теперь садятся в машину и едут, куда глаза глядят. В любой день недели.

Поговорили немного о новой машине Сэм, а потом дед вдруг сказал:

— Мы всегда думали, как хорошо, что Дуэйн успел сделать нам такой подарок. Когда ты родилась, как все гордились и радовались...— Он забил в столб очередной гвоздь и продолжал: — Конечно, мы ожидали мальчика. Но все равно мы тебя сразу полюбили...

— Никто не хотел девочку,— сказала Сэм, разминая пальцами головку клевера.— А ты знаешь, что имя мне выбрал папа? — спросила она.— Он думал, оно из Библии.

— Я этого не знал. Вот ведь, каждый день узнаешь что-то новое. Да, интересно,— сказал он и задумчиво провел ладонью по подбородку.

Пока дед трудился над изгородью, Сэм пошла вдоль ручья. Она помнила, в этом месте должен расти боярышник. Нашла деревья, но ягод на них не было. Их ветки густо обвивала жимолость. На одном побеге сидел большой зеленый лесной клоп с оранжевым пятном и цифрой «восемь» на спинке. В мелких чистых заводях по гладкой поверхности сновали туда-сюда жуки-плавунцы. Сэм называла их Христовы жуки, потому что они ходили по воде как по суху. Оглядела ферму, стараясь смотреть на нее не своими глазами — глазами отца; как все это окружающее виделось ему накануне отъезда во Вьетнам? Там, далеко за морем, он вспоминал именно эти места, увез в памяти эти картины. И ей они так понятны. Все, что он знал, было просто и ясно — Христовы жуки, пепелица на табаке, собака, изгородь. Он не знал и никогда не узнает о новой большой школе, о роке, о видео. Он никогда не знал и не узнает ее.

Вернулись к дому, пес вышел из конуры, лениво потянулся и лег в ямку, которую вырыл в тени недалеко от клумбы. Вся спина у него была в струпьях. Сэм узнавала цветы — синие на высоких ножках, с розовыми соцветиями-метелками, с круглыми желтыми головками. Но названия их она не помнила. Розовые кусты все объедены тлей. Лилии уже отцвели и засохли. Августовское солнце пекло сильно. Она узнала один цветок — если дотронуться до его бурых созревших стручков, они с треском лопаются, разбрасывая кругом семена. Она даже вспомнила его название — «недотрога».

— Я нашла дневник,— бабушка позвала Сэм с крыльца.— Можешь его взять, но думаю, ты мало что из него узнаешь. Дуэйн описывает в нем только передвижение армии, оружие и все такое. В нем нет ласковых строчек, как в письмах. Они были такие хорошие. Айрин даже не взяла с собой эту тетрадку. Но ты, если хочешь, можешь взять.

Протянув руку, Сэм взяла коричневый, сброшюрованный спиралью блокнот. Бабушка стояла на высоком крыльце, а Сэм внизу на первой ступеньке. И ей вспомнилось — точно так же, стоя внизу, она взяла свернутый трубочкой диплом из рук директора на выпускном вечере. Но перевязан лентой был не диплом, а чистый листок бумаги — типография опоздала отпечатать бланки. Настоящий диплом пришел по почте через несколько дней.

— Помнится, я даже не дочитала его до конца, не могла разобрать почерк,— сказала бабушка.— Поэтому я и говорю — ты из него узнаешь не так много. Но хотя бы у тебя будет что-то отцовское,— бабушка шуганула кота от двери и прибавила: — Хочешь пойти на кладбище? Мы можем немного позже отвести тебя.

— Не сегодня,— сказала Сэм, глядя на кота.— Мне еще надо съездить в одно место.

— Куда?

— В Падуку. Мне туда очень нужно.

28

Народу было сегодня не так много. Покупатели окликали друг друга в широких коридорах. Одна женщина кричала другой: «Ванда! Подруга! Куда ты?»

Какой-то мужчина подсел к Сэм. Она расположилась на скамейке возле цветов в центре пассажа, прихватила с собой банку кока-колы, шоколадное печенье и погрузилась в чтение дневника. Мужчина был в футболке, у которой на груди красовался американский флаг с надписью: «Я — бунтарь и тем горжусь». Сэм посмотрела на него с такой злостью, что он в мгновение ока исчез.

Дневник читался трудно. Бабушка была права, написано неразборчиво. Но Сэм давно научилась прекрасно понимать самые замысловатые почерки. У нее к этому талант. Дуэйн писал карандашом, бумага линованная, но слова соскакивали с линеек. Сэм подумала, что отец, наверное, писал в темноте. Почерк был мелкий и с завитушками. Действительно, было много непонятных сообщений о передвижении войск, о разных видах вооружения — предметах, мало интересных для его родителей, которым бы узнать о тамошней погоде, урожае. Но после нескольких страниц коротеньких записей вроде «Прошли два километра на запад, окопались поздно, началась стрельба» или «обнаружены саперы... гранатометатели... истрачено 40 дисков», что не имело для Сэм никакого смысла, пошли вдруг более интересные страницы:

«Июль, 3. Весь день валили деревья на склоне горы. Поднялись на вершину, и снова гора и снова деревья. Руки устали и кровоточат. Вечером — бомбежка.

Июль, 4. Письмо от Айрин. Младенец сильно чем-то колотит в животе.

Июль, 5. Курим в темноте, пряча сигареты под касками. Для чего только каски не служат. Единственно, не срем в них. Настроение плохое, но взял себя в руки, вспомнив цель, за которую сражаемся.

Июль, 6. Шли целый день. У меня опять упадок духа. Но, кажется, начинаю привыкать. Автомат всегда наперевес, всегда наготове. Вспоминаю охоту на кроликов. Как я скучаю о тех осенних днях!

Июль, 7. Походный рацион, свинина с бобами. Бобы лезут уже из ушей. Понос буквально у всех. Рубим деревья, мостим болота. Мечтаем о дожде, но ноги у нас все время сырые. Горластый злится. Он дрессирует нас, как свору собак. Но наш взвод самый лучший и самый дружный. Окопались поздно. Проспал смену караула. Спал, как младенец.

Июль, 8. Бессмысленный день. Окопались, ждем. Горластый говорит, долго это не продлится. Опять накатила тоска.

Июль, 9. Стычка с врагом. Длилась всего две секунды, а показалось два часа. У меня все еще дрожат колени. Бобби Дж. ранило в ногу, к счастью, легко. Врач его перевязал. Мы убили двух вьетнамцев. По-моему, один из них — мой. Но Джим К. утверждает, что его. Очень горячо выясняли, чья была пуля. Писем нет. Айрин так далеко, что кажется нереальной. Но все это ради нее, ради нашего ребенка. Иначе зачем мы здесь? Джо получил пять нашивок. Он везучий. Уверен, я тоже скоро получу. По теории вероятности. Но, правда, Джо слишком рискует. Ничего не боится. А Боб так спокоен, как будто владеет какой-то секретной информацией. Он не скажет «говно», даже если будет по шейку сидеть в нем. Сегодня вечером чувствую усталость. Хорошую усталость. Мы убили двоих. Целых две недели ничего и наконец — двое. Получили сигареты. И напились.

Июль, 13. Горластый говорит, приближаемся к линии обороны врага. Целый день шли по трясине, трава выше головы. Эдди впереди всех, прокладывал тропу, шел, как быстроходный катер. Он большой и черный. Но парень что надо. Никогда не видел такого спокойного негра. Никаких истерик.

Июль, 14. Вертолет сбросил почту, письмо от Айрин. Карандаш так скрипит по бумаге, что боюсь, услышат «мартышки» и слетятся на звук, как мухи на мед. Тьма кромешная, видим только красные огоньки сигарет. Вертолет сбросил курево. Курим, втянув почти всю сигарету в рот. Джо похож на фокусника, глотающего огонь. Видел такого на карнавале. Если встречусь лицом к лицу с «мартышкой» и у меня не будет оружия, выжгу ему глаза горящей сигаретой. Горластый говорит, враг совсем рядом. Теперь уже недолго. Где-то к северу находится их секретная военная база, мы движемся туда, но, кажется, все время кружим на одном месте. Вертолеты обнаруживают противника и сообщают нам. Мы идем и уничтожаем его. Но у меня такое чувство, что если вдруг развернуться на 180°, то окажется, что и «мартышки» выслеживают нас. Хорошо вчера сказал Джон. Я ему говорю, это напоминает охоту на кроликов. Да, ответил он, но есть разница. Кролик убегает от охотника, повинуясь инстинкту, метнется то в одну сторону, то в другую. Олень, чтобы спастись, мчится, как ветер. Такими их создал Бог. Ни кролик, ни олень не погонятся за охотником. Не выскочат на тебя из-за куста с автоматом. Только пантера обладает подобным коварством (без автомата, конечно).

Отец вырос на Пантеровой речке и часто рассказывал про плач пантеры. Говорят, она плачет совсем как женщина. Как Айрин. Я попробовал представить себе, что Айрин рядом, в этом окопе. Но ничего не вышло. Только, кажется, вижу ее лицо, но оно тотчас исчезает, стоит услышать какой-нибудь звук — зашуршат листья, кто-то вздохнет, начнется смена караула. Ну, я и спускаюсь с небес на землю. И перестаю хотеть, чтобы Айрин была рядом, все это видела. Одно спасает — цель, во имя которой мы здесь.

Июль, 17. Два дня назад мы наткнулись на мертвого «мартышку», гниющего под листьями в небольшом бочажке. Его не убрали, наверное, потому что он был весь засыпан длинными банановыми листьями. Интересно смотреть на раскуроченное тело, как будто изучаешь его на уроках анатомии. От него как-то особенно воняло. Мертвые «мартышки» пахнут особенно, теперь нам это хорошо известно. Бобби сунул ему в голову палку и покрутил. И из черепа выпали зубы. Даррел взял один и носит на счастье.

Говорит, от него теперь исходит дух мертвых «мартышек», который будет его охранять. Помню, когда дядюшка Б. охотился на оленя, он всегда был в куртке, описанной оленем.

Июль, 18. Горластый чуть не лопнул от злости — Даррел повсюду разбросал свою амуницию. Разорался на чем свет стоит. Мы-де должны быть готовы к отражению врага в любую секунду. «Мартышки» могут свалиться на нас как снег на голову. Точь-в-точь как у нас дома в воскресенье. Нагрянут гости, а у нас что делается, по всей гостиной разбросаны игрушки, папина одежда. Мама бегает, собирает, кричит. Мы должны быть всегда в полной боевой готовности, внушает нам Горластый. Это армия, а не богадельня. Мы тут совсем обленились. Делать совершенно нечего. «Мартышек» и в помине нет. Кто-то громко перднул, как будто выстрелил, наверное, и в Ханое слышно. Предупреждение «мартышкам», смеется Даррел. А я вспомнил, как в канун Дня Всех Святых в почтовый ящик падают со стуком вишни. Хорошие здесь ребята. Горластый здорово нас дрючит. Как вьючную скотину. Здесь это — буйволы. Но буйвол не мул, его кнутом не вытянешь, да и мы не бессловесная скотина. Наш взвод — отличные парни. Но если бы Горластый не орал так на нас, мы вполовину не были бы такими хорошими. Он умеет с нами управляться. Как баскетбольный тренер Джонс. Мы уговариваем его остаться в армии еще на один срок. Говорим — свободному миру нужны такие, как он.

Август, 4. Даррела больше нет. Все было кончено, не успели мы сообразить, что произошло. Черт, это было страшно. Никогда этого не забуду. Даррел вылез из окопа, пошел в кусты срать. И они подстрелили его. Мы открыли в ответ круговой огонь. Но какой толк! Мы стреляли и стреляли, стоя рядом, а у него из спины и изо рта хлестала кровь. Его взял вертолет, но было уже поздно. Он потерял слишком много крови. Врач был весь залит кровью. Пусть только попадутся мне эти «мартышки», я из них сделаю котлету! Даррел был замечательный парень, с кем, с кем, но с ним такое не должно было случиться. Этот проклятый зуб не уберег его. Долго говорили о страхе.

Август, 6. Вертолет привез индейку, и соус, и клюкву. Не мамина кухня, конечно, но все-таки манна небесная. А ведь правда, эта еда с неба свалилась. Получили сигареты и виски.

Август, 8. Горластый чуть из кожи не вылез, так злобствовал. Из-за смерти Даррела. Сказал, давно пора нам всем поумнеть. Если бы Горластый не бесновался, ему бы нас не удержать. У меня все вещи промокли, тело болит, зудят укусы всяких насекомых, желудок расстроен, у одного парня малярия, но его не вывозят. Некогда останавливаться.

Август, 10. Невозможно себе представить. Ребенок. Моя плоть и кровь. Не могу писать, совсем без сил.

Август, 12. Ноги у меня, как ножки вареной курицы.

Август, 14. Большой сюрприз. Лицом к лицу с «мартышками» — и победа. Довольно просто, проще, чем я думал. Но думать, в общем-то, некогда. Все так просто. Наконец-то.

Август, 16. Состояние мое ухудшается. Ноги не дают жить. У них такой вид, будто они гниют и вот-вот отвалятся. Темно, блокнот все время соскальзывает у меня с колена,— вспомнил, как мама качает на коленях маленькую Донну. «Поскачем на лошадке! По гладенькой дорожке! По кочкам, в яму бух! Встали и опять поскакали!» Курить нечего. В прошлый раз вертолет привез «Лакки». Раз «Лакки», значит, мы все счастливчики, смеялись ребята. Значит, повезет, останемся живы. Кажется, вернусь домой — буду как во сне. А пока дом кажется сном. Это все равно, что тест в школе — воткнуть круглые колышки в квадратные дырки. Просто чудо, если выберемся живыми. «Кентукки, прощай. Я так счастлив, гуд бай». Любимая песня Айрин».

Сэм почувствовала, как к горлу подступила дурнота. Желудок свело, казалось, вот-вот вырвет. Она видела этот труп под банановыми листьями, чувствовала его особое зловоние. Она никогда не видела листьев банана, но думала, что представляет их себе. Переспелые бананы пахнут сладко

и тошнотворно, мухи и осы так на них и летят. Сэм съела хрустящее печенье в шоколаде, чтобы избавиться от этого запаха. Ей вспомнилось, как она однажды в саду у бабушки вырыла нечаянно дохлую кошку. Какое она тогда испытала отвращение, ужас, любопытство, то же, наверное, чувствовал и отец. Ей стало совсем скверно. Какой стыд, какая мерзость! А как бы она вела себя на этой войне? Называла бы вьетнамцев «мартышками»? Эммет так любит Бублика, неужели и он делал на вьетнамской войне то же, что отец? Она не могла этому поверить. Хотя понимала — и ему пришлось через это пройти. Даже если Эммет и раскаивается, он ничего не делает, чтобы искупить вину; не то что тот человек, убивший семью, о котором рассказывала мама. Ричард Прайер однажды спросил приговоренного к смертной казни, сидевшего в Аризонской тюрьме (она слышала по телевизору),— почему он убил всю семью. Тот ответил: «Так ведь все были дома!»

Отец не писал, что он чувствовал, убив вьетнамца. Он просто занес к себе в дневник этот факт, который рано или поздно все равно бы случился. Этого ждешь как экзамена в школе.

Скорее всего бабушка и дедушка и не читали этот дневник. Заглянув в него, они бы узнали, что сын их курил, пил и убивал. Может, и читали, но просто не хотели знать своего сына таким. И забыли. А может, даже придумали для себя более утешительную историю. Или притворились, что не разбирают его почерк. Но почему бабушка отдала ей дневник отца? А что Айрин, читала ли она его? Может, они утешаются тем, что на войне без убийств не обойтись? Так что нечего и расстраиваться. Наверное, бабушка больше огорчилась бы, узнав, что сын курит.

Сэм встала со скамейки, пошла к машине и поехала домой. Ей хотелось, чтобы дорога все не кончалась; пусть прояснится в голове, ведь надо же спокойно обдумать, что для нее значит этот дневник. А может, и обдумывать нечего. Может, надо просто забыть про отца и выбросить из головы вместе с ним все семейство Хьюзов. Необразованные простолюдины, живут в старом фермерском доме, где такой затхлый воздух и всегда пахнет грязной фермерской одеждой, испачканной навозом. В ванной она чуть не упала, поскользнувшись на липком резиновом коврике, который потихоньку гнил, лежа перед запотевшим шкафчиком. В гостиной телевизор без одной ножки, в углу старая, невозможного вида антенна — пучок железных прутьев с какими-то закорючками, космический монстр, слетевший с экрана телевизора. Это сложное устройство — попытка ловить кабельный канал, чтобы дед мог смотреть игру бейсбольной команды «Дикие кошки». Бабушка собирала горох в ржавое ведро, в котором была дыра, заткнутая ветошью. У Сэм перед глазами — собака в парше, некрасивый младенец, разросшиеся сорняки, глупая тетушка Донна. Да еще кот с обрезанными ушами — от одного этого хотелось заплакать. А дневник, в котором гниющий труп, разбухшие, саднящие ноги отца, убитый однополчанин. Воображение у нее и всегда отличалось мрачными тонами, но обычно ей рисовались нереальные картины, навеянные фильмами ужасов. Сегодня, однако, они были такие живые, клубились вокруг нее, точно она погрузилась во что-то гниющее, зловонное, и теперь ей долго придется дышать миазмами. Скорее бы принять душ. В джунглях они были все такие грязные, а вымыться негде.

Как же теперь смотреть в глаза Эммету?

29

Бублик нежился в тени большого куста форзиции во дворе миссис Биггс. Услышав, как стукнула дверца «фольксвагена», он встал, потянулся и нервно зевнул, приветствуя хозяйку.

В этот час Эммет обычно был дома, готовил ужин, но дверь неожиданно оказалась запертой. Впрочем, ничего удивительного, он ожидал ее возвращения не раньше завтрашнего утра. К счастью, ключ у нее был. Сэм открыла дверь, и в нос ей ударил, вместо сигаретного дыма, удушливый

запах какого-то газа. Что такое? Эммет не мог сунуть голову в газовую плиту — плита у них электрическая. А вдруг «апельсин»? Нет, апельсинами не пахнет. Сэм набрала полную грудь воздуха и ринулась в дом.

— Эммет! — крикнула она, выдохнув весь воздух. Выскочила наружу, опять вдохнула и вернулась в дом, продолжая звать Эммета.

Она скоро обнаружила, откуда шел запах. Посреди гостиной между телевизором и софой на табуретке стоял баллончик аэрозоли. «Аэрозоль от блох» — прочитала Сэм на этикетке. У баллончика было устройство, фиксирующее головку в положении «открыто». Эммет нажал на него, оставил баллончик в гостиной и ушел. Все равно что бросил гранату в окно и сбежал. Как это на него похоже! Все в доме делается за ее спиной. Сэм кипела от ярости. Он просто сбрендил из-за этих дурацких блох.

Сэм стояла на крыльце, пытаясь собраться с мыслями. Парадную и заднюю двери она распахнула настежь, чтобы устроить сквозняк. Она так злилась на Эммета, прямо писала кипятком. Что теперь делать? И вдруг поняла что. Сэм вернулась в машину и вырвала из блокнота отца чистый листок. Черкнула несколько строчек и прижала листок магнитиком-помидором к дверце холодильника. В записке говорилось: «Ты думаешь, раз ты ветеран, тебе все позволено. Ты ошибаешься, это не так. На столе дневник моего папы. Мне дала его бабушка Хьюз. Вот как, оказывается, там было. Если в нем все правда, забудь обо мне. И не пытайся меня найти. С этого дня ты предоставлен сам себе. Всего лучшего, Сэм».

Набрав в легкие воздуха, Сэм побежала наверх. У нее в комнате можно было дышать. Она открыла окно, достала из стенного шкафа спальный мешок и свой старый скаутский рюкзак. Сунула в него несколько шортов, джинсы, майки и пару ковбойских ботинок. Вынула из солдатского сундучка Эммета походное одеяло и плащ-палатку. Выскочила на крыльцо еще глотнуть воздуха и вернулась в кухню взять какой-нибудь еды. Ни ветчины, ни сосисок не было. Ладно, сойдет и свинина с бобами. Солдаты ели прямо из консервных банок. У них масло и то было консервированное. Сэм положила в рюкзак банку тушеной свинины, несколько пакетов кукурузных чипсов, пачку печенья и банку копченых устриц, купленную вместе с котом-копилкой; в холодильную сумку сунула банки пепси, грейпфрутового сока и сыр. Нашла несколько пластиковых тарелок, позаимствованных в «Бургер-бое» в те дни, когда она там работала. Через две недели снова идти на работу. Где-то она будет через две недели?

Сэм представила себе, что дом пропах «апельсином». Легкие впитывают диоксин, его молекулы накапливаются у нее в тканях. И в один прекрасный день начнут мучить ее, как Эммета мучает теперь любая еда, от которой у него газы.

Скорее всего, диоксина в аэрозоли нет. Но наверняка в ней содержится не менее ядовитое вещество. Химическим фирмам наплевать на здоровье людей.

Уже на выезде из города она вдруг с ужасом вспомнила про Бублика — не проскользнул ли он в дом, пока она бегала на крыльцо и обратно. Но, кажется, она видела его под кустом форзиции. Почти наверняка видела. Раз мужчины воевали ради женщин, ради будущих поколений, она попробует на себе испытать, через что они прошли во Вьетнаме. Сэм понимала, женщины и нерожденные младенцы на самом деле здесь ни при чем. Если бы что-то зависело от женщин, никаких войн бы не было. Хотя нет, это наивно. Стоит женщине обрести власть, она становится как мужчина. Например, Индира Ганди или Маргарет Тэтчер. Не хотела бы она встретить этих женщин ночью в глухом месте.

Что заставляет людей убивать? Отчего у них рождается это желание? Если бы Америка послала ее в чужую страну с оружием и вещмешком, смогла бы она окопаться где-то в джунглях, спать на чавкающей земле и стрелять в себе подобных? Почему мальчишки, став солдатами, так легко убивают? Почему была та война?

У ее отца не было чувства юмора. У Эммета по крайней мере оно есть. Дуэйн писал с ошибками, к тому же как курица лапой. Эммет боится

блох — такая глупость! А вот она едет на Каувудское озеро, проведет там ночь, будет спать на земле, и ей ничего не страшно. А ведь это озеро, вернее, теперь уже болото — очень опасное место, даже бойскауты редко ездят туда. Но во всем Западном Кентукки только там сохранилась в неприкосновенности дикая природа. А Сэм как раз это и было нужно.

Вдоль старой дороги, ведущей к озеру, работали бульдозеры, осушали заболоченную землю. Сэм доехала по ухабистой дороге до поляны и оставила там «фольксваген». Под ногами у нее заскрипел гравий — она шла по тропе, ведущей к дощатым мосткам. По дороге остановилась у полого пня. Внутри него сотни мелких черных муравьев трудились над куском пластика, обращали в строительный материал и потом куда-то тащили. Эммету кажется, что блохи вот так же снуют по нему, когда он спит. На него, наверное, нашло помрачение. Это не блохи кишат, а вьетнамцы. Он оставил в гостиной аэрозольную бомбу, а сам убежал. Как часто ветераны сравнивали бесчисленных врагов с муравьями и другими насекомыми. Кто-то рассказывал, отвоюют у врага кусок джунглей, поставят охрану, расположатся на ночлег, а на утро их опять видимо-невидимо.

Вьетнамцы использовали весь хлам, весь мусор, брошенный американскими войсками,— контейнеры от снарядов, обломки вертолетов, банки из-под кока-колы, окурки. Так и Эммет — тащит в дом всякое старье. Чем не вьетнамец! Они даже бомбы делали из консервных банок.

Эммет убивал вьетнамцев с той же легкостью, с какой теперь морит блох, а некоторые разоряют муравьиные кучи. Отец писал в дневнике — нет ничего проще. Но ведь на место убитых врагов приходили все новые. Пит вон хвалится тем, что убивал. Мужчин тянет убивать, в них шевелится атавистическое чувство. Их возбуждает вид крови.

Но блохи все равно вернутся. В городских квартирах живут мыши, тараканы, клопы, привыкшие к химии.

На Каувудском озере мошкара вилась над водой, как клубы пара.

Эммет подложил блохам эту бомбу бездумно, как стрелял из миномета, посылая смерть врагу. Как нажимал кнопку «Атари».

Сэм вспомнила, как он когда-то кричал по ночам. Преследовал «мартышек». Здесь нет вьетнамцев, высот, которые надо брать, военных баз, которые приказано защищать от врага, а он все еще воюет. Все еще пытается убивать, даже вопреки себе, точно во власти непреодолимой привычки. Ужасно! Он снова и снова переживает войну. Мужчинам нравится убивать. Вот чем они занимались и занимаются, сколько стоит мир: это их главная профессия.

Дедушка во второй мировой войне убивал японцев. Ее отец погиб на войне — таковы правила этой мужской игры. Одни уцелеют, другие погибнут. Вот и весь расклад.

Женщины не убивают. Поэтому ее мать не оказала почестей ни нагробному флагу, ни павшему на войне. Почитать павших — значит соглашаться с войной. Айрин как бы сказала Америке: «К черту все, он убит, какие еще разговоры? Пошел воевать, погиб, среди живых его больше нет». И Сэм согласна — к черту их всех — Лонни, дядю, обоих дедушек, Лоренцо Джонса, Тома. Хотя для Тома, пожалуй, можно сделать исключение.

Она долго сидела не двигаясь на дощатом настиле у самого берега, и обитающие здесь птицы скоро перестали ее замечать. Вот так и Эммет: затаился и выжидает, как паук, прячущийся в своей паутине. В зарослях тростника прошуршала большая птица, точно где-то вдалеке пролетел вертолет-разведчик. Сэм только заметила — что-то темное мелькнуло между стеблями. Прокричала голубая сойка. Дразнила белку. Были здесь и старые знакомцы — воробьи. Интересно, есть ли высший смысл в том, чтобы вот так сидеть и поджидать птиц. Любимое занятие охотников.

Да, она убежала из дому. В окрестностях Хоупвелла беглецами еще не проложены тайные тропы. Но ведь и Эммет убежал из дома — в Лексингтон, так что они квиты. В Нью-Йорк она не хочет и не мечтает стать проституткой в банде торговцев наркотиками. Их учительница по английскому обожала Торо — бросил вызов обществу, поселился на озере Уолден.

Она бы и от ее поступка пришла в восторг. Будь Торо героем романа, тогда понятно. Но чтобы так вести себя в жизни! Сэм считала его шизофреником.

Она никак не могла забыть разлагающийся труп, на который натолкнулся ее отец, банановые листья, источающие сладкую вонь. Как бы ни старалась она вообразить себе Вьетнам, глазам рисовались гикори, клены, дубы, другие знакомые деревья. Вроде вот этих кипарисов на берегу. Там, наверное, никаких этих деревьев нет. Одни рисовые поля. А они для нее почти нереальны. Она думала о танках, которые утюжили гусеницами джунгли, о тиграх, подстерегающих в зарослях жертву. Образы, сошедшие с телеэкрана. Ветераны иногда винили во всем мрак и ужас джунглей. Что с ними сотворили джунгли, с ними, пришедшими их покорить! И вот теперь она и сама как бы *там*.

Каувудское озеро было знаменито змеями и пернатыми, даже белыми цаплями, во всяком случае, в этом ее уверял Эммет. Она так часто воображала белую цаплю, что иногда ей казалось, видела ее живой. Цапля была чисто белой, как аист. Может, когда отец видел их во Вьетнаме, он думал, что это аисты и среди них тот, что принесет ее, Сэм. Потом туда уехал Эммет, как будто затем, чтобы найти своего аиста. Или белую цаплю. Может, и она приносит младенцев. Эммет не очень усердно ищет ее. Сидит дома и смотрит телевизор. Спрятал голову под крыло. Живет в придуманном мирке. Но у Сэм хватит смелости заглянуть жизни в лицо. Это озеро почти те же джунгли. Во всяком случае на ее «фольксвагене» до более похожего места не доедешь.

Голубая сойка прошелестела над головой. Плеснула в темной воде рыба. Сэм облокотилась на перила и стала следить взглядом, как меряют ногами поверхность озера Христовы жуки. Было очень тихо. Но вот постепенно воздух стал наполняться звуками — озерные музыканты чирикали, квакали, щелкали, свистели крыльями, большие птицы протяжно кричали. Мошкары вдруг стало так много, будто она совокуплялась и размножалась прямо у нее на глазах. Сэм вернулась к машине, надела джинсы и ботинки. К сожалению, она не взяла никакого средства от комаров. На спине рюкзак, через плечо одеяло, в руке холодильная сумка — и тропа, уводящая в джунгли. Голени кипарисов, их узловатые корни, бугрили болотистый берег, вторгаясь на тропу. Идти приходится осторожно. Она идет первая, кругом мины — эти выпирающие из земли узлы. Через дорогу натянут незаметный шнур, стоит его задеть — взлетишь в воздух. Она идет, раздвигая стебли тростника, а в отдалении уже видно рисовое поле. Оставив вещи на поляне, Сэм вернулась на дощатый настил. Села на подушку, которую догадалась захватить: маленькая диванная думочка — квадратик пенопласта, зашитый в зеленый вытертый бархат. И стала высматривать водяных гадюк. Они сейчас плавают в воде, их треугольные головки оставляют след в виде перевернутого «Л». На бревне дремлет большая черепаха; для змей, наверное, уже поздно, змеям нужно солнце: оно им греет кровь. Об этом она прочитала в журнале «Нэшнл джеографик».

Сэм засветло перетащила вещи дальше по тропе, искала место, где не торчат из земли корни кипарисов. И скоро нашла отличное место для ночлега — поросшую мхом лужайку под высоким дубом, осененную папоротниками. Когда-то лужайка была дном озера, вода отступила, и дно высохло. Устроив постель, Сэм достала свинину с бобами, сыр, крекеры и налегла на еду, запивая кока-колой. В темноте снайперы ее не заметят. Она станет невидимкой, и никто ее не найдет. Разве что существо, обладающее сверхострым чутьем.

Вот так, наверное, и в джунглях. Ее снова стали донимать воображаемые запахи. Аэрозоль от блох, гниющие банановые листья, особая вонь «мартышек».

Если бы она и правда была солдатом, ей пришлось бы идти сейчас по болоту, а водяные змеи так и вились бы вокруг ее ног.

На этом болоте были участки, засасывающие человека, как зыбучий песок. Но под дубом земля надежная. Рядом с деревьями опасных трясин не бывает.

Сэм вообразила Эммета: стоит на краю рисового поля, следит неспешный полет птицы, и силуэт его четко рисуется на вьетнамском небе. В поле крестьяне в бамбуковых шляпах. Эммет долго провожает взглядом птицу, вот она исчезла вдали; ее сменил вертолет, летит медленно, громко тарахтя. Крестьяне не поднимают голов, а Эммет все не отрывает глаз от неба, точно птица каким-то чудом преобразилась в вертолет. Где-то в стороне взорвался упавший снаряд, в небо взметнулся огонь, земля и еще обломки чего-то, но крестьяне еще ниже согнулись над метелками риса.

Интересно, а рис сажают рядами? И растет он кустом, как соя? Или это трава? Кажется, как пшеница, только в воде.

Положение, глупее не придумаешь. Окопа не вырыть, даже если понадобится, нет лопаты. Да и сумеет ли она вырыть для себя окоп? Неизвестно. Эммет так долго копал траншею у дома и так ей надоел, что она перестала относиться всерьез к умению солдат зарываться в землю. Но все же не вредно уметь быстро вырыть себе укрытие. Только не здесь — яма сейчас же наполнится водой.

Во Вьетнаме у солдат не было безопасных деревянных настилов. Им, должно быть, приходилось брести по болоту, иногда по колено в воде, а вода кишела ядовитыми змеями и кровососами-пиявками, малейший всплеск — и их присутствие обнаружено. Приходилось ползти, не нарушая естественных звуков земли и воды, сдерживать дыхание при виде змей. Испуганный вскрик может оказаться последним. Проявить трусость было просто нельзя. Интересно, водятся ли в тех краях крокодилы? Вьетнам — страна муссонов, сказал Эммет. А что такое муссоны, она знает, учила по географии.

Сэм захрустела печеньем. Хрум-хрум, точно кто ступает по сухим листьям. Заквакали лягушки, очень похоже на Эммета, когда его пучит. Просто поразительно, столько сидеть на лоне природы и хоть бы один дикий зверь! Они чуют меня, подумала Сэм, даже белки знают о моем присутствии. Белки всегда прячутся на другой стороне дерева. Обогнешь дерево — а они опять на той стороне. Поэтому на белок и охотятся со специально тренированными собаками, дедушка Смит рассказывал.

И вдруг начались события. Сначала что-то треснуло, потом кто-то заскребся. Там, где берег спускался к воде у самых мостков, зашевелилась трава, и появилось лицо с бусинками глаз. Сэм стало страшно. Вьетнамец! Потом вынырнул из травы заостренный нос, и вокруг глаз обозначились светлые полоски. Енотиха! И с ней детеныш — один, потом другой. Большие, почти совсем взрослые, но все еще как пушистые шарики. Звери спустились по откосу, вошли в воду и стали пить. Мать подталкивала их носом. За ними неуклюже спустились к воде еще два малыша. Напившись, они весело запищали, а мать принялась сбивать их носом в кучу и подталкивать к берегу. Наконец вывела из воды двоих и вернулась за остальными. Тем временем первые опять влезли в воду. Целых десять минут она возилась с ними, пока всех вывела на берег. Дважды смотрела енотиха прямо в лицо Сэм. Наконец все благополучно выкарабкались наверх, и она увела их сквозь густую траву в лес.

Спустя какое-то время Сэм стала различать в ночных звуках знакомые интонации. В стрекотании насекомых звучали слова, приказы. «Кто следующий?» — спрашивал один голос; «Тревога» — объявлял другой. Сэм читала про вид ящериц во Вьетнаме, в их криках американским солдатам слышалось «Мать твою!», «Мать твою!» Прокричала сова, еще одна. Совы, как вьетнамцы, охотятся по ночам. Сэм свернулась комочком в спальном мешке и подумала, что бы сказали знакомые, знай они, где она. Лонни бы возмутился. Его мама сказала бы, что Сэм сошла с ума. Бабушка упала бы в обморок при одной мысли о змеях. Сэм с удовольствием представляла себе их реакцию. Только Айрин, наверное, не сочла бы бегство Сэм такой уж безумной затеей. Мать совершала и более геройские поступки. Громко заквакала лягушка. Сэм вспомнила, что Эммет со своим дедом ловили лягушек — плавали в лодке по пруду. Вот и она слушает шорох травы, птичий гомон, плеск воды.

Людей здесь нет, так что бояться некого. Первая вахта. Спать нельзя. Она в дозоре. Солдаты во Вьетнаме бодрствовали в набрякшей опасностями темноте, засыпали, как кошки, готовые вскочить при любом шорохе. В спальном мешке жарко, а вылезешь наружу, комары так и впиваются сотнями и тонко, противно звенят. Когда она была здесь с Эмметом и Лонни, ей совсем не было страшно. Наверное, и солдаты во Вьетнаме не так боялись, потому что были все вместе. Конечно, она может пойти и сесть в свой «фольксваген». «Фольксвагены» не протекают, значит, и для мошкары непроницаемы.

И вдруг ее кольнула мысль, ведь этот заповедный уголок дикой природы, охраняемый законом, совсем, совсем не похож на Вьетнам. Однажды Эммет сказал, ночное небо над Вьетнамом — как праздник фейерверков. Вспыхивающие всеми цветами радуги парашюты, следы трассирующих пуль, сигнальные ракеты, огни прожекторов, иллюминация артподготовки, столбы пламени. Сэм попыталась вспомнить, как это описано в книгах. Да, настоящий фейерверк. И шумовое оформление отличается от звуков, издаваемых здесь цикадами и лягушками. Стрекот вертолетов, свист реактивных бомбардировщиков, грохот артиллерии, пальба из винтовок, взрывы мин, бомб, снарядов. Рок-н-ролл войны.

Быстро темнело. Ночью ей не разглядеть той птицы. Вдруг вспомнилось стихотворение, которое они учили в школе,— про мужчину, обреченного носить на шее мертвого альбатроса [1]. Он уже раскаивался в том, что убил альбатроса, и рассказывал об этом всем и каждому, точь-в-точь беременная женщина, уверенная, что всем безумно интересно ее положение. Так будет с Дон. Так было с ее матерью всего год назад. «Можно подумать, что до нее никто никогда на земле не рожал детей»,— сказала о ней бабуля. Но женщины вообще-то никогда бы не стали так себя вести, как этот парень с альбатросом на шее.

Женщина — практична. Она не стала бы таскать дохлую птицу, разносить заразу, взяла бы и похоронила ее. Женщины не станут хранить как сувениры зубы и уши. Не станут делать зарубки на своих «мачете». Сэм силилась вспомнить, что было дальше в этом стихотворении с альбатросом. Ее мороз по коже подрал: солдаты во Вьетнаме убивали младенцев. Но и женщины выдирают из своего чрева неродившихся детей, окровавленных, трепещущих. Дрожь не унималась.

В сгущающихся сумерках на нее нахлынули страшные образы из телепередачи «Современный Апокалипсис», образы возникали на фоне двери, которая зловеще скрипела на экране: «Это конец... дети безумны».

Должно быть, она не смотрела телевизор лет этак сто.

Заря разлилась по воде вместе с белыми прядями тумана. Было прохладно. Птицы щебетали как оглашенные. Занимавшийся день, казалось, поднял по тревоге всех. Сэм тихо лежала в спальном мешке и медленно обводила взглядом приобретающие очертания предметы. Часы показывали половину шестого. Солдаты во Вьетнаме поднимались еще до первых лучей, тихо выползали из палаток. Сэм в эту ночь выжила.

Тело ее было основательно искусано. Один укус на ноге был ярко-алый, воспаленный, как крапивница. Сэм пописала на ветку жимолости, несколько капель мочи попало на плющ, спугнув огромного, в твердом панцире, жука, который поспешил уползти прочь.

Стараясь как можно меньше шуметь, она вынула из холодильной сумки грейпфрутовый сок. Выпила и съела ореховый батончик. Будь она солдатом, она выпила бы чашку горячего какао или кофе, подвезенных походной кухней.

Сэм стала убирать место стоянки. Училась все делать неслышно. Осторожно свернула спальный мешок. Медленным движением закрыла крышку холодильной сумки. Она выжила. Но что делать дальше — неизвестно. Хорошо бы появилась белая цапля. Вот бы ее увидеть. Тогда можно и вернуться.

[1] Имеется в виду «Сказание о Старом Мореходе» Сэмюэла Тейлора Колриджа (1772—1834).

Утренняя заря отличается от вечерней. Смеркается долго, порциями, а рассвет наступает быстро и разливается по земле, как воды потопа. Этому есть, наверное, научное объяснение.

Скоро солнце буквально грянуло на землю. На ее глазах яркие лучи вонзились в дощатый настил. Такое она видела только на религиозных картинках в журналах тетушки Бесси «Горняя обитель». Сэм не верит ни в какие «горние обители». Жизнь одна — сейчас и здесь. Отец ее погиб, и никому от этого ни тепло ни холодно. А тот бродяга был засосан болотом.

В половине восьмого она услыхала какие-то звуки. Легкое поскрипывание гравия — не то собака, не то олень. Сэм спряталась за ствол дуба, чтобы ее не было видно со стороны тропы, и стала ждать — звуки становились все громче. Может, это Эммет ищет ее? А вдруг охотник? Если она шевельнется, он подумает, что это дичь, и выстрелит. Охотники стреляют по любой движущейся цели. И часто попадают друг в друга, приняв своего собрата-охотника за оленя или индюка.

Послышался какой-то новый звук — шуршание, словно кто-то крался. Вряд ли это насильник, подумала она. Насильники не шастают по болотам, да еще в такую рань, вряд ли здесь можно кого изнасиловать. Не то место, куда женщин тянет прогуляться,— насильники ведь тоже соображают. Но она совсем безоружна. Сэм огляделась по сторонам — нужен увесистый камень или хотя бы палка. Ничего похожего. Полезла в рюкзак, может, там что есть. Нашла банку копченых устриц с впаянным ключом. Стала поспешно делать из банки оружие — края у открытой банки острые. От запаха копченых устриц затошнило. Слишком поздно спохватилась, что резкий запах может выдать ее присутствие. Стала вспоминать правила самообороны. Удар ключом в глаз, коленом в пах. Но она ударит по лицу не ключом, а острым краем консервной банки, залепит лицо устрицами и порежет насильнику нос.

Птицы стали галдеть тише, а шаги уже стучали по деревянным мосткам. Надо было разбить лагерь подальше в лесу. Какой идиотизм: пережить ужасы джунглей и вдруг — жертва насилия! Точь-в-точь та сцена из «Современного Апокалипсиса», где солдаты напоролись в джунглях на тигра, меньше всего ожидая встретить хищника в местах, нашпигованных партизанами.

30

Шаги по деревянным мосткам стучали все громче. Сэм стала медленно, неслышно закрывать молнию на рюкзаке. Она решила сойти с тропы и вернуться к «фольксвагену» ползком через джунгли. Нечестный ход, по-настоящему надо вырыть окопчик, забросать сверху ветками и спрятаться. Но вьетнамцы знают джунгли как свои пять пальцев и сразу обнаружат место ее стоянки. Увидят холодильную сумку. Вьетнамец-насильник продолжал свой марш по деревянным мосткам. Над головой пролетела птица, но Сэм боялась шелохнуться и не взглянула на нее. Тень птицы пробежала по кустарнику.

Сэм провела ночь на болоте, где нашел конец старый бродяга, а теперь кто-то выслеживает ее. У нее в голове запели кинки: «У меня в головке зеленый человечек», это их песня о паранойе. Да, но сейчас это не бред, а жизнь. Странный восторг охватил ее. Во Вьетнаме солдаты вот так же боялись. Им казалось, что за ними постоянно следит невидимый глаз снайпера. Они ползли сквозь джунгли, винтовкой раздвигая траву и ветки, опасаясь минных полей, прислушиваясь. Все чувства настороже, натянут каждый нерв, и спали они, когда была возможность, вполглаза. В джунглях ночные кошмары не мучили — там постоянный затаенный страх. Всю ночь у кромки болота Сэм не спала, наблюдая и выжидая. Она видела смутные, едва светящиеся кольца и мерцающие огоньки светлячков. Попыталась представить на своем месте Бублика. Эммета. Подумала о Томе, вообразила, что они лежат вместе в спальном мешке, как отец воображал себя с Айрин. Но Том, едва обозначившись, растаял. Она была в джунглях на

месте отца в окопе с другими солдатами, они дышат неслышно, иногда решаются курить в своих тихих укрытиях, тихо жуют солдатский рацион — холодные консервированные бобы. Ей вспомнилось, как Эммет ел консервированный гороховый суп, даже не разогрев. Больше всего Сэм напоминала себе кошку — маленькая, с хрупкими косточками, чутко ловившая малейшее движение, усы вздрагивают, зрачки в темноте расширены. Совершенно новое мироощущение.

Сейчас никакого страха нет, адреналин в норме, коленки не дрожат. И все потому, что происходящее кажется нереальным. С ней ничего такого случиться не может. Через пять минут все кончится наилучшим образом.

Дыхание спокойное. И глаза по сторонам не мечутся. Зашевелились кусты — насильник совсем рядом. Сошел с мостков и двинулся по тропе в ее сторону. Одна надежда — ее не видно, и удар по глазам консервной банкой будет для него неожиданным. Жирные устрицы отвратительно липли к пальцам.

Шевельнулись листья, мелькнуло что-то светлое, кто-то засвистел мотив «Самоубийце не больно». Просто какой-то фарс. Конечно, это не кто иной, как Эммет в старой зеленой футболке и зеленых штанах! В руках ничего нет. Волосы не причесаны, кроссовки мокрые от росы. Сэм выскочила из кустов, как чертик из табакерки. Во Вьетнаме такого не могло быть. За каждым кустом там прятался враг.

— Эй, Эммет!

— Что ты тут делаешь?

— А как ты догадался, что я здесь?

— Увидел твой «фольксваген».

— Это понятно. Но как ты догадался, что мой «фольксваген» будет именно здесь?

— По наитию.

— А добрался сюда как?

— Пешком.

Колени у нее не дрожат. Ей совсем не страшно. Сэм шагает по тропинке первая; Эммет следом. На ней рюкзак, он несет холодильную сумку.

— Безумие топать сюда всю дорогу пешком.

— Черт бы тебя побрал, Сэм, вместе с твоим «фольксвагеном»,— неожиданно крикнул Эммет.— Напугала меня до смерти! Безумие просидеть ночь у этого чертового болота! Господи, я думал, что тебя уже засосало в трясину. Я чуть с ума не сошел!

Сэм подошла к машине, открыла дверцу и бросила вещи на заднее сиденье. Окошки в машине запотели. Внутри было сыро и холодно. Выходит, «фольксвагены» водопроницаемы. Лицо у Эммета осунулось, заросло щетиной, футболка грязная. Дым от его сигареты плавал над озером, съедая все запахи джунглей.

— Ты меня доконаешь. Чего только я не передумал! Могла бы сообразить, что некоторым людям небезразлично, что с тобой происходит!

— Ха! Кто бы это говорил! Я, по крайней мере, оставила записку.

— Я так испугался. Думал, с тобой что-то случилось.

Эммет сел на переднее крыло и спрятал лицо в ладони. Он весь дрожал, даже зубы стучали. Пролетела птица, но Эммет и головы не поднял. А это был кентуккский кардинал, редкостная удача, промелькнул красной вспышкой, как глаз светофора.

— Что ты здесь делала? — спросил Эммет.

— Покоряла джунгли.

— Что?

— Хотела испытать, как было по ночам в джунглях.— Сэм ногой смахнула капли росы на бампере.

— Это не джунгли. Это болото, и здесь очень опасно. Я думал, ты останешься ночевать у Хьюзов.

— Мне расхотелось. А ты где был?

— Пошел к Джиму. Он как раз вернулся из Лексингтона. Я подумал, раз тебя нет, самое время поставить аэрозоль от блох. А вечером вернулся забрать Бублика. И нашел твою записку.

— И ты оставил Бублика дышать этими парами?

— Конечно, нет. Я хотел сразу взять его с собой к Джиму. Но ему не понравилось ездить в грузовике.

— Когда я увидела эту дурацкую антиблошиную бомбу, я подумала, что ты опять свихнулся.

— Я хотел наконец-то избавиться от блох.

— Эти блохи даже Бублику не мешают. И ты это прекрасно знаешь.

Эммет докурил сигарету, бросил ее на гравий и придавил ногой.

— Я тут вчера утром кое-что узнал.

— Что?

— Бадди Мангрем в больнице. Печень у него в плохом состоянии.

Сэм ударила ногой по колесу машины.

— Ненавижу этот «апельсин»! Ненавижу армию! А что с его дочкой?

— Она дома. Операция прошла нормально, только не представляю себе, как они будут платить по всем этим счетам. Если он умрет, жена его, наверное, получит благотворительную помощь. Но я очень в этом сомневаюсь.

Эммет прислонился к капоту, сверкающему новенькой бежевой краской.

— Мы с Джимом ездили к нему в больницу. Но нас к нему не пустили. Мы долго торчали в приемной, трепались о Джеральдине Ферраро.— Эммет улыбнулся.— По-моему, Джим боится, что Сью Энн решит баллотироваться на пост президента или еще что-нибудь выкинет в этом же духе.

Эммет как-то сразу постарел, вид у него был изможденный.

— Я знаю, почему ты поехала сюда,— продолжал он.— Ты думаешь, что можешь здесь испытать то, что мы испытали во Вьетнаме. Не заблуждайся, не можешь. Это место довольно жуткое, и тут может всякое случиться. Но ни в какое сравнение с Вьетнамом это болото не идет. Минометный огонь, снаряды, снайперы, которые стреляют из-за куста,— это не сравнимо ни с чем. Чего тебе бояться в Хоупвелле? Что на тебя кто-то косо посмотрит? Что мама заставит ехать учиться в Лексингтон? Есть чего бояться!

— Я сидела на этом болоте всю ночь, и мне не было страшно. Люди боятся змей, а я нет. Боятся блох. А я ничего не боюсь, ни змей, ни сов, ничего.

— С чем тебя и поздравляю.

— Когда ты шел сюда, я подумала, вдруг это охотник или еще хуже — хулиган. Но я не испугалась. И приготовилась к встрече.

Банку с копчеными устрицами она оставила в лесу, но руки все еще пахли.

Эммет закурил еще одну сигарету, солнце стояло уже довольно высоко. Туман стал редеть, таять. Прыщи на лице у Эммета помазаны желтой мазью. Желчь тоже желтая. Может, это проступает желчь, вырабатываемая печенью? Теперь жди, что у него еще печень заболит.

— Я хотела увидеть ту птицу,— сказала Сэм.— Ту, которую ты ищешь.— Эммет пожал плечами, и Сэм продолжала: — Я видела кардинала и еще енотов. И голубую сойку, она дразнила белку.

— Рад за тебя.

Сэм глубоко вздохнула и стукнула ногой по крылу. Ей уже надоело Каувудское озеро. Как этот бродяга мог здесь прятаться? Что он ел? Что делал?

— Но как ты догадался, что я здесь?

— Поспрашивал о тебе в разных местах.

— Никто не знает, что я сюда уехала.

— Сначала я подумал, что ты уехала в Лексингтон, позвонил сегодня утром Айрин, но она о тебе ничего не знала.

— Надеюсь, ты ей не сказал, что я исчезла?

— Нет. Заговорил не помню о чем. Я знал, если ты там, она обязательно скажет. Но в общем мне помогла твоя записка. Во-первых, судя по всему, ты решила где-то спрятаться. И твое убежище должно быть местом

романтическим и страшным — я же твой характер знаю. Ты взяла с собой мою плащ-палатку, походное одеяло. Дневник я прочитал и представил себе, что я сделал бы на твоем месте. Это самое бы и сделал. Помню, в детстве отец меня выпорол за то, что я не напоил телят. Я обиделся и убежал из дома. Убежал на речку, в одно укромное место. Просидел там до вечера, словом, отомстил отцу. Так только в детстве делают. Убегают из дому, чтобы отомстить.

— Понятно,— сказала Сэм, поморщившись.— Многое теперь понятно. Потому-то вы и во Вьетнаме оказались. Потому и вся страна набросилась на вьетнамцев. Чуть только малейшая угроза, Америка надевает ковбойские ботинки и топает хоть на край света. Пусть обидчику будет неповадно.

Эммет пошел по дощатым мосткам к озеру, Сэм двинулась за ним. Они внимательно смотрели под ноги — доски были кое-где сломаны. Эммет подошел к воде и бросил сигарету.

— Что ты думаешь о дневнике?

— Я прочитал его и не мог заснуть.

— Он не мог даже правильно написать «мачете».

— Ты разочарована?

Сэм дернула плечами.

— Как он писал о вьетнамцах! Он хотел их убивать. Я это ненавижу.— Сэм немного помолчала и решительно произнесла: — Я ненавижу его. Он ужасный. Он писал о вьетнамцах «мартышки», он хотел их убивать.

Эммет вдруг схватил ее за плечи и стал трясти изо всех сил, так что у нее застучали зубы.

— Послушай, девочка. Им мог бы оказаться я. Любой из нас. Все мы равны.

— Но ему это нравилось. Как Питу. Он поехал туда, чтобы сделать несколько зарубок на своем мачете.

— Да, и если бы его не убили, ему пришлось бы жить с этим до конца дней.

— Это его бы не волновало. Как Пита.

— Запомни, к этому все относятся одинаково! Том, Пит, Джим, Бадди, я. Нельзя делать то, что мы делали там, и после этого жить спокойно и счастливо. А все только и делают, что упрекают нас. Не дают забыть. Черт бы все это побрал, Сэм! — Эммет ударил кулаком по перилу с такой силой, что оно чуть не сломалось, а сам он чуть не упал в темную воду. Тело его сотрясалось, казалось, он вот-вот разрыдается.

— Эммет! — воскликнула Сэм. Она стояла, протянув к нему руки, но не могла сделать ни шага, как пристыла к месту. Она ждала, что он под влиянием минуты разговорится, вспомнит задвинутые в подсознание эпизоды, такие же драматические, как те, что распечатали уста Хоки в последнем эпизоде П*А*Г. Но этого не произошло.

— Ну скажи что-нибудь, Эммет! — взмолилась Сэм.— Расскажи, как там было. Помнишь Хоки? Как он рассказал про этого ребенка в автобусе. Вспоминая, он обычно бессознательно лгал самому себе. Но когда вытащил из памяти правду, ему стало легче.— Сэм не говорила, а кричала, дошла до белого каления.

— Об этом нельзя рассказать. Невозможно. Всего не расскажешь. Дуэйн только намекнул, как было на самом деле.

— Ну расскажи что-нибудь одно.

— Ладно, одно расскажу.

— Сейчас одно, потом немного погодя еще что-нибудь.

Эммет закурил сигарету и начал медленно, но потом стал говорить все быстрее, точно решил выложить наконец все.

— Мы были в охране, нас было мало, меньше, чем полагается. Двигались мы группой, не соблюдая дистанции, и напоролись на мину. Нас всех швырнуло чуть не до неба. Мы шли, сбившись в кучу, что категорически запрещено, хотели как можно скорее добраться до посадочной площадки, успеть к вертолету. И нарвались на мину. А тут еще из-за кустов вылетела граната. Я притворился мертвым. На мне лежал огромный верзила,

и я чуть не задохнулся. Появились вьетнамцы, но решили, что мы все мертвые, и ушли; я пролежал там девять часов, слышал, как прилетел и улетел вертолет, но он был слишком далеко и меня не заметили. А я боялся дать какой-нибудь знак — вьетнамцы совсем рядом. Слышал, как они разговаривают, стреляют по вертолету. Ты только представь себе. Много часов до следующего дня я лежал там один, не считая трупов. Запах теплой крови в духоте джунглей шел от земли, как запах от закипевшего бульона. Это было так страшно! У нас был радист, но рация разлетелась вдребезги, и я не мог ею воспользоваться. Я словно окаменел, мне казалось, что я буду слышать их целую вечность.

— Да, я знаю, я видела похожее по телевизору,— сказала Сэм, она тоже тряслась, ощущая каждой своей клетóчкой этот ужас.

— Знаю, про какой телефильм ты говоришь. Там, где американские позиции были уничтожены и тому парню пришлось прятаться в туннеле. Нет, это совсем другое. Там был телеэкран, а это жизнь.— Он глубоко затянулся и продолжал: — Этот запах, запах смерти, был повсюду, все время. Не отпускал даже во время еды, как будто ешь самую смерть.

— Помнишь, в том документальном тоже так говорили.

— Но это правда! Не я один заметил. И Дуэйн его учуял.

— Ему это, наверное, нравилось.

— Что ты несешь, Сэм! Какая чушь! У нас там была одна цель — выжить. Поквитался с врагом и счастлив. А ты сюда убежала назло всем. Как маленькая глупая девчонка. Конечно, тебе здесь было неплохо. И не страшно. Неплохо, потому что ты была уверена, что напугала меня до полусмерти.

— Ну ладно, ты убегал из дому, когда был маленький, и считаешь мой поступок тоже ребячеством. А сам, что, ведешь себя как взрослый? Прячешься от всех, не хочешь работать, не заводишь подружки? Анита такая замечательная женщина и красивая. У меня сердце разрывается, что вы расстались.

Голова Эммета дернулась от вырвавшегося рыдания. Он больше не сдерживался. Сэм никогда не видела, чтобы Эммет плакал. Рыдания становились все громче. Он хотел что-то произнести и не мог. Не мог даже курить.

— Не говори пока ничего,— сказала она.

Эммет продолжал плакать, голова поникла, из груди рвутся протяжные гортанные звуки, плечи беспомощно вздымаются и падают. Сэм не стала его успокаивать, пусть выплачется. Она разобрала одно слово «Анита». И вот тут-то ей стало страшно. Она пошла за деревья пописать, а когда вернулась, он все еще плакал. Точь-в-точь как кричит сова, подумала Сэм и тронула его за плечо, он отвел ее руку и продолжал рыдать все громче — они в лесу, день занялся, вокруг ни души, значит, можно дать себе волю.

Теперь он плакал в голос, вопли его напоминали крики павлина. Сэм наблюдала за ним с благоговейным ужасом. Судя по дневнику, отец, кажется, тоже иногда тихонько плакал, но Эммет горевал в полную силу, отмеренную его легким, как будто боль в душе все эти годы вызревала и наконец достигла чудовищных размеров. Сигарета у него догорела, и он бросил ее через перила.

Вернулись назад к машине. Сэм села за руль. Эммет, все еще плача, присел на капот. «Фольксваген» сотрясался от его рыданий. Сэм порылась в рюкзаке, достала ореховый батончик, едва справившись с искушением включить приемник. В голове у нее звучала старая песня «Узники джунглей». Луч, дошедший из прошлого. Золотые годы. Вот будет глупо, если «фольксваген» не заведется. Но Каувудское озеро выглядело уже обжитым местом. Они с Эммегом могли бы здесь остаться. Вот где пригодились бы его золотые руки — наладит все что угодно. Может соорудить шалаш. Или вырыть окопчик. Она все еще злилась на себя, что не смогла зарыться в землю. Та женщина, баллотировавшаяся по списку с Мондейлом, наверняка бы сумела вырыть себе окоп.

Сэм не закрыла дверцу. Эммет, облокотившись на нее, заговорил с Сэм через окно.

— Ты убежала из дома. Убежала, и я подумал, что тебя уже нет в живых.

— Почему нет? Как ты мог такое подумать?

— Я думал, что ты бросила меня. И хочешь умереть. Мне стало страшно, вдруг ты решила покончить с собой.

— Почему ты это подумал?

— Так много ребятишек сейчас становятся самоубийцами. Недавно в новостях рассказывали про школьников из округа Карлайл, они совершили коллективное самоубийство. Меня это потрясло.

— Я этого никогда не сделаю.

— Откуда мне знать? Ты уехала, куда, что с тобой — одному Богу известно. Я думал, с тобой что-то случилось. Я остался один, все равно как тогда — наедине с трупами. Я решил во что бы то ни стало найти тебя.

— Спасибо.— Сэм скомкала обертку от батончика: — Ты уже был в подобной роли, Эммет. Поехал воевать во Вьетнам ради мамы и ради меня.

Эммет кивнул и, подумав немного, сказал:

— Ты этого не хотела, и Айрин тоже. А потом ей пришлось мучиться со мной за то, что я ради нее пошел на войну. Глупая штука жизнь, черт бы все побрал!

— Садись, Эммет,— сказала Сэм и, потянувшись, открыла правую дверцу.

— Нет, я еще не все сказал,— лицо его исказилось от боли, сыпь от слез воспалилась.— Что-то со мной не так. Я сломался. Как будто какая-то важная часть души отмерла. Знаешь, иногда срубят дерево, а сердцевина у него больна.

— Я не срубила в жизни ни одного дерева.

— Ну, вообрази себе.

— Вообразила. Из твоих слов ясно, что ты ни о ком не думаешь. Но ведь ты шел сюда пешком, чтобы найти меня. Значит, обо мне думаешь. И о маме думаешь, раз ради нее поехал во Вьетнам.

— Нет, ты не понимаешь. Попробую еще объяснить. Неужели ты не видишь, я все делаю, чтобы нам хорошо жилось вместе. Каждый день, каждую минуту. На это уходит вся моя жизнь.

— А почему ты не хочешь жениться, родить детей, как все остальные люди? Неужели ты не хочешь как-то переменить свою жизнь?

Эммет опять всхлипнул.

— Я хочу быть отцом. И не могу. У меня нет человека ближе тебя. Но я и тут потерпел фиаско. Я не имел права доводить тебя до такого состояния. Должен был больше думать о тебе.

— Ты думал,— сказала Сэм.— И ты чувствуешь что-то ко мне, раз пришел сюда пешком.

Сэм ощутила слабость. Ноги стали как ватные. Она вышла из машины и хлопнула дверцей.

— Пойди сюда, я тебе что-то покажу.— Он повел ее к мосткам, и оба стали глядеть вниз, на болото.— Смотри,— Эммет махнул рукой на бревно — на нем грелась в лучах солнца змея.— Видишь — водяная гадюка.

— Хочу, чтобы сюда прилетела та птица.

— Как ты думаешь, почему мне так хочется ее увидеть?

— Не знаю.

— Если все время думать о чем-то вроде птиц, забываешь о себе и боль утихает. Вот в чем смысл. Для всей человеческой расы. Подумай об этом, Сэм. Вооружись думанием. Набей им трубку и втягивай в себя. Но я и сам еще только начал исцеляться.

Сэм отодрала с пня кусок лишайника и понюхала его. У него был трупный запах.

— Я пришел на это болото, чтобы спасти тебя. Но, может быть, зря, у меня это не выйдет. Может, ты сама должна найти путь к спасению. Черт! Прошлое ничему не учит. Главное, чему учит история, что она никогда никого ничему не научила. Вот что такое история.

Эммет показал рукой на черную воду у самых мостков.

— Видишь этих маленьких плотвичек? Кажется, что у них всего один глаз на самой макушке. Их зовут «глазастики». От них большая польза, ими питаются зубатки. Видишь это поваленное дерево? А в нем дупло дятла. Так в этом дупле сейчас живет древесная утка. Свила там гнездо.

— Откуда ты все это знаешь?

— Наблюдаю. Есть вещи, которые можно понять. Но вообще-то мало что можно понять до конца.— Он опять махнул в сторону темного болота.— А есть вещи, которых никогда не поймешь.— Эммет повернулся и пошел по мосткам, потом сошел на тропу и стал быстро удаляться. Сэм старалась не отставать. Он свернул на стежку, уходящую в лес, зашагал быстрее, приминая плети плюща, путающегося под ногами. Со спины Эммет походил на старую крестьянку, качающую на руках младенца. Казалось, он не идет, а парит над зеленой вязью ядовитых плетей, и это его парение было красиво.

Часть третья

1

Сэм ожидала, что безумное утро на Каувудском озере больше скажется на Эммете, чем на ней; боялась, что его совсем доконают головные боли. Но к ее удивлению, сорвалась она. По дороге в Вашингтон она все еще была как оглушенная — в голове туман, сердце сжимают тревожные предчувствия. Эммет же вернулся к своему обычному состоянию, сдулся, как проколотый воздушный шарик, опять стал тихий, отрешенный. После того бурного объяснения им было неловко в присутствии друг друга, их жизненные орбиты разошлись, и оба терпеливо ждали, когда они снова сойдутся.

В то утро по пути домой они вместе заехали к Джиму за Бубликом, и он возвращался под родной кров, свернувшись на коленях у хозяйки. Аэрозолью в доме почти не пахло. Обычный распорядок дня у Эммета, конечно, полетел к черту. Идти завтракать в «Макдональдс» было поздно. В три часа Эммет приготовил сандвичи с вареным мясом и пикулями, но Сэм ничего не могла есть. Термометр на крыльце показывал 95°, а она все еще была в джинсах и ботинках. Бедный кондиционер надрывался из последних сил. Эммет без конца спрашивал ее, что она будет делать, шутя поддразнивал, что ей явно не хватает секса, но Сэм не слышала его, двигалась по дому, как зомби. Спросил, не хочет ли она лепешек, не заболела ли, словом, суетился навязчиво и без толку. Сэм чувствовала, что сама в какой-то мере становится похожа на Эммета: места себе не находит, все время в каком-то помрачении. Она знала, что испытывает его терпение, и, как ни странно, это немного успокаивало. Они как бы поменялись ролями: теперь у нее поствьетнамский синдром.

Весь уик-энд она просидела у телевизора. Перед ее глазами плясали бомбардировщики, из которых сыпались водородные бомбы. «Ноги», «Панама», «Фантастика плоти» — экран переполнен катастрофами, в стороны летят обломки всего и вся, картины меняются каждую секунду; случайные образы вихрятся на экране по чьей-то прихоти, мир рушится, точно карточный домик, и среди этого хаоса не меняется только Брюс, он танцует в этой кромешной тьме, и сердце рок-н-ролла продолжает биться в песне Хьюи Льюиса и группы «Ньюз». Вместе со своей группой «Блэк хартс» поет затянутая в блестящую черную кожу Джоан Джетт. А Лонни раньше думал, что группа называется «Блэк хедз» — черные головы. Лонни ни разу не позвонил. Дон слышала, что он работает на «Саноко».

И тогда у Эммета созрел план. Они едут в Вашингтон смотреть памятник павшим во Вьетнаме. Он сказал об этом так твердо, точно был директор фирмы, принявший решение, которое принесет фирме баснословные барыши. Он настоял, чтобы с ними поехала бабушка Хьюз, для нее это

даже более важно, чем для них. Эммет говорил так уверенно, что Сэм ничего не осталось делать, как подчиниться. Он был как заведенный, энергия била через край. Сэм никогда не видела его таким. Он сам проверил перед отъездом «фольксваген», съездил к Хьюзам и уговорил бабушку ехать с ними. Даже побывал в «Бургер-бое» и договорился, что будет работать вместо Сэм — заработает денег и наконец-то заплатит долг УВ. «Тебе эта работа не нужна,— сказал он.— Ты поедешь учиться в Лексингтон».

Сэм подумала, он ведет себя так, точно увидел наконец белую цаплю. Бабуля Смит сказала по телефону: «Я так рада, что Эммет опомнился. Может, все-таки пожнем добрый урожай».

Эммет навестил в больнице Бадди Мангрема. И сказал, что видел там Тома. Том спросил, как ездит «фольксваген». Сэм дома заласкала Бублика, а бомбардировщики улетели в небо. Бой Джордж как ни в чем не бывало носился по сцене. Машины на бешеной скорости уносили куда-то девушку из «Вы могли бы подумать». Сэм от всего этого балдела. Она знала — Эммет теперь все делает правильно, но никак не могла к этому привыкнуть. У нее не хватало сил даже для бега, как это она могла раньше бегать с таким упорством каждый день! Только по пути в Вашингтон она опять стала бегать — очень уж она любила путешествовать.

Америка прекрасная. Она и вправду прекрасна, думала Сэм, глядя из окошка «фольксвагена». Соединенные Штаты — такая мирная страна и так хорошо устроена. Фермы радуют глаз, удобные дороги. Добрая страна, но Сэм продолжала смотреть на нее глазами солдата, только что покинувшего Вьетнам. Возвращаясь в то утро с Каувудского озера, они ехали мимо ферм, заправочных станций, лесоскладов, загонов для скота. И Сэм чувствовала — она не вписывалась в эту жизнь. Проехали «Бургер-бой», «Макдональдс». Как она будет опять работать в кафе? Даже невозможно себе представить. То же, наверное, чувствовали вернувшиеся из Вьетнама парни — они просто никуда не вписывались.

На ночь первый раз остановились в Лексингтоне. Мама была несказанно удивлена, а Лоренцо Джонс отнесся к их путешествию как к обычной туристической поездке. «Не забудьте на обратном пути заглянуть в Уильямсберг,— сказал он.— Вот что стоит посмотреть. Но за один день, конечно, все не осмотришь». Посоветовал ехать к Вашингтону через штат Вирджиния по шоссе «Скайлайн», хотя это не по пути, но дорога очень красива. Как с луны свалился. Сэм с трудом с ним общалась.

— Вам бы в этом году надо съездить в Новый Орлеан,— сказал он бабушке.— Там сейчас Всемирная ярмарка. И посмотреть есть что — огромный крытый стадион, Французский квартал, улица Бурбонов. Что вы хотите — родина диксиленда.

Бабушка громко смеялась.

— Никогда в жизни не уезжала так далеко от дома,— сказала она.— В мои годы не слишком ли поздно?

— Но вам еще не так много лет, миссис Хьюз,— возразил Лоренцо.

— Мне пятьдесят восемь. Из них почти двадцать лет горюю по сыну.

— Скажу по-другому. Ваших лет вам не дашь, да и держитесь вы не как старуха. Старость — это образ жизни. Вы согласны с этим, Эммет?

— Я чувствую себя в том возрасте, в каком лет пятнадцать назад хотел остаться навсегда.

Лоренцо Джонс уже начал лысеть, брюки на нем мешковатые. Он с гордостью показал им коллекцию бутылок «Джим Бим» и воодушевленно описывал катер, который мечтал купить. Айрин восхищалась Джеральдиной Ферраро.

— Женщины способны горы свернуть, Сэм,— сказала она,— если, конечно, у них университетское образование.

Она показала Сэм комнату, где Сэм будет жить, если поступит в Кентуккский университет. Стены были розовые, а постель белая. Дом был добротный, из красного кирпича, восемь комнат, паласы на полу и микроволновая плита. Айрин в две минуты соорудила ужин.

Сэм накормила девочку и поиграла с ней в ладушки. Малышка с каждым днем смотрела осмысленнее. Улыбалась, и все видели ее маленький белый зубик. А когда захлопала в ладошки, Лоренцо Джонс победно всех оглядел, точно дочь решила по меньшей мере квадратное уравнение. И записал это событие в «тетрадь ребенка». Сэм показалось странным, что взрослый мужчина так серьезно играет в «дочки-матери». Немного спустя Лоренцо Джонс поменял малышке подгузник, погулил ей, и девочка засмеялась.

После ужина бабушка, Лоренцо и Эммет сели к телевизору. А Сэм рассказала матери про письма и дневник отца. Дневник она захватила с собой, чтобы показать Айрин.

— Прочитаю, когда вы уедете,— сказала Айрин.— А то я очень волнуюсь.

— Бабушка сказала, там только о продвижении войск, но это не так. Есть еще кое-что. Ты увидишь. Почерк разобрать трудно, но я могу тебе прочитать.

— Нет, лучше я сама потом почитаю. Когда никого не будет. У меня и так нервы никуда не годятся. Я в эту ночь долго не спала, занималась.

— А ты раньше его читала? — спросила Сэм.

— Нет. Он, наверное, был с вещами, которые пришли позже. Знаешь, я очень долго не могла смотреть на них. Наверное, я ей сказала, что не хочу его читать. Очень было тяжело.

— Мне кажется, она тоже не читала его. Если бы она прочитала, не знаю, как бы она после этого жила.— Сэм произнесла эти слова с такой болью, что Айрин вскинула на нее испуганные глаза.

— Что с тобой, Сэм? Я с первой минуты заметила, что ты на себя не похожа. Ты рада, что у тебя машина?

— Рада.

— Меня беспокоит, что ты за рулем в таком состоянии. Будь внимательна, Сэм. Грузовикам ничего не стоит расплющить твою букашку.

— Конечно, буду внимательна.

— Я нашла для тебя фотографию Боба.

Этого хиппи. Айрин его любила больше, чем Дуэйна. Фотография была в конверте со старыми черно-белыми снимками. На них различные сценки, снятые с большого расстояния. Фигурки людей совсем маленькие, лица почти не различишь.

— Вот этого звали почему-то Кашитан Марвил,— показала Айрин.— Ты, наверное, никого не помнишь. Тебе было всего три годика, когда они жили у нас.

— Зато я помню ту «лунную» вечеринку.

— Мы стояли тогда все во дворе и смотрели на луну. А на ней были люди. Очень странное чувство!

Сэм вглядывалась в фотографию Боба. У него была темная копна волос, подхваченная широкой пестрой лентой. Маленький подбородок и между передними зубами щель.

— А почему они уехали?

— Весь город восстал, они были чужие, не такие, как все. Эммет был тогда совсем полоумный. Витал Бог знает где. Не обрел еще нынешнего более-менее спокойного существования.

— А почему мы уехали в Лексингтон?

— Мне до смерти надоел Хоупвелл. Я боялась, что так всю жизнь и буду нянчить Эммета. И я решила во что бы то ни стало вырваться.

— Какой был Боб?

— Меня в нем привлекало чувство юмора. Очень был остроумный. Я уже не помню его шуток, но он буквально жонглировал словами. Наш Хоупвелл, например, называл «Жопвелл». Любил читать. Первая жена от него ушла, поселилась в Калифорнии и стала колдуньей. Все важное происходило тогда в Калифорнии, и мне до смерти хотелось туда поехать. Эммет всегда говорил: «шестидесятые» Хоупвелла не коснулись. По-моему, он и вернулся, чтобы пробудить здесь дух шестидесятых. Но ничего не

получилось. Да и может ли что получиться в Хоупвелле? В «Жопвелле».— Айрин вздохнула.— Я так до сих пор и не побывала в Калифорнии.

Айрин нашла еще одну фотографию Боба — стоит во дворе их дома под кленом. Сейчас этот клен в два раза выше.

— Я так была в него влюблена,— сказала она с грустью.— Раньше он жил в Англии, а мне всегда хотелось там пожить. И еще он был из богатой семьи,— пальцем Айрин потрогала разлохмаченный край фотографии.— Но я была как пришита к дому. На руках у меня был Эммет. С ним тогда что-то случилось. Ты, наверное, помнишь, ноги потеряли чувствительность. Врачи сказали, он неосознанно имитирует паралич ног. Но он никогда в жизни не видел паралитиков.

— Помню, ты не позволяла мне шуметь, когда он спал,— сказала Сэм, вспомнив, как Эммет иногда ночью кричал.

— Война отбила у него честолюбие. Поэтому он стал хиппи. Случай насильно прерванного становления личности. Так сказано в моем учебнике психологии.— Айрин перебирала фотографии.— Вот снимки всей их группы. Они сделаны еще в Калифорнии. Взгляни хотя бы на этот.

На снимке было высокое дерево с длинными толстыми сучьями, торчащими в разные стороны; человек двадцать хиппи сидели чуть не на каждом суку. У всех были длинные волосы — не разберешь, кто мужчина, кто женщина. Опознавательным признаком была единственно борода. На всех свободные рубахи или платья колоколом. На многих жилетки и шляпы, соломенные и ковбойские. Слева, почти на конце огромной ветви, висел, как обезьяна, Эммет. Волосы у него доставали до плеч.

— Эммет называл их «чудиками»,— сказала Айрин.— Вот это Сюзи. А это Джим, Боб, Эстелл и Ди Эр. А эта красивая девушка — Джоан. У нее была какая-то странная болезнь. Она потом уехала обратно к родителям в Огайо. Она все время тряслась.

— Но вид у них очень довольный,— позавидовала Сэм.— В шестидесятые было весело, веселее, чем сейчас. Я родилась слишком поздно.— Сэм опять пожалела, что никак не может найти для Айрин ту пластинку «Битлз».— А что потом было с Бобом?

Айрин усмехнулась.

— Это-то меня и убивает. Неужели я сбежала в Хоупвелл только потому, что он не мог обеспечить мне приличную жизнь? В Лексингтоне мы жили в маленькой квартирке, в которой незадолго до нас умерла старуха. Квартира находилась в доме, принадлежащем одному хиппи, и была очень грязная. После смерти старухи ее даже не вымыли и не убрали. Ну вот. Я и уехала, а через пять лет узнала, что Боб получил прекрасную работу на фирме отца. Он тоже вернулся к родителям, в Калифорнию. Теперь он, наверное, очень богат. Женился. У него дочка, о которой я тебе говорила. Зовут Регтайм-Атом. Представляешь себе?

— Какой идиотизм! Хорошо, что ты дала мне нормальное имя.— Сэм в душе поблагодарила за это отца.

— Думаю, он прицепил к атому регтайм, чтобы не подумали, будто дочь его названа в честь ядерной бомбы.

— Как «Оливия-Атом-бомб»?

— Да.

— Выходит, если бы не Эммет, я бы выросла в Калифорнии, в богатой семье?

Айрин рассмеялась, не скрывая горечи.

— Тебе не понять, как было тогда на самом деле. Те дни видятся сейчас в кривом зеркале, но тогда все казалось простым и ясным. Дуэйн был уверен, что поступает правильно. А потом и Эммет пошел туда и тоже не сомневался — все правильно... Это позже Эммет отрекся от своего прошлого, стал выступать против войны и думал, что прав, и связался с хиппи. Большинство хиппи как-то сумели избежать армии.— Айрин подумала немного и потянулась за сигаретой — пачка лежала на кухонном столе.— Каждый человек думает, что он прав. Так ведь?

Дым кольцами завивался над столом. Из маленькой гостиной

слышались такие знакомые звуки автомобильной погони. Бабушка, Лоренцо и Эммет завороженно смотрят очередной боевик.

— Я выкурю только одну сигарету, хотя Хезер сосет уже совсем мало,— сказала Айрин, постукивая сигаретой по блюдцу.— Воевали одни деревенские парни,— продолжала она.— Обрати внимание, какие имена на памятнике в Вашингтоне. Могу поспорить на что угодно — самые простые, фермерские: Бобби Джин, Фреди Рей, Джимми Боб Колхаун. Я знала парня по имени Джимми Боб Колхаун, его тоже там убили. Посмотри на имена, потом скажешь мне, права я или нет. Эти парни были совсем дремучие. Господи, какое было время,— Айрин затянулась, выпустила дым и продолжала: — Очень невеселое, Сэм. Не вбивай себе в голову, что тогда было лучше.

— А я привезла тебе подарок,— сказала Сэм. Она передумала и решила все-таки привезти кота-копилку.

Сэм выбежала из дому и вернулась с котом.

Мама взглянула на копилку, как на влетевшее в кухню НЛО. Лицо ее посменно выражало — изумление, узнавание и, наконец, радость.

— Какая прелесть! — воскликнула она.— Как он мне нравится! Никто никогда в жизни не дарил мне такого чудесного подарка!

И она вдруг расплакалась, а кот-магараджа глядел на нее таращась и улыбаясь. Сэм тоже глядела на Айрин — с немалым удивлением.

2

Приехали в Мэриленд. Сэм идет по длинному супермаркету, который тянется за мотелем. Коробку передач починили за двести пятьдесят восемь долларов шестьдесят девять центов. Эммет с бабушкой ждут ее в мотеле. Сэм остановилась у прилавка с пластинками «Битлз», вот «Белый альбом», «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера», «Эбби-роуд», «Знакомьтесь, Битлз», «Волшебное таинственное путешествие», «Пусть будет». Никаких новых альбомов. Нет ничего и среди сорокапяток. «Вполне возможно, эта новая песня — старая пиратская запись»,— заметил разговорчивый, громкоголосый продавец. Сам он о ней не слыхал. Взгляд ее задержался на альбоме «Рожденные в США», выставленном на стенде рядом с прилавком. На обложке — Брюс Спрингстин смотрит на американский флаг, как будто изучает его, пытаясь расшифровать символику. Флаг на обложке очень большой, даже звезды не поместились, только белые и красные полосы. Сэм вспомнила про кредитную карточку Айрин и, повинуясь порыву, купила его, поздно спохватившись, что хлорвиниловая обложка в раскаленном «фольксвагене» может расплавиться.

Супермаркет тянется бесконечно. Вот отдел, торгующий одеждой для панков. Точно такой же есть в Падукском пассаже. Наверное, это филиалы какой-то одной фирмы, разбросанные по всей стране. Сэм вошла в торговый зал и при виде панковских одеяний ей опять захотелось быть не такой, как все,— хорошо бы подойти к Мемориалу в чем-нибудь не менее диком. Но в этом отделе ей все не по карману. Сэм нашла черные под кожу брюки, стоившие всего шесть долларов, и решила купить их, хотя понятия не имела, куда в них можно пойти. И еще выбрала ярко-алую блузку, похожую на ту, которая была у Аниты. Пока продавец проверял номер кредитной карточки, Сэм вообразила себя вернувшимся домой солдатом, который еще сутки назад находился среди дымящихся джунглей. Эммет рассказывал ей: вернувшись из Вьетнама, он первым делом пошел в магазин одежды. Это было в Сан-Франциско. Он стоял, окруженный брюками, рубашками, спортивными костюмами, буквально застыв на месте. Он не понимал, кто же он теперь. Пройдет много дней, пока он решится расстаться с военной формой и купит простой гражданский костюм.

Продавец объяснил, если номер кредитной карточки числится у него в книжке, значит, она ворованная. Сэм не стала говорить, что карточка не ее. И расписалась именем матери. Отец понятия не имел ни о каких карточках. В душе у нее закипала злость.

Супермаркет посередине разделен островком тропического леса, благоденствующего под стеклянным куполом. Высокие пальмы оплетены огромными лианами, эти лианы — точные, но очень увеличенные копии комнатного филодендрона. Сэм ошеломленно смотрела на деревья, их кожистые резные листья. Вот они — джунгли, леса Юго-Восточной Азии. Нет, это кипарисы Каувудского озера, а рядом не бассейн, а темная болотная вода, кишащая змеями у самых ног. Виденные и воображенные сцены сменялись перед ее мысленным взором, точно кадры видеосериала. Хорошо бы у этого сериала имелась еще и музыка.

Через несколько часов они въехали в Вашингтон, и у Сэм тревожно заныло сердце. Она мысленно повторяла, что памятник всего-навсего камень, на котором высечены имена. И означает он только то, что этих солдат нет больше в живых. Имена, и все. И никого кругом, кроме нас, желторотых. Только мы, и планета Земля, и ядерная бомба. Так и надо, теперь считала она. Мысль, что кроме них никого, успокаивала. Они будут наедине. Наверное, в этом все дело. Мертвые мало кому интересны. Учитель по истории говорил, сейчас на земле живых людей больше, чем мертвых. Их сейчас так много, живут они гораздо дольше и уверены, что чуть ли не бессмертны. Но это не так. Все умирают рано или поздно, и уж лучше загодя усвоить эту мысль, советовал он. Умерли, ушли. Давным-давно ушли из штата Кентукки.

Иногда ночью Сэм просыпалась, как будто ее толкнули, и с внезапным прозрением понимала, что в один прекрасный день умрет. Обычно она тут же забывала об этом. Но сейчас, когда они с Эмметом и бабушкой Хьюз въезжали в Вашингтон, где Вьетнамский мемориал хранит имена такого множества погибших, реальность смерти поразила ее среди бела дня. Бабушке пятьдесят восемь. Она думает о скорой смерти. Может умереть в любую минуту, как скаковая лошадь, упавшая навзничь на праздновании Дня отцов. Сэм очень боялась, что Эммет умрет. Но и Эммет бросился на Каувудское озеро, когда она убежала,— не мог себе представить, как будет жить один, испугался, вдруг она умерла.

Памятник Вашингтону — блестящий белый карандаш на фоне неба. За рулем Эммет — ведь движение в Вашингтоне ужасное, машины обгоняют со свистом, сворачивают под самым носом, как лихие конькобежцы на катке. Проехало мимо несколько машин с правительственными номерами. Интересно, сколько лет простоит на земле памятник Вашингтону, подумала Сэм.

На Конститьюшн-авеню коричневый указатель «Мемориал ветеранам Вьетнама». Поставить машину негде. Припарковались в одном из соседних переулков и двинулись пешком к памятнику Вашингтону. Бабушка тащилась, тяжело пыхтя. На ней нарядное платье и чулки. Сэм казалось, они просто гуляют без всякой цели — так медленно они идут. А ей хотелось мчаться сломя голову. Памятник Вашингтону восставал из земли высокий и гордый. Ей вспомнилось горькое, насмешливое замечание Тома — «не памятник, а огромный белый член». Однажды она от кого-то услышала — «Соединенные Штаты только и ищут, кого бы еще в мире трахнуть». Парень, что придумал для островков розовые футляры из пластика, должен бы и на этот столп напялить огромную резинку. У нее в голове столько всяких сумасбродных идей. Наверняка для них можно найти рынок сбыта. Идеи так и вихрятся у нее в голове. Из-за них она толком не может любоваться Вашингтоном. Здания в Вашингтоне такие красивые, белые. А Вьетнамский мемориал представляется ей черным бумерангом, летящим тебе в голову.

— Я его не вижу,— сказала бабушка.

— Он вот там,— показал Эммет.— Говорят, возникает неожиданно.

— У меня ноги заболели.

Сэм очень хотелось бежать, только вот куда — к Мемориалу или от него? Просто бежать. Новый альбом в руке, значит, от жары в машине не расплавится. Он в пластиковом пакете с ручками. Эммет несет горшок

с геранью. Какой он замечательный — высокий, прямой, в глазах страдание. Она улавливает его волнение, даже тревогу. Наверняка сердце у него колотится как бешеное, как будто в предчувствии чего-то страшного.

Эммет взял бабушку за руку и осторожно повел через улицу. Горшок с геранью как прилип к его груди.

— Вот он,— выдохнула Сэм.

Они увидели — тянется длинная черная стена, точно отполированная до блеска жила антрацита. Вдоль нее медленно идут люди, погруженные в траурное молчание.

— Господи,— тихо молвила бабушка.— Он — черный как смоль.

— Вот здесь указатель,— сказал Эммет, задержавшись у левого края памятника.— Я найду его имя, миссис Хьюз.

Указатель лежал на тумбе под пластиковым козырьком. Сэм стояла в стороне, глядя на вертикально стоящее черное крыло, как бы подпирающее срезанный холм, на ярко-зеленую травку, растущую за верхней гранью стены, не меняющей уровень на всем протяжении. Как будто это гигантская могила, в которой истлевают пятьдесят восемь тысяч, чьи имена начертаны на черной блестящей поверхности. Люди спускались вдоль нее к самой низкой точке и затем, следуя за нижней гранью, шли наверх. Слева у них стена, справа зеленые лужайки.

— Никакого величия,— огорченно вздохнула бабушка,— просто углубление в земле.

Стена врезалась в землю в виде латинской буквы «V», образуя крылья огромной, безголовой, абстрактной птицы. Высоко в небе над ними взмыл реактивный самолет.

— Оно в секции 9E,— сказал Эммет.— Восточное крыло. А мы у западного.

Понизу шел гранитный выступ, на нем в беспорядке разбросаны розы и гвоздики.

— Смотри, папа, и цветочки умерли,— сказал маленький мальчик.

— Одни умерли, другие нет,— отрезал отец.

Дорожку отделяла от стены узкая полоса гравия, с другой обрамлял ряд темно-серых кирпичей.

Блестящая черная поверхность стены отражала под прямым углом памятники Линкольну и Вашингтону.

Женщина в белой шляпе настраивала на памятник объектив.

— Я представляла его совсем другим,— сказала она своей спутнице.— Все всегда выглядит иначе, чем ты воображаешь себе. Я и не знала, что этот памятник — стена.

Мимо прошел парень в маскировочном костюме, опираясь на палку и разбрасывая в стороны ноги. У него, очевидно, был протез. Он шагал гордо, с независимым видом завсегдатая, приходящего сюда без особой надобности. Он был здесь свой, как Эммет в «Макдональдсе».

Подошла стайка школьников, галдящих, как воробьи. Одна из девочек спросила:

— А что они тут один над другим? — Сделала несколько шагов и прибавила: — А имена что означают?

Сэм захотелось ударить девчонку по лицу — надо же быть такой дурой. Вряд ли есть хоть один школьник, не знающий, что такое Вьетнамский мемориал. Но потом подумала, она ведь и сама почти ничего не знала. Узнала вот только здесь. Неизвестно только, что с ними случилось на войне, и это навсегда останется тайной. Люди шли вдоль стены, одни переговаривались друг с другом о постороннем, как будто на воскресной прогулке. Но большинство были почтительны и печальны, даже плакали.

Сэм стояла у основания буквы «V», на довольно значительной глубине, ее черные стороны раскинулись вширь, как белые крылья пассажа в Падуке. Памятник Вашингтону отражался точно в центре. Если шагнуть влево, увидишь памятник, если вправо — отражение флага, висящего напротив. Памятник и мачта с флагом — два вектора, точно страна указывает дорогу к погибшим мальчикам, втиснутым в тесное пространство под землей. Сэм

не понимала, что с ней. Что-то громадное, мощное, как торнадо, двигалось в ней с сокрушительной силой. Как будто она рожала эту черную блестящую стену.

— Жалко, что нет Тома,— сказала Сэм Эммету.— Ему необходимо приехать сюда,— выдохнула она еле слышно.

— Он приедет. И Джим тоже. Все они приедут.

— Ты хочешь найти еще чьи-нибудь имена, кроме папиного?

— Да.

— Чьи?

— Тех ребят, о которых я рассказывал на озере, когда только я один остался живой. И еще одно имя. Я все хочу разыскать его, но, может, оно тоже на этой стене. Не знаю, дотянул ли он до конца войны.

Сэм опять уловила отблеск страдания в его глазах, отблеск скорби, которая не отпускала его все эти четырнадцать лет. В слепящем солнце сыпи у него на лице не видно. Над головой совсем низко опять пролетел реактивный самолет. Крылья скошены назад, как у птицы.

В одном месте со стеной что-то делали двое рабочих в касках, один стоял на лестнице-стремянке и держал в руках пескоструйный аппарат, производя им оглушительный шум. Сзади на каске у него стояли слова: «Больше никогда».

— Господи, что он делает? — Сэм услыхала позади себя бабушкин голос.

— По-моему, пломбирует дырки. Чтобы внутрь не попадала вода.

Рабочий на лестнице выключил механизм, напарник подал ему щетку. И он принялся смахивать разрушенную песком краску. Несколько имен были оклеены кругом серебристым скотчем, на его фоне буквы ярко светились, точно кто обвел их люминисцирующим фломастером, как Сэм обводила в учебниках важные даты, имена, названия мест.

— Какой вандализм! — сказал позади мужской голос.— Страшно подумать, неужели нашелся псих, способный на такое надругательство!

— Да нет, это не псих,— возразил женский голос.— Просто кто-то хотел поярче выделить имена. Чтобы они сразу бросались в глаза. Я могу это понять.

— Неужели они подкрасили и буквы Дуэйна? — с тревогой спросила бабушка.

— Да нет. Зачем это им?

Сэм посмотрела на цветы, лежащие на гранитном выступе. Из щели между двумя секциями торчала белая гвоздика. Какая-то женщина наклонилась над венком и поправила ленту. На ленте было написано золотом «Пост 7215».

Компания медленно продвигалась вперед. Секция 9Е была еще далеко. Сэм прочитала записку, прикрепленную у основания стены: «Солдатам 3 роты 1 бат. 503 пех. полка, 173 возд. десанта, погибшим в битве за высоту 823. Дакто, ноябрь 11, 1967. Благодаря их отваге я сегодня здесь. Спасибо, ребята».

Мимо проехал человек в инвалидной коляске. Над головой пролетел еще один реактивный самолет.

В одном месте к стене скотчем приклеена написанная от руки записка, в ней автор просил прощения у погибшего за то, что бросил его в сражении.

Бабушка распушила герань, которую держал Эммет, как будто взбила подушку.

Рабочие осторожно счищали желтую краску с имен. Разрушали пескоструйным аппаратом и осторожно смахивали щетками — так владелец смахивает пыль со своей машины. Рабочий на лестнице побрызгал водой имя, которое только что очистил от краски, и протер его губкой.

Сэм, в отчаянии от черепашьей скорости продвижения, наблюдала за двумя одетыми в форму моряками, которые никак не могли найти имя.

— Он должен быть здесь,— уверял один. И они продолжали искать, шаря пальцами по чужим именам.— Вот он! Вот! Да, да, это он!

Прочитали вслух имя, затем резко отвернулись от стены, на миг устремив взгляд в сторону Мемориала Линкольна, и быстро пошли прочь.

— Вам помочь найти имя? — обратилась к ним служительница мемориального парка в футболке и зеленых брюках. В руках у нее была большая папка.

— Мы знаем, где оно. Но все равно спасибо,— сказал Эммет.

У секции 9Е Сэм отошла немного в сторону, а Эммет с бабушкой стали искать имя ее отца. Эммет смотрел на стену твердым, напряженным взглядом, каким наблюдал птиц, а бабушка — озабоченно сквозь очки, как будто оглядывала поле — не забрела ли туда корова... И в воображении Сэм вдруг возникла белая цапля, как она ищет на спине буйвола клещей, вытягивая шею змеиными движениями и нацелив клюв, как пинцет.

— Вот он,— сказал Эммет. Имя было высоко над головой, почти у верхней грани стены. Он протянул руку и коснулся букв.— Вот его имя — Дуэйн Е. Хьюз.

— Мне его не достать,— огорчилась бабушка.— А я так хочу его потрогать,— тихо прибавила она.

— Мы поставим под ним герань,— Эммет осторожно, как младенца, опустил цветок к подножью стены.

— У меня разорвется сердце,— сказала бабушка, уронила на грудь голову и заплакала.— Как бы мне его потрогать,— говорила она сквозь слезы.— Хоть одним пальцем.

И Сэм вдруг осенило. Она подбежала к рабочим и попросила у них на минуту стремянку. Они уже почти все кончили, один из них взял стремянку и поставил возле бабушки. Но бабушка наотрез отказалась лезть, несмотря на уговоры Сэм.

— Лезь лучше ты и потрогай вместо меня,— сказала она.

— Попытайтесь, мадам,— вдруг вмешался рабочий.

— Мы с Эмметом подержим лестницу,— прибавила Сэм.

— Неудобно как-то, вдруг кто заглянет под юбку.

— Никто не заглянет,— уверял ее Эммет.— Да лезьте же, миссис Хьюз. У вас получится. Мы вам поможем.

Он взял ее под руку. Вдвоем с Сэм они поддерживали ее, пока она нащупывала ногой первую ступеньку. Наконец встала с испуганным видом обеими ногами. Молча протянула руку, но не достала до имени.

— Еще на одну ступеньку,— сказала Сэм, глядя на бабушку, глубокие морщины на лице, обвислую кожу, покрасневшие от слез глаза. Бабушка опять протянула руку к имени сына и, вздохнув, через силу поднялась на вторую ступеньку, одной рукой плотно прижимая к коленям юбку. Наконец она дотянулась до букв, провела по ним ладонью и стала гладить, сначала неуверенно, а потом с нежностью, как гладят по спинке кошку. Секунда, другая — и она тихо спустилась с лестницы.

После бабушки полезла вверх Сэм, держа в одной руке пакет с пластинками.

— Возьми аппарат, Сэм,— сказала бабушка,— сфотографируй.— Она захватила с собой фотоаппарат Донны.

— С такого близкого расстояния не получится,— ответила Сэм.

Сэм поднималась по лестнице, пока глаза ее не оказались на одном уровне с именем отца. С каким-то странным чувством она коснулась пальцами букв. Всего-навсего царапины на камне. Надпись. Загадка для археологов будущего и, может быть, ключ к древнему языку.

— Посмотри на меня, Сэм,— сказала бабушка.— Хочу тебя сфотографировать. Чтобы в кадр попала ты, имя и цветы, если получится.

— Имени не будет видно.

— Улыбайся.

— Как мне тут улыбаться.

Сэм тихо плакала.

Бабушка отступила назад и сделала два снимка. Сэм чувствовала, что лицо ее ничего не выражает. Здесь, на лестнице, она вдруг ощущала себя тонкой и высокой, точно былинка, выросшая из щели в антрацитово-черном основании. Она видела Эммета у тумбы с указателем — он, наверное, искал имена погибших друзей. Сэм еще раз коснулась имени отца.

— Я вижу только собственное отражение,— пожаловалась бабушка.— Хорошо бы все-таки получились буквы. И лицо твое все в тени.

Сэм наконец спустилась с лестницы.

— Подожди здесь минутку,— сказала она, отвернувшись от бабушки, чтобы скрыть слезы. И побежала к тумбе с указателем. Эммета уже там не было, он двигался сейчас вдоль стены, ища нужную секцию. Неподалеку несла вахту в честь ветеранов и пропавших без вести группа военных моряков. Двойной ряд флагов, воткнутых в землю, отгораживал от прохожих их стол. Один из моряков расхаживал с плакатом в руках, на котором стояло: «Ты американец. Помни, твой голос может оказаться решающим». Сэм перелистала указатель и нашла «Хьюз». Ей захотелось и в указателе увидеть имя отца. Пробежала глазами по Хьюзам. Сколько же погибло солдат с этой фамилией! Имена все незнакомые. Вот наконец и его имя. Какой-то миг Сэм смотрела на него, и вдруг в глаза ей бросилось ее собственное имя и фамилия:

СЭМ АЛАН ХЬЮЗ, ТО АР 02 ВМС
4902 ФЕВ 67 Хьюстон Техас 14Е 104

Сердце ее бешено застучало, она бросилась к секции 14Е и после недолгих поисков нашла на стене свое имя: «СЭМ А. ХЬЮЗ». Первый в строке, совсем невысоко, можно потрогать. Она дотронулась пальцами до собственного имени. Как странно! Можно подумать, красоты ради на этой стене высечены имена всех американцев.

Бабушка стояла рядом, крепко ухватив Сэм за руку, впившись ногтями ей в ладонь.

— Когда вдруг возникла эта черная стена,— сказала она,— я очень расстроилась, но потом, когда мы шли, я увидела белую гвоздику, и у меня опять потеплело на сердце. Я почувствовала — он видит нас сверху.— Пальцы ее ослабли, и она выпустила ладонь Сэм.— А где Эммет, потерялся?

Ничего не ответив, Сэм указала рукой туда, где Эммет разглядывал буквы, высеченные почти у самого основания. Он сидел перед стеной, скрестив ноги, и постепенно лицо его, как пламенем, озарилось улыбкой.

«КАК ГОВОРИТСЯ, РОДИНА ВЕЛЕЛА...»

Роман американской писательницы Бобби Энн Мейсон «Там и здесь» — еще одна книга о «потерянном поколении». Еще об одном «потерянном поколении»...

Сначала немного истории — и не только литературы. Само это понятие, сам феномен принес наш кровавый век, в первую мировую войну вырубивший под корень в разных странах почти целиком поколение молодых солдат, составлявших цвет нации, ее будущее. Но это не только тысячи и тысячи юных, сложивших голову на поле боя. Это и уцелевшие в огне войны солдаты,— счастливчики, разминувшиеся со смертью, возвратились с фронта одни изувеченными, калеками, другие с тяжкими душевными контузиями, опустошенными, не находящими себе места в мирной жизни.

Об этих последствиях войны — неучтенных, неучитываемых, об этих ее жертвах, которые во внимание не принимались, рассказал Эрнест Хемингуэй в своем первом романе «Фиеста (И восходит солнце)». Эпиграф к этой книге — «Все вы — потерянное поколение» — стал не только поэтической метафорой, но и социологической и литературоведческой формулой. И книги о первой мировой войне, написанные молодыми ее участниками, принято называть литературой «потерянного поколения», в этой формуле заключен объединяющий их пафос. И не играет никакой роли, что их авторы сражались по разные стороны линии фронта. Они одинаково ненавидели милитаристский угар, ненавидели войну, скосившую большую часть их ровесников, а уцелевшим исковеркавшую жизнь. Не случайно мысль, вынесенная в эпиграф «Фиесты», совпадает с тем, что сказано в эпиграфе другого знаменитого романа о той же войне — «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка: «Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов».

Новые войны — и опять загубленные поколения. Генрих Бёлль напомнил в одном интервью: когда гитлеровская Германия была повержена, «статистическая, скажем так, ситуация была абсурдной. В 1945 году 80-летних было, кажется, вдвое больше, чем 25-летних». У нас, победивших в этой войне, «статистическая ситуация», демографические

зияния были еще ужаснее — фронтовиков 1922, 1923, 1924 годов рождения в живых осталось три процента. И судьба чудом уцелевших молодых солдат, которые в сорок пятом из окопов возвратились в мир разрухи и руин, казенного равнодушия, была не менее драматичной и горькой, чем их ровесников, фронтовиков восемнадцатого года. С чудовищной жестокостью война их била и ломала — такие потрясения, тем более для душ юных, неокрепших, даром пройти не могли. Константин Симонов во времена, когда об этом и заикаться нельзя было, когда в войне, потому что она нами была выиграна, полагалось видеть лишь школу мужества, доблести и геройства, заявил: «...Человек, всерьез заслуживающий этого названия, живет после войны с ощущением, что он перенес операцию на сердце». С таким ощущением нестихающей сердечной боли, с незажившими, незаживающими душевными ранами возвращались фронтовики домой, но властям было не до них, не до их бед и комплексов. Глубокой тоской наполнены строки Бориса Слуцкого: «Когда мы вернулись с войны, я понял, что мы не нужны».

Это и роднит «Фиесту» Хемингуэя и «Возвращение» Ремарка с написанными через несколько десятилетий книгами о второй мировой войне — с «Домом без хозяина» Бёлля и «В родном городе» Виктора Некрасова. И, кстати сказать, сколь бы пылко на протяжении нескольких десятилетий наша официозная критика ни клеймила литературу «потерянного поколения» за пацифизм и абстрактный гуманизм, как бы сурово ни осуждала отечественных писателей за обнаруженные в их книгах общие мотивы с Ремарком и Хемингуэем, грозные эти инвективы на читателей особого впечатления все-таки не производили — спор-то был не об отвлеченных проблемах, опровергалась и отвергалась очевидная для читателей жизненная реальность...

Вот та традиция, которую вспоминаешь, читая роман «Там и здесь». Вряд ли она могла быть другой — очень уж много сходного в судьбах военных поколений, в обстоятельствах — житейских и психологических. Не сама война является предметом изображения в романе Мейсон, хотя, как говорят о кинофильмах, она постоянно присутствует за кадром, действие романа происходит в современной, в общем вполне благополучной Америке, в фермерском патриархальном штате. Да и была эта война, которая не отпускает героев книги, где-то очень далеко, за тридевять земель и морей, за тысячи миль от Кентукки. И давно она была — семнадцатилетней Сэм уже почти столько же лет, сколько было ее отцу.

Да, давно это было и далеко, но все-таки и *здесь,* в американской глубинке, та война сидит, как осколок, который невозможно оперировать. И попал он не только в тех, кто побывал когда-то под губительным огнем во Вьетнаме и не может после этого прийти в себя, войти в колею, кого мирная жизнь оттерла на обочину, на задворки, в какие-то мрачные углы и забегаловки, но и в юную Сэм. Сэм во что бы то ни стало хочет докопаться, что он такое, этот Вьетнам, какой была *там* война, на которой сложил голову ее отец. И что *там* случилось с ее любимым дядей Эмметом, ровесником отца, почему он утратил вкус к жизни, неприкаян, откуда недуги, которые его гложут? Что пережили американские парни в солдатской форме и что они *там* творили, что их угнетает? Вот вопросы, которые не дают покоя Сэм.

Книги о Вьетнаме, которые ей попадают в руки, бесконечный телесериал о корейской войне «Полевой армейский госпиталь», который она жадно смотрит, на эти вопросы ответа не дают. Сэм очень хочется поверить в тот романтический, мелодраматический, опоэтизированный образ войны, который внушают «масс-медиа», но судьба отца, судьба Эммета, его приятелей ветеранов никак не вписывается в этот образ, разрушает его. Ее поражают какие-то неожиданно всплывающие обжигающие детали. Они всплывают случайно, потому что все эти люди не очень охотно рассказывают о своем военном прошлом, видно, и вспоминать тягостно и рассказывать мучительно, в сущности не рассказывают, а проговариваются. И даже дневнику, который отец Сэм вел на войне, не все доверялось, о многом рука не поднималась писать,— можно только угадывать между строк, что было на самом деле. Эти колючие — не притронешься — детали, подробности реальной войны прорывают романтическую пелену, которая застилала глаза Сэм. И, конечно, не ей одной. Такой — в розоватой романтической дымке — виделась и видится война многим людям, которые не сталкивались с ней близко и представляли ее себе по духоподъемным газетным репортажам и телевизионным передачам. Им, как и Сэм, нужны немалые душевные усилия, чтобы выбраться из плена романтических стереотипов.

Постепенно из калейдоскопа, казалось бы, случайных деталей в сознании Сэм складывается более или менее цельная картина. Война предстает перед ней — и перед читателем — в неприкрашенном жутком виде. Это кровавая бойня — как писал еще в первую мировую войну Маяковский, «на сажень человеческого мяса нашинковано». Это разрушение нравственности, озверение — оттого, что можно убивать безнаказанно, убийство даже почитается как доблесть; оттого, что и ты постоянно на мушке, каждая пядь земли — мины, каждый куст — снайпер — грозят тебе смертью. Война — это и все более и более истребительное оружие, чего только не придумали, чтобы убивать наверняка, без промаха, на большом расстоянии, чтобы одним снарядом убивать больше «живой силы врага», убивать в ясный день и непроглядную тьму, в непроходимых джунглях и залитых водой рисовых полях. Война — это и выжженная напалмом и дефолиантом земля. Потом, после войны, дефолиант, как бумеранг, ударит по солдатам армии, пустившей его в ход,— их, надышавшихся этим ядом, донимают тяжкие болезни...

Сэм начинает понимать: поколение ее отца и Эммета обмануто. Им внушали и внушили, что война хотя и опасное, но увлекательное приключение, настоящим парнем становишься только пройдя это испытание. Не зря в романе так много места занимает старый телесериал о корейской войне — мальчишками ее отец и дядя впитывали эту красиво упакованную ложь. Она такая же отрава, как дефолиант, у которого приятный запах апельсина. И главное, им внушали и внушили, что если они настоящие парни и любят родину, они должны стать на защиту своей державы, своей земли, своей семьи. Именем родины их послали под огонь.

Но на фронте в далеком Вьетнаме очень быстро выяснилось, что их обманули. Это поняли многие, но не все захотели, не у всех хватило мужества признаться даже самим себе. Одни прокляли эту войну, превратившуюся в огромного масштаба карательную операцию, уносившую все больше и больше жизней с той и другой стороны. Другие и возвратившись домой, заглушая сомнения, твердили: держава, мы были ее верными защитниками и тем гордимся. И требовали славы и почета. Они и слышать не хотят о какой-то своей ответственности: что приказали, то они и делали, какой с них спрос. А некоторых война и вовсе растлила, они тоскуют по временам, когда могли распоряжаться чужими жизнями. Это расслоение ясно видит Мейсон — и тех, кто прозрел и ужаснулся, и тех, кто остался слеп, и тех, кто боится света. Но обмануты были все, и поэтому никому не удалось избежать глубоких душевных и нравственных деформаций.

Когда-то, в самом начале шестидесятых, Булат Окуджава написал песню о лихом солдате, которому все нипочем, который мечта и опора всех генералов, рвущихся в бой. Песня полна горькой иронии, пропитана глубоким отвращением к милитаристским добродетелям:

Возьму шинель, и вещмешок, и каску,
в защитную окрашенную краску,
ударю шаг по улочкам горбатым...
Как просто стать солдатом, солдатом.

Забыты все домашние заботы,
не надо ни зарплаты, ни работы —
иду себе, играю автоматом,
как просто быть солдатом, солдатом!

А если что не так — не наше дело:
как говорится, родина велела!
Как славно быть ни в чем не виноватым,
совсем простым солдатом, солдатом.

«Песенкой американского солдата» она называлась — надо было обойти цензурные рогатки, потом автор изменил название. Конечно, Окуджава имел в виду любого солдата, обманутого высокими словами о родине, готового по приказу, не задумываясь, беспрекословно убивать и подставлять под пули свою голову. И не важно американский, советский, китайский или какой-то другой страны это солдат. Хотя советского солдата поэт имел в виду прежде всего — такой суд, чтобы он был по-настоящему нравственным, справедливым, начинают с себя, со своих. Тем более, что незадолго до этого такие нерассуждающие советские солдаты усмиряли восставший Будапешт. Тогда нам казалось, что это песня о былом, о том, что уже прошло. Увы, она оказалась и о будущем — и не только нашем. Впереди были Чехословакия, Вьетнам, Афганистан, которые стали возможны, потому что послушные политикам и генералам солдаты считали, что приказ снимает с них ответственность...

Действие «Там и здесь» погружено в подробно изображаемый быт провинциальной Америки: магазины, мотели, распродажи, имена кумиров публики, главным образом молодежной,— актеров, музыкантов, названия популярных телепередач, марки автомобилей и т. д. и т. п. Быт, далекий от нас и часто не очень понятный, даже воспринимающийся как экзотический. Но читая роман о жизни чужой и войне не нашей, мы все время вспоминаем войну в Афганистане и думаем о себе, о нашем обществе, о нашей армии и наших солдатах. Вспоминаем фарисейский «интернациональный долг» и «ограниченный контингент», цинковые гробы — это называлось «груз двести», и коляски для безногих — зарубежная благотворительность (своих нет), и пьяные дебоши ветеранов в День воздушно-десантных войск, и выступление академика Сахарова об афганской авантюре на Первом съезде народных депутатов СССР, и отповедь «афганца» Червонописского, вызвавшую овацию номенклатурных депутатов. В романе «Там и здесь» Мейсон предъявляет счет американскому обществу за постыдную войну, за угробленное во Вьетнаме поколение. А мы, читая ее роман, думаем — не можем не думать — об афганской войне, о наших грехах и нашем позоре.

Характерно, что возникают прямые переклички романа Мейсон с нашими, начавшими появляться книгами об афганской войне. Ограничусь одним из множества возможных примеров, весьма, на мой взгляд, выразительным. В память Эммету запали белые цапли над полем боя, почему-то — сам не знает почему — он не может избавиться от этих воспоминаний. «Кругом война, такой ужас,— рассказывает он Сэм,— а она летит себе по небу по своим делам. Бывало летит над головой целая стая, вытянув шеи... Раз как-то снаряд упал среди деревьев, и эти птицы, словно перепелки, взлетели и врассыпную. Мы подумали, снег пошел, только не вниз, а вверх». И в цикле рассказов Олега Ермакова (это, мне кажется, лучшее, что пока написано у нас в художественной прозе об афганской войне) героя мучает один эпизод его афганской эпопеи — казалось бы, не такой уж страшный: «Было раннее утро, было темно и тихо. Птицы приземлялись, складывали свои огромные крылья, чистили клювами перья и, озираясь, ходили в траве и цветах. У них были белые шеи и красные шапочки, они то и дело замирали, повернув лица в сторону колонны, и приглядывались. Часовые не шевелились, и птицы принимали их за столбы, а бронетранспортеры им казались спящими зелеными черепахами. Птицы с белыми шеями расхаживали по степи, они были черны, степь зелена, спали горы и стадо зеленых черепах, небо на востоке светилось ало. Часовые с улыбками посмотрели друг на друга. Скрипнула крышка люка, из бронетранспортера высунулся прапорщик, он зевнул, окинул взглядом степь и замер, увидев птиц. На миг он скрылся, появился вновь, сполз с машины и, пригибаясь, пошел в степь с автоматом

в руках. Часовые следили за ним. Птицы заметили прапорщика, вытянули шеи, застыли. Прапорщик вскинул автомат, опустился на колено, приставил приклад к плечу, склонил набок голову, прицелился. Птицы побежали, плеща крыльями. Стая взлетела. Бледно-красная очередь пронеслась над степью и врубилась в стаю».

И у Мейсон, и у Ермакова — это ключевой образ, образ кровавого беспредела войны, не щадящей никого и ничего, уничтожающей все живое,— что может быть безобиднее птицы? Разве случайно птица стала символом мира? Оба произведения бьют в одну точку: они осуждают смертоубийство, взывают о совести, милосердии, человечности.

Хорошо, что русским читателям стал доступен роман Бобби Энн Мейсон «Там и здесь». Он не только открывает почти неизвестную нам драму Америки, ее тяжелое похмелье — поствьетнамский синдром, он помогает лучше понять наши собственные беды и тяжкие прегрешения, рожденные войной в Афганистане...

Л. ЛАЗАРЕВ

АЛЬБЕР КАМЮ

Ренегат, или Смятенный дух

РАССКАЗ

Перевод с французского И. РАДЧЕНКО

Каша, какая каша в голове! Навести бы там порядок. С тех пор как мне отрезали язык, другой язык без устали молотит в мозгу, или еще что-то, а может быть, и кто-то: говорит, замолкнет, опять за свое, и я слышу многое, чего не произношу, какая каша, а откроешь рот — будто галька зашуршит. Порядок, к порядку,— твердит язык и тут же о другом. да, порядка я всегда желал. Одно, по крайней мере, не вызывает сомнений: я жду миссионера, который должен прибыть мне на смену. Я поджидаю его на тропе в часе ходьбы от Тагхазы, притаившись среди обломков скалы, сидя на старом ружье. Над пустыней занимается день, сейчас пока холодно, очень холодно, но вот-вот навалится жара, здешняя земля сводит с ума, а я, да я уже и счет годам потерял... Нет, еще последнее усилие! Миссионер должен приехать сегодня утром, а может, и вечером. Говорили, он будет с проводником, возможно, у них один верблюд на двоих. Ничего, я подожду, я жду, а что дрожь, так это только от холода. Потерпи немного, жалкий раб!

Как же долго я терплю. Дома, в Центральном массиве [1], мужлан отец и темная баба — мать, вино, похлебка с салом всякий день, но больше вино, кислое, холодное, и долгая, долгая зима, наледь, сугробы, омерзительные папоротники, о, как я хотел бежать, разом порвать со всем, зажить по-настоящему, под ярким солнцем и с прозрачной водой. Я поверил кюре, когда он рассказывал о семинарии, он занимался со мной каждый день, благо времени у него было предостаточно в нашем протестантском селе, где он и по улицам-то ходил крадучись, вдоль стен. Он говорил о будущем, о солнце, мол, католицизм — это солнце и есть, учил меня читать, вдалбливал латынь в мою тугую башку: «Смышленый малый, но упрям, как осел»,— да, голова у меня и впрямь неподатливая, за всю жизнь, сколько я ни падал, ни кровинки: «Воловья башка»,— скажет, бывало, скотина-отец. В семинарии мне почет, новобранец из протестантских мест — победа для них, встречали меня ровно солнце над Аустерлицем. Тусклое, прямо скажу, солнышко, все из-за вина, хлестали кислое вино, и дети выросли с гнилыми зубами, убить-то надо бы отца, впрочем, исключено, чтоб он подался в проповедники, поскольку давно уж помер, кислое вино в конце концов пробуравило ему дырку в желудке, так что остается застрелить миссионера.

Счет у меня к нему есть и к его учителям, к тем, кто меня учил и обманул, к гнусной Европе, я всеми обманут. Я только и слышал, что миссионерство да миссионерство, прийти к дикарям и проповедовать им: «Поглядите, вот Господь мой, он никого не бьет, не убивает, он повелевает тихим словом, подставляет другую щеку, это самый великий господин, выбирайте его, посмотрите, благодаря ему я сделался лучше, хотите убедиться — ударьте меня». И я поверил, э-э, и чувствовал, как становлюсь

---

[1] Центральный французский массив — горная область в центрально-восточной части Франции.

лучше; я пополнел, похорошел даже; я мечтал о поругании. Когда солнечным летним днем мы сомкнутым черным строем проходили по улицам Гренобля и нам встречались девочки в легких платьицах, я не отводил глаз, нет, я презирал их, я хотел, чтоб они меня оскорбили, и иногда они смеялись. Я думал: «Вот бы они меня ударили, плюнули бы в лицо»,— однако и смех их был ничуть не лучше, он щетинился зубами, вонзался колкими иглами, но оскорбление и страдание были приятны. Я уничижался, и духовник мой недоумевал: «Да нет же, в вас много хорошего!» Хорошего! Кислого вина во мне было много — вот чего, ну и пусть, ведь как стать лучше, если и без того неплох,— это я хорошо усвоил в их учении. В сущности, только это я и усвоил, одну-единственную мысль, и, как подобает смышленому ослу, доводил ее до завершения, я искал наказания, я чурался обыденности, короче, я хотел сам послужить примером: глядите все и, глядя на меня, поклоняйтесь тому, кто сделал меня лучше, почитайте во мне Господа моего.

Солнце дикарей! Вот оно встает, меняется пустыня, давеча напоминавшая по цвету горный цикламен, горы мои родимые, снежные, мягкий ласковый снег, нет, сейчас все сделалось изжелта-серым, сумеречный час — преддверие всемогущего зарева. Впереди — ничего до самого горизонта, где плоскогорье мреет в нежных еще красках. Позади меня тропа карабкается на дюну, за которой скрылась Тагхаза: название это вот уже многие годы железом бряцает в голове. Первым, кто рассказал мне о ней, был полуслепой старик священник, доживавший свой век в монастыре, собственно, первым и единственным, и даже не город из соли с белыми, опаленными солнцем стенами поразил меня в его рассказе, нет, поразительна была жестокость дикарей, населяющих недоступный чужеземцам край: на памяти старика только один из всех, кто пытался пробраться туда, один только смог поведать о том, что увидел. Они его высекли и выгнали в пустыню, засыпав солью раны и рот, спас случай: кочевники, которых он встретил, проявили к нему сострадание, и я с тех пор все предавался мечтаниям о жгучем огне соли и огне небесном, о храме идола и его рабах, вот где оно, варварство-то подлинное, то есть самое притягательное, вот где я призван явить Господа моего.

В семинарии они меня увещевали, охлаждали всячески мой пыл, мол, надо подождать, мол, и место неподходящее, и я еще незрел, я должен специально готовиться, познать себя должен, испытания пройти, а там видно будет! Все ждать да ждать! Нет уж, специальная подготовка, испытания — куда ни шло, тем более в Алжире, все ближе к месту предназначения, а в остальном я только тряс своей неподатливой башкой и долдонил свое: ехать к самым диким варварам, жить их жизнью и собственным примером показывать, хотя бы и в самом храме идола, что истина Господа моего сильнее. Они, разумеется, станут бить меня и оскорблять, но поругание не страшило меня, оно было как раз необходимо для моей цели, я снесу его безропотно и тем приворожу дикарей, точно могучее солнце. Могущество, я постоянно пережевывал это слово, я мечтал о неограниченной власти — той, что повергает на колена, заставляет противника складывать оружие, то есть обращает его в мою веру, и чем более он слеп, жесток и самоуверен, чем крепче цепляется за свои убеждения, тем выше возносится покоривший его. Наставить на путь истинный заблудших, но, впрочем, славных людей — таков убогий идеал наших священнослужителей, коих я презирал: при такой-то власти дерзать на такую малость, значит, не было в них веры, а у меня была, я хотел, чтобы сами палачи поклонились мне, чтобы пали на колена и говорили: «Зрим, Господи, победу Твою», хотел владычествовать словом над целым полчищем извергов. О, я не сомневался, что рассуждаю правильно, пусть в остальном я не слишком уверен в себе, но уж если овладеет мною какая идея, нипочем не отступлюсь, тут-то вся моя сила, сила, говорю я, но они жалели меня!

Солнце поднялось выше, голова моя горит. Камни вокруг глухо потрескивают, только ствол ружья прохладен, прохладен, как луг, как, помню, дождь по вечерам, когда на кухне варился суп и отец с матерью ждали меня,

они иногда улыбались, я, может быть, их любил. Все кончено, жаром туманится тропа, приходи, миссионер, я жду тебя, мне есть, чем ответить на твою проповедь, новые учителя преподнесли мне урок, я знаю, они правы, пора свести счеты с любовью. Когда я бежал из семинарии в Алжир, я представлял себе варваров совсем иными, в одном мечтания не обманули меня — они жестоки. Я обокрал казначея, сбросил сутану, я пересек Атласские горы, высокогорные плато, пустыню, и водитель в Сахаре тоже смеялся надо мной: «Не ходи туда», все в один голос, и были сотни километров песчаных волн, то надвигающихся, то отступающих под ветром, и снова горы, ощетинившиеся черными вершинами, с хребтами острыми, точно лезвие ножа, а дальше пришлось нанять проводника и идти по бескрайнему гудящему от зноя морю бурых камней, обжигающих тысячью огнедышащих зеркал, до того места на границе земли черных и белой страны, где лежит соляной город. Проводник еще украл у меня деньги, которые я по наивности, опять же по наивности, показал ему, а он саданул меня в скулу и бросил как раз вот тут, на тропе: «Ступай, собака, вон дорога, честь имею, валяй, они тебя научат»,— и они научили, о, они подобны солнцу, разящему гордо и без устали, исключая ночь, вот и сейчас разящему, ох как сильно, жгучими, яростно пронзающими землю копьями — скорее, скорее в укрытие, под скалу, не то и вовсе мрак.

Тень здесь приятна. Как можно жить в городе из соли, на дне заполненной белым зноем чаши? На ровных, грубо вытесанных стенах зарубки от кайла ерошатся сверкающими чешуйками, припорошенными бледно-желтым песком, а налетит ветер, очистит стены и плоские кровли, и все засияет умопомрачительной белизной под вычищенным до самой своей голубой корки небом. В такие дни я слеп от яркого пожара, часами недвижно полыхавшего на белых плоских крышах, сливавшихся в единую массу, словно вырубленных из одной соляной горы, как если б некогда они срезали с нее верхушку, а потом прорыли в ее толще улицы, внутренние помещения, окна или, вернее, вырезали свой белый жгучий ад кипятком из брандспойта, лишь бы только доказать, что смогут жить там, где никто не сможет, в тридцати днях пути от всякого жилья, в яме посреди пустыни, где дневное пекло не позволяет людям сообщаться между собой, разделяя их частоколом незримого пламени с расплавленными в нем кристаллами соли, а сменяющая его ночная стужа враз замуровывает в соляных раковинах жителей этого сухого припая, черных эскимосов, стучащих зубами в ледяных кубах домов. Черных, потому что одеты они в длинные черные балахоны, и соль, вездесущая соль, забивающаяся под ногти и ночью хрустящая на зубах горечью полярного сна, соль, растворенная в питьевой воде единственного источника на дне сверкающей расселины, иной раз оставляет на их сумрачных платьях потеки, похожие на след улитки после дождя.

Дождь, Господи, один только дождь, обильный и затяжной, дождь с Твоего неба! И тогда подмытый у основания страшный город станет медленно, но неукротимо оседать и, растаяв без остатка, вязким потоком захлестнет и умчит в пески своих свирепых обитателей. Господи, один только дождь! Господь? Нет, господа они! Они царствуют в своих бесплодных домах, владеют черными рабами, морят их в копях,— за пласт вырубленной соли южные страны платят по человеку,— укрытые траурными покрывалами, они безмолвно движутся по белокаменным улицам и с наступлением ночи, когда город, словно призрак, одевается молочной пеленой, они, согнувшись, уходят во мрак жилищ, где лишь тускло мерцают соленые стены. Легок их сон, а едва проснувшись, они уже повелевают, бьют, все мы — единый народ, говорят они, и еще, что их бог истинный и что надо повиноваться. Мои господа они, им неведома жалость, они не признают над собой ничьей власти, они хотят завоевывать и царствовать сами, поскольку никто, кроме них, не дерзнул построить в соли и песках ледяной тропический город. А я, да что там...

Какая каша, все путается от жары, я потею, они — никогда, тень постепенно накаляется, сквозь толщу скалы над головой я чувствую солнце, оно садит по камням, точно молотом бьет, так что звон стоит, немолчная

музыка юга, вибрация сотен километров воздуха и камня, э-э, да я снова слышу тишину. Такая вот тишина много лет назад встретила меня, когда стража подвела меня к ним на залитую солнцем площадь, откуда город концентрическими террасами поднимался под опущенную на края чаши крышку ярко-голубого неба. Поверженный на колени, я стоял на дне вогнутого белого щита, огненные и соляные стрелы, исходившие из стен, кололи глаза, я был бледен от усталости, ухо, по которому хватил вожатый, кровоточило, и они, черные исполины, молча глядели на меня. День был в разгаре. Под ударами чугунного солнца гудело небо, точно раскаленный добела лист железа, звучала тишина, они смотрели на меня, время шло, а они все смотрели и смотрели, и я не выдержал их взглядов, сдавило горло, сильней, сильней и когда наконец я разрыдался, они вдруг беззвучно развернулись ко мне спиной и все разом удалились. Стоя на коленях, я видел только, как блестящие от соли ноги в красно-черных туфлях приподнимали край скорбного платья, носки туфель были слегка задраны, задники едва слышно шлепали по земле, а когда площадь опустела, меня отволокли в их капище.

Скорчившись, вот точно как в сегодняшнем моем укрытии, где пе́кло над головой пронизывает толщу камня, я просидел неведомо сколько дней под сенью идолова дома, чуть возвышающегося над остальными, обнесенного соляной оградой, но без окон, полного мерцающей ночи. Все эти дни мне подавали миску солоноватой воды и бросали на пол горсть зерна, как курице, и я его подбирал. Днем, несмотря на запертую дверь, мрак делался чуточку прозрачней, будто неумолимое солнце просачивалось сквозь массу соли. Лампы не было, я ходил ощупью вдоль стен, натыкался рукой на гирлянды сухих пальмовых листьев, нашарил грубо вытесанную дверь на задней стенке, пальцы угадали на ней засов. Не скоро, много дней спустя, ни дней, ни часов считать я не мог, однако зерно мне к этому времени кинули раз десять, и я уже вырыл яму для нечистот, которая, как я ее ни закрывал, все воняла норой, так вот, много дней спустя дверь распахнулась на обе створки, и они вошли.

Один направился в тот угол, где я сидел, скорчившись. Соленая стена обжигала щеку, я вдыхал пыльный запах па́льмовых листьев и смотрел, как он приближается. Он остановился в метре от меня и молча уставился перед собой, знак — я встал, он вперил в меня свои металлические глазки, поблескивающие без всякого выражения на коричневом лошадином лице, потом поднял руку. Все также безучастно он ухватил меня за нижнюю губу и стал медленно ее выворачивать, разрывая плоть, а затем, не разжимая пальцев, крутанул меня на месте, задом вывел на середину комнаты и рванул за губу вниз, так что я бухнулся на колени, обезумев от боли, с окровавленным ртом, а он повернулся ко мне спиной и пошел туда, где у стены стояли остальные. Они смотрели, как я стенал в невыносимом пекле не знающего тени дня, лившегося в широко раскрытую дверь, и в этом световом снопе возник вдруг колдун с волосами из рафии, телом, обтянутым жемчужной кольчугой, голыми ногами под соломенной юбочкой, в маске из тростника и проволоки с двумя прямоугольными прорезями для глаз. За ним шли музыканты и женщины в тяжелых пестрых бесформенных платьях. Они исполнили перед дверью в глубине грубый малоритмичный танец, подергались немного и все тут, а затем колдун открыл дверцу за моей спиной, хозяева не шелохнулись, они глядели на меня, и, обернувшись, я увидел идола, его двуликую голову и железный нос, изогнутый змеей.

Они подтащили меня к его ногам, к самому основанию, заставили пить горькое-прегорькое черное пойло, отчего голова у меня запылала, и я захохотал: вот оно, надругательство, я поруган. Они раздели меня, обрили голову и торс, обмыли маслом и стали бить по лицу веревками, обмокнутыми в воду и соль, а я смеялся и отворачивался, но всякий раз две женщины хватали меня за уши и подставляли лицо ударам, которые наносил колдун с прямоугольными глазами, и, обливаясь кровью, я все смеялся. Остановились, все, кроме меня, молчали, в голове полная каша, потом меня подняли и заставили смотреть на идола, и я перестал смеяться.

Я знал, что обречен отныне ему служить и поклоняться, о нет, я больше не смеялся, я задыхался от страха и боли. И в этом белом доме, в этих стенах, равномерно опаленных солнцем, со стянутой кожей на лице, в полубеспамятстве, я попытался молиться идолу, да, да, кому же еще: даже его чудовищная рожа была менее чудовищной, нежели весь прочий мир. Они связали мне щиколотки веревкой, отпустив ее на длину шага, и снова исполнили танец, теперь уже перед идолом, затем один за другим хозяева удалились.

Закрылась дверь, и опять зазвучала музыка, колдун разжег костер из коры и принялся топтаться вокруг него, заполнив комнату пляшущими тенями, они трепетали на белых стенах, изламываясь в углах. В одном углу он очертил прямоугольник, женщины отволокли меня туда, я чувствовал сухое нежное прикосновение рук, они поставили передо мной чашку с водой, насыпали зерна и показали на идола — я понял, что не должен отводить от него глаз. Колдун по одной подзывал их к огню, иных бил, они стонали и падали ниц перед идолом, моим теперешним богом, а он все танцевал, а потом отослал всех, кроме одной, совсем юной, которую он еще не бил, она сидела подле музыкантов. Он накручивал себе на руку ее косу, сильней, сильней, отчего у нее глаза вылезали из орбит, а сама она выгибалась назад, пока не повалилась навзничь. Тогда колдун выпустил ее и заорал, музыканты отвернулись к стене, а крик под маской с прямоугольными глазами нарастал и нарастал, и женщина как оглашенная каталась по полу и, наконец, присев на корточки, соединив руки над головой, закричала сама, но только глухо, и он, не сводя глаз с идола и продолжая вопить, овладел ею быстро и со злостью, лица ее я не видел, оно было теперь погребено под складками платья. И я, одичалый, шальной, я тоже орал, выл от ужаса, вперившись в идола, пока пинок ногой не отшвырнул меня к стене, и я грыз соль, как сейчас безъязыким ртом грызу камень, поджидая того, кого должен убить.

Солнце уже перевалило за середину неба. В расселины скалы я вижу его — зияющую дыру на каленом железе неба, глотку, как моя, словоохотливую, безостановочно изрыгающую огненные потоки над бесцветной пустыней. Впереди на тропе — ничего, ни пылинки на горизонте, а позади, там меня уже, наверное, хватились, хотя нет, рано еще, они лишь под вечер отпирали дверь и выпускали меня прогуляться, после того как я целый день наводил порядок в храме идола и обновлял приношения, а по вечерам повторялось действо, в иные разы они били меня, в другие нет, но всякий раз я служил идолу, чей образ железом врублен в мою память, а теперь и в мою надежду. Никогда еще бог не владел мной, не подчинял до такой степени, жизнь моя дни и ночи была посвящена ему; болью и отсутствием боли, это ли не радость, я был обязан ему, и даже желанием, да, да, оттого, что чуть ли не ежедневно присутствовал при безличном свирепом совокуплении, которое я теперь не мог видеть, поскольку под угрозой побоев должен был смотреть в угол. Уткнувшись лицом в соленую стену, на которой неистово трепыхались тени, я с пересохшим горлом слушал нескончаемый вопль, и жгучее бесполое желание сдавливало виски и живот. Текли за днями дни, не отличимые один от другого, точно расплавленные тропическим зноем, беззвучно отражались в соляных стенах, время обратилось в бесформенный плеск, в котором через равные промежутки взрывались воплями побои и совокупления, один долгий безвременный день, где идол царствовал, подобно лютому солнцу над моим укрытием в скале, где я снова стенаю от горя и желания и, испепеляемый жестокой надеждой совершить предательство, облизываю дуло ружья и его душу, именно душу, только в ружьях душа, а с того дня, как мне отрезали язык, я возлюбил бессмертную душу ненависти!

Какая каша, исступление какое-то, пьяный от зноя и злобы, я приник, прилег на ружье. Кто это дышит так тяжело? Невыносима эта бесконечная жара и ожидание, я должен его убить. Ни птицы, ни травинки — камень, бесплодное желание, тишина, их вопли, говорящий во мне язык, а вместо настоящего, с тех пор как они изувечили меня, бескрайнее

плоское страдание, пустыня, лишенная влаги даже ночью, ночь, запертый с богом в соленой берлоге, о, как я жаждал ночи. Только ночь с прохладными звездами и бездонными колодцами могла спасти меня, укрыть от жестоких людских богов, но из своего плена я не мог ее созерцать. Если миссионер задержится, я увижу, по крайней мере, как она встает над пустыней и обволакивает небо, опуская с темного зенита холодную золотую лозу, которая напоит меня, смочит пересохшую черную дыру, не увлажняемую боле мягкой мышцей живой плоти, и я забуду наконец тот день, когда безумием тронуло мой язык.

О, какое стояло пекло, казалось, плавилась соль, воздух разъедал глаза, и вошел колдун без маски. За ним следовала незнакомая женщина, едва прикрытая сероватой хламидой, татуировка уподобляла маске идола ее оцепенелое, как у истукана, лицо. В ней жило лишь тонкое плоское тело, рухнувшее к ногам божества, едва колдун отпер дверь. Затем он вышел, не взглянув в мою сторону, жар нарастал, я не шевелился, идол смотрел на меня поверх ее недвижного и трепещущего тела, идолова маска ее лица не дрогнула, когда я подошел ближе. Только расширились устремленные на меня глаза, я коснулся ступнями ее ступней, стенала жара, и идолица плавно, безмолвно, не сводя с меня выпученных глаз, опрокинулась на спину, медленно поджала ноги, подняла, развела колени. И сразу же — э-э, колдун следил за мной — они вошли толпой, оторвали меня от нее и принялись немилосердно бить по грехотворному органу, грехотворному, ха-ха, смешно, какой грех, где грех, где добродетель, они прижали меня к стене, железная рука стиснула мне челюсть, другая раскрыла рот, ухватила за язык и стала вытягивать его, пока кровь не полила, я ли это зверем завыл, и тогда прохладной, да, прохладной в кои-то веки, лаской полоснуло по языку. Очнулся, ночь, никого, спина упирается в стену, весь в запекшейся крови, во рту кляп из травы со странным запахом, рана уже не кровоточит, там все мертво, и жива лишь одна мучительная боль. Я хотел подняться, но упал и был счастлив, беспросветно счастлив, что наконец умру, смерть тоже прохладна и под своим покровом не прячет богов.

Я не умер, в один прекрасный день я поднялся, и юная ненависть встала на ноги вместе со мной, шагнула к двери на задней стене, открыла ее и закрыла за моей спиной, я ненавидел своих, идол стоял передо мной, из бездны, где я находился, я не просто воззвал к нему с мольбой, я поверил в него, отвергнув все, во что верил до сих пор. Хвала ему, в нем сила и могущество, его можно разрушить, но нельзя обратить в свою веру, он смотрел поверх моей головы пустыми ржавыми глазами. Хвала ему, он единственный царь, единственный господин, чьим неотъемлемым атрибутом является зло, а добрых господ не бывает. Впервые всем своим воющим от боли поруганным телом я предался ему, я признал его злотворный порядок, в его обличье возлюбил первозданное зло. Я, пленник в его царстве, добровольно сделался гражданином бесплодного, высеченного из соляной горы города, отторгнутого природой, лишенного даже редких эфемерных цветов пустыни, исключившего случайность, не знающего ласки набежавшего облака или бурного ливня, какая знакома и солнцу и пескам,— самого упорядоченного города, где углы прямы, комнаты квадратны, а люди непреклонны, я, воплощение ненависти и муки, вычеркнул из памяти ту сказку, которую мне так долго внушали. Меня обманули: только царство зла неуязвимо, меня обманули: истина квадратна, тяжела, плотна, ей неведомы оттенки, добро — это мечта, это идеал, достижение которого вечно откладывается и требует изнурительных усилий, это недосягаемый предел, царство его невозможно. Только зло способно достичь предела и царствовать безгранично, только служа ему можно обрести зримое царство, а будущее покажет, да что будущее, когда в настоящем одно зло, долой Европу, долой разум, честь и крест. Да, мне пришлось обратиться в веру моих хозяев, да, я был рабом, но коли сам я злобен, я больше не раб, пусть ноги у меня и спутаны, а уста немы. О, эта жара сводит с ума, пустыня стонет под неумолимым солнцем, а того, другого, Господа любви — коробит от одного имени,— я отринул, потому что узнал его. Он был

мечтателем, он проповедовал ложь, ему отрезали язык, чтобы речи его не смущали человечество, его проткнули гвоздями, даже в голову вбили, бедная голова, ровно моя сейчас, какая каша, как я устал, и наверняка не содрогнулась земля, не праведника убили, я не желаю в это верить, нет праведников, есть только жестокие господа, возведшие на царство безжалостную истину. Да, только идол могуч, он единственный бог мира сего, и ненависть его завет, она источник жизни, она — вода, освежающая, как мята, обдающая холодком рот и жаром желудок.

Я изменился, и они это поняли, при встрече я целовал им руки, я был из их числа, восхищался ими без устали, доверял им, надеясь, что они изувечат наших, как изувечили меня. Прослышав про миссионера, я уже знал, как поступить. Тот день был похож на другие, все тот же слепящий день, тянувшийся так давно! Под вечер наверху чаши я увидел бегущего стража, а через несколько минут меня втолкнули в капище и заперли. Там в темноте один из них повалил меня на пол и занес крестообразный меч, и долго длилась тишина, пока обычно безмолвный город не наполнился непонятным шумом, звуком голосов, которые я разобрал с трудом, поскольку говорили на моем языке, но только они зазвучали, острие меча опустилось мне на глаза, и мой страж взглядом пригвоздил меня к полу. Два голоса раздались совсем близко, так и слышу их сейчас, один спрашивал, почему дом охраняется и не прикажете ли, мой лейтенант, высадить дверь, другой отвечал коротко: «Нет»,— а минуту спустя добавил, мол, заключено соглашение, по которому город примет гарнизон в двадцать человек, при условии, что они разместятся за городской стеной и не нарушат местных обычаев. Солдат рассмеялся, дескать, они сдаются, офицер сомневался, так или иначе, они позволили нам лечить их детей и для того допускают к себе священника, а территориальный вопрос после. Первый голос сказал, что, если тут не поставить солдат, они отрежут священнику то самое место: «Ну нет! — ответил офицер.— И более того, отец Беффор приедет раньше гарнизона, через два дня он будет здесь». Больше я ничего не слышал, я лежал неподвижно под мечом, и боль раздирала меня изнутри, целое колесо, утыканное иглами и ножами, раскручивалось во мне. Они сошли с ума, лишились рассудка, допустить, чтобы прикоснулись к их городу, к их непобедимому могуществу, к истинному богу, а тому, который приедет, они не отрежут язык, он будет нагло похваляться своей добротой, ничем за то не заплатив, не снося поруганий. Царство зла отступит, люди снова будут сомневаться и тратить время на мечты о невозможном добре, изнурять себя бесплодными усилиями, вместо того чтобы ускорить пришествие единственно возможного царства, и я глядел на пригвоздившее меня лезвие: о сила, ты одна повелеваешь миром! О сила, город понемногу освобождался от шума, дверь наконец отворилась, испепеленный и полный желчи, я остался наедине с идолом, и тогда я поклялся ему спасти мою новую веру, моих истинных учителей, моего деспотичного бога, поклялся во что бы то ни стало довести предательство до конца.

Э-э, зной малость спадает, камень уже не гудит, я могу вылезти из норы и смотреть, как пустыня окрасится в желтый, охряный, а затем сиреневый цвет. Этой ночью я дождался, пока они заснут, сбил замок и вышел обычным своим, отмеренным веревкой шагом, улицы были мне знакомы, я знал, где взять старое ружье, какие ворота не охраняются, и добрался сюда в тот час, когда, сжавшись вокруг горстки звезд, ночь начинает бледнеть, а пустыня темнеет. Сейчас мне кажется, что я уже много дней сижу, затаившись среди этих камней. Скорей бы, скорей бы он приходил, скорей! Еще немного — и они хватятся меня и полетят во все стороны вдогонку, они не узнают, что ради них-то я и сбежал, что я служу им, ноги мои слабы, голод и ненависть подкашивают меня, точно вино. О, о, там, далеко, э-э, на краю тропы два верблюда, они растут, бегут иноходью, а рядом движутся, семенят две короткие тени, верблюды всегда так бегают, бодро и задумчиво. Вот и они наконец!

Ружье, быстрей, взвожу курок. О идол, о мой бог, да не ослабеет твое могущество, да продлится поругание, да правит проклятым миром

беспощадная ненависть, да будет злой господином во веки веков, да приидет царствие безжалостных черных тиранов в едином порабощенном городе из соли и железа! А теперь «пли!», огонь по жалости, огонь по немощи, по милосердию, по всему, что отдаляет пришествие зла, еще раз «пли!», вот они покачнулись, падают, а верблюды мчатся к горизонту, где черные птицы гейзером взметнулись в безоблачное небо. Я смеюсь, смеюсь, а тот, в ненавистной сутане, корчится, приподнимает голову, видит меня, меня, своего спутанного по ногам всемогущего господина, почему он мне улыбается, размозжить эту улыбку! Сладостный звук: прикладом по лицу добра, сегодня, сегодня, наконец свершилось, и повсюду в пустыне, во многих часах пути отсюда, шакалы уже принюхиваются к несуществующему ветру и ленивой рысцой тянутся на запах падали, на ожидающее их пиршество. Победа! Я простираю руки к небу, и оно смягчается, лиловая тень заволакивает дальний его край, о европейские ночи, о родина, о детство, почему ж я плачу в минуту торжества?

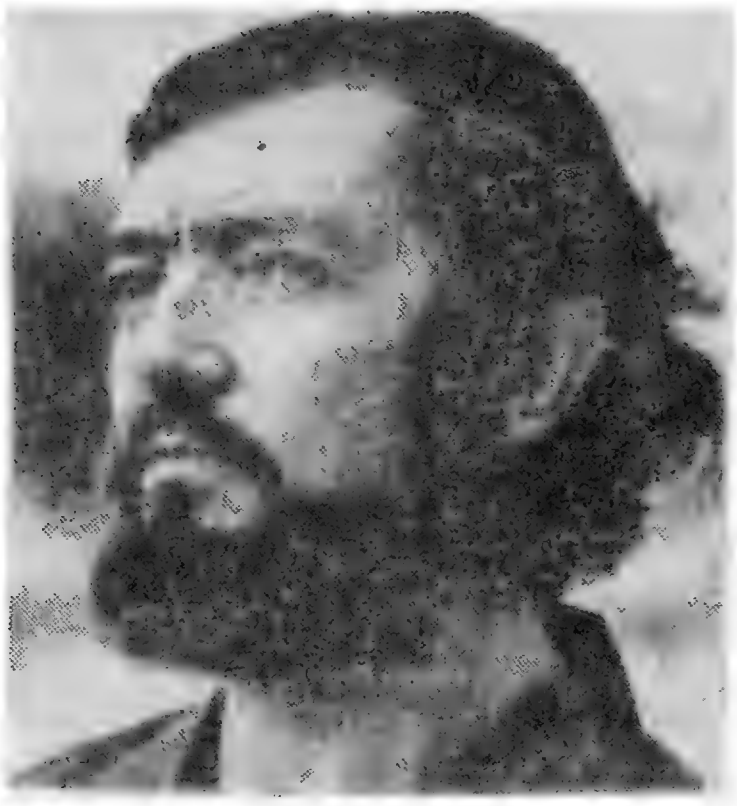
Он шевельнулся, нет, звук донесся с другой стороны, это они, мои хозяева, летят стаей черных птиц, набрасываются на меня, хватают, а-а-а! да, бейте меня, они испугались за город, они уже видят его со вспоротым брюхом, воющим от боли, они боятся мести солдат, которую я навлек, и поделом священному городу. Теперь защищайтесь, бейте, бейте сначала меня, вы владеете истиной! Мои господа победят затем и солдат, победят слово и любовь, пройдут через пустыни и моря, черными покрывалами затмят свет Европы, бейте в живот, нате, бейте в глаза, рассеют соль по всему континенту, растительность и молодость зачахнут, и толпы немых со спутанными ногами поплетутся вместе со мной по пустыне мира под жестоким солнцем истинной веры, и я не буду больше одинок. О, как больно, как больно, их ярость мне приятна, они распинают меня на седле, пощадите, я улыбаюсь, я благословляю удар, пригвоздивший меня.

. . . . . .

Как тиха пустыня! Ночь, я один, хочется пить. Подожди еще, в какой стороне город, шум вдали, солдаты, быть может, победили, нет, нельзя, солдаты, даже победившие, недостаточно жестоки, они не способны сделаться царями, они опять скажут, что надо становиться лучше, и снова миллионы людей будут метаться, разрываясь между добром и злом, о идол, почто ты оставил меня? Все кончено, мучает жажда, тело горит, непроглядная ночь застилает глаза.

Какой долгий, долгий сон, я пробуждаюсь, нет, я умираю, встает заря, для всех живущих — первый луч, новый день, а для меня — неумолимое солнце и мухи. Кто это говорит, никого, небо не отверзлось, нет, нет, Бог не говорит с пустыней, но чей же это голос: «Если ты готов умереть за ненависть и силу, кто простит нас?» Может, это другой язык во мне или же это тот, кто не желает умирать и повторяет у меня в ногах: «Мужайся, мужайся, мужайся»? Что, если я снова ошибся? Люди, бывшие мне некогда братьями, о одиночество, я взываю к вам, не оставьте меня! Вот, вот, кто ты, истерзанный, с окровавленным ртом, это ты, колдун, солдаты победили тебя, там горит соль, это ты, мой возлюбленный господин! Сбрось личину зла, сделайся добрым теперь, мы ошиблись, мы начнем сначала, мы построим новый город, город милосердия, я хочу вернуться домой. Да-да, помоги мне, вот так, протяни руку, дай...

Горсть соли засыпала рот болтливого раба.



ХУЛИО КОРТАСАР

Рассказы

Перевод с испанского И. ГЛУЩЕНКО

Конец пути

Шеридану Лефаню, в память об одних домах.

Антони Тауле, в память об одних столах.

Она остановилась здесь, скорее всего, потому, что солнце было уже в зените, и на смену привычному удовольствию от утренней езды пришли жажда и сонливость. Для Дианы этот городок с невыразительным названием был всего лишь еще одной точкой на карте провинции, далеко от города, где ей предстоит провести ночь; площадь, защищенная от знойного шоссе пышными кронами платанов, открывалась, как круглая скобка, и Диана въехала на середину, облегченно вздохнула и поставила машину у кафе, столики которого виднелись под деревьями.

Официант принес ей анисовую водку со льдом и спросил, будет ли сеньора обедать — впрочем, торопиться некуда; кафе закрывается только в два. Диана сказала, что прогуляется по городу и вернется. «Смотреть здесь особенно нечего»,— возразил официант. Она ответила бы, что не стремится что-либо увидеть, но вместо этого попросила маслин и порывисто осушила высокий стакан, переливающийся всеми цветами радуги. Прохладная тень ласкала кожу; несколько посетителей играли в карты, двое мальчишек возились с собакой, какая-то старуха сидела в газетном киоске — все это существовало будто вне времени, расплывалось в летнем мареве. «Вне времени»,— подумала Диана, когда взгляд ее упал на одного из игроков: он долго и неподвижно держал в руке карту, прежде чем бросить ее на стол с победным щелчком. Сама она давно уже разучилась продлевать всякий прекрасный миг, ощущать, как минута растягивается, словно по волшебству, так что проживаешь ее с начала до конца; когда-то ей это удавалось и помогало удержаться в уносящемся времени. «Удивительно,— подумала Диана, наблюдая за растянувшейся на земле собакой, которая задыхалась от жары,— что иногда не живешь, а лишь приемлешь жизнь; даже то, что ничего не приемлешь, уходишь едва ли не раньше, чем придешь, убиваешь все, что пока не может убить тебя». Она не вынимала сигарету изо рта, хотя знала, что в конце концов обожжет себе губы; надо бы бросить ее и раздавить — так поступила она с прожитыми годами, когда было потеряно все, что наполняет жизнь смыслом; все, кроме сигарет, удобной чековой книжки и быстрого автомобиля. «Потеряно,— повторила она,— есть такая красивая мелодия у Дюка Эллингтона, а я и не помню ее, все дважды потеряно, девушка, да и сама девушка пропала; когда тебе сорок, можно лишь плакать, потому что все слова уже сказаны».

Почувствовав себя полной дурой, Диана решила, что пора

расплатиться с официантом и пойти погулять по городку, навстречу событиям, которые произойдут независимо от ее желаний и грез. Казалось, не она смотрит на предметы, а они сами разглядывают ее: вот ничем не примечательная антикварная лавка, вот ветхий фасад картинной галереи. Афиши сообщали о персональной выставке неизвестного ей художника с замысловатой фамилией. Диана купила билет и вошла в первый зал скромного здания с анфиладой комнат — было заметно, что местным властям стоило большого труда превратить этот дом в музей. Ей дали брошюру, содержавшую общие сведения о творчестве художника, связанном, в основном, с этим городом, выдержки из критических статей со стандартными похвалами; она положила ее на зеркальный столик и стала разглядывать картины; в первое мгновение Диана решила, что это фотографии, хотя поражал их размер — никогда раньше ей не приходилось видеть цветных фотографий, увеличенных во столько раз. Не сразу поняла она, что это все-таки картины с дотошно выписанными мелочами, и Диана заинтересовалась не на шутку, теперь казалось, будто они срисованы с фотографий, нечто среднее; и хотя света в залах было достаточно, она долго не могла разобрать, что это — копии с фотографий или плод реалистического наваждения, уводящего художника за грань здравого смысла.

В первом зале висело четыре или пять картин, изображавших стол, пустой или полупустой, ярко освещенный резким солнечным светом. Иногда рядом стоял стул, но чаще стол дополняла лишь вытянутая тень на полу, полосатом от бокового света. Во втором зале Диана увидела нечто новое: на одной из картин был изображен мужской силуэт, и эта фигура объединяла интерьер комнат с дверью, распахнутой в нечетко выписанный сад; человек был изображен со спины, он удалялся от неизменного стола на переднем плане, оказавшегося точно посередине между Дианой и персонажем картины. Без сомнения, на всех этих полотнах был запечатлен один и тот же дом, теперь к нему прибавилась еще длинная зеленоватая веранда с той, другой картины, где мужчина, повернувшись спиной, смотрел на дверной проем в глубине. Странно, но пустые столы были изображены куда отчетливее, чем этот человек; похоже было, что он забрел сюда случайно и без особой цели прогуливается по большому заброшенному дому. Кругом стояла тишина, не только потому что Диана была, наверное, единственным посетителем маленького музея; от этих холстов веяло одиночеством, и темный мужской силуэт придавал ему еще бóльшую безысходность. «Дело в свете,— подумала Диана,— в свете, плотном, как материя, который давит на предметы». Краски тоже были полны тишиной; глубокий черный фон, резкие контрасты придавали теням выпуклость, они напоминали траурные покрывала, полотнища катафалка.

Войдя во второй зал, Диана удивилась тому, что помимо новой серии картин с пустыми столами и человеком, по-прежнему стоявшим спиной к зрителю, были и полотна, изображавшие то одинокий телефон, то несколько фигур. Конечно, она смотрела и на них, но словно не видела — это повторение пустых столов было столь навязчивым, что остальные картины превращались, по сути, в обрамление, будто они украшали стены в нарисованном доме, а не в музее. Диана с удовольствием открыла, что легко поддается гипнозу, испытывала сонную негу, увлекаемая фантазиями, невесомыми дýхами полуденного зноя. Вспомнив, что не все разглядела на одной из картин, Диана вернулась в первый зал; и в самом деле, на столе, который вначале показался ей пустым, стоял кувшин с кисточками. Пустой же стол был изображен на холсте напротив, и Диана остановилась, чтобы получше разглядеть фон картины — открытую дверь, за которой угадывалась следующая комната, часть камина или еще одна дверь. С каждым мигом становилось яснее, что все эти комнаты находятся в одном и том же доме, нечто вроде гипертрофированного автопортрета, с которого сам художник скромно удалился, кроме, разве, тех полотен, где он был изображен в виде черного силуэта (однажды — в длинном плаще) всегда спиной к посетителю, к чужаку, заплатившему за вторжение, за то, чтобы, в свою

очередь, проникнуть в дом и пройтись по пустынным комнатам. Диана опять прошла второй зал и приблизилась к закрытой двери, ведущей в третий. Любезный и чуть смущенный голос заставил ее оглянуться: служитель в форме — бедняга, в такую жару! — предупреждал, что музей закрывается с двенадцати до половины четвертого.

— А что, много еще осталось? — спросила Диана, внезапно почувствовав рябь в глазах и пресыщение, неизбежные в больших музеях.

— Последний зал, сеньорита. Там всего одна картина, говорят, художник пожелал, чтобы она висела отдельно. Хотите посмотреть ее перед уходом? Я подожду.

Отказываться было чрезвычайно глупо, Диана понимала это, когда произнесла «нет», и обоим вспомнилась шутка насчет обеда, который может остыть, коли не придешь вовремя. «Не покупайте билет, если надумаете вернуться,— сказал ей служитель,— я вас запомнил». На улице, ослепленная полуденным солнцем, Диана размышляла, как чертовски нелепо сначала так заинтересоваться гиперреалистическим или бог еще знает каким творчеством этого художника, а потом не посмотреть последнюю картину, возможно, самую лучшую. Впрочем, если художнику понадобилось выделить ее, значит, есть в ней нечто особенное — иная манера, быть может, или просто она написана в другой период; зачем же рвать нить образов, которая тянулась в ней, создавая единое целое, некое замкнутое пространство, куда Диана теперь проникла. Лучше уж вообще не заходить в последний зал и не уподобляться добросовестным туристам, одержимым идеей осмотреть в музеях все до конца.

Еще издали Диана увидела знакомое кафе на площади и подумала, что пора обедать; и хотя она не была голодна, так повелось во время их путешествий с Орландо; для Орландо полдень был переломным часом, церемония обеда позволяла по всем правилам перейти от утра к вечеру, и Орландо, конечно же, не стал бы продолжать прогулку, если кафе находилось в двух шагах. Но есть ей не хотелось, а думать об Орландо было с каждым разом все менее болезненно; и в том, что она уходила от кафе все дальше и дальше, не было вызова или нарушения ритуала. Она могла уже вспоминать о многом и чувствовать себя при этом совершенно независимой, идти куда глаза глядят и вызывать в памяти далекие видения одного лета, проведенного с Орландо в горах, пустынного пляжа, где солнце, такое же жаркое, как сегодня, нещадно жгло плечи и затылок; самого Орландо на этом пляже, овеваемом соленым ветром; между тем Диана все больше углублялась в безымянные и безлюдные улочки, почти касаясь стен из серого камня, рассеянно глядя на какую-нибудь случайно приоткрытую дверь, за которой угадывались внутренний дворик, колодцы с прохладной водой, глицинии и коты, спящие на песке. И вновь кажется, что не она идет по городку, а городок проходит сквозь нее, будто брусчатая мостовая скользит вниз, как эскалатор; Диана стоит на этой движущейся ленте, а все вокруг струится и исчезает позади, будь то жизнь или незнакомый город. Теперь навстречу плыла маленькая площадь с двумя убогими скамейками, за ней — еще одна улочка, ведущая к смежным полям, садам, обнесенным не очень прочными заборами,— это было особое, полуденное одиночество, которое жестоко убивает тени, останавливает время. В запущенном саду не было деревьев, и ничто не мешало видеть распахнутую дверь старого дома. Не веря своим глазам, но и не удивляясь, Диана различила в полумраке галерею, точно такую же, как на одной из картин в музее; ей почудилось, будто она вошла в картину с другой стороны, со стороны сада, вместо того чтобы оставаться просто зрителем. Если и было в этом что-то странное, то лишь то, что открытие нисколько не поразило ее. Диана уверенно проникла в сад и подошла к двойной двери — почему бы и нет, в конце концов она уже купила билет, и здесь не было никого, кто помешал бы ей идти по саду, войти в распахнутую дверь, пересечь коридор, ведущий в первую пустую комнату, через окно которой бил резкий желтый свет и растекался по боковой стене, обрисовывая пустой стол и единственный стул.

Диана не почувствовала ни страха, ни удивления, ни желания думать

о потусторонних силах: нужно ли унижаться, строить предположения, искать ответа, когда слева уже открывается другая дверь, и в комнате с высоким камином неизменный стол отбрасывает такую длинную, подробнейшую тень, что кажется — их два. Диана равнодушно оглядела маленькую белую скатерть и три стакана на ней,— повторения становились однообразными, яркий свет разрезáл полумрак. Новой деталью была только дверь в глубине, запертая, а не приоткрытая, как первые две, и это неожиданно затрудняло продвижение, до сих пор столь удачное. Диана слегка замедлила шаг и подумала, что дверь закрыта, потому что она не вошла в последний зал музея, и если она заглянет за эту дверь, то словно вернется туда и завершит осмотр. В конце концов, все чересчур геометрично, невероятно, но в то же время закономерно, так что бояться или удивляться чему-либо в этом доме было так же неуместно, как свистеть или спрашивать, если ли тут кто-нибудь.

Исключения не могло быть и здесь, хотя комната казалась запертой; дверь легко поддалась, и Диана нашла за ней то же, что и везде: струю желтого света, которая разбивалась о стену, стол, казавшийся еще более голым, чем другие, с вытянутой гротескной тенью, будто кто-то резко сорвал с него черную скатерть и швырнул на пол; а почему бы не взглянуть на этот стол иначе и не увидеть в нем застывшего на четырех лапах зверя, с которого только что содрали шкуру — вот она лежит теперь рядом чернеющим пятном. Достаточно было взглянуть на стены, чтобы узнать все ту же пустынную декорацию, только на этот раз не было двери, ведущей в следующие комнаты. Диана не сразу заметила стул подле стола, но теперь присоединила его к привычной цепочке столов и стульев во стольких похожих комнатах. Она чуть разочарованно подошла к столу, села и закурила, забавляясь дымом, который вился в полосе света, рисуя сам себя, будто хотел бросить вызов царству пустоты во всех комнатах, так же как и короткий смешок где-то за спиной у Дианы, на миг оборвавший тишину, ведь это — всего лишь птичий писк в саду или треск сухих веток, незачем заглядывать в предпоследнюю комнату, где три стакана отбрасывают на стену слабые тени, незачем торопиться, убегать — не теряя головы, но и не оборачиваясь.

Мальчуган на улице спросил у нее, который час, и Диана подумала, что если она хочет обедать, то нужно поторопиться; но официант словно уже ждал ее под платанами и приветливо помахал рукой, показывая самое прохладное место. Она не была голодна, но в ее жизни было принято обедать в определенный час или потому, что Орландо приучил ее есть в эту пору, или надо было чем-то заполнять время. Диана заказала всего одно блюдо и белое вино; ждать пришлось слишком долго для столь безлюдного места; и еще до того, как она выпила кофе и расплатилась за обед, она уже знала, что вернется в музей; что-то темное в ней требовало перепроверить то, что нужно бы принять не вникая, не любопытствуя, и если не вернешься туда, пожалеешь в конце пути, когда все станет таким, как прежде: музеи, отели и воспоминания, и хотя она вряд ли проникнет во все до конца, рассудок ее успокоится, расслабится — как собака после сытной еды,— едва лишь убедится, что законы симметрии не нарушены, потому что картина, вывешенная в последнем зале музея, изображает, конечно же, последнюю комнату в доме, да и все остальное расположится по порядку, если она расспросит служителя, чтобы заполнить пустые места; в конце концов множество художников в точности копировало свои модели,— сколько столов этого бренного мира попали на холсты Лувра или музея «Метрополитен», навечно запечатлев свои прообразы, которые давно уже превратились в прах.

Диана неторопливо прошла первые два зала (во втором была пара, говорившая между собой очень тихо, хотя за минуту до этого в музее кроме них никого не было). Диана задержалась у двух или трех картин, и впервые свет вошел в нее, заставив поверить в то, во что не захотела поверить в одиноком доме. Она увидела, что пара направляется к выходу, и дождалась, пока останется одна, прежде чем подойти к двери, ведущей в по-

следний зал. Картина висела на левой стене, надо было встать на середину зала, чтобы как следует разглядеть стол и стул, на котором сидела женщина. Так же, как и стоящий спиной человек на тех полотнах, женщина была одета в черное. Но ее лицо было повернуто на три четверти, каштановые волосы падали на плечо, скрытое в темноте. Эта женщина мало чем выделялась на фоне остальных произведений, она вписывалась в эту живопись, как и мужчина, была еще одним звеном той же цепи, еще одной фигурой в пределах единой эстетической воли. И все же было что-то, быть может, объяснявшее, почему в последнем зале нет других картин; за внешним сходством скрывалось нечто иное, Диана все отчетливее понимала, что пол персонажей — не главное, что отличает их друг от друга; поза женщины — левая рука свисает вдоль тела, туловище слегка наклонено, и вся тяжесть как бы перенеслась на невидимый локоть, опиравшийся о стол,— говорила Диане о другом, создавала ощущение одиночества, большего, чем просто задумчивость или забытье. Эта женщина была мертва: вот почему рука ее свисает и спадают волосы, а загадочная неподвижность гораздо безысходнее неподвижности предметов и людей на других картинах; здесь смерть была вершиной тишины, одиночества дома и его обитателей, каждого стола, каждой тени и галереи.

Диана не заметила, как очутилась на улице, затем на площади, села, наконец, в машину и выехала на кипящее от жары шоссе. Она сразу развила большую скорость, затем постепенно замедлила ход и начала размышлять обо всем увиденном, лишь когда почувствовала, что сигарета обожгла ей губы,— зачем думать, когда в машине осталось столько кассет с музыкой, которую Орландо любил и забыл, она время от времени слушала ее, ведь лучше мучиться от нахлынувших воспоминаний, чем от одиночества, от пустого сиденья рядом. До города был час езды — для нее все на свете было удалено на часы или на века, будь то забвение или горячая ванна, которую она примет в отеле, виски в баре или вечерняя газета. Все симметрично, как всегда в ее жизни, каждый новый этап как бы отражение предыдущего, и вместе с сегодняшним отелем число всех ее отелей станет четным, а может, этот новый отель откроет нечет, который завершится только в конце следующего отрезка пути; так же будет с кроватями и с бензоколонками, с соборами и с неделями. То же самое должно было произойти и в музее, где навязчиво повторялись предмет за предметом, стол за столом — и вдруг нить порвалась: последняя картина была тем исключением, из-за которого вся эта совершенная гармония, вышедшая уже за пределы и разума, и бреда, распалась вмиг. Конечно, Диана ошиблась в самом начале — нельзя было искать здравый смысл, какую-либо закономерность в том, что было явным безумием, дурацкой страстью к повторам, и все же хотелось до тошноты, чтобы увиденное расположилось симметрично, к ней вернулась бы способность логически мыслить, и наваждение это заняло бы, наконец, подобающее место в ее жизни, войдя в другие симметричные повторения, в другие отрезки ее пути. Но так не получалось, что-то ускользнуло от Дианы там, и нельзя было смириться с этим и двигаться дальше, все ее тело рвалось назад, как бы сопротивляясь машине, и если что-то и надо было сделать, так это вернуться и, призвав на помощь рассудок, убедиться, что то была лишь прихоть воображения, что никакого дома на самом деле не было, а если он и был, то в музее висели лишь абстрактные рисунки или исторические картины, которых она не заметила. Сбежать — значило обмануть себя, принять неприемлемое, с опозданием вырваться за пределы той единственной жизни, которую можно себе вообразить, выменять ее на каждодневный восход солнца и сводку новостей по радио. Диана увидела справа пустой островок безопасности, развернулась и помчалась по шоссе, пока на окраине городка не показались первые усадьбы. Она миновала площадь, вспомнила, что если повернуть налево, можно будет поставить машину, прошла пешком по безлюдной улочке, услышала, как поют цикады на вершине платана, вот и заброшенный сад, входная дверь по-прежнему открыта.

Зачем задерживаться в двух первых комнатах, где косой свет все так же

ярок, проверять, на месте ли столы, не сама ли она закрыла дверь последней комнаты, когда уходила. Диана знала, что стоит лишь толкнуть ее, войти без труда и увидеть прямо перед собой стол со стулом. Снова сесть, чтобы выкурить сигарету (тяжелая кучка пепла от предыдущей скопилась на краю стола; окурок она, наверное, бросила на улице), облокотиться с краю, чтобы спрятаться от бьющего из окна света. Диана достала из сумочки зажигалку и посмотрела на первое колечко дыма, свернувшееся в струе света. Если тот легкий смешок и был птичьим чириканьем, то теперь снаружи не пела ни одна птица. Но у Дианы оставалось еще много сигарет, она могла опереться о стол и смотреть перед собой до тех пор, пока взгляд ее не затеряется в темноте дальней стены. Конечно, она могла в любую минуту уйти, но могла и остаться; интересно будет проследить за тем, как солнечный луч поползет по стене, все больше и больше вытягивая тень от ее тела, стола и стула, или останется таким же недвижным, ничего не изменяя, застынет, как все вокруг; как она сама и как висящий в воздухе дым.

Путешествие

Это может происходить в Ла Риохе, в провинции под названием Ла Риоха, в конце дня, когда уже смеркается, но наша история начинается еще во дворике загородного имения; мужчина говорит, что хотя путешествие предстоит сложное, он все же сумеет отдохнуть, а ему больше ничего и не нужно; так ему посоветовали — спокойно пожить две недели в Мерседесе. Жена сопровождает его до деревушки; там нужно купить билеты (ему сказали еще, что лучше всего купить их на местной станции, а заодно проверить, не изменилось ли расписание). Когда живешь в своем имении замкнуто, всегда кажется, что расписания и тому подобные вещи должны часто меняться; самое странное, что порой так и бывает. Лучше уж вытащить автомобиль и поехать в деревню, хотя остается мало времени, чтобы успеть на первый поезд в Чавес.

Они приезжают на станцию в шестом часу и ставят машину на пыльной площади между двуколками и телегами с бидонами; в дороге они почти не разговаривали между собой — муж спросил только, где рубашки, а жена ответила, что чемодан собран, осталось положить в портфель документы и какую-нибудь книжку.

— Хуарес знает расписание,— произнес муж,— он объяснил мне, как доехать до Мерседеса, и сказал, что лучше всего купить билеты в деревне и там же проверить пересадки.

— Ты уже говорил,— кивнула женщина.

— От имения до Чавеса на машине шестьдесят километров, самое меньшее. По-моему, поезд на Пеулько приходит в Чавес в девять с чем-то.

— Машину ты сдашь начальнику станции,— полувопросительно сказала жена.

— Правильно. Поезд из Чавеса приходит в Пеулько уже за полночь, но в отеле, вроде бы, всегда есть номера с ванной. Жаль, не удастся отдохнуть, потому что следующий поезд идет, кажется, в пять утра, сейчас уточним. А после этого еще приличный кусок до Мерседеса.

— Да, далеко.

Народу на станции немного — какие-то крестьяне покупают сигареты или ждут поезда на перроне. Касса расположена в самом его конце, почти рядом с запасными путями. Это — комната с грязной стойкой; стены увешаны картами и объявлениями, в глубине стоят два письменных стола и железный сейф. Человек без пиджака за стойкой продает билеты, за одним из столов работает девушка-телеграфистка. Почти что темно, но электричества они не зажигают, используя до последнего тусклый свет, едва проникающий через окно в глубине.

— Потом быстренько домой,— продолжает мужчина.— Нужно еще погрузить багаж, хоть бы бензина хватило.

— Купи билеты и поедем,— произносит женщина, она стоит чуть позади мужа.

— Постой, дай-ка сообразить. Значит, сначала я еду до Пеулько. То есть нужно купить билет до... Хуарес говорил, а я что-то не помню.

— Не помнишь,— повторяет жена в своей обычной манере, когда трудно отличить вопрос от утверждения.

— С этими названиями вечно одно и то же,— говорит он с усталой улыбкой.— Только откроешь рот, как они вылетают из головы. А потом еще другой билет, из Пеулько в Мерседес.

— А почему два билета? — удивляется жена.

— Хуарес объяснял мне, что линии принадлежат разным компаниям, и поэтому нужны два билета, зато оба можно купить на любой станции. Англичане вечно что-то придумывают.

— Здесь давно уже нет англичан.

В кассу входит смуглый юноша и что-то проверяет по расписанию. Женщина подходит поближе и облокачивается о стойку, она светловолоса, ее усталое и красивое лицо теряется в дымке золотистых локонов, которые неясно освещают его контуры. Кассир с минуту смотрит на нее, но она молчит, словно ожидая, когда же муж наконец купит билеты. В кассе никто ни с кем не здоровается; кругом такая темнота, что это уже неважно.

— Вот здесь, на карте, надо посмотреть,— говорит мужчина, подходя к левой стене.— Слушай внимательно. Мы находимся...

Его жена идет следом за ним и смотрит на палец мужа, который нерешительно скользит по висящей схеме, и ищет, где бы остановиться.

— Это наша провинция,— говорит мужчина,— а мы находимся вот здесь. Нет, здесь. Нет, пожалуй, еще южнее. А мне нужно вот сюда, в этом направлении, видишь? А сейчас мы, кажется, вот здесь.

Мужчина отступает назад и разглядывает всю карту сверху донизу, довольно долго.

— Это ведь наша провинция, правда?

— Наверное,— отвечает жена.— И ты считаешь, что мы вот здесь.

— Здесь, а где же еще? Вот это, должно быть, шоссе. А до той станции — шестьдесят километров, так Хуарес говорит; мой поезд как раз оттуда и пойдет.

— Ладно, тогда покупай билеты,— торопит женщина.

Мужчина смотрит на карту еще несколько минут, затем подходит к кассиру. Жена идет за ним и вновь облокачивается о стойку, будто ей предстоит долго ждать. Тем временем юноша заканчивает разговаривать с кассиром и опять отходит к расписанию. За столом телеграфистки вспыхивает голубой свет. Мужчина вытаскивает кошелек, ищет деньги и отсчитывает, наконец, несколько купюр.

— Дайте мне билет до...

Он оборачивается к жене, которая рассматривает рисунок на стойке, нечто вроде предплечья, неумело нацарапанного красными чернилами.

— Как называется город, куда я еду? Я забыл. Не тот, другой, первый. В первый я еду на машине.

Женщина поднимает глаза и смотрит на карту. Мужчина нетерпеливо машет рукой, потому что карта слишком далеко. Кассир облокачивается о стойку и молча ждет. У него зеленые очки, в открытом вороте рубахи видны рыжеватые волосы.

— По-моему, ты сказал Альенде,— говорит женщина.

— Да нет, при чем тут Альенде!

— Я же не слышала, как Хуарес объяснял тебе дорогу.

— Но я все повторил в машине: и про расписание, и про пересадки.

— Никакой станции Альенде поблизости нет,— замечает кассир.

— Конечно, нет,— отмахивается мужчина.— В общем, я должен ехать до...

Женщина вновь глядит на красное предплечье; нет, это не предплечье, теперь уже ясно.

— Короче,— дайте мне билет первого класса до... Я знаю, что нужно поехать на машине к северу от имения. Ну, что, не вспомнила еще?

— Время есть,— говорит кассир.— Не торопитесь.

— Времени не так уж много,— возражает мужчина.— В общем,

мне нужно доехать на машине до... Дайте мне билет оттуда до другой станции, где пересадка на Альенде. Но вы говорите, что это не Альенде. Как же ты не помнишь?

Он подходит к жене ближе и задает свой вопрос, потерянно улыбаясь. Сейчас он готов вернуться к карте и вновь начать искать, но пока остается на месте, чуть склонившись над женой, которая все водит пальцем по стойке.

— У вас еще есть время,— повторяет кассир.

— Ну, так что? — спрашивает мужчина.— Значит, ты...

— Что-то вроде Морагуа,— полувопросительно произносит жена.

Мужчина бросает взгляд на карту, но видит, что кассир отрицательно мотает головой.

— Нет,— возражает мужчина.— Не верю, чтобы мы не вспомнили, ведь как раз пока мы ехали...

— Обычная история,— вмешивается кассир.— Лучшее, что тут можно сделать,— это отвлечься и поговорить о чем-нибудь другом, глядишь, название выпорхнет, словно птичка,— как раз сегодня я говорил это одному человеку, который ехал в Рамальо.

— Рамальо,— повторяет мужчина.— Нет, это не Рамальо. Но, может быть, если посмотреть по списку станций...

— Вот они,— кивает кассир, показывая на расписание, которое висит на стене.— Сейчас их, должно быть, около трехсот. Не считая полустанков и товарных станций, но у каждой, конечно, есть название.

Мужчина подходит к расписанию и начинает водить пальцем по первой колонке. Кассир ждет, вынимает из-за уха сигарету и посасывает кончик, перед тем как зажечь ее, смотрит на женщину, которая все так же опирается о стойку. В полумраке кажется, что она улыбается, но разглядеть это невозможно.

— Прибавь-ка света, Хуана,— говорит кассир; телеграфистка протягивает руку к выключателю, и на желтоватом низком потолке вспыхивает лампа. Мужчина между тем дошел уже до середины второй колонки, палец его то замирает, то скользит вверх, то вновь опускается, то двигается в сторону. Теперь женщина не скрывает улыбки — кассир видит это, света достаточно, и, больше не сомневаясь, тоже улыбается неизвестно чему, пока мужчина вдруг не поворачивается и не возвращается к стойке. Смуглый юноша садится на скамейку рядом с дверью и становится еще одним зрителем, переводящим взгляд с одного лица на другой.

— Так я опоздаю,— говорит мужчина.— Если бы хоть ты помнила, ты же знаешь, я всегда забываю названия.

— Хуарес тебе все объяснил,— отвечает женщина.

— Да при чем тут Хуарес, я тебя спрашиваю!

— Ты должен был ехать на двух поездах,— говорит женщина.— Сначала ты едешь до станции на машине, я помню, что ты хотел сдать ее начальнику.

— Это тут ни при чем.

— На каждой станции есть начальник,— подтверждает кассир.

Мужчина смотрит на него так, будто не слышит. Он ждет, пока его жена вспомнит, ему вдруг кажется, что все зависит только от нее, от того, вспомнит она или нет. Времени остается совсем мало, надо еще вернуться в имение, погрузить чемодан и выехать в северном направлении. Усталость разом наваливается на него, словно это забытое название, и давит с каждой минутой все больше и больше. Он не видел, как улыбалась жена,— это заметил только кассир. Мужчина все ждет, что она сейчас вспомнит, считая, что чем неподвижнее будет он, тем больше ей это поможет; он опирается рядом с ней о стойку, а жена все забавляется красным рисунком, легко обводит его пальцем, зная уже, что это не предплечье.

— Вы правы,— говорит мужчина, глядя на кассира.— Когда слишком долго думаешь о чем-нибудь, названия забываются, но, может быть, вы...

Женщина округляет губы, будто хочет что-то в себя втянуть.

— Кажется, я вспоминаю. В машине мы говорили, что ты едешь

сначала в... Это ведь не Альенде, правда? Но тогда что-то вроде Альенде. Проверь еще раз букву О или Б. Если хочешь, я посмотрю.

— Нет, не то. Хуарес объяснил мне, где лучше всего сделать пересадку... Можно поехать и другим путем, но тогда придется пересаживаться трижды.

— Это уж слишком,— вмешивается кассир.— Достаточно и двух раз, в этих поездах столько пыли, не говоря уж о жаре.

Мужчина вновь нетерпеливо машет рукой и поворачивается спиной к кассиру, вставая между ним и женой. Теперь он видит сбоку юношу, наблюдающего за ними со своей скамейки, и становится так, чтобы не видеть ни юноши, ни кассира, чтобы остаться один на один с женой, которая наконец-то оторвала палец от рисунка и рассматривает теперь свой накрашенный ноготь.

— Я не помню,— говорит мужчина очень тихо.— Я ничего не помню, ты же знаешь, но ты должна помнить, подумай еще. Вот увидишь, ты вспомнишь, я уверен.

Женщина снова округляет губы. Несколько раз моргает. Мужчина крепко берет ее за кисть и сжимает. Теперь она смотрит на него не моргая.

— Лас Ломас,— шепчет она.— Может быть, это Лас Ломас?

— Нет,— настаивает мужчина.— Не может быть, чтобы ты не вспомнила.

— Ну, тогда Рамальо. Хотя я уже говорила. Если это не Альенде, значит, Лас Ломас. Хочешь, я посмотрю по карте.

Он отпускает ее, и женщина потирает кожу, тихонько дуя на руку.

Мужчина смотрит в пол и тяжело дышит.

— Такой станции, Лас Ломас, тоже нет,— предупреждает кассир.

Женщина смотрит на кассира через голову мужа, еще ниже склонившегося над стойкой. Кассир не спеша, как бы пробуя, едва улыбается ей.

— Пеулько,— неожиданно произносит мужчина.— Я вспомнил. Это Пеулько, правда?

— Возможно,— отвечает жена.— Может, и Пеулько, но мне это название ничего не говорит.

— Если вам нужно ехать на машине в Пеулько, то времени почти не осталось...— вставляет кассир.

— Так что, по-твоему, это не Пеулько? — настаивает муж.

— Не знаю,— отвечает женщина.— Ты говорил тогда, а я не обратила внимания. Может быть, и Пеулько.

— Хуарес сказал Пеулько, я точно помню. От имения до станции примерно шестьдесят километров.

— Гораздо больше,— говорит кассир.— Вы не успеете добраться туда на машине. А куда вы поедете потом?

— Что значит — потом?

— Дело в том, что Пеулько — это всего-навсего узловая станция. Несколько домишек и гостиница на вокзале. Туда едут, чтобы пересесть на другой поезд. Конечно, если у вас там дела, это другой разговор.

— Не может быть, чтобы это было так далеко,— перебивает жена.— Хуарес говорил — шестьдесят километров, так что это не Пеулько.

Мужчина медлит с ответом; он приложил ухо к ладони, будто слушает себя изнутри. Кассир не сводит глаз с жены и ждет. Он не уверен, улыбнулась она ему или нет, пока говорила.

— Нет, все-таки это Пеулько,— произносит мужчина.— Далеко, правильно, потому что это — вторая станция. Мне нужно купить билет до Пеулько и ждать другого поезда. Вы сказали, что это просто узловая станция с гостиницей. Так это и есть Пеулько.

— Но до Пеулько не шестьдесят километров,— возражает кассир.

— Конечно, нет,— вступает жена, выпрямляясь и немного повышая голос.— Пеулько — это вторая станция, но мой муж не может вспомнить название первой, а она-то и находится в шестидесяти километрах. Хуарес же говорил тебе.

— А-а,— радуется кассир,— но в таком случае вам нужно ехать в Чавес, а потом уже пересесть на Пеулько.

— Тогда из Чавеса ты едешь в Пеулько,— не совсем уверенно произносит женщина.

— По-другому отсюда вообще не выберешься,— говорит кассир.

— Вот видишь? — спрашивает жена.— Если ты убежден в том, что вторая станция — это Пеулько, то...

— Но ты разве не помнишь? — удивляется он.— Теперь-то я почти не сомневаюсь в этом, но когда ты сказала «Лас Ломас», я решил было, что это то самое и есть.

— Я сказала не «Лас Ломас», а «Альенде».

— Разве? — спрашивает муж.— По-моему, ты сказала «Лас Ломас».

— Никакой станции Лас Ломас нет,— отрезает кассир.

— Значит, я сказала «Альенде», какая разница? В общем, тебе нужны Чавес и Пеулько, так ведь? Покупай билет из Чавеса в Пеулько, и пошли.

— Правильно,— соглашается кассир, открывая ящик.— Но из Пеулько... Я ведь сказал вам, что это всего лишь узловая станция.

Пока кассир не произнес этих слов, мужчина рылся в бумажнике, вдруг рука его застывает в воздухе. Кассир опирается на край открытого ящика и терпеливо ждет.

— Из Пеулько я еду в Морагуа,— неуверенно произносит мужчина, и слова эти повисают в воздухе, будто застывают вместе с рукой, сжимающей деньги.

— Такой станции нет,— отвечает кассир.

— Но что-то в этом роде,— настаивает мужчина.— Не помнишь?

— Да, что-то вроде Морагуа,— соглашается женщина.

— На «М» начинаются несколько станций. Я имею в виду те, куда можно попасть из Пеулько. Вы не помните, долго ли туда ехать?

— Все утро,— говорит мужчина.— Чуть меньше шести часов.

Кассир смотрит на карту, лежащую у него под стеклом.

— Это могут быть Малумба или Мерседес,— говорит он.— На этом расстоянии находятся только два города, хотя нет, есть еще Аморимба. В слове «Аморимба» целых два «м», так что, может быть...

— Нет,— произносит мужчина.— Ни один из тех, что вы назвали.

— Аморимба — просто деревня, но зато Мерседес и Малумба — это города. На «М» в этой зоне больше ничего нет. Если вы едете из Пеулько, то вам нужен один из этих городов.

Муж смотрит на жену, медленно комкая деньги во все еще вытянутой руке, а женщина округляет губы и пожимает плечами.

— Не знаю, дорогой,— говорит она.— Скорее всего, Малумба.

— Малумба,— повторяет мужчина.— Ты думаешь, что это — Малумба.

— Да нет, ничего я не думаю. Просто сеньор сказал, что из Пеулько можно приехать либо туда, либо в Мерседес. Может, и Мерседес, но...

— Если вы едете из Пеулько, то вам нужен либо Мерседес, либо Малумба,— говорит кассир.

— Видишь! — восклицает жена.

— Это Мерседес,— возражает муж.— Малумба звучит непривычно, зато Мерседес... Я еду в «Мундьяль», не знаете, нет ли такого отеля в Мерседесе?

— Есть, а как же,— подает голос юноша, сидящий на скамейке.— В двух кварталах от станции.

Женщина смотрит на него, а кассир, выждав минутку, протягивает руку к ящику с билетами. Мужчина перегибается через стойку, словно для того, чтобы лучше дотянуться до кассира и отдать ему деньги, и одновременно оборачивается и смотрит на юношу.

— Спасибо,— говорит он.— Большое спасибо, дон.

— Эти отели все одинаковые,— вставляет кассир.— Простите меня, но в Малумбе тоже есть отель «Мундьяль», если уж на то пошло, и в Аморимбе наверняка тоже, хотя я точно не знаю.

— Как так?..— спрашивает мужчина.

— Не страшно, попробуйте: если это не Мерседес, то до Малумбы всегда можно доехать.

— Для меня Мерседес — более знакомое название,— говорит мужчина.— А ты что скажешь?

— Да вроде тоже, особенно вначале...

— Что значит «вначале»?

— Пока сеньор не сказал насчет отеля. Если и в Малумбе тоже есть «Мундьяль»...

— Нет, это Мерседес,— настаивает мужчина.— Я точно знаю.

— Раз так, покупай билеты,— говорит жена, слегка нетерпеливо.

— Из Чавеса — в Пеулько, из Пеулько — в Мерседес,— подытоживает кассир.

Волосы закрывают лицо женщины, которая вновь начала рассматривать красный рисунок на стойке, так что кассир не видит ее губ. Рукой с накрашенными ногтями она неторопливо потирает кисть.

— Да,— соглашается мужчина после короткого колебания.— Из Чавеса в Пеулько, а оттуда — в Мерседес.

— Вам нужно спешить,— напоминает кассир, отрывая голубую и зеленую картонки.— До Чавеса больше шестидесяти километров, а поезд отходит в двадцать один ноль пять.

Мужчина кладет деньги на стойку, кассир отсчитывает сдачу, наблюдая за женщиной, которая медленно трет себе кисть. Он не видит, улыбается она или нет, да это и неважно, но все же хотелось бы знать, улыбается ли она за своими золотистыми волосами, падающими на рот.

— Вчера под Чавесом здорово лило,— говорит парень.— Поезжайте скорей, сеньор, дорогу, наверное, размыло.

Мужчина пересчитывает сдачу и кладет билеты в карман пиджака. Женщина откидывает волосы назад двумя пальцами и смотрит на кассира. Губы ее сложены так, будто она что-то втягивает в себя. Кассир улыбается ей.

— Пошли,— говорит мужчина.— Времени в обрез.

— Если выедете сразу же, то успеете,— успокаивает юноша.— Пристегнитесь на всякий случай. Дорога там тяжелая.

Мужчина кивает и машет рукой в сторону кассира. Он уже вышел, а женщина только подходит к двери, которая закрылась за ним сама собой.

— А было бы жалко, если бы он так и не вспомнил, правда? — произносит кассир, обращаясь, по-видимому, к юноше.

Уже на пороге женщина оборачивается и смотрит на него, но свет едва падает ей на лицо, и уже трудно понять, улыбается она или нет, и кто хлопнул дверью — женщина или ветер, который почти всегда поднимается здесь с наступлением темноты.

Литературное наследие

ХАСАН ДЕХЛЕВИ

Газели

Перевод с фарси СЕМЕНА ЛИПКИНА

От переводчика

Исторические события сложились таким образом, что начиная с XIII века в Индии широко и мощно развивалась литература на персидском языке (фарси). В этой литературе — три великих имени: Амир Хосров Дехлеви, автор «пятерицы» поэм, героями которых становятся уже не персы и арабы, а индийцы, Мирза Абдулкадир Бедиль, чье наследство, помимо философских трудов,— 200 000 стихотворных строк, и наш старший современник Мухаммад Икбал.

Рядом с этим созвездием имен мы находим и блестящее имя Хасана Дехлеви (вторая половина XIII века — тридцатые годы XIV века). Имя это, широко известное на Востоке, в России только открывается читателю, и в первую очередь благодаря обстоятельному исследованию жизни и творчества Хасана Дехлеви, принадлежащему таджикскому литературоведу Лоле Саломатшаевой.

Хасан Дехлеви (то есть «из города Дели») прославился как несравненный мастер газели — традиционного жанра восточной лирики. Популярный среди современников, он оказал влияние и на поэтов Индии, Ирана и Таджикистана последующих поколений.

Вниманию читателей предлагаются несколько газелей Хасана Дехлеви в русском переводе.

* * *

Пусть на мои глаза всегда глядят твои глаза:
Когда ты смотришь на меня, блестят мои глаза!

Я жду, чтобы взглянула ты,— взгляни же, ради Бога,
К чему другие? Мне нужны твой взгляд, твои глаза!

О, где твой взгляд?! Из глаз моих пролью я реки крови,
Узнав, что на других смотреть хотят твои глаза!

Найду я свет в твоих глазах — нет, уголочек света,
А их лучи пусть, как мечи, сразят мои глаза!

В них заглянул на миг Хасан — и вот уже играют,
Меня зовут, влекут, манят, пьянят твои глаза!

* * *

«Отчего же ты зачах?» — она не спросит,
О былом, о тех ночах она не спросит.

С богачами и вельможами пирует,
А о нас, о бедняках, она не спросит.

Обо мне, как о собаке на пороге,
Пребывая во дворцах, она не спросит.

Вопросил я: «Почему ты плачешь, сердце?»
«Потому что о слезах она не спросит».

О Хасане, чтоб не пасть во мненье знати,
О повергнутом во прах — она не спросит.

* * *

Твой лик — это нежный жасмин? Или солнце? Луна?
Твой стан — кипарис бесподобный? Стрела? Иль сосна?

Что ярче — браслет, или жемчуг, иль речи твои?
Черны твои косы иль встреча с тобою черна?

Зухра [1] ли светлее, чем солнце, иль чудный твой лик?
Глаза твои ранят — иль турок, хмельной от вина?

Что хуже: разлука с тобою иль плоть без души?
Душа мне нужна в моей плоти иль ты мне нужна?

Ты адское семя иль в райском саду родилась?
Юсуфу Египта [2] иль девам Хотана [3] равна?

Извивы огня твои косы — иль сам я в огне?
Хасана строка или прелесть твоя так нежна?

* * *

Любимая мне изменила,— как жаль, о судьба!
Душа моя в горе изныла,— как жаль, о судьба!

Я принял лекарство, однако хотя б на зерно
Моя увеличилась сила? — как жаль, о судьба!

Усладою бедного сердца подруга была,
Ушла и меня погубила,— как жаль, о судьба!

Где юность моя, где ты, счастье, где светлые дни?
Темна моя жизнь, как могила,— как жаль, о судьба!

Боюсь я цветка: он колючий, боюсь я вина:
Печалью меня опьянило,— как жаль, о судьба!

В груди моей боль, а из тела уходит душа.
Хасан повторяет уныло: «Как жаль, о судьба!»

---

[1] Утренняя звезда, Венера. *(Здесь и далее прим. перев.)*.
[2] Юсуф — библейский Иосиф.
[3] Хотан — легендарный город красавиц.

* * *

Ты любовь мне обещала, но лгала, а я не знал.
Ты мне горе вместо счастья принесла, а я не знал.

Сердце у тебя из камня, каменны твои слова,
Но в жестокости ты камень превзошла, а я не знал.

Натянуть желал я страстно лук сближения с тобой,
Но в меня впилась разлука, как стрела, а я не знал.

Я догадывался, глупый, что меня ты предала,
Истина, а не догадка то была, а я не знал!

Ты не только сердце — веру у Хасана отняла,
Ты исполнена измены, лжи и зла, а я не знал.

* * *

Опять идет весна, опять весна идет.
Все средства в ход пошли, все дышит, все цветет.

Весенний звонкий сад опять благоухает,
Дыханье мускуса приносит нам восход.

Бьют снова птицы в гонг, поют: «Идет, смотрите,
Вновь караван весны, исполненный щедрот».

Недвижны яркие цветы, зато в движенье
Прелестный кипарис, что всех с ума сведет.

Монеты лепестков цветы на землю сыплют,
Возлюбленной весны приветствуя приход.

Идет любимая,— Хасан, обрадуй сердце,
Ведь счастья без нее оно не обретет.

* * *

Сегодня радость мне желанная дана:
Любимая пришла, любимая верна!

Я долго, долго ждал, чтоб месяц появился,
И вот дождался я: взошла моя луна.

Черты ее лица светлы, как милость неба,
А родинка, как ночь — обман судьбы — черна.

Как хорошо вокруг! Иль в райский сад попал я?
Кавсар [1] у ног моих, в объятиях — она!

В одной руке держу я мускусные косы,
В другой руке — вино, и нет хмельней вина!

Никто не обратил внимания на пьяных;
И даже мухтасиб [2] напился допьяна!

---

[1] Райский источник.
[2] Следящий за порядком.

* * *

Та, которую желал, пришла:
Вновь пойдут на лад мои дела!

Превратила в сад мой грустный дом
И тюльпаном в доме расцвела.

В полночь, от соперника таясь,
Та, которую желал, пришла!

Надо мной, как плавный кипарис,
Тень, что возжелал я, разлила.

О Хасан, желанна всем любовь,
Та любовь, что ты желал, пришла!

* * *

Не мучь меня, стань хоть на миг добрей,
Забудь размолвку нашу поскорей.

Нет, я ошибся: мучь меня, терзай,
Всех ласк твоих мне злость твоя милей!

Дай мне вина: жизнь без него — как вихрь,
Я жду тебя, вином тоску залей.

Пред кравчим голову склонил кувшин,
Присядь на миг, взгляни-ка веселей.

Священный бой ведет со мною боль,
О, исцели Хасана, пожалей!

* * *

Птица, заплачь,— и мы вместе заплачем с тобой:
Так же, как ты, обессилены тяжкой судьбой.

Стонешь ты, с воздухом в дружбу желая вступить,
Стонем и мы, ибо друг у нас отнял покой.

Крыльями бьешь ты, радуясь встрече с цветком,
Мы под крылами разлуки объяты тоской.

Ты с красотою влюбленного сердца слилась,
Мы заблудились, обманутые красотой.

Ты сочиняешь нам тысячи звонких поэм.
Мы же сгораем, охваченные немотой.

Мы — это музыка, плач и несчастный Хасан...
Птица, заплачь,— и мы вместе заплачем с тобой.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

ФЕМИНИЗМ:

Идеи и образы

СИМОНА де БОВУАР

Из книги «Второй пол»

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА

Перевод с французского Н. МАВЛЕВИЧ

Я долго колебалась, прежде чем взяться за книгу о женщинах. Тема эта болезненная, особенно для самих женщин, и к тому же не новая. В феминистских баталиях пролито немало чернил, теперь страсти как будто поутихли, так стоит ли еще об этом говорить? Однако же говорят. И по-моему, уйма наговоренных с начала века глупостей не слишком прояснила проблему. Но есть ли проблема? В чем она? И есть ли на свете сами женщины? Конечно, теория вечной женственности еще не потеряла сторонников. «Даже в России,— шепчут они,— женщины остаются женщинами». Но другие — а порой и те же самые — сведущие люди вздыхают: «Женщины исчезают, женщин больше нет». Так что есть ли еще женщины, останутся ли они и впредь, хорошо это или плохо, какое место они занимают в мире — неизвестно. «Куда девались женщины?» — вопрошал не так давно один периодический журнал [1]. Но прежде всего, что такое женщина? «Tola mulier in utero [2]: просто матка»,— говорят иные. Между тем о некоторых женщинах знатоки категорически заявляют: «Это не женщины», хотя у них, как и у всех прочих, имеется матка. Общепризнанно, что в породе людей существуют самки; сегодня, как и в прошлом, они составляют почти половину человечества, и все-таки нам говорят: «Женственность под угрозой», нас заклинают: «Будьте женщинами! Станьте женщинами!» Выходит, не каждая человеческая самка — женщина, и, чтобы быть таковой, она должна обладать некой таинственной и находящейся ныне под угрозой субстанцией, именуемой женственностью. Что же, женственность вырабатывается яичниками? Или пребывает в эмпиреях платонизма? А чтобы вызвать ее с небес на землю, достаточно надеть шуршащую юбку до полу?

Многие женщины прилагают все старания, чтобы стать образцом женственности, но никому и никогда не удавалось явить собой этот образец. Женственность принято расписывать в мерцающе-туманных выражениях, напоминающих речи гадалки. Во времена святого Фомы Аквинского она считалась таким же неотъемлемым свойством ее носительниц, как снотворное действие мака. Но концептуализм устарел — биология и социология отрицают существование незыблемых и постоянно закрепленных признаков, определяющих тот или иной человеческий тип, например, женщину, еврея, негра; характер они рассматривают всего лишь как результат воздействия среды. Если сейчас нет женщин, то только потому, что никогда и не было. Так, может быть, слово «женщина» лишено содержания? Именно это упорно отстаивали просветители, рационалисты, номиналисты: по их мнению, какой-то части людей дали такое название чисто произвольно. На самом же деле женщины, как таковой, не существует. Особенно дорога эта мысль американкам, так что, если

---

[1] Он назывался «Франшиз» и больше не выходит. *(Здесь и далее, если не указано иначе, прим. автора.)*

[2] Вся женщина — это матка *(лат.)*. *(Прим. перев.)*.

какая-нибудь отсталая особа еще считает себя женщиной, подруги советуют ей обратиться к психоаналитику, чтобы избавиться от этого комплекса. Дороти Паркер написала об одной, действительно, впрочем, вздорной книжке, озаглавленной «Современная женщина: утерянный пол»: «Я не могу быть беспристрастной по отношению к сочинениям, рассматривающим женщин только в их женском качестве. Я считаю, что к женщинам, равно как к мужчинам, следует подходить как к людям». Но номинализм — несколько куцее учение, и противникам феминизма стоит труда доказать, что женщины — не мужчины. Разумеется, говоря абстрактно, мы все — представители человеческого племени, но каждый человек характеризуется своими особенностями. Можно отрицать существование вечной женственности, негритянской души, еврейского характера, но это не отменяет существования евреев, негров, женщин; подобное отрицание не решает проблему, а лишь уводит в сторону. Ясно, что ни одна женщина не может всерьез отвергать принадлежность к своему полу. Несколько лет тому назад известная женщина-писатель не позволила печатать свой портрет в фотопубликации, посвященной писательницам,— она желала, чтобы ее поместили среди мужчин, но, чтобы добиться этой привилегии, употребила влияние мужа. Женщины, причисляющие себя к мужчинам, чересчур настойчиво требуют, чтобы к ним относились как к мужчинам и не обделяли мужскими правами. Помню одну юную троцкистку, очень хрупкую особу, которая, выступая перед толпой митингующих, старательно колотила по трибуне кулаком,— она не признавала своей женской слабости, но делала это ради того, чтобы стать на равных с одним товарищем по борьбе, в которого была влюблена. Нарочито вызывающая манера поведения американок доказывает, что они не могут отделаться от сознания своей женской сути. Что уж там, стоит посмотреть вокруг, чтобы убедиться, что человечество делится на две категории, явным образом отличающиеся друг от друга одеждой, лицом, телом, улыбкой, походкой, интересами и занятиями. Может быть, эти отличия искусственные, может, им предстоит исчезнуть. Но факт есть факт: на сегодняшний день они существуют совершенно неоспоримо.

Итак, признаки самки еще не определяют женщину, мы отказываемся также определять ее, прибегая к «вечной женственности», но при этом признаем, что женщины все же есть, пусть даже это явление временное. Так что же такое, спрашивается, женщина?

Сам вопрос подсказывает мне первый ответ. Показательно уже то, что я его задаю. Мужчине не пришло бы в голову писать книгу об особом положении, которое занимают его соплеменники [1]. Определяя себя, я прежде всего должна сказать: «Я женщина», и все другие характеристики наложатся на этот фон. Мужчина никогда не станет описывать себя в первую очередь как представителя своего пола: он человек, значит, мужчина, это само собой разумеется, и если в гражданских регистрационных книгах, анкетах и документах рубрики «пол: мужской/женский» выглядят симметричными, то это только формальность. Два пола относятся друг к другу не так, как электрические полюса: мужчина — это одновременно положительное и нейтральное начало, во французском языке понятия «человек» и «мужчина» обозначаются одним словом «homme», специфическое значение латинского «vir» (муж) поглощено термином «homo» (человек). Женщина же — начало отрицательное, суждения о ней имеют характер оговорок, ее качества как бы стоят особняком и никак не соотносятся с мужскими. Меня бесит, когда в разговоре на отвлеченную тему я вдруг слышу от собеседника: «Вы так думаете, потому что вы женщина». Единственное, что я могу возразить, это: «Я так думаю, потому что это правда», отведя тем самым упрек в субъективности, но ни в коем случае нельзя сказать: «А вы думаете иначе, потому что вы мужчина». Мужчина — это не какая-нибудь отдельная разновид-

[1] К примеру, обзор Кинси ограничивается тем, что учитывает данные о сексуальности американских мужчин, а это совсем другое дело.

ность, мужчина прав по определению, женщина же есть отклонение от нормы.

Подобно тому, как у древних вертикаль была эталоном прямой, по отношению к которой остальные линии считались наклонными, существует эталон человека, и это, конечно, мужчина. Яичники и матка — особые факторы, делающие женщину безнадежно необъективной, недаром же говорят, что она думает железами. При этом мужчина великолепнейшим образом забывает, что и в его организме присутствуют половые гормоны. Свое тело он воспринимает как естественную и гармоничную часть мира, в силу чего считает, что познает его объективно, ну а тело женщины отягощено ее физиологическими особенностями, которые сковывают, держат в плену ее суждение. «Самка является таковой в силу известной неполноценности,— говорил Аристотель.— Следует признать, что женщина страдает природной ущербностью». Вслед за ним святой Фома Аквинский объявлял женщину «недоделанным мужчиной», «побочным» существом. Таков же смысл библейской легенды, согласно которой Ева извлечена, по выражению Боссюэ, из «добавочного ребра» Адама. В человеческом обществе господствуют мужчины, они судят о женщине, не исходя из нее самой, а в сравнении с собой, не признавая ее как самостоятельное существо. «Женщина — существо производное...»,— писал Мишле. То же самое утверждает г-н Бенда в «Речи об Уриэле»: «Мужское тело имеет самодовлеющее значение, независимо от существования женского, последнее же имеет смысл, лишь если подразумевается существование мужчины... Мужчина мыслит себя и без женщины. Она же без него непредставима». И она должна соответствовать мужскому представлению. Для него любая женщина — «баба», иначе говоря, предмет сексуального интереса, и только. А раз таково суждение мужчины, то иначе не может быть. Женщина характеризуется тем, что отличает ее от мужчины, но не наоборот; она вторична, он первичен. Он — Субъект, величина абсолютная, она — Иное относительно его [1].

Категория иносущности — ровесница человеческого сознания. В самых примитивных обществах, в древнейших мифологиях всегда присутствует дуализм Некоего и Иного; причем изначально это разделение не касалось полов и вообще не связывалось с конкретным житейским опытом: это подтверждают работы Гране о китайской философии, Дюмезиля об Индии и Риме. В парах Варуна—Митра, Уран—Зевс, Солнце—Луна, День—Ночь отсутствует женское начало, так же как в оппозиции Добра и Зла, Бога и Люцифера, принципов должного и недолжного, правого и левого; разделение начал — одна из основополагающих категорий человеческого мышления. Никакая общность не осознает свое единство, не противополагая себе одновременно нечто Иное. Достаточно случаю свести трех посторонних людей в одном купе, чтобы тотчас же все остальные пассажиры в вагоне стали для них «другими», чуть ли не врагами. Крестьянину кажутся подозрительными чужаками все, кто живет за пределами его деревни; для уроженца какой-нибудь страны жители других земель — «иностранцы»; евреи — «другие» для антисемитов,

---

[1] В наиболее яркой форме эту мысль высказывает Е. Левина в эссе «Время и Иное». Вот что он пишет: «Бывают случаи, когда инакость становится позитивной характеристикой, сутью явления. Какова эта инакость, не входящая в классическую оппозицию двух однородных величин? По-моему, примером абсолютизированной противоположности, утратившей обратную связь с другой соотнесенной с нею величиной,— противоположности, у которой инакость превратилась в сущность, может послужить понятие женщины. Противопоставление полов — не просто различие по какому-то специфическому признаку... И не противоречие... А также не разделение двух частей, ибо такое разделение предполагает наличие изначального целого... Женщина — воплощенное Иное. Мужчина и женщина — термины одного ряда, но женская суть непостижима для нашего сознания».

Надо думать, г-н Левина все-таки не забыл, что у женщины есть собственное сознание. Но замечательно, с какой легкостью он ограничивается мужской точкой зрения, не указывая на взаимозаменяемость субъекта и объекта. Говоря, что женщина — непостижима, он подразумевает «непостижима для мужчин». Таким образом, все его рассуждение, претендующее на объективность, есть не что иное, как утверждение привилегированной позиции мужчины.

негры — для американских расистов, туземцы — для колонистов, пролетарии — для имущих классов. Подвергнув глубокому анализу мышление первобытных народов, Леви-Стросс заключает: «Переход от естественного состояния к культурному определяется способностью человека осмыслить картину мира как систему оппозиций. Дуализм, альтернатива, противоположность и симметрия — фигурирующие в явной или скрытой форме — обусловлены не столько объективными явлениями, сколько непременными и важнейшими свойствами общественного сознания» [1]. Свойства эти были бы непонятны, если бы человеческое общество представляло собой этакое идиллическое mitsein [2], основанное исключительно на дружелюбии и доброжелательности. И наоборот, они получают объяснение, если признать вслед за Гегелем, что каждое сознание принципиально враждебно любому другому, субъект полагает себя лишь в противопоставлении, стремясь утвердить себя как первостепенную сущность, а другого — как нечто второстепенное.

Но и другая личность претендует на ту же роль: очутившись в соседних странах, наш земляк с изумлением обнаруживает, что тамошние уроженцы в свою очередь рассматривают его как чужого; между деревнями, кланами, народами, классами происходят войны, примирения, идет торговля, ведутся тяжбы, которые лишают идею Инакости абсолютного значения, открывают ее относительность; отдельные личности и группировки волей-неволей вынуждены признать обратимость своих отношений с другими. Как же получилось, что в сопоставлении полов этой обратимости не оказалось и одно из начал утвердилось как единственное существенно значимое, отрицая свою зависимость от другого члена оппозиции и определяя его как абсолютно Иное? Почему сами женщины не оспаривают приоритета мужчин? Никакой субъект добровольно не признает себя второстепенным; не бывает, чтобы кто-нибудь назвал себя Иным, а кого-то еще Первым; мы определяем Иного по отношению к самим себе. Если же Иной не становится для себя Первым, это значит, что он полностью подчинился чужой точке зрения. Откуда же в женщине такая покорность?

Бывает, правда, что одна категория людей на более или менее длительный срок добивается полного господства над другой. Часто это происходит в силу численного неравенства: большинство диктует свою волю меньшинству или притесняет его. Но женщины — не то, что американские негры или евреи, они не в меньшинстве, на земле их столько же, сколько и мужчин. Бывает и иначе: когда две общности людей до некоторых пор не знали друг о друге или жили независимо, признавая обоюдную независимость, автономность, а потом некое историческое событие подчинило слабейшего сильнейшему; примеры тому — расселение евреев по диаспоре, завоз рабов в Америку, колониальные завоевания, то есть события, имеющие точную дату. В этом случае у угнетенной стороны остается память о прошлом: общие традиции, иногда религия, культура. Отчасти справедливо отмеченное Бебелем сходство в положении женщин и пролетариата: пролетарии тоже не были в меньшинстве и никогда не составляли обособленной общности. Однако положение этого класса и его формирование объясняются если не отдельным событием, то всем ходом исторического развития. Женщины же, в отличие от пролетариев, были всегда, ибо различие полов обусловлено физиологией; однако на всем протяжении истории они оставались в подчинении у мужчин; их зависимость не является следствием какого-либо события или процесса, она не приобретенная. Не потому ли, что второстепенная роль женщин не имеет конкретной причины, она и воспринимается как абсолют. Положение, возникшее со временем, со временем может и измениться, мы видели это на примере негров Гаити; и наоборот, положение,

---

[1] См. *К. Леви-Стросс.* Элементарные структуры родства. Приношу благодарность К. Леви-Строссу, любезно предоставившему мне оттиски своей работы, которую я использовала, особенно во второй части книги.

[2] *Здесь:* общежитие *(нем.). (Прим. перев.).*

существующее от природы, кажется неизменным. Хотя на самом деле природная данность ничуть не более непреложна, чем историческая. Если женщина принимает роль необратимо второстепенного начала, то только потому, что сама для себя не осуществляет этого обращения. Пролетарии говорят о себе «мы». Негры тоже. Тем самым заявляя о себе как субъекте и полагая «иными» буржуа или белых. Женщины же никогда, если не считать чисто декларативных акций вроде конгрессов, не говорят о себе «мы». Повторяя за мужчинами собирательное «женщины», они не полагают себя полноправным субъектом. Пролетарии совершили революцию в России, негры — на Гаити, жители Индо-Китая борются на своей земле; женская же активность — лишь видимость реальных действий; они добились только того, что соизволили уступить им мужчины, ничего не взяли сами, все только получили из чужих рук. А дело в том, что у женщин нет практической возможности сплотиться в единую силу и противопоставить себя мужчинам. У них нет своего особого прошлого, истории, религии, нет трудовой солидарности и общих интересов, как у пролетариев, нет даже мест, где они жили бы обособленно, и потому нет таких общин, какие сложились в негритянских кварталах Америки, в еврейских гетто, в рабочем предместье Сен-Дени или на заводах Рено. Женщины живут вместе с мужчинами, с некоторыми из них — с отцом или с мужем — они связаны общностью жилища, работы, экономических или социальных интересов куда теснее, чем с другими женщинами. Женщины из буржуазной среды солидарны с мужчинами-буржуа, а не с работницами, белые женщины — с белыми мужчинами, а не с негритянками. Пролетариат мог бы задаться целью истребить правящие классы; какой-нибудь фанатичный еврей или негр мог бы лелеять мечту овладеть секретом атомной бомбы и оставить от всего человечества одних евреев или негров; женщине же никогда не взбредет в голову уничтожать мужчин. Узы, связывающие ее с угнетателем, не сравнимы ни с какими другими. Ведь разделение полов — это биологическая данность, а не факт человеческой истории. Их антагонизм возник на заре общественного mitsein и до сих пор общества не разрушил. Пара «мужчина — женщина» изначальна и неразрывна, обе ее половины прочно спаяны друг с другом; расщепление общества по полам невозможно. Такова существенная особенность женщины: она Иное внутри целого, состоящего из двух необходимых друг другу начал.

Казалось бы, эта обоюдная необходимость должна облегчить ее освобождение: когда Геракл прядет шерсть у ног Омфалы, он скован своим желанием, почему же Омфала не сохранила власть над ним надолго? Медея, чтобы отомстить Ясону, убила его детей — эта жестокая легенда доказывает, что женщина могла бы использовать как могучее оружие и привязанность мужчины к потомству. Аристофан в «Лисистрате» в шутку изобразил содружество женщин, решивших общими усилиями обратить в свою пользу потребность, которую испытывают в них мужчины, но это всего лишь комедия. Есть также легенда, рассказывающая, что пленные сабинянки в наказание похитителям упорствовали в целомудрии, однако мужчины, с помощью такого чудодейственного средства, как вожжи, сломили их сопротивление. Биологическая потребность — сексуальное влечение и стремление к продолжению рода,— ставящая мужчин в зависимость от женщин, не сделала женщин социально свободными. Ведь и раб связан с хозяином взаимной экономической необходимостью, но это не освобождает раба. Потому что хозяин не осознает свою потребность в рабе как зависимость, он уверен в своем праве удовлетворять ее, не задумываясь, посредством кого или чего это делается; и напротив, раб, зависимый, терзаемый страхом и надеждой, ощущает потребность в хозяине как внутреннюю необходимость, и, хотя нужда одинаково насущна для обеих сторон, она оборачивается в пользу угнетателя и против угнетенного. Именно этим объясняется, например, почему освобождение рабов происходило столь медленно. Итак, женщина всегда была если не рабом, то вассалом мужчины; мужской и женс-

кий пол никогда не составляли равноправные половины мира; и еще поныне, несмотря на то что положение женщины изменяется, она остается глубоко неполноценной. Почти ни в одной стране она не имеет одинакового законного статуса с мужчиной, а подчас права ее сильно ущемлены. И даже если формально за ней признается равноправие, оно, в силу укоренившейся привычки, не меняет отношения к ней на практике. Экономически мужчины и женщины — как будто две касты: при всех прочих равных условиях мужчины занимают более престижные посты, получают более высокую зарплату, имеют больше шансов достичь успеха, чем недавно вышедшие на арену конкурентки; в промышленности, в политике мужчин гораздо больше и они имеют гораздо лучшие должности, чем женщины. Но и не говоря о реально существующих привилегиях, почтение к мужчине внедряется в сознание с самого детства, таково традиционное воспитание: ведь настоящее состоит из наслоений прошлого, а в прошлом история делалась только мужчинами. Да, женщины стали играть активную роль в мире, но они вступили в мир, принадлежащий мужчинам, это признается ими и не оспаривается женщинами. Отказаться от своей второстепенности, перестать подыгрывать мужчинам значило бы лишиться всех выгод, проистекающих из союза с высшей кастой. Женщина-вассал может рассчитывать на материальную поддержку мужчины-сеньора; служение ему вполне оправдывает ее существование, тогда как, решившись на экономический риск, она была бы вынуждена принять на себя всю тяжесть свободы и самостоятельно искать себе применение. Ведь кроме носящего скорее этический характер стремления утвердить себя как активную личность в каждом человеке живет искушение убежать от свободы, как бы превратиться в неодушевленную вещь; это порочный путь, ибо он ведет к пассивности, отупению, гибели, делает человека орудием чужой воли, лишает его трансцендентности, самоценности. Зато это и легкий путь, ибо он уводит от тревоги и напряжения жизни, обремененной ответственностью. Поэтому, утверждая вторичность женщины, мужчина встречает тайного союзника в ней самой. Итак, женщина не отстаивает себя как субъект, во-первых, потому что не имеет для этого конкретных средств; во-вторых, потому что ощущает неразрывную связь с мужчиной и не видит обоюдности этой связи, и, в-третьих, потому что зачастую роль Вторичного Иного вполне ее устраивает.

Возникает вопрос: как же все это началось? Ясно, что противоречие между полами, как и всякое другое, вылилось в конфликт. Ясно, что, если одна из сторон навязала свое господство другой, она будет выставлять его как нечто незыблемое. Но хотелось бы объяснить, почему изначально победил мужчина. Ведь могли бы одержать верх и женщины, или могла бы до бесконечности затянуться борьба. Почему наш мир всегда принадлежал мужчинам и только теперь положение начинает меняться? К лучшему ли это изменение? Приведет ли оно к справедливому разделу мира между мужчинами и женщинами?

Вопросы далеко не новые, и на них уже давалось немало ответов; но одно то, что женщина так и осталась Иным, опровергает все когда-либо предлагавшиеся мужчинами объяснения — слишком очевидна их предвзятость. «Все, что написано о женщинах мужчинами, весьма сомнительно, ибо в этом деле они одновременно судьи и тяжущаяся сторона»,— сказала еще в XVII веке малоизвестная феминистка Пулен де ла Бар. Везде и во все времена мужчины демонстративно гордились тем, что они цари мирозданья. «Благодарю Тебя, Господи, Царь вселенной, за то, что Ты не создал меня женщиной»,— произносят евреи в утренней молитве, жены же их покорно шепчут: «Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты создал меня по Своему подобию». Первым среди благодеяний, за которые Платон возносит хвалу богам, он называет то, что они сделали его свободным, а не рабом, вторым — что мужчиной, а не женщиной. Но мужчины не могли бы в полной мере пользоваться своим преимуще-

ством, если бы оно не считалось вечным и абсолютным, и потому они постарались узаконить свое превосходство. «Законы составляли и записывали мужчины и, конечно же, с выгодой для своего пола. Позднее юристы превратили эти законы в основополагающие принципы»,— я снова цитирую Пулен де ла Бар. Законодатели, священники, философы, писатели, ученые прилагали все усилия, чтобы доказать, что приниженное положение женщины угодно небесам и удобно людям. Созданные мужчинами религии тоже отражают их стремление к господству: ему служат легенды о Еве, Пандоре. Призваны на подмогу и философия, и теология — приведенные выше цитаты из Аристотеля и Фомы Аквинского тому свидетельство. Со времен античности сатирики и моралисты изощрялись в обличении женских пороков. Кто не знает, с каким пылом французская литература из века в век обрушивала хулу на головы женщин: Монтерлан, хотя и с меньшим блеском, продолжал традиции Жана де Мена. Иногда эти обвинения представляются обоснованными, чаще — надуманными, по существу же они более или менее искусно прикрывают желание оправдаться. «Проще очернить один пол, чем оправдать другой»,— говорил Монтень. В некоторых случаях это намерение особенно очевидно. Вот разительный пример: римский кодекс ограничивает права женщин, указывая на «скудоумие и слабость женского пола», и делается это в тот момент, когда колеблются устои семьи и женщина становится опасным соперником мужчин в праве наследования. Или не менее вопиющий пример: в середине XVI века, желая удержать замужнюю женщину под опекой мужа, юристы апеллируют к авторитету Блаженного Августина, утверждавшего, что «женщина есть животное хилое и непостоянное»; между тем за незамужней признается право управлять имуществом. Монтень отлично понял, сколь произвольно и несправедливо определен женский удел: «Женщины не так уж не правы, когда отказываются подчиняться установленным в свете правилам, ведь их установили мужчины, не спросив у них самих. И неудивительно, что мы и они норовим перехитрить и одурачить друг друга». Однако сторонником женщин он все же не становится. И только в XVIII веке находятся по-настоящему демократически мыслящие люди, способные взглянуть на дело со всей объективностью. Среди них Дидро, доказывавший, что женщина такое же человеческое существо, как мужчина. Несколько позднее на ее защиту становится Стюарт Милль. Но непредвзятость этих философов есть нечто исключительное. В XIX веке суждения о женщинах вновь окрашиваются пристрастием; одним из следствий промышленной революции явилось участие женщин в производстве, и с этого времени их требования перестали быть чисто теоретическими и получили экономическое обоснование, что прибавило агрессивности их противникам; земельная собственность была несколько потеснена, но буржуазия цеплялась за старую мораль, усматривавшую в прочности семьи залог сохранения частной собственности, и тем настойчивей призывала женщину к домашнему очагу, чем более явной угрозой становилась эмансипация; даже в рабочей среде мужчины пытались приостановить этот процесс, поскольку женщины, привыкшие к тому же работать за низкую плату, начали составлять им ощутимую конкуренцию. Чтобы доказать неполноценность женщин, антифеминисты стали прибегать не только к религии, философии и теологии, но и к естественным наукам: биологии, экспериментальной психологии и др. «Другому» полу было предложено «равенство при различии». Эта быстро прижившаяся формулировка весьма многозначительна: законы Джима Кроу употребляют ее применительно к американским неграм, и что же — декларирующая мнимое равноправие сегрегация лишь усугубила жестокость притеснений. «Вечная женственность» аналогична «негритянской душе» и «еврейскому характеру». Впрочем, с евреями дело особое: еврей для антисемита не столько низшее существо, сколько враг, за которым не признается место под солнцем, которого готовы уничтожить. Зато между положением женщин

и американских негров прослеживается прямая аналогия: те и другие ныне освобождаются от патернализма, тех и других господствовавшая до недавнего времени каста хотела бы «поставить на место», то есть на то место, которое она сама же им предписала; в обоих случаях «хозяева» расточают не слишком искренние похвалы достоинствам «хорошего негра» — иначе говоря, наивного, веселого, бездумного — и «настоящей женщины» — легкомысленной, инфантильной и беспомощной, словом, целиком зависимой от мужчины. И в обоих случаях выводы делаются из искусственно созданной ситуации. «Белый американец,— остроумно замечает Бернард Шоу,— не церемонясь, загоняет всех негров в чистильщики, а потом заключает, что негры только в чистильщики и годятся». Такой порочный круг обнаруживается в любой аналогичной ситуации: если отдельный человек или какая-то группа вынужденно находятся в приниженном состоянии, они действительно суть низшие существа, но следовало бы оговорить значение глагола «быть»: он ложно истолковывается в субстанциональном смысле, тогда как надо понимать его в духе гегелевского динамизма: «быть» — значит быть приведенным в некое состояние, превращенным в то, чем предмет является; да, женщины в большинстве своем на сегодняшний день *суть* существа низшего порядка по сравнению с мужчинами, то есть их положение дает им меньшие возможности; вопрос же в том, должно ли оно сохраняться вечно.

Немало мужчин желали бы этого: еще не все сложили оружие. Консервативная буржуазия продолжает видеть в женской эмансипации угрозу для своей морали и своих интересов. Многие боятся женской конкуренции. Как-то в «Эбдо-Латен» [1] некий студент высказался следующим образом: «Любая студентка, занимающая должность врача или адвоката, крадет место у нас». Вот восхитительная уверенность в обладании миром. Экономическими причинами не все исчерпывается. Одно из преимуществ, которые дает угнетателям их положение, это возможность даже для ничтожнейшего из них кичиться своим превосходством: «белый бедняк» с американского Юга утешается, говоря себе, что он не «грязный негр», а более состоятельные белые ловко пользуются этой его гордостью. Точно так же самый последний из мужчин ощущает себя полубогом рядом с женщиной. Г-ну Монтерлану куда легче было геройствовать, воюя с женщинами (которых он к тому же сам и отобрал), чем проявлять мужество среди мужчин — с этой ролью иные женщины справлялись куда лучше его. В сентябре 1948 года в статье, опубликованной в «Фигаро литтерер», Клод Мориак, высоко ценимый за ни с чем не сравнимую оригинальность, «с полным правом» написал о женщинах: «*Мы* учтиво-равнодушно (sic!) слушаем... умнейшую из них, зная, что ее ум лишь лучше или хуже отражает мысли, исходящие *от нас*». Разумеется, собеседница г-на Клода Мориака не могла отражать его мысли, поскольку за ним такого не водится, что же до идей, принадлежащих кому-нибудь еще, то это вполне возможно, тем не менее и среди мужчин найдется немало таких, которые приписывают себе позаимствованные у других суждения, однако же разве г-ну Клоду Мориаку не интереснее побеседовать с хорошим отражением Декарта, Маркса, Жида, чем с самим собой; замечательно и его «мы», с помощью которого он отождествляет себя со святым Павлом, Гегелем, Лениным, Ницше и глядит с высоты их величия на толпу женщин, осмеливающихся говорить с ним на равных,— положа руку на сердце, я уверена, что не у всех женщин хватило бы терпения внимать г-ну Мориаку «учтиво-равнодушно». Я задержалась на этом примере, потому что в нем особенно отчетливо проявляется бесподобное мужское простодушие. Есть множество других, более тонких способов, позволяющих мужчинам использовать себе во благо тезис о «второстепенности» женщин. Это чудодейственный бальзам для всякого страдающего комплексом неполноценности: те, кто не

---

[1] Еженедельник Латинского квартала. *(Прим. перев.)*

уверен в своем мужском достоинстве, выказывают наибольшее презрение, наглость и агрессивность по отношению к женщинам. Те же, кто не испытывает затруднений среди себе подобных, куда скорее признали бы за равную и женщину, но даже и они по разным причинам цепляются за миф о женщине как Особом Ином [1], и не следует осуждать их за то, что они не спешат пожертвовать всеми преимуществами, которые дает им установившееся положение: они хорошо понимают, что теряют, расставаясь с вымышленным ими самими образом женщины, и не знают, чего ждать от женщины завтрашнего дня, подлинной. Требуется недюжинная самоотверженность, чтобы отказаться от статуса единственного полноправного Субъекта. Впрочем, большинство мужчин не станут ныне и претендовать на такую роль, они *считают* женщин не ниже себя, демократические идеи достаточно прочно внедрились в умы, чтобы всеобщее равноправие признавалось нормой. В семье для мальчика, потом подростка женщина играет не менее значительную роль, чем взрослые мужчины; позднее, познав влечение и любовь, юноша сталкивается с волей и независимостью той, кого он желает и любит; вступив в брак, муж будет уважать в женщине супругу и мать, наконец, сама она не уступает ему лидерства в семейной жизни, проявляет себя свободным человеком. Все это убеждает мужчину, что иерархии полов в обществе больше нет и что женщины, хотя и принадлежат к другому полу, при всем их отличии от мужчин в общем-то равны им. В то же время он не может не замечать ущербность женщин в некоторых отношениях — главным образом, в профессиональном плане — и относит ее на счет естества. Пока между ним и женщиной доброе согласие, он ратует за абстрактное равенство, а существующее в реальной жизни неравенство игнорирует. Но стоит возникнуть конфликту — и все меняется: он будет напирать на это реальное неравенство, может дойти и до отрицания равенства абстрактного [2]. Потому-то многие, с одной стороны, вполне убежденно утверждают, что женщины и мужчины равны, и полагают, что женщинам нечего отстаивать, а с другой — в то же самое время заявляют, что они никогда не сравняются с мужчинами и все их претензии напрасны. Дело в том, что мужчине трудно осознать значительность женской дискриминации, которая со стороны представляется несущественной и которая накладывает такой глубокий отпечаток на образ мыслей и поведение женщины, что кажется обусловленной самой женской природой. Даже наиболее благожелательно относящиеся к женщинам мужчины никогда не вникнут в ее настоящее положение. И уж тем более далеки от такого понимания те, кто защищает свои привилегии, масштаба которых не в состоянии измерить. Пусть же нас не обескураживают бесконечные яростные нападки на женщин; не обманывают корыстные похвалы «настоящей женщине»; не подкупает восхищение перед нашей долей тех, кто ни за что не согласился бы ее разделить.

Однако и доводы феминисток не более достойны доверия: полемический пыл часто лишает их всякой основательности. Если «женский вопрос» стал бессмысленным, то это потому, что мужское упорство превратило его в поле брани, а когда сражаются, рассуждают не слишком хорошо. Обе стороны неустанно тщатся доказать ущербность, превосходство или равенство женщины. Она была сотворена после Адама, следовательно, она существо вторичное, говорят одни. Нет,

---

[1] Примечательна статья Мишеля Карружа на эту тему в № 292 «Кайе дю Сюд». «Хотя многие мужчины готовы расстаться с мифом о Женщине,— пишет он,— они хотели бы, чтобы осталась когорта кухарок, матрон, девиц легкого поведения, «синих чулок», служащих для его пользы или удовлетворения!» То есть, по мнению автора статьи, женщина лишена отдельного существования, он рассматривает только ее функциональное значение в мире мужчин. Смысл ее существования — служение мужчине; что ж, в таком случае чисто поэтическая «функция» предпочтительнее остальных. Но почему же к женщине надо непременно относиться как к приложению к мужчине?

[2] Например, мужчина заявляет, что не считает жену ниже себя на том основании, что у нее нет профессии: домашнее хозяйство — не менее важное дело и т. д. Но при первой же ссоре выпаливает: «Без меня ты бы и на хлеб себе не заработала!»

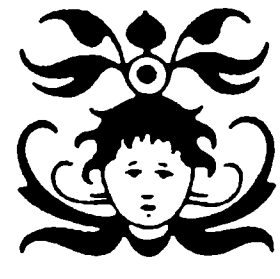
спорят другие, наоборот, Адам был лишь наброском, и Бог достиг совершенства только в сотворении Евы: пусть мозг женщины меньше по абсолютной, зато больше по относительной массе; Христос воплотился в мужском образе — что ж, может, смирения ради. Любому доводу находится противовес, причем зачастую обе посылки одинаково ложны. Чтобы вырваться из порочного круга, нужно отказаться от таких спорных терминов, как зависимость, равенство, которые направили всю дискуссию по неверному пути, и начать все сначала.

В таком случае как же мы поставим вопрос? И прежде всего, кто будет его рассматривать? Мужчины — пристрастные судьи, женщины тоже. А где найти ангелов? Впрочем, ангел был бы не вполне компетентен, ибо его пониманию недоступны даже исходные данные проблемы; что же до гермафродита, то и это неподходящая кандидатура: ведь он не столько полумужчина, полуженщина, сколько ни то ни се. И все-таки, по-моему, лучше всего разобраться в женском вопросе способны сами женщины, во всяком случае, некоторые из них. Конечно, «Эпименид — критянин, а критяне — всегда лжецы» [1], однако это не более чем софизм. Искренность и лживость мужчин или женщин зависит не от каких-то внутренних свойств, а, скорее, от их положения, более или менее располагающего их к поискам истины. На сегодня многим женщинам удалось вполне утвердиться во всех правах, так что они могут позволить себе роскошь быть беспристрастными, более того, это нужно нам самим. Мы отличаемся от наших старших соплеменниц-борцов, мы, можно считать, выиграли партию, в последних обсуждениях в ООН статуса женщин настойчиво отмечается, что равенство полов достигнуто почти окончательно. Многим из нас никогда в жизни не приходилось испытывать стеснения или затруднения из-за своего пола; есть много более важных вещей, чем эта узкая, сугубо женская проблема, и все это дает надежду, что мы сможем быть объективными. В то же время мы лучше мужчин разбираемся в женском мире, поскольку сами оттуда родом: мы острее ощущаем, что значит быть женщиной, и живее заинтересованы в том, чтобы докопаться до истины. Есть, как я сказала, вещи поважнее, но и эта не утратила для нас интереса, нам хотелось бы знать, как отражается наш пол на всей нашей жизни. Чем, в самом деле, мы наделены и в чем нам отказано? Что ждет наших младших сестер и к чему следует их готовить? В феминистской литературе нашего времени на удивление мало боевого запала и куда больше стремления все исследовать; вот и эта книга, появившаяся на исходе эпохи ожесточенной полемики, одна из многих попыток поставить точку над i.

Конечно же, говорить о какой-либо человеческой проблеме без известной доли пристрастия невозможно: постановка вопросов, желаемые цели продиктованы определенными интересами; в любой характеристике содержится оценка, любое рассуждение имеет этический подтекст, на который не распространяется пресловутая «объективность». Так не лучше ли, вместо того чтобы скрывать более или менее ясно подразумеваемые взгляды, изложить их открыто, тогда не придется уточнять на каждой странице, какой смысл вкладывается в слова «высшие», «низшие», «лучше», «хуже», «прогресс», «регресс» и т. д. Проглядев наугад несколько работ по женскому вопросу, мы увидим, что едва ли не чаще всего к нему подходят с точки зрения общественного блага, общественных интересов, по существу же под общественным благом каждый разумеет интерес такого общества, которое он хотел бы сохранить или установить. Наше воззрение заключается в том, что общественным благом является только то, при котором обеспечено благо каждой личности, и судить о тех или иных установлениях мы будем в зависимости от того, какие конкретные перспективы предлагают они человеку. При этом мы не смешиваем понятия личного интереса и личного счастья,

[1] Эпименид — легендарный древнегреческий поэт и философ-орфик. С. де Бовуар намекает на упоминание о нем в «Послании к Титу Святого апостола Павла», 1, 12. *(Прим. перев.)*

что наблюдается нередко. Возможно, гарем сделает женщину более счастливой, чем избирательное право. Может быть, домохозяйка куда счастливее работницы? Никто не знает толком, что такое счастье и из каких реальных ценностей оно состоит; невозможно измерить счастье ближнего, зато очень легко «осчастливить» его, навязав то, что выгодно нам, например, обречь его на вечное прозябание, уверяя, что в постоянстве счастье. Словом, к этому понятию мы прибегать не станем. Нашим ориентиром будет экзистенциалистская мораль. Каждый субъект, строя планы будущего, осмысливает себя как нечто трансцендентное; его воля утверждается в бесконечном движении от одной степени свободы к другой; наше бытие имеет смысл лишь как стремление к будущему, открытому в бесконечность. Каждый раз, когда трансцендентность скатывается в имманентность, бытие деградирует в «вещь в себе», свобода становится фиктивной; если личность сама приходит к такому падению, это безнравственно, если же ее к нему вынуждают, то это насилие, угнетение, в обоих случаях оно — безусловное зло. Личность, вознамерившаяся сделать свое бытие осмысленным, осознает его как постоянное стремление к трансцендентности. Все это весьма подходит к положению женщины, ибо она, обладая, как любое человеческое существо, независимой, свободной волей, делает выбор и проявляет себя в мире, где ей навязана мужчинами роль Вторичного Иного, ее силятся удержать в качестве объекта, свести к имманентности, поскольку ее трансцендентность питала бы в ней сознание своей самоценности и суверенности. Драма женщины — это конфликт между настоятельной потребностью личности утвердить свою самоценность и ее положением, в основе которого лежит представление об ее ущербности. Как может осуществиться человек, поставленный в такие условия? Какие пути ему доступны? Какие заводят в тупик? Как обрести независимость в зависимом положении? Какие обстоятельства ограничивают свободу женщины и может ли она их преодолеть? Вот главные вопросы, на которые мы попытаемся ответить. Иначе говоря, нас интересуют перспективы личности на пути не к счастью, а к свободе.



ФЭЙ УЭЛДОН

Лишний! или Месть жены

РАССКАЗ

Перевод с английского В. ВОРОНИНА

А сейчас, друзья, давайте немного развлечемся. Я расскажу вам историю, которая приключилась с Эстер и Аланом на двадцать четвертом году их супружества. Случай, довольно неприятный для них самих, хотя, безусловно, забавный и поучительный для их друзей. А зачем существуют друзья, как не затем, чтобы перемыть им косточки да повеселиться на их счет? (Может, вы помните Эстер и Алана в более раннюю пору их семейной жизни [1], когда оба они сидели на диете и Эстер ушла — правда, ненадолго — из дома, и вас, наверное, удивит, что вместо сына, который был у них тогда, теперь у них дочь по имени Гермес. Но менять правила в ходе работы — священное право писателя. Если вам это не нравится, закройте книгу!)

Вообразите теперь одну из наших новых больниц-дворцов: снаружи — бетонная башня; внутри — ворсистые ковры под ногами; медленно ползущие вверх-вниз лифты, в которые входят и из которых выходят молодые создания в белом с озабоченными лицами и в складных очках; редкий больной в халатике, выползший из дневной палаты, кашляет, что-то лопочет или ковыляет по коридору; тут и там маленькие ниши, в которых размещаются чайные бары, где улыбчивые добровольцы, работающие на общественных началах, продадут посетителям белые облитые глазурью булочки и порцию кофеина. И где ощущение жалкой тревоги витает в очищенном воздухе, смешиваясь со стойким душком гангрены; и какой бы краской ни предписывал окрашивать больничные стены дизайнер, дабы придать им яркий глянец, они все равно слишком скоро тускнеют и становятся шероховатыми, как бы в напоминание о том, что все портится и приходит в негодность — и требует отчаянных спасательных мер, которые никогда не бывают вполне успешными. Ведь исправить что-либо можно только на время.

Но это — отделение государственного здравоохранения, а ведь мы как будто собирались немного развлечься. Есть тут и частное отделение, и как раз в нем лежит Алан. Имеет же он право на маленькую привилегию — ради чего тогда он столько лет работал? В частном отделении обстановка не столь удручающая. Деньги служат неплохой подушкой для обремененной тревогами головы.

К вашему сведению, эта подушка была выдернута у Алана из-под головы, и довольно-таки неожиданно. Бац! Бам! В наше время с кем только это не случается. Признан лишним! Уволен по сокращению штатов!

---

[1] Речь идет о героях романа Фэй Уэлдон «Шутка толстухи» (1976 г.). *(Здесь и далее — прим. перев.)*

© 1985 by Fay Weldon

Что он здесь делает? Подтягивает кожу лица. Вернее, подтяжка ему сделана неделю назад: разглажено все лицо и даже подшита кожа на эпикантусах [1], чтобы убрать морщинки над глазом. Человек становится моложе на много лет. А стареющим ответственным работникам, занятым поисками места, желательно помолодеть насколько только возможно. Правда, вот заживает лицо у Алана плоховато: гематомы не рассасываются, ткани не срастаются. Почему? Мистер Хан, хирург, крайне озабочен.

Ну, это мистер Хан так говорит. Вряд ли уж из-за состояния эпикантусов Алана он лишился сна. Если и лишился, то из-за чего-то другого. Скажем, из-за медсестры Пони; иной раз он и впрямь так хочет ее, что не может заснуть. Мистер Хан — хирург-косметолог; он мастер своего дела и гребет деньги лопатой. (Ведь куда прибыльней иметь дело с немощами богачей, чем со страданиями бедняков.) Его супруга, миссис профессор Хан, знаменитый нейрохирург, красивая и импозантная, внушает ему священный ужас. Даже моральное превосходство на стороне миссис Хан, ибо она работает в системе государственного здравоохранения, в «бесплатных палатах», как выражается ее муж. Он, правда, тоже иногда оперирует там больных с ожогами и рваными ранами: это помогает ему сохранять форму как профессионалу и дает право на небольшую налоговую скидку. Зато миссис профессор Хан никогда бы не согласилась работать в частном отделении. Она никогда не будет богатой, по-настоящему богатой, но у нее чистая совесть и она хорошо спит по ночам. У Пони нет ни чистой совести, ни богатства, ни красоты, ни талантов, но она молода, очень молода. Если сейчас она плохо спит по ночам, то это потому, что ей приходится то и дело вскакивать по-маленькому: она забеременела от мистера Хана. В тот самый момент, когда мистер Хан переступает с линолеума государственного отделения на палас частного, она поджидает его, чтобы сообщить ему эту новость.

Мистер Хан смугл и неотразимо обаятелен; родина его предков — полуостров Индостан; у него черные с миндалевидным разрезом глаза, опушенные густыми ресницами, и чувственные пальцы. Любовью он занимается в духе Кама Сутры; оперируя, он напевает песенки про любовь; формируя косточку тут, вылепляя комочек плоти там, он перекраивает мужчину — и женщину тоже — по лучшему образу, чем тот, по которому их сотворил Создатель. Разве может Пони устоять против него? Нет, конечно. Пони миниатюрна; у нее личико сильфиды и легкие, разлетающиеся светлые волосы; вот и сейчас они разлетелись во все стороны, выбившись из-под шапочки с оборкой, какие носят сестры в частном отделении. Медсестра она никудышная, зато ее отец — бывший министр здравоохранения. Благодаря этому со специалистами она смела, как никогда не бывает смела обычная медсестра.

Мистер Хан важно шествует по коридору: он тут король, обходящий свои владения. По ходу его следования сестры встречают его почтительными взорами, а больные восторженно провожают глазами и рассыпаются в благодарностях. Многие больные носят бурнус, даже здесь, в больнице, а женщины — чадру, но их глаза над черными целомудренными складками светятся горячей признательностью.

— Мистер Хан! Мистер Хан! — тихонько окликает его Пони, выходя из-за переносного стерилизатора, брошенного в коридоре уборщиком, который вчера забастовал, требуя надбавки, и, вероятно, снова забастует завтра. Неблагополучно в наших больницах, особенно в платных отделениях. Редко где богатые и бедные соприкасаются столь близко, и это разжигает недовольство!

---

[1] Кожные складки на верхнем веке над внутренним углом глаза.

Мистер Хан на мгновение останавливается и благосклонно улыбается ей; точно так, наверное, улыбнулся бы профессиональный воин, только вставший ранним утром со своей военной койки, свежий, бодрый, настроенный на убийство, при виде пушистого персидского котенка. Он идет дальше; она семенит за ним. Другие сестры носят простую, удобную, бесшумную обувь; Пони — в нарушение правил — носит туфли с каблучками; у нее есть к тому медицинские показания: она должна носить обувь с высоким подъемом. Даже и на каблуках она, обращаясь к мистеру Хану, смотрит снизу вверх. Это очень приятно и ей и ему. Миссис профессор Хан выше своего мужа.

— Ну что, Пони?

— Бобби,— шепчет Пони.— Я беременна.— Ее личико светится радостью, изумлением и счастливым удовлетворением.

— О,— говорит мистер Хан, на миг приостанавливаясь. Но сразу пускается дальше.

— Что мы будем делать, Бобби? — спрашивает Пони, стараясь попасть в ногу с ним.

— Надо будет об этом потолковать,— говорит в ответ мистер Хан.— Но не сейчас и не здесь.

— Ты всегда так занят! — грустит она.— Но ведь ты большой человек. Как папуля!

Ах да, папуля.

— Это правда,— говорит мистер Хан,— от меня зависит множество людей. Ну, а пока: я тебя очень люблю, и твоя новость меня очень обрадовала.

Пони вся сияет.

— Бобби,— говорит она,— я должна сказать тебе, что твоя жена ждала тебя сейчас у себя в кабинете, но теперь ушла домой. Я сказала ей, что ты занят, ведь это так и есть! Я правду сказала. Она тоже всегда занята, да? Прождала только двенадцать с половиной минут.

— Жену я тоже люблю, Пони,— напоминает ей мистер Хан,— но, конечно, по-другому — не так, как тебя. На будущей неделе или сразу после мы что-нибудь придумаем. А теперь за дело! Как чувствует себя мистер Лир?

(Мистер Лир — разумеется, Алан. Когда-то его звали Аланом Зуссманом, но это было, когда еще он имел сына, до того, как он стал отцом дочери; в ту пору он, смутно ощущая свое еврейство, мучился внутренним страхом; сейчас его терзает всяческая проза жизни: утрата королевства и дохода, и, конечно же, как и всем отцам на свете, ему причиняет беспокойство и огорчения его собственная дочь. Взрослые дети уходят из дома или слишком рано, или слишком поздно, или не по той дорожке, или, самое худшее, вообще не уходят.)

— Мистер Лир меня чрезвычайно беспокоит,— говорит Пони, надевая на лицо маску профессиональной озабоченности. (По правде сказать, Алан беспокоит ее не больше, чем мистера Хана, не настолько, чтобы лишить ее сна. В больных она видит, как это свойственно медсестрам, по преимуществу этаких вымышленных персонажей, а не живых людей.) — Похоже, он впал в депрессию. Я хочу сказать, в клиническую депрессию.

— Вот те раз,— говорит мистер Хан.— Депрессия от антидепрессантов?

— Его лечащий врач когда-то находил у него депрессию,— докладывает Пони,— и лечил его антидепрессантами. Я спрашивала у него, какое они оказывали действие, и он сказал, что от них у него начались кошмары, а я ему: это лишь ваше воображение, и он мне: совершенно верно. Кажется, не очень-то мне удается завоевать его доверие, Бобби. Может быть, его психику травмировали женщины? — И ее губки дрожат от сочувствия, а мистер Хан снова приостанавливается, чтобы полюбоваться, какая она хорошенькая, и наставительно порассуждать (что он

очень любит делать, тогда как жена с годами предоставляет ему все меньше возможностей для этого).

— Разумеется, существует некая причина,— говорит мистер Хан,— почему процесс заживления задерживается, ткани не хотят срастаться, и простейшая пластическая операция, которая не должна причинять зрелому мужчине никакого беспокойства, оказалась в этом конкретном случае столь мучительной. Прелесть моя Пони! Подумать только, ты носишь под сердцем моего ребенка! Какие счастливицы женщины: мужчина может только робко подступаться к творчеству — женщина же сама воплощенное творчество! — И он шествует дальше по коридору, а Пони быстрыми мелкими шажками поспешает следом.

— Бобби,— твердо говорит Пони (недаром она дочь своего отца),— на самом деле и мужчины тоже создают младенцев! Этот ребенок, он твой не меньше, чем мой. Я просто его вынашиваю! А теперь я даже необязательно должна делать это. Мы могли бы теперь вынуть из меня этого ребеночка, заморозить на некоторое время и вложить в матку к совсем другой женщине, а мы оба смотрели бы, держась за руки, как он появляется на свет.— Она ведет речь о новых успехах в гинекологии, достигнутых буквально в нескольких шагах от того места, где они сейчас стоят, чуть дальше по коридору.

— Пока еще не могли бы, Пони, пока еще нет,— говорит мистер Хан.— Хотя со временем эта методика наверняка будет усовершенствована, и я понимаю твою мысль.

Как раз в ту минуту когда мистер Хан и Пони поглощены своим любовным единоборством, их обгоняет небольшая компания в составе трех человек. Впереди — Эстер, поджарая, веснушчатая и страстная, ни дать ни взять Кэтрин Хепберн в Венеции из фильма «Летнее безумие», женщина, переживающая в свои пятьдесят несомненный и яркий сексуальный расцвет. За ней по пятам — двое, которых можно принять за брата и сестру; Фреддо, красавец ирландец, широкоплеч и узок в бедрах; у него ясные голубые глаза, густая черная шевелюра и тонкий, резко очерченный нос; он надел по такому случаю лучший темно-синий костюм и рабочие ботинки. Фреддо — любовник Эстер. Тут же и Гермес. Гермес, как вы знаете,— дочь Эстер и Алана. Ей двадцать четыре на вид, четырнадцать по ужимкам, она хороша собой как картинка, нарядна как куколка и зла как ведьма. Гермес считает себя несчастной и обиженной.

Пони не жалует посетителей. Они сорят в палатах и расстраивают больных. Она преграждает троице путь в палату к своему подопечному.

— Куда это вы идете? — спрашивает она. Мистер Хан восхищается ее храбростью. Только его жена так же храбра.

— К мистеру Лиру,— отвечает миссис Эстер Лир,— в палату номер 341. Он там, я точно знаю. Справилась по компьютеру в приемной.

— К нему нельзя! — говорит Пони. Гермес и Фреддо готовы повернуть назад, но с Эстер эти штучки не пройдут.

— Я, золотце, его жена,— говорит Эстер.— А где же быть жене, как не с мужем?

Слово «жена» внушает Пони суеверный ужас, слава Богу, свойственный любовницам прелюбодеев, и она уступает дорогу, пропуская посетителей к Лиру.

— Неправильно это,— жалуется Пони мистеру Хану, который, застыв на месте, как зачарованный смотрит вслед Эстер Лир.— Я-то знаю, что он хочет скрыть свою операцию от жены. Своим он сказал, что едет на север Шотландии — проходить курс переквалификации для сокращенных ответственных работников. Он хотел, чтобы его новое лицо явилось для них сюрпризом. Он мне так и сказал. Ведь он рассказывает мне о себе. И он терпеть не может свою жену. Они живут отдельно.

— Мистеру Лиру не следовало ничего скрывать,— мистер Хан укоризненно качает головой.— В косметической хирургии нет ничего постыдного. В наше трудное время только естественно, что работодатели хотят, чтобы их служащие выглядели молодыми, красивыми и бодрыми и внушали доверие другим. Мужчина ведь часто выглядит старше, чем себя ощущает, и в таких случаях сделать себе «косметический ремонт» — это не тщеславие, а обычный здравый смысл.

Пони много раз слышала от него подобные речи.

— Так, значит, это его жена? — говорит он.— Миссис Лир! Интересная женщина, не чета своему мужу.

Пони ни разу не слышала от него подобных речей, и то, что́ она слышит, ей определенно не нравится. Она ощущает какую-то усталость и думает, что на выходные, пожалуй, поедет к родителям в их загородный дом и будет полоть клумбы.

Эстер, достигнув двери в палату номер 341, поворачивается к своим спутникам и запрещает им входить.

— Гермес, Фреддо,— командует она,— вы останетесь здесь.

— Ты же только поскандалишь с ним,— говорит Фреддо сочным молодым голосом, в легких обертонах которого бездна ирландского (южноирландского) тумана и обаяния.

— При свидетелях мы поскандалим гораздо скорей,— бросает Эстер.— Пора бы уж знать.

— Я пойду с тобой, дорогуша,— упорствует Фреддо.— Этот ублюдок только расстроит тебя.

Поток его доброжелательности, его стремления заботиться, опекать и защищать, которое Эстер называет его ланселотовым комплексом [1], совершенно неудержим. Тогда Эстер направляет этот поток в другое русло. Как умело она манипулирует людьми после стольких лет семейной жизни!

— Фреддо, милый, мне нужно, чтобы ты побыл здесь и позаботился о Гермес. Начать с того, что ей тут совершенно нечего делать.— Гермес бросает на мать взгляд, полный обиды и непокорства.— Это касается только меня и ее отца. Незачем ей было приходить.

— Теперь ты обвиняешь меня в том, что я увязалась за тобой,— упрекает Гермес со слезами в голосе.

— Вот видишь, Фреддо, в каком она состоянии,— говорит Эстер.— Ее нельзя оставлять одну.

Так что Фреддо остается со своей квазипадчерицей. Они усаживаются под пальмой в роскошном алькове, специально оборудованном для избыточных посетителей, вот так же выброшенных сюда взрывом семейных страстей. Гермес сидит с надутым видом, как только можно дальше отодвинувшись от Фреддо. Фреддо смотрится в небольшое зеркало в позолоченной раме, замечает, что кожа у него под подбородком чуть-чуть обвисла, и в порядке эксперимента подтягивает ее. Теперь он смахивает на китайца.

Я китайца-шпиона с подтянутым ко́за лица,— говорит он.

Гермес презрительно морщит свой маленький, прямой, совершенной формы носик и делает вид, что не имеет к Фреддо никакого отношения.

Алан сидит на больничной койке, апатично повернувшись забинтованным лицом к стене. Не прочитаны книги у изголовья, не выпит апельсиновый сок. Эстер садится рядом со своим мужем, уже почти бывшим мужем — окончательное решение суд вынесет всего через пару недель,— берет в руки его ладонь и чувствует, как она напрягается.

— Я не хотела заходить так далеко,— говорит она, ощущая себя

[1] Ланселот — знаменитый рыцарь Круглого стола, олицетворение красоты и мужества; возлюбленный Гиневры, супруги короля Артура.

в эти дни кем-то таким, кто всегда готов отдать предпочтение общему перед частным. В ситуациях семейной жизни женщины обычно предпочитают противоположный образ действий.— Я не хотела доводить до этого.

— Больно говорить,— он избегает встречаться с ней взглядом.

— И всегда было больно, милый,— замечает она и наклоняется, чтобы поправить повязку у него на голове. Он отстраняется, достаточно демонстративно. Он ей не доверяет. Она явилась сюда с каким-то дурным намерением.

— Бинты сползли! Давай я тебе помогу. Чем только занимаются тут сестры? Весь день стоят и треплются с врачами? Тебе же ничего не видно.

— Я не хочу видеть.

— Но как же так, дорогой, на дворе весна. Посмотри в окно. Нарциссы.

Алан говорит, что нарциссы не в его вкусе. Они слишком банальны и слишком желты, а Эстер отвечает: ну, конечно же, он слишком много раз видел, как весны сменяются зимами, и это уже более похоже на Эстер, какой он ее знает или узнал с некоторых пор.

— По крайней мере,— уступает он,— ты не привела с собой любовника. И на том спасибо.

Эстер рада, что он затронул эту тему. Она обожает поговорить с Аланом о Фреддо.

— Он ждет за дверью,— сообщает она.— Он хотел войти, чтобы защищать меня от тебя, но я сказала, что коль скоро ты лежачий больной, опасность мне, наверное, не грозит — раз в кои-то веки.

— Я не желаю слушать о твоем любовнике.

— Ты сам заговорил о нем,— парирует Эстер,— и я считаю, ты просто должен послушать, ведь когда-нибудь ты, возможно, тоже вступишь с кем-то в новую связь и не захочешь, чтобы она порвалась, как все прочие. Так вот, Фреддо всегда добр и внимателен. Он не ищет во мне недостатков, ни физических, ни духовных. Он принимает меня такой, какая я есть, и восхищается мною. Я с ним счастлива. Ты же, наверное, помнишь, что испытывают, встречаясь с молодым, влюбленным и слепо обожающим тебя созданием. Ты достаточно погулял, пока был благополучно женат на мне. Но ведь молодые девицы, похоже, предпочитают женатых мужчин, не так ли? Они могут попрактиковаться без риска связать себя. Ведь нормальный неженатый мужчина зрелого возраста выглядит жалким неудачником, никому не нужным. Тебе не кажется?

— Эстер,— говорит Алан,— я не звал тебя. Я не хотел, чтобы ты приходила. Сделай милость, уйди.

Эстер восприимчива к упрекам, это у нее в характере.

— Прости,— говорит она тихонько, совсем как в былые дни, когда она за все просила прощения, даже за плохую погоду, и весила на семьдесят фунтов больше.— Я больше не буду.— И она смотрит на него с искренним сочувствием, но недолго — как раз столько, чтобы спросить:

— Болит?

— Да,— отвечает Алан.

— Не должно бы,— говорит она.— Наверное, это твое воображение. Когда я услышала, что ты в больнице — и зачем в нее лег,— я позвонила в Британский медицинский центр: узнать, как и что. Мне все подробно объяснили. Сказали, что у тебя, возможно, будет ощущение дискомфорта, но про боль ничего не говорили.

— Болит,— повторяет он.— Боль все-таки есть.

— Мне также сказали,— замечает она,— сколько это, наверное, стоило.

— Вот как? — Это звучит уклончиво, слишком уклончиво.

— Меня заверили, что теперь ты будешь выглядеть на десять лет моложе. Я сказала, как жаль, что скальпель бессилен подправить и кое-какие другие части тела.

— Мужская сила,— отвечает Алан, всем своим видом показывая, что оскорбление его не задело,— зависит от самоуважения.

— Бедняжка Алан,— иронизирует Эстер.

— Все это было одним большим унижением,— говорит он.

— Мне ли не знать, что чувствуют униженные,— говорит она.— Ты меня научил.

Он не отвечает на это. Она делает новую попытку:

— Твоя дочь Гермес осталась за дверью: успокаивает Фреддо. Она зайдет, чтобы выразить тебе сочувствие, но только ненадолго.

— Может, она сбежит с Фреддо,— говорит Алан с надеждой.— Сколько моих денег из выходного пособия ты ему отдала?

— Это не твои деньги, а мои. Мне присудил их суд, принявший во внимание твое безобразное поведение в последние годы нашей супружеской жизни. Всего-то пару тысяч, чтобы он мог начать собственное дело. Теперь у него славная маленькая мастерская, и он целый день занят и счастлив. Так что обо мне будет кому позаботиться, после того как ты исполнишь свою постоянную угрозу и продашь дом без моего ведома и покончишь с собой.

— Когда это ты нуждалась в чьей-то заботе?

— О, было, было время,— с грустью говорит она.— Я такая, какой ты меня сделал. Алан, я пришла сюда не затем, чтобы ссориться с тобой, я только пришла спросить, где ты взял денег на эту неимоверно дорогую и совершенно зряшную косметическую операцию, когда нужно оплачивать учебу Гермес на курсах «Кордон блё» [1], в доме протекает крыша, и ты, наверное, платишь огромные гонорары своему адвокату, поскольку судишься со мной из-за каждого пустяка, хотя суд всегда решает дело в мою пользу, и всем на свете наплевать, выглядишь ты старым или молодым. Так откуда у тебя деньги?

Немного помолчав, он признается:

— Я перезаложил дом.

Теперь, в свою очередь, смолкает она. И наконец говорит со зловещим спокойствием:

— Я тебе не верю. Ты просто хочешь позлить меня. Как бы ты мог получить деньги по закладной без моей подписи?

— В этих конторах,— говорит он,— обыкновенно берут сторону мужа. Кое в чем идут тебе навстречу.

Теперь она верит. Поверив, она с воплем набрасывается на него и что есть силы молотит кулаками по его забинтованной голове. Он заранее приготовился к бегству — в конце-то концов он женат на ней много лет и способен предугадать ее реакции,— но никак не вытащит ногу из-под туго подоткнутого больничного одеяла и не успевает выскользнуть из постели с тем проворством, с каким рассчитывал это сделать. Он громко зовет на помощь, она громко обзывает его. В палату вбегают Гермес и Фреддо. Гермес держится подальше от родителей, но выкрикивает для сведения каждого, кто пожелает слушать: «Вечно они скандалят! Со стыда сгореть можно! Неудивительно, что я такая нервная!» — Фреддо пытается ласково унять свою возлюбленную, восклицая: «О, дорогая моя, любимая, нежная!» Но она яростно отталкивает его локтем. Поэтому унимать Эстер приходится миниатюрной Пони, которая применяет сложный захват шеи — она обучена приемам восточных единоборств,— и к тому моменту, когда на место действия прибывает мистер Хан, вызванный настойчивым «бип-бип-бип» сигнала тревоги, восстанавливается некое подобие порядка. Эстер, со сверкающими глазами, но притихшая, сидит в углу, Фреддо гладит ее по волосам и с презрительной миной смотрит на Алана; Гермес молча льет слезы, а Пони поправляет Алану повязку на голове.

— Все в порядке, мистер Хан,— говорит Пони.— По-моему, ваша

---

[1] Буквально «синяя лента» *(франц.)*; в переносном смысле — «искусная повариха».

дивная работа ничуточки не подпорчена.— И вполголоса, но достаточно громко, чтобы услышала Эстер, добавляет: — Уж эти мне посетители!

— Миссис Лир,— говорит мистер Хан медоточивым голосом,— не пройдете ли вы со мной ко мне в кабинет? Я думаю, нам надо поговорить. В обычное время физическое насилие и вправду способно благотворным образом снять напряжение, но ведь ваш муж переживает сейчас не совсем обычный период. Он нуждается в вашей любви и поддержке. Рубцы на щеках не внушают особых опасений, но я приподнял ему эпикантусы, а они особенно уязвимы.

«В» он произносит, как «у»; Пони это нравится. «Уязуимы»!

Она вздохом выражает свое восхищение. Мистер Хан приосанивается.

— Например, ему нельзя,— продолжает мистер Хан,— слишком много смеяться.

— Папочка,— замечает Гермес,— никогда не был смешлив. С этой стороны ему ничего не грозит.

Мистер Хан отправляет Гермес и Фреддо в буфет, пусть они подождут там свою матушку, и советует им заказать вместо кофе чай из целебных трав. От кофе, говорит он, могут лопнуть тончайшие капилляры щеки, а восстановить их — дело довольно трудное.

— Есть вещи,— внушает он притихшему буйному сборищу,— над которыми наши больные не властны. Например, ход времени или несправедливость судьбы при рождении. Другое дело кофе, спиртное, переедание, сексуальные излишества — вещи, от которых появляется столько морщин на лицах,— над ними-то они властны! Могут ведь воздержаться, но обычно не желают! В этом отделении больницы,— грустно признается мистер Хан,— не встретишь лучших и прекраснейших из людей.

Фреддо и Гермес, весьма подавленные и полные решимости отказаться от кофе, направляются пить чай из целебных трав. Эстер вместе с мистером Ханом идет к нему в кабинет, а Пони садится на край постели Алана, чтобы успокоить и ободрить больного в интересах правильного срастания тканей. Сестра-наставница называла эту процедуру «методом безостановочного говорения» и очень верила в ее действенность, а Пони недаром была ее ученицей.

— Друзья, родные — все это распрекрасно в часы посещения,— говорит Пони, скрещивая свои маленькие стройные ножки,— но если ваши самые близкие и дорогие явились в неурочное время, почти всегда жди неприятностей. По-моему, больницы должны быть только для больных, правда? Сестра-наставница всегда нам говорила: больницы — это храмы; сперва должен исцелиться дух, а уж потом — тело, и, вообще, большинство людей ложится в больницу, чтобы обрести мир и покой. Сломанная нога, твердила она,— это мольба о помощи, и сестра прежде всего обязана найти источник душевной боли. Экономней давайте болеутоляющие, внушала она: в большинстве своем пациенты нуждаются в боли, чтобы успокоить свои муки совести. Когда они сами сочтут, что перестрадали достаточно, боль пройдет. Болеутоляющие только сбивают больного с толку и затягивают процесс выздоровления. Потерпеть и вылечиться быстро, говорила она, или щадить себя и лечиться долго, так или этак, а в наше время, когда на больницы отпускают все меньше денег и на каждую больничную койку очередь, щадить себя и лечиться долго просто безнравственно. Сестра-наставница удивительная женщина. Мудрая!

Алан не слушает ее: он осторожно двигает челюстью, обмотанной бинтами, и встревожен тем, как свободно она ходит.

— Ничего у меня там не сломалось? — спрашивает он.

— Нет, нет,— успокаивает его Пони.— Просто вы начали правильно пользоваться челюстью. Когда вы кричали: «Сучка ты, сучка ты»,— вы на самом деле упражняли свои ротовые связки. Сестра-наставница

очень верила в катарсис. Теперь, когда вы высказали то, что действительно хотели высказать, вам будет гораздо легче говорить, вот увидите! Чудесно, да? Вот и отлично! По-моему, теперь мы действительно пошли на поправку!

И она, соскользнув с кровати, пускается в пляс вокруг нее. Алану с трудом верится, что улучшение его здоровья способно вызвать столь бурную реакцию.

— Как прекрасно все складывается,— восклицает Пони.— И ко всему — я забеременела!

— Боже правый,— мрачно роняет Алан.

— Разве вы не любите детей? — она обеспокоена.

— Не очень,— говорит он.— Похоже, их разучились готовить.

Она непонимающе смотрит на него, и ему становится стыдно за свою шутку: Пони такая радостная и хорошенькая и спасла его от кулаков жены. Теперь он отвечает как надо, как она того заслуживает.

— Это просто замечательно! — поправляется он.— Я и не знал, что вы замужем.

— Как же вы отстали от жизни,— говорит она.— Но я выхожу замуж! И знаете, за кого? За мистера Хана.

— Я мог бы догадаться. Еще вчера он показывал мне фотографии своей жены и детей.

— Он считает, что так полагается, вот и все. На фотографиях она выглядит нормально, но это жуткая зануда. Она нейрохирург. Он ни капельки не любит ее, разве что в обычном смысле.

— А что, бывает любовь в каком-то другом смысле?

— О да! — шепчет Пони.— Но людям вашего поколения этого не понять! — И она говорит об испепеляющей ее страсти, и об ощущении, что их соединили небеса, и о чувстве предназначения, о счастливейшей случайности, высшей удаче! Она и мистер Хан! Просто чудо, что он, приехав с другого конца света, по наитию поступил именно в эту больницу, а она по чистой случайности проходила здесь практику — и вот так они встретились. Их свела судьба. Разве объяснишь это как-нибудь иначе?

— Да, да,— говорит Алан, поворачиваясь лицом к стене.

Тем временем Эстер разговаривает с мистером Ханом в его большом прохладном кабинете. На аккуратно прибранном письменном столе стоит фотография: миссис профессор Хан с двумя детьми, все трое верхом на лошадях.

— Дорогая моя,— говорит он,— жить прошлым бессмысленно.

— Не называйте меня «дорогая моя»,— говорит Эстер.— А жить прошлым отнюдь не бессмысленно. Гнев придает мне силы! Подумать только о том, как я жила! О всех этих напрасно прожитых годах!

— Вы не хотите рассказать мне об этом, дорогая? — Он не отрывает взгляда своих карих, с поволокой глаз от ее глаз, синих и сверкающих. Он восхищен ею. Она напоминает ему жену, эта умная и сильная женщина, не склонившая головы перед необходимостью быть благонравной, в отличие от большинства англичанок с их готовностью терпеливо сносить что угодно и никогда не жаловаться.

Расскажите же, почему при упоминании о том, что дом перезаложен, вы пришли в такую неистовую, неистовую ярость!

— Было время,— говорит Эстер,— и я его прожила, прежде чем начались неприятности, когда женщины гордились быть женами и восхищались мужьями и вели хозяйство и любили делать это хорошо и звание «домашняя хозяйка» пользовалось уважением и многое значило и растить детей было престижно и я растила Гермес. А потом Гермес минуло девятнадцать, и мне захотелось, чтобы она покинула родительс-

кий дом, и в то же время не хотелось этого, ибо в чем тогда будет мое жизненное назначение? Для меня настала пора расплачиваться и как жене и как матери, и я понимала это, Алан же понять не мог, а Гермес не желала.

Вообразите картину: я в моем любовно ухоженном гнездышке в пригороде, с розами перед домом и лужайкой позади, достаточно большой, чтобы играть на ней в крокет или устроить вечеринку с выпивкой летним воскресеньем; весь дом обслуживаю одна я — жена, независимо от ее талантов и чаяний, существовала в ту пору для того, чтобы обслуживать семью. А семье, само собой, только этого и надо. Да, дилемма!

А затем наступил один летний вечер; я ждала с работы Алана и готовила к его приходу обед. Готовлю я хуже некуда, но что из того? Готовить было моей обязанностью. Алану нравились блюда официальной кухни, вроде тех, что подают в ресторанах для бизнесменов во время второго завтрака. И его всегда немного удручала та еда, которую я ставила перед ним, как если бы ему недоставало меню, выбора блюд. Я металась взад-вперед, ничего у меня не ладилось: миксер разбрызгал негомогенизированный майонез по всей кухне, болонский соус в скороварке явно подгорал — это чувствовалось по запаху пара,— а Гермес писала за кухонным столом сочинение, и я сказала, хотя лучше бы мне было промолчать:

— Гермес, неужели ты не можешь устроиться со своими книжками на одном краю стола? — И дальше я добавила, что она могла бы пойти заниматься в свою комнату, где у нее такая красивая настольная лампа, рождественский подарок отца. Она в ответ напомнила мне, что на самом деле эту лампу купила я и написала на ней, как у нас повелось, «от папы», а я, как у нас повелось, популярно объяснила ей, что на Рождество отец занят больше, чем когда-либо, и что ее не должно огорчать его мнимое невнимание.— В эти дни,— сказала я,— устраиваются главные презентации и конференции.

— В эти дни устраиваются вечеринки сотрудников,— поправила меня Гермес и добавила, что вечеринки сотрудников — это ежегодные пьянки, и я сказала, что она ничего об этом не знает, а она сказала, что она-то, может, и не знает, зато знает Вэл,— вот уж кто поработал в этих офисах! — и я спросила: кто он такой, этот Вэл, ты все время его приплетаешь? — и Гермес ответила: это не он, это она,— и пока я переваривала эту информацию и готовила себя к неприятностям и доставала муку, чтобы загустить подливку, Гермес вильнула в сторону и напала на меня.— От того, что ты добавишь муки, подливка не станет менее жирной,— заметила она.— Ты просто добавляешь к холестерину углеводы.

— Твой отец любит подливку,— сказала я.

— Ты пытаешься убить отца,— отвечала моя дочь.

— Зачем это? — спросила я.— Ведь он содержит нас, заботится о нас, живет ради нас.

— Ты рабыня,— сказала Гермес.

— Я домашняя хозяйка,— возразила я.

— Вэл говорит, что ты рабыня,— продолжала Гермес, — и бесплатно делаешь грязную работу, а своей стряпней вгоняешь его в гроб. Ты хочешь довести его до инфаркта и получить страховку, — а я сказала, что просто у нее сейчас переходный период, и тогда она заявила: — Как? Быть лесбиянкой — это переходный период?

— И поскольку я в первый раз услышала об этом, я, возможно, отреагировала неправильно: лишь попросила ее не говорить отцу, хотя бы пока он не поест супа,— вы же знаете, как любят детки поджидать на пороге усталого, измочаленного кормильца семьи, чтобы ошарашить его неприятной новостью, — и объяснила ей, какие сейчас настали скверные времена с этим новым повышением цен на нефть, экономическим спадом и валютным курсом фунта — я всегда забываю, хорошо это или плохо — низкий курс фунта? И все такое прочее. А Гермес и говорит:

— Мама, я не думаю, что ты родилась глупой. Ты как-никак училась в колледже. Глупой, по-моему, тебя сделало супружество. У тебя не было своей жизни: ты жила ради мужа. Ты посвятила ему всю себя, мне бросала жалкие крохи, и от тебя ничего не осталось — ничего, кроме банальных фраз, которые ты твердишь как попугай, и когда я уйду из дома, в самом деле уйду, ты потеряешь отца, потому что когда уйду я, уйдет и он. Я это чувствую. И Вэл так говорит.

— Гермес,— сказала я,— тебе и впрямь пора бы жить отдельно.

— Да, правильно, гони меня из дому в год, когда мне сдавать выпускные экзамены! — обиженно крикнула она.— И все потому, что я лесбиянка! Вэл говорит, лесбиянкам надо быть готовым к гонениям и преследованиям.

— Пожалуйста, Гермес, убери свои книги,— сказала я,— и ни слова не говори о своем лесбиянстве отцу, пока Тэтчер немного не разберется с экономикой.

Конечно, сказала я это, только чтобы позлить ее, и мне не следовало так поступать, но жизнь может стать такой пресной!

Гермес завопила и швырнула учебник, который угодил в скороварку; тушеное мясо вывалилось, а подливка расплескалась по всему полу, и как раз в этот момент вошел вернувшийся с работы Алан.

— Убирайся, Гермес,— сказала я, и она убралась, а Алан при виде этого беспорядка поднял брови, и я извинилась за то, что обед еще не готов: Гермес меня изводила, мы больше не можем объяснять это ее трудным возрастом, но, быть может, это у нее нервы расходились перед экзаменами, а Алан спросил, где виски, и я, не спохватившись вовремя, сказала: в холодильнике — и выслушала лекцию о том, что виски подают согретое до комнатной температуры, поэтому я предложила ему джин, и снова извинилась — за то, что у нас кончились тоники, и он спросил, что же ты, дорогая, целый день делала? — а я сказала, что хочу бросить все это к черту и начать новую жизнь, вот что я хочу сделать. Перезаложить дом и получить диплом специалиста, и тогда он сел на своего любимого конька: мол, во-первых, я слишком стара, чтобы начинать заново, а во-вторых, слишком очаровательно бестолкова, чтобы справиться с работой вне дома.

— Дорогая,— сказал он,— если бы ты хоть когда-нибудь работала, ты бы так не говорила. Это сплошное унижение и ущемление человеческих прав.

— Дорогая,— заявил он далее,— тебе пришлось бы оплачивать экономку, которая делала бы за тебя твою домашнюю работу, а им сейчас платят больше, чем служащим. Мы бы не свели концы с концами.

— Дорогая,— помнится, сказал он,— а ты подумала о налоге? Если бы ты работала, с меня содрали бы более высокий налог. Мне бы это очень не понравилось.

— Дорогая,— сказал он затем,— ты женщина традиционного склада и будь ею, мне ты такой нравишься, пусть даже и ставишь виски в холодильник.

И я махнула рукой и неблагоразумно сообщила ему о Гермес и о том, что ее Вэл не мужского пола, как мы полагали, а женского.

— Вот что,— сказал Алан,— подобные вещи необходимо пресекать в зародыше. Нужно принять меры.

— Но бывает ведь,— заметила я, зная Алана,— что эти меры не исправляют положение, а только ухудшают его.

— Дорогая,— сказал он,— поверь, уж я знаю, что делаю,— и меня вдруг пронизала острая боль в пояснице.

Помнится, в ту пору мне иногда вступало в поясницу. Я время от времени жаловалась на боль врачу, который всякий раз говорил: а чего же вы хотите, в вашем-то возрасте, и я шла со своей болью — и с рецеп-

том на валиум — обратно домой. Когда-то я собиралась стать врачом,— рассказывает Эстер мистеру Хану,— но мой отец говорил, что это значило бы выбросить на ветер государственные деньги, не говоря уж о его собственных, поскольку я выскочу замуж и обзаведусь детьми. Он был совершенно прав, как потом оказалось. Все так и вышло. Обращали вы внимание, мистер Хан, как много женщин всегда в операционных и как мало мужчин?

— Может быть, поэтому женщины живут дольше мужчин,— не без самодовольства говорит мистер Хан.

Пока Эстер рассказывает мистеру Хану те куски из своей биографии, которые, по ее мнению, имеют отношение к ее обидам, Фреддо и Гермес пьют в буфете травяной чай. Гермес холодна и угрюма, но Фреддо этого почти не замечает.

— Я предпочел бы пить конскую мочу,— говорит Фреддо, прихлебывая маленькими глотками очищенный отвар тысячелистника.

— Я в этом не сомневаюсь,— отзывается Гермес.

— Некоторые пьют,— уверяет ее он.— Помогает от ревматизма.

И он говорит ей, что она отстала от жизни, а она говорит в ответ, что не интересуется его мнением о ней, а он говорит, лучше бы поинтересовалась, потому что не сегодня-завтра он станет ее новым папулей, после чего Гермес начинает тихо ронять слезы в отвар ромашки.

— Почему поколение моих родителей не может отцепиться от нас? — стенает она.— Почему оно должно снова и снова влезать в жизнь нашего? Он делает себе косметический ремонт, она заводит молодых любовников! Слава Богу, хоть бабушке-то хватило приличия состариться в довольно раннем возрасте.

— Ах, дорогуша моя,— говорит он и, успокаивая ее, потихоньку обнимает за талию,— ведь в мифологии это случается всю дорогу. Сперва мать, потом дочь!

Но она слишком погружена в свои собственные горести, чтобы почувствовать прикосновение его руки или направление его мыслей, и только твердит, снова и снова:

— Это я во всем виновата.

— Это Гермес во всем виновата,— говорит в тот же самый момент Алан, обращаясь к Пони, и рассказывает ей, как он впервые направился с визитом к Вэл, чтобы в зародыше пресечь всякую возможность нежелательной связи с его дочерью. В ту пору он считал себя недостаточно внимательным отцом и полагал, что как минимум мог бы раз в кои-то веки принять ради дочери решительные меры. Эстер по требованию Алана порылась в бумагах Гермес и нашла среди них адрес Вэл. И вот Алан отправился к ней после работы, в сером костюме, с кейсом в руке и окрыленный сознанием собственной правоты. Его чуть не сбила с ног стайка девиц на роликах: Вэл жила в колоритном и дорогом районе города. Входная дверь у нее была в серебряную и зеленую шашечку — это показалось ему странным и зловещим. Когда Вэл открыла, Алан растерялся. Он ожидал увидеть мужеподобную молодую особу в грубых джинсах, а вместо этого узрел юную женщину, всю переливающуюся и мерцающую в зеленых шелках, с широко расставленными миндалевидными глазами и блестящими, коротко подстриженными светлыми волосами; она выглядела так, как и должны были в его представлении выглядеть женщины, и он сразу же отмел всякую мысль о подозрительности дружбы между нею и Гермес. Разве это возможно? Он рассердился первым делом на Эстер: надо же предположить такое! Чем объяснит он теперь свой приход?

— Да? — от ее хрипловатого голоса у него замерло сердце.

— Я отец Гермес,— проговорил он и смолк, не зная, что еще сказать.

— Как редко бывает,— сказала она,— чтобы мужчина, представляясь, ссылался на женщину. И как это отрадно! Входите, пожалуйста.

И она отступила в сторону, пропуская его, и он шагнул внутрь, уловив по дороге запах ее духов, или мыла, или шампуня, или еще чего-то, довольно чудно́го. Эстер всегда пользовалась медицинскими сортами мыла и шампуня.

— А потом? Что было потом? — спрашивает Пони, потому что Алан говорит неуверенным голосом, а затем и вовсе смолкает.

— А как вы думаете — что? — спрашивает Алан, и ноздри его слегка раздуваются при воспоминании об ушедшем времени, таком грустном и дивном.

— Я, конечно, знаю, что вы очень привлекательный, но чтобы такая молодая, в возрасте вашей дочери, — зачем вы ей? — спрашивает Пони.

— Не видели вы меня в моей лучшей форме,— надменно говорит Алан из-под бинтов,— иначе бы не спрашивали. Зачем вам мистер Хан, если уж на то пошло?

Мистер Хан сидит, откинувшись на подушки дивана в своем кабинете. Он как раз рассказывает Эстер о Пони.

— Я люблю эту малышку, — говорит мистер Хан.— Я откровенничаю с вами потому, что мне хочется, чтобы вы знали: я тоже человек, я тоже подвержен искушениям. Я сыт по горло супружеской жизнью. Не мне судить других. Конечно, жену я тоже люблю, как и Пони.

— Конечно...

И я ее не оставлю. Как бы я мог? Она ничем этого не заслужила.

Но Эстер не слушает.

— Я виню во всем Гермес,— говорит она.— Да, да. Не будь она такой кретинкой или не проболтайся я Алану о ее приобщении — девицы теперь приобщаются к лесбиянству, как раньше выходили в свет,— ничего бы никогда не случилось.

— Это не должно было случиться,— говорит Алан, овладев собой,— но случилось.— И он более подробно рассказывает Пони, как все это произошло. Как Вэл откинулась на вышитые подушки, а Алан ходил взад-вперед по комнате и извинялся. Как она, вся в мерцающих шелках, прищурясь смотрела на него снизу вверх, и ласкающая взор ткань подчеркивала белизну ее ног.

— Разумеется, теперь, когда я пришел к вам, все это звучит нелепо,— оправдывался он.— Разве могли бы вы оказывать дурное влияние на Гермес? Да если бы она выросла хоть немного похожей на вас...

— Мы с ней ровесницы, Алан.

— Да, но вы такая неординарная.

Она, похоже, удивилась.

— Может быть, вы привыкли к обществу очень ординарных людей?

— Вы находите меня провинциалом? — Он, подумав, решил проглотить пилюлю. — Наверное, вы правы. Я провинциал, современный эквивалент английского йомена. «Саттонмен» [1]! Дело в том, что я работаю на ответственном посту в одной большой компании. Международной. Конечно, английское отделение — это довольно незначительная часть целого, но из Штатов переводятся дополнительные средства, и у меня есть реальная перспектива войти в правление.

— Вам незачем рассказывать мне о своих служебных успехах,— заметила она.

Он пребывал в замешательстве. Почему она разлеглась на подушках; что она хочет этим сказать? Двадцать лет тому назад это означало бы откровенное приглашение, чтобы он бросился на нее, но кто знает, какие сигналы приняты сегодня? Может быть, она демонстрирует длину ног и форму груди для того, чтобы позвать потом на помощь и выставить его насильником? А может быть, она всегда так принимает гостей — полулежа на низком диване, смеющаяся и томная. И как ему понимать теперь ее последнюю реплику?

---

[1] «Саттон» — фирма по продаже семян и садового инвентаря.

— Вы самая красивая и необыкновенная девушка, какую я только видел в жизни, — сказал он, сдаваясь.

Она задумалась над сказанным, перестала смеяться и перешла в атаку:

— Предполагается, что я должна быть польщена или горда оказанной мне честью или и то и другое?

— Я лишь высказал то, что думал,— ответил Алан и затем, полагая, что в ее кругах слово «думал», возможно, не в ходу, заменил его на «чувствовал».

— Нет,— возразила Вэл,— неправда. Вы рассчитывали, что я исполнюсь к вам благодарности за ваш лестный отзыв обо мне, который на самом деле — не больше чем прелюдия к тому, чтобы высказать желание переспать со мной, сейчас, ну а через пару часиков удалиться домой к жене, горячо уповая на то, что я позабуду всю эту историю. И если я позвоню вам на работу, ваша секретарша скажет, что вас нет, но что вы позвоните мне после заседания, чего вы не сделаете; и вы можете быть вполне уверены, что домой я вам не позвоню, поскольку девушки вроде меня — какой вы меня представляете — боятся жен и чувствуют себя виноватыми, что спят с женатыми мужчинами: ведь, по сути, это то же самое, что спать с отцом, чтобы досадить матери.

Как она могла прочесть его мысли? Он хотел уйти. И как раз в тот момент, когда он собрался откланяться, она по-кошачьи потянулась и сказала:

— Но, конечно, если вам этого хочется, я пересплю с вами. Просто я думала, что вам следует быть более честным.

Это напугало его.

— Пожалуй, мне лучше уйти.

Вэл, вопреки его ожиданию, не стала его удерживать. Попросила передать от нее привет его жене, о которой она столько всего слышала от Гермес.

— Вы не женщина, а настоящая пиранья,— пожаловался он. Как могут совмещаться это теплое, податливое тело и этот острый, язвительный ум? — Слава Богу, я счастлив в браке!

— Вот и идите домой к своему счастью, сказала она, как если бы разговаривала с расшалившимся ребенком. Он ерзал и дрожал. Он сказал, что позвонит ей утром, когда у нее исправится настроение, вновь направился было к двери, передумал и выпалил:

— Вы представить себе не можете, какое это облегчение — найти женщину, способную позаботиться о себе!

Она больше не смеялась, не издевалась, не язвила, а смотрела на него снизу вверх потемневшими внимательными глазами, и он, к собственному удивлению, сказал то, чего никогда не говорил за долгие годы интрижек с различными секретаршами и женами коллег, храня хоть какую-то верность Эстер: — Я люблю вас.— Он тотчас же поправился: — По-моему, я мог бы полюбить вас,— но слово, тем не менее, было сказано.

Алан вновь смолкает. Пони с тревогой глядит на него. В глазах у него стоят слезы.

— Вы не должны думать о неприятном,— говорит она.

Его рука непроизвольно тянется к шее: он вспоминает белые пальчики Вэл и как они развязывали его галстук, расстегивали его рубашку. Облегавшие ее зеленые шелка не были помехой для страсти. С Вэл, казалось, почти нет разницы, одета она или раздета. Тогда как Эстер одежда почему-то всегда делала неприступной.

— Я не о неприятном, говорит он. Просто больно думать о разнице между тем, что было тогда, и тем, что теперь.

Теперь мистер Хан, держа руку Эстер в своих ладонях, рассказывает ей о своих затруднениях.

— Жена у меня работает,— говорит он.— Она блестящий нейрохирург. Она спасает от смерти по десятку человек в неделю. Конечно, некоторые из спасенных превращаются в маразматиков, но ведь в противном случае их ждала бы смерть, да и процент «маразматичности», как мы выражаемся, у нее ниже, чем у кого бы то ни было. Она всегда и во всем права; все, что у меня есть,— это деньги, но на весах жизни правота весит больше богатства. Наша домашняя жизнь идет гладко, с точностью часового механизма. Хозяйство ведет экономка, а к стене у нас пришпилено расписание: мы по очереди развозим детей на занятия — всякие там уроки танцев, фехтования, музыки — и забираем их; все увязано, все согласовано. Говорю вам: часовой механизм! Почему же тогда я люблю Пони, которая просто никто, даже медицинская сестра никудышная? Я скажу почему. Потому что она боготворит меня, она обожает меня, она не понимает меня. Но как я могу оставить жену? Это бы ее уничтожило.

Эстер не без удовлетворения оглядывает свое поджарое, усовершенствованное, горячо любимое «я» и говорит:

— Это могло бы помочь ей усовершенствоваться.

Но он с ходу отметает подобную мысль.

— Она уже совершенство,— говорит он.— Этого-то я и не могу вынести. Наша любовная жизнь — это фантастика, настоящая фантастика. Пони недостает воображения, не говоря уж о выносливости. Но хочу я Пони. Мне нужна ее неумелость. Посмотрите на меня! Моя жизнь проходит!

— У всех у нас жизнь проходит,— печально констатирует Эстер,— но Алана постоянно занимал вопрос, насколько моя жизнь проходит быстрей, чем его. Он полагал, что это оправдывает его пошлые романчики.

— Не все романы пошлые,— возражает мистер Хан.— Иногда они прекрасны, прекрасны! Я вижу танцующие ножки Пони под белоснежной крахмальной юбкой медсестры — и обмираю! Это я, мистер Хан, чьи сдвинутые брови приводят в трепет все отделение косметической хирургии! Эта малышка, эта маленькая сестричка вьет из меня веревки — ну, не чудо ли это? Вот чему я изумляюсь, вот в чем черпаю надежду!

— Я безнадежно запутался в ее сетях,— рассказывает Алан Пони.— Она была Евой, протянувшей мне плод познания, и я вкусил от него и был изгнан навеки.

Они лежали, Алан и Вэл, в ее атласной постели. Была середина дня, лучшее время для тайных свиданий. Истратив весь пыл, Алан лежал, опираясь на локоть, и разглядывал ее прекрасное лицо, изгиб ее длинных ресниц, завиток волос за ухом. Кожа у нее была влажной.

— Перед тобой вся жизнь,— сказал он ей,— и это придает тебе особую прелесть. Юность, будущее, ум, надежда — ты прямо лучишься всем этим!

Ее большие глаза вдруг открылись.

— Алан,— заметила она,— ты кошмарный любовник.

Он опешил. Он-то думал, что показал себя совсем неплохо. Неужели так разговаривает новая женщина с мужчинами в подобные моменты?

— Прости, я не понял?

— Ты просто понятия не имеешь,— сказала она,— как это надо делать.

— Никто пока не жаловался,— заносчиво возразил он.

— Может, и нет,— ответила она.— Значит, ты встречаешься только с нетребовательными особами.

Алан встал и оделся, поклявшись никогда сюда не возвращаться.

— Самое меньшее, что ты мог бы сделать для своей жены,— сказала Вэл,— когда ты найдешь для нее время — это доставить ей хоть маленькое сексуальное удовольствие. Я начинаю все больше сочувствовать твоей жене. И всерьез подумываю о том, чтобы вовсе отказаться от мужчин. Женщины по крайней мере знают, что делать, как и когда.

— Боже ты мой,— сказал Алан, разыскивая свой галстук,— физическая близость между мужчинами и женщинами — это выражение любви. Это чисто инстинктивный акт. В конце-то концов, делаешь то, что получается само собой.

— Нет,— сказала Вэл,— ошибаешься. Секс — это искусство, которому обучаются. У некоторых, конечно, есть к этому талант от природы — подобно тому, как бывают у людей врожденные способности к рисованию, но все равно тут требуются прилежание и упражнение. А ты просто никогда не желал утруждать себя.

Алан оскорбился.

— Я ухожу, Вэл,— заявил он,— и больше не приду. Ты слишком много себе позволяешь. Мужчина ищет у женщины поддержки, утешения и ощущения полноты жизни.

— Все это мужчине явно следовало бы искать у своей матери,— сказала Вэл.— Любовница предлагает ему нечто другое.

— Мне не нравится слово «любовница». Любовники — мужчины, а женщины — любимые.

Вэл села, и ее голые груди выскользнули из-под белого с серым отливом шелка.

Она, похоже, была удивлена.

— Я твоя любовница. Ты мой любовник. Мы равны.

После этих слов он повернулся к ней и снова опустился на кровать: решимость оставила его. Он не мог обойтись без нее. Казалось, ей все равно, уйдет он или останется, она не выразила ни радости, ни разочарования. Ему подумалось: она не строит воздушных замков и, ничего не ожидая от будущего, находит жизнь безмерно интересной. И ему захотелось стать таким, как она, отказаться от скучных устойчивых мыслительных стереотипов, от присущих ему маленьких слабостей: излишней самоуверенности и склонности к самооправданию. Ему захотелось родиться заново, душой и телом.

— Разве ты не уходишь? — спросила она.

— Нет. Слишком уж это интересно. Я хочу перемениться. Я хочу войти в твой новый мир.

— А,— сказала она.— Ну что ж, если ты собираешься остаться, если мы продолжим эту связь, тебе придется кое-чему научиться.

— Но ведь ты меня научишь?

— У меня нет времени,— ответила она. Она сдавала экзамены по дизайну в Королевском художественном колледже. Она встала — голая, как была,— отпила родниковой воды из бутылки и вонзила свои острые зубы в красное яблоко.

— Я думаю, тебе лучше купить руководство.

А он лежал на ее кровати, «саттонмен» в хорошем сером костюме и голубом галстуке, и не мог понять, что с ним стряслось.

— Гермес пыталась рассказать мне про Алана и Вэл,— говорит Эстер мистеру Хану,— но я не хотела слушать. Мне было страшно. Я знала, что все меняется. Никогда не забуду один вечер. Гермес страшно злилась, потому что я штопала носки и старалась растолковать ей, как важно, чтобы ногам мужчины было удобно, и как я люблю штопать — это же настоящее искусство, пусть оно и считается старомодным,— и как неправильно, по-моему, просто выбрасывать вещи и заменять их новыми, и как она поняла бы меня, если бы любила какого-нибудь мужчину.

— А где сейчас отец? — спросила Гермес.— Этот мужчина, которого ты любишь? — И я сказала в ответ, что он допоздна задерживается на работе, и пускай это избитая фраза, но зато, как все избитые фразы, наверняка уж правда, ну а если он иной раз и завернет по дороге с работы

в паб — от него, бывает, попахивает виски, когда он приходит домой,— то вряд ли я могу попрекнуть беднягу выпитой рюмкой.

— По-моему, от него скорее попахивает мускусом,— сказала моя дочь.

— Мускусом?

— Вэл душится мускусом,— пояснила Гермес.— Это отвратительно.

— Я думала, Вэл не может поступать плохо! — заметила я.

— Вэл очень даже может поступать плохо,— загадочно сказала Гермес.

— Вот те раз! — оживленно отреагировала я.— Ведь она тебе так нравилась. Что же случилось? Может, она отбила у тебя сердечного дружка? С девицами это бывает! Никогда не следует слишком доверять даже лучшей подруге!

Гермес завопила, что она больше ни минуты не останется в этом сумасшедшем доме, здесь невозможно жить, и я сказала: ну и не надо, золотко, не живи,— и она побледнела, опечалилась и стала умолять меня не выгонять ее, пока ей не выставят отметки — в последнее время отметки заняли непомерно большое место в нашей жизни,— а я на это сказала, что она всегда может переселиться к Вэл, не правда ли, и не на время, а насовсем. Гермес по-прежнему раз или два в неделю ночевала у Вэл.

— Вэл постоянно изгоняет меня из своей спальни, потому что принимает своего любовника, немолодого ответственного работника.

— Ну и ну,— подивилась я.— Право же, девицам не следует связываться с мужчинами другой возрастной группы. Когда смешиваются разные поколения, это всегда ведет к неприятностям.

— Вот именно! — заметила она, загадочно и многозначительно.— Он в отцы ей годится, а уж мне — тем более.— Я кивнула и продолжала штопать носки — по правде сказать, носки я штопаю всегда только ради того, чтобы позлить Гермес,— и она добавила: — Мама, я пытаюсь кое о чем тебе рассказать,— а я посмотрела ей в глаза и отрезала:

— Спасибо, ты очень внимательна, золотко, но в последнее время твой отец особенно нежен и полон любви, и больше я ничего знать не хочу. А теперь помолчи.

Алан лежит в постели, пытаясь справиться с желанием, вдруг разбуженным нахлынувшим потоком воспоминаний; теперь очередь Пони открыть перед ним душу, что настоятельно рекомендовала ей сестра-наставница.

— Любовь — это все, что я могу предложить ему,— говорит Пони с увлажнившимися глазами,— любовь и ребенка, конечно. Ну, не странно ли, что я все время забываю про ребенка?! В первый раз я увидела миссис профессор Хан, когда только начала работать в этом отделении. Мы обсуждали назначения больным, Бобби и я, а она вошла и послала меня, как какую-то горничную, за кофе. Тут я и подумала: ну ладно, я еще с тобой поквитаюсь; и как только Бобби дал волю рукам, я не стала его останавливать — я и опомниться не успела, как мы очутились в постели и полюбили друг друга. Так что во всем виновата она. Она сама навлекла это на себя, и теперь она может стать разведенным нейрохирургом, а я выйду замуж за специалиста. В конце концов, я дочь бывшего министра здравоохранения!

Но Алан не слушает.

— Я виню Гермес,— повторяет он.— Если бы она держала свой поганый язык за зубами, Эстер никогда бы не узнала, и все прошло бы незамеченным.

А этажом ниже в буфете Гермес открывает свою душу Фреддо, раз уж он оказался рядом:

— Конечно, отцу никогда не было до меня дела,— жалуется Гермес.— Он, если на то пошло, хотел вместо меня сына. Всегда — только они вдвоем, Алан и Эстер, а я была лишней. Они на самом деле были парочкой влюбленных, несмотря на Вэл и всех ее предшественниц,— вот это Вэл и не нравилось, поэтому она и старалась встать между ними. Спать с моим отцом — для нее это был способ сблизиться с моей матерью. Собственной семьи у нее никогда не было, вот она и завидовала, что у меня есть родители, какая глупость! Я всегда чувствовала себя сиротой, ведь говорят, дети влюбленных — сироты. Грустно, правда?

Фреддо возражает: на него Алан и Эстер не производят впечатления влюбленной парочки — вечно они орут и цапаются; а Гермес говорит, что другого примера любви она не знает и потому никогда не выйдет замуж; и он гладит ее по щеке, показывая, что понимает ее, и у нее действительно появляется ощущение, что ее слушают с некоторым пониманием.

— Но, конечно же,— говорит Эстер мистеру Хану,— решимости не ревновать хватило мне ненадолго, максимум на час-другой. Как жена я имела кое-какие права, хотя Алан давным-давно разъяснил мне, сколь они незначительны. И вот, как только Гермес, плача и стеная, улеглась спать, я тоже очутилась перед серебристо-зеленой в шашечку дверью жилища Вэл и впервые узрела экзотическое создание, которое было лучшей подругой моей дочери.

— Я жена Алана,— сказала я, и она, возведя глаза к небу, проговорила: «Почему женщины, представляясь, всегда ссылаются на мужчин?» — Тем не менее она пропустила меня внутрь, и я вошла в эту вульгарную комнату — настоящий бордель, кругом малиновые обои и подушечки — и увидела Алана; он сидел на низкой софе и выглядел тут совершенно неуместно в своем съехавшем набок розовом галстуке, но, слава Богу, одетый, а я впала в шок, как это случается с людьми, когда то, что они видят собственными глазами, просто не согласуется с выводами рассудка.

Алан заговорил как можно более небрежным и непринужденным тоном:

— Эстер,— удивился он,— как ты узнала, что я здесь? Вэл тут кое-что для меня печатает.

— До последнего времени,— вырвалось у меня,— для тебя печатала я.

— Да,— согласился Алан,— но ты сажала столько ошибок, что вместо экономии времени получался напрасный труд. Вот я и пользуюсь услугами Вэл, а тебе не говорил, потому что боялся тебя обидеть.

— Понятно,— сказала я и добавила, стараясь выиграть время, чтобы немного опомниться: — Вообще-то я пришла узнать, не здесь ли Гермес. Ей выставили отметки.

— Какие?

— Четверки с минусом,— сообщила я.— Все-таки лучше, чем тройки.

— Боже мой,— сказал Алан.— Какой ужас! Ты должна была заставить ее заниматься, Эстер. Но куда там, ты с детства оставляла ее без присмотра. Она так и не приобрела навыков к серьезной учебе.— Надо ли говорить, что сам он не пошел дальше коммерческого колледжа, да и оттуда вылетел?

— Теперь,— заявил он,— мне, наверное, придется тянуть ее за уши, пока она будет учиться на секретаршу в каком-нибудь дорогом платном колледже. Могла бы она все-таки взяться за ум! Какое там, ты, Эстер, приучила ее смотреть на меня как на денежный мешок,— а чему, собственно, удивляться, если и ты так на меня смотришь?

В продолжение этой совершенно бессмысленной, но такой знакомой тирады Вэл скользила взад и вперед по комнате, бесшумно ступая

голыми ногами, украшенными драгоценностями (наверное, на ней были какие-нибудь восточные сандалии), и поочередно пялясь то на меня, то на моего мужа, который явно был ее любовником. Пускай он успел завязать галстук, но ноги-то у него были босые, с пергаментной кожей и набухшими венами. Понятия не имею, почему она, имея возможность соблазнить кого угодно, выбрала Алана, хотя Гермес говорила-таки потом, что эта Вэл — невропатка, помешанная на женатых мужчинах: она не может успокоиться, пока не расстроит брак, после чего теряет к мужчине всякий интерес, только, по-моему, дело проще. По-моему, ей просто нравилось набираться опыта, и она впускала всякого, кто ни постучится к ней в дверь, и одного, и другого, и третьего — это было в своем роде восхитительно.

— Если я когда-нибудь обзаведусь детьми,— подала голос Вэл,— я сделаю это самостоятельно.

И я ей сказала:

— Вы спите с моим мужем.

— Не сплю,— возразила Вэл.— Он приходит не затем, чтобы спать. Существуют более простые слова, но ваш муж их не употребляет. Мужчины такие романтики!

Я подумала, что ей следовало бы принести извинения или хотя бы устыдиться, и высказала эту мысль вслух, но Вэл ответила: нет, с какой бы это стати? Ведь, насколько она может судить, чем меньше времени мне приходится проводить в обществе такого типа, как Алан, тем лучше. Он всегда так грубит и хамит? Тут до моего потрясенного сознания дошло, что Алан именно такой. Не справедливый и честный, как я полагала, а просто грубый и хамоватый.

— Почему вы с этим миритесь? — спросила далее моя соперница.— Нет, не отвечайте. Тут можно говорить до бесконечности! Короче, какой у жены выбор? Только теперь, после того как вы поймали его in flagrante delicto [1]...

— Вэл! — встревожился Алан.— Ты мне только печатала. Я должен извиниться за безумные домыслы моей жены. Все это ужасно неловко. Ничего здесь сегодня не было!

— Вообще-то я с тобой согласна,— сказала Вэл.— Много возни, тряски, азарта, а на деле — пшик! Сердце у меня так и не расшевелилось. Он кошмарный любовник, Эстер. Можно, я буду называть вас Эстер?

— Вы можете называть меня миссис Лир,— ответила я, надеюсь, с достоинством, и призналась, что знать не знаю, какой он любовник, поскольку вышла за него совсем молодой и невинной и у меня нет никакого критерия для сравнения. После чего Вэл возопила: «Один мужчина за целую жизнь?! Какой ужас!» — и Алан поторопился увести меня из ее дома, будучи неспособен, как я заключила потом, вынести, чтобы две женщины разговаривали между собой, а он больше не находился в центре внимания.

Внизу в буфете Фреддо в приступе гнева на Алана, мучителя Эстер, позволяет себе выразить надежду, что косметическая операция окажется неудачной. Ни один мужчина не вправе так обращаться с хорошей женщиной, кипятится Фреддо, а Гермес спрашивает, как насчет его собственной жены, оставленной дома, в Ирландии, а он отвечает:

— Это совсем другое дело. Она просто использовала меня. Ирландия! От мужчины им там только и нужно, чтобы он соорудил им ребеночка да обвенчался в церкви, чтобы священник не отправил их за это в ад, а потом они мужчин и близко к себе не подпускают. Честное слово, и разве не такими замыслил их господь Бог?

— Почему бы тогда тебе не вернуться туда, откуда ты приехал? — спрашивает Гермес торжествующе.

— Или почему бы тебе не поехать туда со мной? — спрашивает он, не замечая намеренного оскорбления.

---

[1] На месте преступления *(лат.)*.

— Ну и конечно,— говорит теперь Эстер мистеру Хану,— первое, что увидел Алан, когда мы вернулись домой, после того как я прервала его вечер с Вэл, были носки, которые я штопала в назидание Гермес. Он поднял их, оглядел, перевел взгляд на меня и снова уставился на них; носки были кремового цвета, а штопка, по правде сказать, отдавала в желтизну, и я промолвила: — Видишь, я чинила тебе носки,— или что-то в этом роде. Тогда он сказал: — Эстер, я же не смогу их носить! Заштопаны они грубо, кое-как, неровно, ноге будет в них неудобно, и ты даже не подобрала шерсть под цвет!

Я села и задумалась о том, какой день провела я и какой день — он. Наконец я сказала: — Наверное, Вэл мастерица штопать.— Я не заговаривала о Вэл с тех пор, как он вытащил меня из ее квартиры; он тоже не затрагивал этой темы и теперь ответил: — Понятно, Вэл не мастерица штопать. Ей бы в голову не пришло заниматься такой работой. Она независима и горда.

— Но я слышала, как она назвала тебя кошмарным любовником; она оскорбляет тебя,— заметила я.

— Мы с ней понимаем друг друга,— сказал Алан.— Мы говорим только правду, не опускаясь до лжи. Это были не оскорбления; это были комплименты. Но где же тебе понять? Ты на тридцать лет отстала от жизни! Вообще-то Вэл вышивает. Она сама вышила все подушки у себя дома. Она удивительно талантлива. У нее получается все, за что она ни возьмется. Бедняжку Гермес она опекала по доброте душевной: у них нет ничего общего. Бедная, бедная Гермес! Одни-то с ней неприятности.

— Наверное,— сказала я как можно более бодрым тоном,— в постели Вэл тоже лучше меня.

— С ней я и впрямь ловлю кайф, Эстер,— сказал он.— Выражаясь современным языком.

— И что же ты собираешься теперь делать? — поинтересовалась я.

— Делать? — переспросил он.— Ничего, конечно. Что я должен делать?

— Ты не собираешься оставить ее? Как это пристало мужу, когда жена накроет его.

Нет, он не собирался. С какой стати? Это старомодное понятие. Он меня не бросит. Но и спать со мной не будет. Выходные он станет проводить с Вэл, а будние дни — со мной.

— Я по-настоящему живу только в обществе Вэл,— объявил мой супруг.— Прости, если это задевает твои чувства, но мы должны говорить правду. Этому меня научила Вэл.

— Да уж,— заметила я,— она много чему тебя научила для такой юной особы.— На что он ответил, что у нее зрелая душа. Он и мысли не допускал, что я захочу подать на развод. Он сказал, что большинство женщин моего возраста готовы делить мужа, чтобы не потерять его совсем, и я промямлила, что, наверное, так оно и есть, а он заявил, что теперь, когда мы обо всем договорились, мы можем остаться друзьями, даже если не можем больше быть любовниками, и попросил меня принести ему виски. Ничего, если холодное; Вэл, оказывается, научила его ценить виски со льдом, и я сказала в ответ — о, знаете, что я ему сказала, мистер Хан? — я сказала: — Возьми сам.— И это стало первым шагом к освобождению. Одним маленьким шажком для женщины, мистер Хан. Но большим шагом вперед для женщин.

Ну же, ну, смелее дальше, смотрите вперед и не оглядывайтесь! Вы должны выслушать этих людей до конца. Затем и есть у нас друзья, чтобы мы выслушивали их жалобы и излияния, правда? Когда-нибудь они сделают то же для нас — когда нас одолеет бессонница, а подробности того, что сказал он, или что сделала она, или каково было мне, не дадут нам сомкнуть глаз по ночам, и наши сердца будет жечь огнем

ужасное сознание совершённой по отношению к нам несправедливости (это несправедливо, несправедливо, что я ему сделала? я этого не заслужила!), и тело одолеет обморочная слабость от панического чувства, что нужно что-то сделать — но что? Вот тогда нам понадобятся наши друзья, как некогда мы понадобились им. Поэтому выслушивайте друзей; отвечайте им, когда они звонят, сами — не заменяйте себя неодушевленной машиной, автоответчиком. Пусть вам кажется безумием, что они любят того-то или того-то, но так уж все мы устроены. Понимаете, на самом деле никакое это не безумие, а скорее уж сконцентрированная разумность надежды.

Так о чем говорит в буфете Гермес за третьей чашкой тысячелистникового чая? (Тысячелистник развязывает язык и успокаивает нервы. Фреддо сейчас пьет настой бурачника — греки употребляли этот красивый синий цветок как лекарство, смягчающее горе тех, кто потерял близких. И не забывайте, что возлюбленная Фреддо уединилась с мистером Ханом, вкрадчивым и обольстительным иностранцем, а Фреддо до этого и дела нет; ему все больше нравится Гермес, которая — теперь, когда она перестала глупо дуться,— и хороша собой, и весела, и обаятельна, это видно невооруженным глазом, как и то, что кожа у нее очень нежная, очень белая, очень молодая. Тогда как у ее матери, честно говоря, кожа уже не та.)

— Все это было так ужасно,— говорит Гермес,— но Вэл этого не понимала, как ни старалась я ей растолковать. Даже мои слезы ее не трогали. Она утверждала, что спит с моим отцом на благо моей матери, в частности, и всей женской половины человечества в целом, со мной же она спит потому, что каждая женщина имеет право быть гомосексуальной, и в том, что касается ее, ничего не нужно менять.

Фреддо, ошеломленный, во все глаза смотрит на нее.
— Вы с ней действительно?..
— Да, действительно. А почему бы нет?
Он не знает, что сказать, и только тяжело дышит.

— Вэл говорила, что люди должны отвечать за последствия своих поступков,— замечает Гермес.— По ее словам, мой отец виноват в том, что пытался обманывать мать, моя мать — в том, что всегда искала легкий выход из положения, а я — в том, что все еще живу под их крышей и потому обречена видеть все это. Себя она, похоже, не винила ни в чем. Но я сказала: нет, она виновата в том, что я получила только четверки с минусом! Ей нечего было на это ответить.

— Ты хочешь сказать, вы с ней действительно...
— О, помолчи, Фреддо. А она говорит: ложись-ка в постель и забудь обо всем этом; у нас, говорит, есть три жизни: та, которая происходит наяву, та, которая происходит во сне, и сексуальная, и каждая служит убежищем и отдыхом от двух других. А я ей: нет, не лягу. По-моему, она вела себя отвратительно, и тогда она сказала, поступай как хочешь, и в этот момент позвонили в дверь, и она попросила меня пойти открыть, но я не пошла, поскольку знала, что это кто-нибудь из ее любовников, так оно и оказалось. Мой папуля. Перестань ты на меня так пялиться, Фреддо, наверняка ты и сам имел гомосексуальные отношения с другими парнями, когда учился в своей католической семинарии.
— Но никогда — по своей воле,— говорит Фреддо.
— Папуля влетел и отвратительным гортанным голосом сказал: дорогая,— а Вэл в ответ: я думала, ты ушел домой.— Сказано это было отнюдь не радушным тоном, но папуля не обратил внимания. Он удивительно толстокожий. Он сказал, что переезжает к ней. Он не может без нее жить. Она для него все — его образование, его жизнь, его будущее. Ну и ну,— сказала Вэл. Она пыталась не дать ему войти в спальню, где была я, но он этого не заметил. Он пришел с чемоданом и хотел его

распаковать. Ей он сказал, что ожидает повышения по службе, после чего уйдет из дома и они вдвоем поселятся в только что отстроенном полутораэтажном бунгало, которое он подыскал на окраине города. Он знаком со строителем и купит дом по сходной цене. Это не так далеко от места, где живут его жена с дочерью, так что он сможет присматривать за ними. Тут я сказала: о, спасибо, папочка,— и увидела, как он подскочил до потолка. Мне это понравилось. Но он очень скоро взял себя в руки и сказал, чтобы я бежала домой и позаботилась о матери. Пора бы тебе начать зарабатывать себе на жизнь, добавил он, а я сказала, что у меня такое же право быть с Вэл, как у него. Это его потрясло, но он продолжал твердить, как я сейчас нужна маме, она там во тьме, буквально во тьме, потому что они разругались, он с мамой, и мама пыталась его убить, швырнув в него электронагревателем, когда он стоял под душем, но единственное, что ей удалось — это устроить короткое замыкание и вырубить электричество во всем доме, поэтому он собрал в темноте чемодан и поехал прямо к Вэл: он принял окончательное решение. Он выбрал Вэл и новую жизнь. Можно ли жить с такой скандальной, кровожадной женщиной, как моя мать? Люди должны отвечать за последствия своих поступков, заявил он — это он позаимствовал у Вэл,— так что я оделась и пошла домой заботиться о бедной мамуле.

— Оделась? — переспрашивает Фреддо.

— Надела пальто,— поправляется Гермес. Она начинает дорожить мнением Фреддо. Настой тысячелистника делает людей мягкими и тактичными.— Уходя, я слышала, как они там спорят. Вэл говорила: но мне нравится жить одной,— а Алан говорил: но ты же сказала, что любишь меня,— а Вэл говорила: но это было сказано под влиянием минуты,— а он говорил: все наши минуты — сплошь порыв страсти, дорогая моя, и посмотрим, что ты скажешь, когда увидишь новый дом — прекрасный вид из окон и гараж на фотоэлементах. Они с Вэл смогут летать по всему свету на реактивных самолетах в избранном кругу; днем он будет заседать на совещаниях, она — полеживать у бассейна, а по вечерам они станут осматривать город. Вэл только уставилась на папулю как на сумасшедшего, а он, по-моему, и впрямь малость тронулся. Бедный папуля! Тогда Вэл спросила папочку, что он собирается предпринять в отношении мамы, и он сказал, что она имеет право на половину семейного имущества и что она всегда хотела работать и быть независимой; теперь у нее будет такая возможность.

Вот тут-то Вэл, к ее чести, и велела ему убираться вон.— Похоже,— сказала она,— в моем представлении о роде человеческом, в моем проекте утопии я недооценила элементарное, стопроцентное, потрясающее людское свинство.

И папуля отправился ночевать в гостиницу, а я пошла домой, но не смогла попасть в дом, потому что входная дверь была заперта.

— К тому времени там уже был я,— говорит Фреддо,— с твоей нежной милой мамочкой, и, ясное дело, никаких незваных гостей мы впускать не желали. Кто бы, понимаешь, ни ломился в дверь.

— Все-таки это и мой дом,— с упреком говорит Гермес.

— Зато и случай-то какой особый! За несколько минут я обрел свою истинную любовь! Иду по вызову из главной диспетчерской исправить повреждение электросети в доме номер 19! Стучу в дверь и громко объявляю, чтобы не напугать жильцов: «Это посланец электроэнергетического управления, сам сэр Ланселот, пришел на помощь, чтобы принести свет в вашу жизнь!» — И кто же мне открывает? Твоя милая славная мамочка с личиком, опухшим от слез. Прекрасная дама в беде! Обычное дело, когда в доме вырубился свет. Кто-то что-то швырнул. Мы находим фонарик, находим стремянку, находим пробки, и она мне говорит, что я, наверное, имел в виду сэра Галаада [1], а не сэра Ланселота, сэр Ланселот

[1] Один из рыцарей Круглого стола, воплощение рыцарских добродетелей.

всего-то и сделал, что убежал с женой короля Артура, а я с верхушки стремянки свечу фонариком в ее повернутое кверху лицо, и она улыбается мне сквозь слезы, и, ясное дело, мое сердце тянется к ней, и я сознаю, что должен посвятить мою жизнь счастью этой бедняжки, и мы поднимаемся в спальню и ложимся в широкую мягкую постель.

— Постель моего отца!

— Ясное дело, но разве не пренебрег он своим супружеским долгом?

Алан вздыхает, и Пони поправляет его повязку.

— Теперь уже недолго ждать,— говорит она.— Бинты снимут, и вы снова окунетесь в жизнь.

— Жизнь! — жалуется он.— Жизнь вознамерилась доконать меня. Стоит только выбиться из колеи, и — бух! бах! — она загоняет тебя в тупик. Не успел я пережить открытие, что Вэл играет моими чувствами, как меня вызвали в кабинет директора, и там, вместо ожидаемого повышения, я получил уведомление об увольнении по сокращению штатов. Компания закрыла ряд отделений, и я оказался ненужным, лишним. Экономический спад, милая, это как старость: подкрадывается тихо, ты и не заметишь! Чтобы это коснулось тебя — быть того не может! Мне дали довольно большое выходное пособие, но не в этом суть. Суть в том, что вдруг становишься бесполезным, никчемным. Просыпаешься утром — и нет у тебя ничего, кроме настроения, в котором проснулся! Эстер я об увольнении не сказал. Пусть думает, что аура тихого отчаяния вокруг меня — результат моего разрыва с Вэл, на который я пошел ради нее. И что поэтому виновата она, Эстер. Но на сей раз она, вопреки обыкновению, даже не пыталась загладить свою провинность передо мной нервным виноватым покашливанием и маленькими подарками, призванными задобрить меня: то новой рубашкой, то парой носков, которые она покупала на сэкономленные хозяйственные деньги. Нет, куда там! Она, как я ни взгляну на нее тайком, все чему-то улыбалась, а когда я снова перебрался к ней в постель, все было так, будто она и не заметила моего долгого отсутствия. Мне и в голову не приходило, что у нее любовник. Я делал вид, что каждый день ухожу на работу, а на самом деле шел в публичную библиотеку и там в компании десятка других таких же уволенных изучал в газетах объявления о найме на работу. По мере того как спад углублялся, вакансий становилось все меньше, и мне никак не удавалось найти место. Горе, вызванное утратой Вэл — я был уязвлен до глубины души,— и сознание, что я поставил себя в смешное положение, да еще перед своей собственной дочерью, состарили меня. Волосы у меня заметно поседели. Я много раз ходил на собеседование к работодателям — и ни один не предложил мне работу. Я был подавлен, несчастен, озлоблен и слишком много пил, и это отражалось на моей внешности.

Однажды я решил открыться Эстер и стойко выдержать ее гнев и веселье: ведь если в глазах человека работающего она была существом, которое можно игнорировать, если не презирать, то безработному это существо внушало трепет. И вот я явился домой в первой половине дня.

— Это всегда неблагоразумно! — говорит Пони.

— Что верно, то верно,— говорит Фреддо Гермес,— твоя матушка — страшная женщина, когда войдет в раж. Однажды утром я, по своему обыкновению, счастливо полеживал в постели моей душечки...

— Ну и нахал же ты,— восклицает Гермес,— а еще меня осуждаешь...

— Дорогуша,— говорит Фреддо,— то, что делаю я, естественно, а что делаешь ты — нет, и разве не доказательство тому СПИД? Эта Божья кара, обрушенная на грешников?

Она открывает рот, чтобы возразить ему, но он не дает перебить себя:

— ...в постели моей душечки,— повторяет он,— как вдруг поворачивается ключ в замке; тогда она в чем мать родила выскакивает из постели и подходит к перилам лестницы.

— Эстер, Эстер,— говорит муженек,— где ты?

— В постели,— говорит она.— Почему ты не на работе?

— Ты что — все утро не вставала? — спрашивает он, пялясь на ее срамную наготу.

— Почему же, вставала,— говорит она,— а потом снова легла,— и я слышу, как она зовет меня: — Фреддо! — и муженек говорит: «Кто это?» — и я подхожу и становлюсь в костюме Адама рядом с ней, и она говорит: — Его зовут Фреддо, и это мужчина, которого я люблю. В твоем обществе я жива лишь наполовину, в его — живу на полную катушку. Уверена, ты не станешь возражать. А не то я всю неделю буду жить у него, а выходные проводить с тобой.

У бедняги слезы на глазах выступили, и я говорю: прекрати ты это,— и тут мне приходит в голову, что я нужен ей только затем, чтобы расквитаться с ним, и так ей и говорю, но она говорит, нет, ей нужен сам я — и нужно расквитаться с ним.

Потом она просит бедного муженька пойти и принести ей виски, причем лично я, говорит она, не люблю виски со льдом, и тут он пускает слезу, и я иду одеваться, а когда возвращаюсь, она стоит на верхней площадке, он стоит перед ней на коленях, рыдает и пытается целовать стопы ее ног.

— Не надо, перестань! — восклицает шокированная Гермес.

— И это показывает, что он мужчина с благородными чувствами. Сколько раз припадал я к стопам твоей матушки, этой святой женщины. Муженек поднимает голову, видит меня и говорит: я не потерплю этого человека в доме,— но она только смеется и отвечает: как я скажу, так и будет,— и говорит ему, что поступает на работу, будет придумывать надписи к рекламе деликатесов в журнале и теперь может жить так, как ей захочется.

— Это был ужас какой-то,— жалуется Гермес.— Иметь работающую мать! Она перестала готовить, перестала стирать, и если папа спрашивал, где кукурузные хлопья, она отвечала: в магазине на углу,— и если я спрашивала: где моя белая блузка? — она отвечала: под кроватью, где ты ее оставила,— и если он говорил: дорогая, давай начнем все сначала,— она говорила: сейчас мне некогда с тобой разговаривать. В девять у меня совещание. Не забудь отнести кошку к ветеринару, взять напрокат пылесос и вычистить ковер на лестнице да приготовь что-нибудь на ужин — такое, что бы могло постоять, потому что сегодня я поздно приду с работы. Вот так, я работаю, а ты нет.

— Это на нее похоже, на душечку мою милую,— говорит Фреддо.— Женщина с характером!

— Она выгнала отца из дома,— говорит Гермес,— хотела она того или нет. В один прекрасный день она переборщила, он ушел, снял себе комнату и начал бракоразводный процесс, а она оспаривала каждый его иск. И его выходное пособие пошло на оплату адвокатов, а остатки забрал ты. Моя мать чудовище. Это отец ее такой сделал. Неудивительно, что из меня ничего не вышло. Но я-то никогда не уйду из дома. Я буду все, что только смогу, брать у них обоих — всегда, всегда, всегда!

— Ты дочка своей матери, и я люблю тебя за это,— говорит Фреддо и, перегнувшись через стол, целует ее в губы.— Я же по тебе сох все это время. А теперь, когда у меня свое собственное маленькое дельце, разве не могли бы мы сойтись? Вот только где мы будем жить?

Алан засыпает на своей больничной кровати. Пони выскальзывает из комнаты. Мистер Хан говорит Эстер: вы очень, очень привлекательная женщина, дорогая моя,— и его тонкие, талантливые пальцы незаметно подкрадываются к ее стареющему, но еще очень даже соблазнительному колену. Эстер быстро встает и говорит, что должна

пойти посмотреть, как там ее муж, довольная, что раз в кои-то веки он пригодился ей в этом качестве, и в этот миг миссис профессор Хан переступает водораздел, где линолеум переходит в ворсистый ковер, кончаются бесплатные палаты и начинаются платные: она ищет своего мужа. И, само собой, навстречу ей попадается Пони, которая занята поисками его же.

Конечно, они сталкиваются нос к носу. Вы и по собственному опыту, наверное, знаете, что, стоит вам оказаться втянутыми в орбиту одной из этих неистово взаимодействующих групп (а время от времени такое случается с большинством из нас, и мы, как подхваченные ветром пылинки, кружимся в некоем мощном магнитном сексуальном поле, когда рекой льются слезы и взвинчивается истерия), вырваться невозможно, покуда не уляжется этот вихрь. Вы сбежите в Сахару — и на первом же верблюде увидите тайного возлюбленного мужа вашей любовницы! Сюрприз, неожиданность! Сила не выпускает вас из орбиты. Сила могущественна. Сила заключает в себе все радости и ужасы на свете: эта Сила — бьющий через край избыток детородной энергии.

Вот почему я говорю, что Пони, разумеется, сталкивается с миссис профессор Хан.

— Доброе утро, миссис Хан,— говорит она с притворной скромностью, ненавидя и презирая эту женщину, которая по законному праву делит ложе с ее любовником. Разумеется, мы, в отличие от Пони, восхищаемся ею. Вот какими следовало бы быть всем женщинам! Компетентная, уверенная, самоотверженно работающая на благо общества, реализующая свой потенциал, достигающая поставленных перед собой целей, она организует жизнь и учебу своих детей, а на мужа смотрит как на декорацию — она настолько выше его, что даже не может им восхищаться. А он восхищается ею, но вот только не любит ее. Разве может он любить ее? Он любит Пони. Он любит ту, о ком может позаботиться. Боже мой, что же со всеми нами станется?

— Профессор Хан,— поправляет ее та.

— Боюсь, мистер Хан очень занят,— храбро говорит Пони, заявляя на него права собственности. Миссис профессор Хан, остановившись, с любопытством смотрит на нее, как очень большая кошка смотрела бы на очень маленькую пташку.

— И я тоже, милочка,— говорит миссис профессор Хан любезным тоном,— очень занята.

— У него сейчас жена больного с пластической операцией лица,— говорит Пони.— Она в расстроенных чувствах. Вы же знаете, какое значение придает мистер Хан психологической атмосфере семьи для лечения больного.

— Я уверена, он ее утешит,— говорит супруга мистера Хана,— как и должен утешать человек человека. У него это хорошо получается. Иногда мне даже кажется, что он впадает в крайности. Но, с другой-то стороны, у него уйма времени.

И она мягко улыбается, а Пони понимает, что ее любимый подвергается критике.

— Есть еще такая вещь, как любовь! — выпаливает Пони, и глаза ее вдруг наполняются слезами.

— Только для слабых душ, девочка,— мурлычет миссис профессор Хан.— Уж не вообразили ли вы, что это с ним у вас любовь? Похоже на то. Постарайтесь не обижаться. Мой муж влюбляется дважды в год, один раз — на Рождество, другой раз — на Пасху. Наверное, вы его последняя пассия, рождественская, а уже скоро Пасха — и вы все еще в него влюблены. Ну и ну! Но по крайней мере у вас нет опухоли на мозге! Это было бы уж слишком.

И она устремляется дальше, а Пони плачет в три ручья, изливая свое горе и возмущение, и как раз в этот момент мимо проходит Эстер.

— Вот те на,— удивляется Эстер, узнавая сестру, которая утихомирила ее, применив захват шеи, прием из арсенала восточных единоборств,— что с вами?

— Что мне теперь делать? — рыдает та.— Я беременна!

— Вот и замечательно,— говорит Эстер.— В этом — оправдание любви. Благодаря ей появляются дети. Вам следует гордиться и радоваться.

— Но она никогда не даст ему жениться на мне.

— О, жениться! — говорит Эстер.— Это другое дело. С этим труднее. Ничего. Социальное обеспечение всегда материально поддержит вас, вам дадут однокомнатную квартиру, а отец ребенка, я уверена, станет помогать вам, чем сможет,— правда, тогда уменьшат ваше пособие, так что, вероятно, вам будет выгодней сказать, что вы не знаете, кто отец,— а ребенок вам на всю жизнь, живое свидетельство силы страсти. Чего же вы еще хотите?

— Но я забеременела специально для того,— говорит Пони,— чтобы он женился на мне.

Эстер, останавливаясь на мгновение, глядит на нее.

— Значит, ничего на свете не меняется,— роняет она и заходит в палату, чтобы разбудить мужа, который только что забылся беспокойным сном.

Миссис профессор Хан застает мужа. Они садятся лицом друг к другу. Он заметно меньше ее.

— Я уже второй день ловлю тебя, чтобы поговорить,— объявляет она.

— Ты уже заснула, когда я пришел вчера вечером, и ушла до того, как я проснулся,— отвечает он.— Впрочем, таков удел многих пар, когда оба супруга — работающие профессионалы.

— Я должна сообщить тебе,— говорит ему жена,— что мне предложили войти в состав мобильной группы специалистов по жизнеобеспечению с центром в Москве для оказания медицинской помощи различным руководителям государств на Востоке. Сроком на два года. Я думаю согласиться.

— А как же я? — спрашивает он.

— В группе уже есть хирург-косметолог. Извини.

— А как быть с детьми?

— У них есть отец,— спокойно отвечает она.— И они уже видят в тебе родителя номер один.

Негодование прорывается наружу. Он вскакивает, и его лицо наливается кровью, что очень опасно для капилляров его гладкой, чувствительной оливковой кожи.

— Ты хочешь, чтобы я сидел с ними,— кричит он,— в качестве няньки!

Внизу в буфете официантка многозначительно покашливает. Фреддо и Гермес так тесно сплелись в объятии, что это уже представляет угрозу общественным приличиям. Они подходят друг другу. Оба они совершеннолетние, оба очень чувственны, оба большие приспособленцы. Слава Богу, они нашли друг друга. На покашливание официантки они не обращают внимания. Теперь придется посылать за заведующим.

— Я не позволю тебе встречаться с этой Вэл,— говорит он.— Все!

— Она заперла дом и уехала учиться в Гарвардскую школу бизнеса,— говорит Гермес.

— И ее жилье пустует?

— Да.

— Тогда мы можем вселиться! — ликующе восклицает он.

— Все, что мне было нужно от родителей,— замечает Гермес, молча соглашаясь с его планом,— это чтобы они жили счастливо. Только это всем нам и нужно. Не добропорядочность, не богатство, не совершенство — просто счастье. И они не оправдали моих ожиданий.

Так, смирившись с судьбой, она достигает зрелости, пускай даже в обществе Фреддо.

Но, разумеется, то, что детям кажется сплошным несчастьем, родителями воспринимается просто как многообразие самой жизни — все эти сложные и увлекательные игры, в которые играют супружеские пары в ходе борьбы за справедливость и устойчивость у себя в доме.

Посмотрите теперь, как берет Эстер в руки ладонь Алана, оттаскивая его и себя прочь от черты, за которой разлука,— и это когда до окончательного решения суда о разводе остаются считанные дни!

— Прости меня,— говорит она теперь. Вы только послушайте!

— И ты меня прости,— говорит он. Боже праведный!

— Знаешь, я забеременела специально для того,— говорит она,— чтобы ты женился на мне. Это не было случайностью.

— Я и понятия не имел,— говорит он.— Бедная малютка Гермес!

— Я не склонна особенно жалеть Гермес,— говорит Эстер.— Мы подарили ей жизнь, и хватит с нее. Сколько лет мы ее терпим?!

— Значит, если бы она ушла,— говорит Алан,— мы могли бы по-настоящему начать нашу супружескую жизнь.

— Ты предлагаешь,— говорит она,— чтобы мы снова сошлись?

— Да,— говорит он.— Теперь, когда я выгляжу на десяток лет моложе, я быстро подыщу себе место. Видишь ли, тут все зависит от самоощущения.

— Расскажи это трем с половиной миллионам безработных! — говорит она.

Но она целует его сквозь бинты.

— Пусть с тебя снимут эту нелепую обертку,— говорит Эстер,— и сразу же приезжай домой ко мне.

Миссис профессор Хан выкраивает немного времени, чтобы урезонить мужа.

— Мы не можем, Бобби, ставить свое личное счастье выше блага человечества. Для того чтобы люди всей земли могли спокойно спать по ночам, наши лидеры должны быть физически и психически здоровы.

— Ты станешь мне изменять,— сокрушается он.

— Не ради собственного удовольствия,— заверяет его она,— и не из какой-нибудь особой склонности. Исключительно ради того, чтобы придать твердость руке.

Он страдает или изображает страдание.

— Ты же знаешь, как нужно это,— говорит она,— перед серьезной операцией. Для таких, как мы, секс может иметь только терапевтическое значение. И не говори мне, что это не так. Мы же с тобой умные люди.

— Я этого не перенесу,— говорит он, побежденный.

— Чего именно? — интересуется она.— Того, что я стану тебе изменять или что я умный человек?

Он не отвечает, а поскольку миссис профессор Хан не любит терять время даром — все ее минуты на счету, от них зависят человеческие жизни,— она удаляется. В дверь заглядывает Пони. Мистер Хан зовет ее.

— А как нам быть с Фреддо? — спрашивает Алан у Эстер.— Не можешь же ты просто выставить его.

— Могу,— отвечает она.

— Женщины бессердечны.

— Он был в лучшем случае развлечением, в худшем — средством мести.

— Иначе говоря,— уточняет Алан,— ты думаешь, что он охладевает к тебе, и хочешь бросить его первой.

— Может быть,— признается она.

И в этот момент входят Гермес с Фреддо, изгнанные из буфета; они держатся за руки и несколько раскраснелись, возбужденные своим открытием: к ним пришла ЛЮБОВЬ, подлинная и настоящая, неизбежная

и неповторимая. А старшие смотрят на них и сдерживают зависть, ревность, гнев и обиду, которые поднимаются у них в груди; что делать, солнце больше не стоит в зените, а начало уже клониться к закату, и они есть друг у друга, и у них есть покой и золотой вечерний свет, иначе же у них нет ничего.

— Вот и вы оба,— спокойно говорит Эстер.

А после того как Фреддо и Гермес уходят, чтобы как можно скорей дать выход своей страсти, в палату влетает сияющая Пони.

— Мистер Хан сейчас снимет с вас повязку,— объявляет она.— Пришли ваши анализы — все у вас в порядке. А еще он оставляет свою практику, раньше срока уходит на покой, разводится с женой, женится на мне и будет сам сидеть со своими детьми — и все это из любви ко мне. Так что намотайте себе на ус!

— Счастливый конец,— говорит Алан.

— Счастливое начало,— поправляет Пони,— и как раз вовремя. Я уже подумывала о том, что придется прервать беременность, но так как я возглавляю здесь в больнице движение «Медсестры против абортов», в хорошенькую бы я влипла историю!

И вот входит мистер Хан со свитой сестер, которые катят перед собой операционные столики, и, священнодействуя, снимает с Алана маску и возвращает ему его лицо. Он немного раздражен неловкостью Пони, которая все время роняет ножницы и теряет тампоны, но ей, похоже, нравится его раздражение.

— Маленькая неумеха! — говорит мистер Хан, а она глупо улыбается и хихикает, и другие сестры завидуют ей. Помолвлена со специалистом!

— Глядите,— говорит мистер Хан, когда из-под бинтов появляется лицо Алана,— новый мужчина! Достойная пара новой женщине!

Алан смотрится в зеркало. Он видит себя с новой ясностью. Он видит правду.

— Скорее уж,— говорит он,— я выгляжу старше.

Но это, конечно, расплата. Чем больше мы знаем, тем старше становимся. Плоть совсем иссыхает в жестком свете мудрости.

ХЕЛЬКЕ ЗАНДЕР

Три дамы К. рассказывают истории

ФРАГМЕНТЫ КНИГИ

Перевод с немецкого Л. БУХОВА

Три дамы К. провели неделю с Рождества до Нового года в высокогорной альпийской деревне. Домик, предоставленный на это время друзьями в их распоряжение, был вообще-то тесноват для троих, однако они сумели устроиться. Все они достигли немалых успехов в профессиональной области, не особенно афишируя при этом собственные достоинства, что отрицательно сказывалось на их финансовом положении. Они понимали этот свой недостаток и стремились его преодолеть. Две из них уже расстались со своими детьми и мужьями. Третья была беременна и оставлена отцом будущего ребенка. Именно одиночество трех женщин — их фамилии начинались на букву К — объединило их. Одиночество было частью комплекса проблем, которые привлекали их друг к другу.

Днем одна из дам К. выступала в роли тренера по бегу на лыжах на длинные дистанции, а приятельницы платили ей вкусными блюдами собственного приготовления. Посетив однажды в канун Рождества местный ресторанчик, дамы сочли, что там слишком дорого и утомительно. Так что чаще всего они оставались дома и пили по вечерам чай с вербеной, которая успокаивает нервы. Это вошло у них в привычку. Однако по ночам, когда каждая считала, что другие спят, порой доносился негромкий плач госпожи К. из маленькой комнаты, или госпожа К. в гостиной вскрикивала в страшном сне, призывая мужчину, который ее бросил, да и третья госпожа К. ворочалась со стонами в постели. Наутро никто об этом с другими не заговаривал, из соображений такта.

И все же компания подобралась на редкость жизнерадостная, по утрам они ходили на лыжах, затем делали покупки и готовили, писали письма и читали. В деревушке на «трех девушек» сразу обратили внимание и продолжали за ними наблюдать.

Чтобы оттянуть наступление кошмарных ночей, по вечерам они стали рассказывать друг другу истории. (Телевизора в доме не было.) Историям полагалось быть правдивыми, и даже в тех, что были печальны, предполагалось наличие комических ситуаций. Таково было единственное условие.

Госпожа К. и знаменитый мужчина

Лежа́ в постели рядом с мужчиной, который был известен своими заслугами на ниве культуры, госпожа К. пребывала в приподнятом настроении. В течение всего вечера этот человек совсем по-старомодному касался под столом ее колена и пожимал руки, в то время как собравшая-

© 1987 Antje Kunstmann Verlag. München

ся за столом компания, к которой принадлежала и она, вела остроумную дискуссию о сотрудничестве в области искусства. В материальном отношении госпожа К. была на ближайшие месяцы надежно обеспечена, и она решила, не теряя времени, воспользоваться ситуацией, чтобы заложить основу своего существования на последующие месяцы, если не на годы. Все это давало ей основание разговаривать здесь на равных, ощущая себя нитью той ткани, узор которой плели, споря и беседуя, все присутствующие. А потом сложилось так, что госпожа К., которая только что приехала и была в этом городе чужой, нашла пристанище у знаменитого мужчины. И лежали они рядом в его широкой кровати из чисто практических соображений, просто вторая кровать вся была завалена книгами, аналогично обстояло дело и с единственным диваном.

Госпожа К. находила весьма милым и забавным то, как мужчина, когда они уже пожелали друг другу спокойной ночи, весь напрягшись, лежал рядом, с нарочитой деликатностью повернувшись к ней спиной. Расстояние между ними, если учесть настроение всего вечера, было чересчур велико. Чтобы уменьшить его до масштаба, отвечающего взаимным эмоциям, госпожа К., протянув руку, дружески подсунула ее под голову мужчины и погасила свет. Тот облегченно вздохнул и повернулся к ней. Тепло и аромат постели были приятны, и случилось так, что сначала они придвинулись ближе друг к другу, а затем — они даже не изменили позы и почти не двигались — между ними наступила близость. А ведь за мгновение до этого госпожа К., утомленная поездкой и трудами предшествующих недель, с наслаждением погружалась в сон, и вот сна как не бывало. Мужчина, как ей показалось, больше старался теперь продемонстрировать ей свой репертуар любовника, чем подлинное чувство. Поскольку, однако, она была в добром расположении и исполнена нежной иронии к этому человеку, ей было не в тягость, скорее наоборот, теперь уже окончательно пробудившись, предаваться взаимным прикосновениям и объятиям. Он слишком спешит, подумала она, будь он поспокойнее, она сочла бы его просто замечательным. Но что поделаешь. Таковы были мысли госпожи К., когда мужчина, понизив голос, начал говорить ей, что она всегда может на него рассчитывать, в буквальном смысле слова. Он готов в любой момент оказать ее творческим проектам финансовую поддержку из руководимого им фонда, созданного для подобных целей, предоставив сумму не менее сорока — пятидесяти тысяч марок. Творческие проекты госпожи К. были и в самом деле по своей природе очень дорогостоящими. И это часто доставляло ей огорчения. Но разве так уж необходимо говорить об этом именно сейчас? Госпожа К. ничего не ответила. В ней росло раздражение, а знаменитый мужчина тем временем все более настойчиво заверял ее, что его предложение серьезно и ей следует им воспользоваться. Она может прибегнуть к его помощи при первой же необходимости. Новость была и в самом деле отрадная. Почему же она в таком случае не доставила ей радости? Ведь он мог вручить ей это предложение завтра, написав на официальном бланке. Но в конце концов о делах можно говорить и в постели. То было последнее, что пришло ей тогда в голову.

Наутро госпоже К. нужно было возвращаться в свой город, находящийся в пятистах километрах отсюда. Мужчина строил планы на будущее. Он хочет видеть ее снова. Поскорее. Когда? Она не знает, честно ответила госпожа К. У нее не было уверенности, что ей действительно хочется вскоре снова увидеться с ним, хотя накануне вечером она подумывала о том, что с таким, как он, станет наконец возможным ВЗАИМООБОГАЩЕНИЕ между мужчиной и женщиной.

— Но я очень хочу увидеть тебя снова,— настаивал он.

Чтобы покончить с дебатами и убедить его в невозможности их связи, госпожа К. привела неоспоримые доводы, заявив, что они живут слишком далеко друг от друга. Она подсчитала, как велики расходы на самолет, поскольку в их случае поезд и автомобиль отпадают. И попросила его трезво подумать и оценить все эти доводы.

— Подумаешь,— возразил мужчина.— Всего час лета. По времени — как пригородное сообщение.— Он просит госпожу К. навещать его, поскольку ему сложнее отрываться от работы.

— Но у меня нет денег,— сказала госпожа К.

Ну, это не проблема, он в состоянии оплачивать поездки.

— Даже если мы поссоримся? — спросила госпожа К.

Знаменитый мужчина посмотрел на нее непонимающе. Госпожа К. пояснила свою мысль, сразу поняв, чего он не уловил:

— Ты согласишься платить даже в том случае, если получится наоборот: я захочу приехать, а ты этого не захочешь?

— Даже тогда,— ответил мужчина.

Его слова еще ничего не значат, подумала госпожа К. Он говорит так, поскольку чувствует, что я от него ускользаю. На самом деле удержать ее он мог бы играючи. Некоторое время они еще препирались, а госпожа К. пыталась сопротивляться внезапно возникшему чувству к этому человеку.

Перелетая с оплаченными им билетами из одного города в другой, чтобы с ним увидеться,— ведь он не мог тратить время, поскольку был занят более важными делами, чем она, потому что ей так и не удалось добиться финансирования своей работы, для нее не менее важной,— она размышляла о любви в век реактивной авиации. И вот наконец наступил момент, когда его не устроил назначенный день встречи, затем еще один, и еще один, и пригородное сообщение превратилось в телефонное. Когда госпожа К. сказала, что, по-видимому, предсказанная ею ситуация наступила и теперь она хотела бы увидеться с ним хотя бы еще раз, он ответил отказом, а затем, невзирая на ее протесты, посетил ее сам, чтобы сообщить, что он не в состоянии иметь одну биографию (так он выразился) в городе X, другую — в городе Y и еще третью — в городе Z, где он живет. Для госпожи К. явилась новостью эта самая третья биография, которая жила, как выяснилось, в том же городе, что и он, и вскоре мужчина на ней женился. Из чисто практических соображений.

Оказалось, что все это ему не по силам. Он просто переутомился. Тут он сухо попрощался, оставив госпожу К., прежде уравновешенную и независимую, ревущей от бешенства, и разочарования, и презрения к человеку, который отделался от нее подобным образом.

Спустя два года госпоже К. срочно понадобились деньги на проведение одной работы, и она вспомнила его заверения, что в любой момент необходимая помощь ей будет предоставлена. Посоветовавшись с самой собой, она пришла к выводу, что теперь, когда между ними уже не существует никаких двусмысленных отношений, а для нее эта работа действительно очень важна, ей вполне удобно принять его поддержку. Итак, она спросила,— нисколько, кстати, не сомневаясь в успехе,— может ли на него рассчитывать. Правда, она не решилась напомнить ему о той ночи и о его твердом обещании помочь, считая это неуместным. Однако госпожа К. получила отказ, со ссылкой на то, что фонда уже не существует. Денег больше нет. Вскоре она узнала о двух проектах, только что получивших поддержку именно из того фонда. Деньги были предоставлены женщинам.

Благодарность

Дела госпожи К., работавшей в области графики, шли в последнее время просто превосходно. Чтобы обезопасить себя на трудные времена и обеспечить свою старость, она решила заключить договор страхования. Ее друг, обладавший в подобных вопросах большей деловой сметкой, отправился с ней к страховому агенту, помог разобраться в сложной юридической казуистике и, наконец, взял ведение переговоров на себя.

Исполненная благодарности, она сидела в кабинете между двумя мужчинами, вселявшими в нее уверенность, что будет выторгован самый лучший вариант. В ее ушах звучали слова «параграф» или «пункт», создавая в воображении знаки, сливающиеся в причудливые узоры. Она смотрела, как мужчины что-то вычеркивают, и дописывают, и заключают в скобки, совершенно не постигая смысла того, что они делают и говорят. Лишь теперь она до конца ощутила, как это прекрасно, что рядом с ней — мужчина, способный освободить ее от подобных забот. Растроганная, она время от времени блаженно улыбалась обоим мужчинам. Ее переполняло чувство благодарности, и она назначила его наследником на случай своей смерти.

Несколько лет спустя он покинул ее. А вскоре потребовал компенсацию за оставленную в ее квартире мебель, прежде всего за мебель из его кабинета, приобретенную в основном на ее деньги. Он напомнил о значительных капиталовложениях в квартиру. Особо подчеркивались его расходы на ковровое покрытие для пола. Госпожа К. содрала покрытие с пола и поручила одной из транспортных фирм доставить старые лохмотья, на которых они топтались целых семь лет, по его новому адресу.

Кроме того, она побила немало разной дорогой посуды и послала ему по половине осколков от каждой чашки и тарелки. Еще она разорвала пополам несколько совместно приобретенных книг. А потом взяла папку с договором страхования. В первый раз она прочитала условия договора от начала до конца. Согласно договору в случае ее смерти страховку должен был получить бывший друг. Если же она останется в живых, страховку ей выплатят по достижении восьмидесяти пяти лет.

Госпожа доктор К. в конкурентной борьбе

В конце концов она решилась рассказать своей лучшей приятельнице то, что не решилась доверить другой приятельнице, работавшей в той же области, что и госпожа К., хотя ее коллега проявила бы больше понимания в подобной ситуации. Вторая приятельница обнаружила бы, так сказать, бóльшую компетентность и сразу же вникла бы в хитросплетения этой истории, несмотря на всю ее сложность. И госпожа К., с одной стороны, поступила бы правильно. Но она опасалась, что эта другая ее приятельница и коллега, возмущенная услышанным — а также ради собственных интересов,— не сумеет сохранить историю в тайне, чему госпожа К. в принципе тоже находила оправдание. Однако слух, возможно, дошел бы до человека, о котором в данном случае шла речь, и тогда дело приняло бы гораздо более скверный оборот, чем это уже имело место.

Обращаясь за помощью к своей лучшей приятельнице, госпожа К. отлично понимала, что это может повредить ее положению на работе. Дело в том, что она просила свою приятельницу сопровождать ее в поездке на научный конгресс, во время которого ей, госпоже доктору К., предстояло получить награду и денежную премию. Просьба была вызвана тем, что директор фирмы, для которой результаты исследований госпожи К. могли оказаться полезными, не хотел отказать себе в удовольствии сопровождать госпожу К. в другой город. Когда она узнала об этом, ее охватил ужас. Директор заявил ей, коротко и ясно, что высокое отличие, выпавшее на ее долю, он намеревается отпраздновать вместе с ней и не потерпит никаких возражений. Госпожа К., насколько могла любезно и с многократными заверениями в благодарности за оказанное внимание, принялась рассуждать о его страшной занятости и значительных расходах, которых потребует подобная двухдневная поездка. Она даже сделала вид, что все это вообще не заслуживает

внимания, лишь бы удержать его от намерения ее сопровождать. Но он стоял на своем, не желая, чтобы его лишили этой радости.

Убедившись, что сделать ничего нельзя, госпожа К. позвонила приятельнице. Та на деле доказала, что она действительно ее лучшая приятельница: чтобы сопровождать госпожу К., она изменила свои планы, пристроила детей, снабдила мужа всем необходимым, наготовив впрок еды.

Итак, госпоже К. предстояло то, чего она так старательно избегала все эти годы. Начав работать в фирме, она оказалась второй по счету женщиной в сплошь мужском коллективе и вскоре поняла, что ей нужно быть начеку и не позволять себе никакого эротического излучения в сторону этого человека. Ей следовало прикидываться безразличной, а лучше всего — совсем наивной, только бы его взгляд не остановился на ней. С женщинами своего отдела он общался с оттенком некой прилипчивой доверительности. В обществе директора госпожу К. всякий раз охватывала сводящая скулы тоска, преодолеть которую удавалось с большим трудом. Но власть его в фирме не подлежала сомнению, и потому разумнее всего было не привлекать к себе никакого внимания. Ибо ничего не могло быть хуже, как, оказавшись его избранницей, пытаться ускользнуть от него. Он принадлежал к тому типу мужчин, которые мстят. Госпожа К. любила свою работу, а он был тем игольным ушком, через которое проходило согласие или отказ в финансировании, утверждение или отклонение темы исследований. И вот теперь ее опасения оправдались. Он не позволил себе ни единого более красноречивого, чем обычно, взгляда, ни тени дрожи в голосе, ни единого жеста, ни малейшего ощутимого признака предстоящих сексуальных домогательств, но она точно знала, что за его стремлением сопровождать ее стоит намерение с ней переспать и что это практически равносильно приказу. Он был таким, как всегда, она же знала, что когда-нибудь эта ситуация возникнет. Сказав «А», человек должен сказать «Б». Ведь он был не первым ее руководителем. Женщина, достигшая успеха, должна быть сломлена. И проблема состояла не в том, что это его не высказанное вслух беззастенчивое намерение застало ее врасплох, а в ее сомнениях. Она опасалась, что несправедлива к нему. Хотела надеяться, что ошибается в своих подозрениях. Однако не желала рисковать. Она обладала немалым опытом, а интуиция никогда ее не подводила. Возможно, он — исключение, говорила она себе. Просто любезный мужчина, без всяких задних мыслей. И может так случиться, что ее опасения и предосторожности окажутся совершенно напрасными. Она была достаточно искушенной, чтобы не учесть и такой возможности и заранее не обдумать своего поведения. Как поступить, если с его стороны никаких поползновений не будет? То, что в подобном случае она сама проявит инициативу, полностью исключалось.

Госпожа К. ни в коем случае не была ханжой. На многое она смотрела сквозь пальцы. Единственное, что можно с уверенностью утверждать: мазохисткой она не была, и если ей приходилось спать с мужчиной, то она стремилась получить хоть какое-никакое удовольствие. Даже если она спала с руководителем. Пусть удовольствие не эротическое, пусть в конце концов интеллектуальное или какое-нибудь иное, но достижимое только через постель. Короче — ей было необходимо ощущение добровольности. Она была абсолютно не способна к расчетливости в постели. И потому госпожа К. совершенно всерьез размышляла над тем, ради чего она могла бы лечь в постель со своим директором. Найдя приемлемый повод, она бы избавила себя от многих неприятностей, которые неизбежно возникнут, если она ему откажет. Ведь как ей ни трудно было подозревать его в каких-то намерениях, она ясно понимала, что отказа он ей не простит. И последствия будут серьезными. Он был злопамятен.

Его сообщение повергло ее в панику. В столовой она уставилась на него, спрашивая себя, какая часть его тела могла бы стать для нее

настолько притягательной, чтобы она решилась. Ведь должно же быть в нем хоть что-то приятное. Ну хотя бы губы, кожа, запах кожи — но это как раз и не подходило, от него исходил кисловатый запах,— его движения, хоть что-нибудь, что могло бы внушить ей минимальный эротический восторг, который на время, пока это будет длиться, помог бы ей преодолеть отвращение к остальному. Целый вечер провела она в раздумьях, но так ни к чему и не пришла. Выражаясь проще, у нее не возникло ни малейшего желания.

Перед ее внутренним взором прошла вереница революционеров: вот люди, приносившие себя в жертву ради торжества дела. Она упивалась самосостраданием. Но речь шла не о революции. Благодарный народ ее не восславит. Напротив — все должно совершиться скрытно и сохраняться в тайне. Орденом за это не наградят. Если все пройдет гладко — а для этого ей пришлось бы хорошенько постараться,— она сможет продолжать заниматься своей работой. Если же ее постигнет неудача — допустим, она на секунду утратит бдительность и он заметит в ее игре фальшь,— тогда она вновь окажется в том же положении, в котором и без того находилась. Ее охватила ненависть к коллегам, которым не приходилось сталкиваться с подобными проблемами. Если директор приглашал их отобедать, они получали удовольствие от еды, не заботясь о дезинфекционном средстве, чтобы смыть потом свое отвращение.

Так госпожа К. пришла к заключению, что она этому мужчине не подходит. Она просто не могла — даже если хотела бы (а она была бы рада захотеть) — и потому обратилась к приятельнице. Ее задача: постоянно быть рядом, ни на шаг не отлучаться от нее и в течение всего конгресса ни на минуту не оставлять наедине с директором. При этом ей надлежало быть предельно обаятельной и простодушной, чтобы директор ни в коем случае не счел это ее назойливое присутствие оскорбительным для себя. И не раскрыл их замысла. Даже малейшая оплошность была здесь недопустима.

Приятельница блестяще справилась со своей задачей. Она без устали улыбалась, когда госпожа К. в который уже раз в его присутствии повторяла, какой необыкновенно милый директор возглавляет фирму, где она имеет счастье так долго работать. Она ощущает его особое внимание к себе, не уставала она повторять. Кроме того, их директор из тех, что особенно ценят и продвигают женщин.

— Только лучших,— подтвердил тот галантно.

К сожалению, приятельнице не удалось получить отдельный номер и пришлось спать в номере госпожи К. в двуспальной постели. Из предосторожности госпожа К. пожаловалась на головную боль и симптомы гриппа. К тому же приятельница как бы невзначай заметила, что госпожа К. храпит, однако та сочла, что это уж чересчур. После вручения премии они долго сидели втроем в гостиничном баре с застывшими улыбками на лицах. Директор улыбался до тех пор, пока его нос от бешенства еще больше не заострился. Бешенство это или, так же как и у них, лишь усталость, поинтересовалась госпожа К., когда они с приятельницей оказались наконец в номере и смогли выпить по рюмке коньяку, в изнеможении упав в кресла.

— Я правильно поступила, что пригласила тебя?

— А я оправдала твои расходы? — спросила в свою очередь приятельница. Ведь ее пребывание здесь, естественно, влетело госпоже К. в копеечку.

Да, она тоже считает, что госпожа К. поступила правильно, хотя быть абсолютно в этом уверенной невозможно. Он не из тех самонадеянных бабников, с которыми сразу все ясно. И вряд ли в данном случае дело в сексуальности. Для этого он мог бы за деньги найти себе молодую женщину. Привлекательность госпожи К. состоит в ее чувстве собственного достоинства. Сломить его и стало для него подлинно мужской задачей.

В течение года ничего не произошло. Он утверждал ее расходы,

поддерживал ее, консультировал. Она была его парадной лошадью. В ней зрело чувство вины перед ним. А вдруг он и в самом деле был совершенно бескорыстен и сопровождал ее из чисто дружеских побуждений? Ее желанию мысленно принести ему извинения мешало подозрение, что он садист. Что, если ему захотелось помучить ее неизвестностью, чтобы потом полнее насладиться ее поражением? Возможно, его чувство мстительности было вовсе не осознанным. И хотя ее работа шла как обычно, она все ждала момента, когда он раскроет свои подлинные намерения.

В один прекрасный день он очень мягко сообщил ей, правда, без каких-либо убедительных аргументов, что смету на ее новую работу он не утверждает. Поддержать ее проект означало бы выбросить деньги на ветер. Проект не имеет будущего. Постановка темы ошибочна и заводит в тупик. Она, естественно, спорила и настаивала на более конкретных обоснованиях. Но он, при его положении, мог себе позволить обойтись без обоснований. Достаточно, что он не хотел этого, и в чем-то был прав: ее тема была действительно необычна и к тому же нуждалась в срочной поддержке специалистов. Теоретически госпожа К. давно готовилась к этому удару, и все же теперь, когда он был нанесен, ей стало больно. Придется начинать все сначала. Она спрашивала себя, почему, собственно, осталась с ним вежлива и зачем заплакала. Ему это было неприятно. Он принес ей чашку кофе и рюмку коньяку. Подал носовой платок. И в довершение всего этому грязному, мелкому подонку, этому извращенцу, который, прежде чем сообщить о своем решении, еще проинформировал ее о состоянии своего пищеварительного тракта и о планах на отпуск, госпожа доктор К. сердечно пожала руку.

Потом она пошла в туалет, умылась, попудрилась и подкрасилась. Она не могла позволить себе показаться с распухшим лицом.

Именинный гость

После большого торжества последними оставались гость А и гость Б. Весь вечер госпожа К. немного кокетничала с гостем А. Она хотела, чтобы он у нее остался. Тот, однако, ушел, считая, что госпожу К. что-то связывает с гостем Б, хоть это не соответствовало действительности. В то же время ей было ясно, что гость Б хочет остаться с ней.

Госпожу К. взбесила бесцеремонность, с которой гость Б остался, словно это подразумевалось само собой. Но она очень устала, и в глубине души ей было сейчас даже безразлично, кто из них остался — гость А или гость Б. Ее заботило другое. И прежде всего она не испытывала ни малейшего желания вступать в какие-либо объяснения. Это было главным. А гость Б был убежден, что госпожа К. нуждается в любви. И потому он без лишних слов лег в ее постель, несколько напоминая при этом сотрудника службы социальной опеки. Госпожа К. изумленно посмотрела на него, но промолчала. Гость Б был уверен, что предложит сейчас госпоже К. нечто совершенно необыкновенное. Но госпожа К. хранила молчание. Ей не хотелось дискуссий. Выгонять его она тоже не хотела. Он бы этого не понял, а главное, объяснять бы тогда пришлось еще дольше. Итак, она легла рядом с ним в свою собственную постель. И сразу разделась донага. Разговоров она избегала, поскольку он был идеологом, хоть и проповедовал каждый раз новые идеи. Сейчас он был прежде всего «мягким» и «чутким» и увлечен идеей «сообща» делать предстоящее дело. Чтобы он замолчал, она поцеловала его. Обняла. При этом ей стало ясно, что она не испытывает ни малейшего желания отдаваться человеку, для которого желание является частью программы. Только не это. О чем она и сообщила ему. Дружески сказала: «Мне не хочется». Он и здесь проявил понимание, так как считал ее чрезмерно закомплексованной. В то время он проходил курс постановки дыхания

и к людям, незнакомым с этим, относился с чувством превосходства, свойственным неофиту. Так же он вел себя и тогда, когда в шесть утра раздавал перед фабричными воротами листовки. Но ей было безразлично, что он думает, главное — он оставил ее в покое. Он даже не представлял, что она до такой степени заносчива. Однажды ему попался листок бумаги со словами: «Мое сердце принадлежит голове». То была цитата, которую она выписала, и он тогда понимающе улыбнулся про себя.

Ему хочется на следующее утро уютно с ней позавтракать, сказал он ей перед тем как заснуть, а потом *совместно* — как она ненавидела это слово — заняться уборкой. Гостей было много, и уборка растянулась бы на долгие часы. Никто из мужчин, кстати, до сих пор ничего подобного ей не предлагал. Это было бы так замечательно — иметь помощника, но она знала, что предпочтет целый день гнуть спину в одиночку, чем еще дольше терпеть его кроткие объятия.

Он и в самом деле выказал большую готовность помочь, а госпожа К. тем временем старалась, стиснув зубы, держать себя в руках. Она сознавала, насколько несправедливо и подло себя ведет. Но вдруг она заявила, что достаточно лишь вынести посуду из комнат на кухню и ссыпать мусор в мешки. Она даже согласилась бы, чтобы он и посуду сразу побросал туда же. Во всяком случае, нет никакой необходимости, сказала она на грани истерики, устраивать основательную уборку. Это было явной ложью. Чтобы избавиться от него, она предложила прогуляться. Они молча шли рядом — она быстро и с мрачным видом, он в прекрасном расположении духа — что соответствовало его новому имиджу. Кроме того, судя по всему, он принял решение помочь ей избавиться от комплексов. Он и в самом деле искренне старался. Ему очень хотелось, чтобы она тоже правильно дышала и испытала ощущения, о которых и он не имел раньше представления. Очутившись снова перед дверью — он вообще-то хотел бы подняться к ней на чашку чая,— она, наскоро его поцеловав, распрощалась с ним и сразу же с облегчением легла в постель одна.

Целитель

Сколько госпожа К. себя помнила, дважды в год она страдала тяжелой простудой. Никакие лекарства не помогали, ни аллопатия, ни гомеопатия, в какой бы период болезни она к ним ни прибегала. Ей оставалось стоически переносить болезнь, которая долгое время была единственным регулярно происходившим событием в ее жизни: дважды в год по семь дней, из них — по два дня в постели.

Мужчина, в которого она тогда была готова влюбиться, как нарочно навестил ее в самый скверный день. За час из пачки с десятью бумажными носовыми платками она израсходовала восемь штук. Из воспаленного носа непрестанно текло. Глотать она не могла, голова болела, ее бросало то в жар, то в холод. Она стыдилась своего вида и, в изнеможении лежа на подушках, попросила его приготовить горячий лимон. А может, думала она, так даже лучше: мой вид его отпугнет и он больше не появится. Обычно для мужчин внешность бывает решающей. Это избавило бы их обоих от массы сложностей, которые она смутно предчувствовала. Однако, к ее изумлению, он остался и лег рядом с ней. Она протестовала, говорила, что он может заразиться. Он прижался к ней. Она почувствовала спиной его тело и не произнесла больше ни слова. Ее охватило ощущение, что больше ничто ей не грозит, как будто она очутилась в родном доме, теперь она знала, что чувствовала когда-то в грудном возрасте. Она повернулась к нему лицом. Всем телом, всей кожей прижались они пора к поре. Каждый волосок тянулся к другому, сплетаясь воедино. Разъединить их тела означало бы нанести обоим

ужасные раны. Подобно тому, как вирус прирастает к другому вирусу, прильнули они друг к другу. Она перестала различать, где кончается ее тело и где начинается его. Кожу одного пронизывали нервы другого. Когда он проник в нее, прекратился насморк, перестало болеть горло, в голове прояснилось, температура упала. Спустя полчаса она окончательно выздоровела. И знала, что отныне приобрела иммунитет. Впредь она никогда не простудится, если сможет прикасаться кожей к его коже. Только смерть способна их разделить, думала она и... заблуждалась.

Когда он оставил ее — по причине ей неизвестной,— она много лет чувствовала себя как после ампутации. Заболевание было тяжелое, похожее на раны от ожогов. Оно охватило больше половины ее тела. Просто чудо, что она вообще выздоровела, хоть и остались безобразные шрамы, не видимые, правда, постороннему глазу. Каждую ночь она кричала от боли. Но иммунитет против простудных заболеваний сохранился. Вокруг бушевали эпидемии гриппа, все новые и новые. И если другие соблюдали предосторожности, делали прививки, избегали больных, она спокойно находилась среди них и даже пользовалась их посудой. Она знала, что не заразится. Лишь на десятый год однажды утром она проснулась с насморком.

Госпожа К. ведет наблюдение

Госпожа К. вместе со своим другом, который значительно моложе ее и которого бестактные люди принимают за ее сына, приехала на рождественские каникулы в маленькую горную деревушку. У них полупансион в местном отеле. Другого ресторана в деревушке нет. В первый же вечер ее внимание привлекла одинокая женщина за соседним столиком. Она никого не ждет, стол накрыт на одну персону. Хозяин ресторана спрашивает даму, успела ли она уже немного отдохнуть, та в ответ кивает, хоть это и неправда, как замечает госпожа К. Кажется, эта женщина ей знакома. Она очень красива, особенно бросается в глаза ее бюст. На ней темно-синий свитер с молнией и без всяких надписей, наверное, очень старый, или очень дорогой, или же привезенный из ГДР. Госпожа К. удивлена, встретив эту женщину в это время и в этом месте. Что-то здесь не так. Впрочем, все как раз так, тут же поправляет она себя. Она старается ничем не обнаружить перед своим другом интереса, который вызвала у нее женщина за соседним столиком, и под благовидным предлогом меняется с ним местами, чтобы наблюдать было удобнее. Дама от первой до последней страницы прочитывает лежащие на столе проспекты. Потом изучает меню. Она притворяется занятой, сознавая, что все окружающие наблюдают за ней. Она пьет довольно много вина. Самого дорогого. Курит. Просит принести газету. Но в отеле газеты нет.

Госпожа К. подавляет в себе внезапное желание пригласить ее за свой стол. Только этого не хватало. Ей же удалось, чтобы не оказаться в такой же ситуации, вовремя подцепить на праздники этого мальчика. Зачем я так, тут же мысленно упрекает она себя, ведь с помощью подобных неуклюжих рассуждений я всего лишь пытаюсь предостеречь себя, желая уберечься от прочной связи, которая завершится слезами, моими слезами, разумеется. Ведь ее друг так молод и она, естественно, не вправе его удерживать. Он должен сам приобретать опыт и в первую очередь научиться жить.

Правда, сейчас все выглядит внешне совершенно иначе, и госпожа К. время от времени подпадает под чары этой иллюзии и старается ни о чем не думать. Когда он сказал, что любит ее, она попросила его подробнее выразить свое чувство. Он ответил, что любит ее потому, что она красива, умна, необычна и еще потому, что он испытывает безмерное

наслаждение, когда спит с ней. Желая выразить свою мысль еще точнее, он добавил, немного помолчав: «Ты мне нужна».

В тот момент госпоже К. очень хотелось, чтобы рядом с ней оказалась одна из приятельниц и она спросила бы ее, известен ли той хоть один случай, когда мужчина, услышав от женщины: «Ты мне нужен», сразу же не сбежал бы от нее?

На другой день госпожа К. наконец вспоминает, кто эта дама. Довольно известная журналистка, специалист по истории и экономике Азии и Африки. Она славится своим саркастичным юмором, во что трудно поверить сейчас, видя несколько снисходительное обращение с ней хозяина отеля и ее довольно робкую реакцию. Кроме того, у нее взрослые дети и, возможно, внуки, а еще недавно она имела соответствующую репутацию благодаря своим романам. Госпоже К. вдруг становится ясно, как та дама очутилась здесь, за этим столиком. Она хотела спокойно провести праздники, но не успела заблаговременно организовать свой отдых. На то были две причины: реальная и романтическая. Реальная — у людей свободных профессий постоянно возникают непредвиденные дела, и если кто-то из них намеревается воспользоваться услугами компании «Лети не раздумывая!» или какой-нибудь другой из многочисленных фирм, предлагающих отдых по ценам дешевой распродажи, то обычно это кончается тем, что приходится платить вдвое — за неиспользованный льготный билет да еще за новый — по нормальному тарифу. Загородного дома, которым обзавелись уже почти все ее коллеги, у нее не было. Все деньги ухлопаны на детей. В большом отеле на каком-нибудь из зимних курортов она бы встретила слишком много знакомых, и ей не хватило бы сил защищать свое одиночество или мириться с тем, что она непременно станет объектом внимания. А где-нибудь в глуши она надеялась, сохранив анонимность, отдохнуть в довольно сносных условиях. Она представляла себе уютную комнату в провинциальной, старомодной гостинице с хорошей домашней кухней без всяких рисовых блюд по-индийски или тостов по-гавайски. Но тут ее постигло разочарование, связанное со второй, романтической причиной. И, даже прекрасно зная о царящем повсюду надувательстве, она не смогла устоять перед искушением отправиться «в неизвестную даль», в ту самую даль, заманчивое представление о которой сложилось у нее еще до наступления эпохи массового туризма. Госпожа К. работает редактором в крупном издательстве и прекрасно помнит специальную литературу прежних лет. Она видит перед собой целую серию: например, «Зеленый ад Амазонки». Приключения и экзистенциализм. Отсюда свитер и длинный шарф. Возможно, там, где ей сразу понравилось, она не получила номера, да и что говорить об одноместном номере, когда на праздники и двухместные в дефиците. На уединенную, хорошо отапливаемую хижину в горах, с телевизором с дистанционным управлением, с виски и музыкой ей не хватило мужества, думает госпожа К. сочувственно. И в результате романтической мечты отправиться «куда-нибудь» теперь она сидит здесь, в этом захолустном отеле, где, как выяснилось, даже недешево и где она вынуждена сносить пренебрежительное отношение, потому что она одна. Госпожа К. слышит разговоры других о том, что «эта женщина» заплатила лишнее за двухместный номер, так как одноместный оказался для нее мал. В итоге она не только заплатила лишнее, но еще и заработала сомнительную репутацию. Хозяина интересует ее поведение — это из-за двухместного номера,— кроме того, относительно уверенных в себе дам, путешествующих в одиночку, всегда может возникнуть подозрение в терроризме. Местная полиция осторожно наблюдает за ней. Короче, она — олицетворение вызова, и требуется немало мужества, чтобы это вынести. Олицетворять собой вызов приблизительно так же трудно, как быть красавицей. А самое трудное в такой ситуации — перетерпеть большой праздник. Госпожа К. рисует на своей салфетке домашнюю обстановку со столом, диваном и телевизором, затем изображает букет, пасхальные яйца, точку и женщину.

— Что это? — спрашивает друг.

Он не может понять.

— Женщина с мухой, Пасха в одиночестве, в своей квартире,— отвечает госпожа К. и сама от души смеется. Друг непонимающе смотрит на нее, и госпожа К. берет себя в руки. Затем рассказывает историю о том, как она собиралась поселиться в небольшом доме, принадлежащем ее коллеге. Он хотел его сдать. Она провела в доме одну ночь, и ей было ужасно страшно. Дом стоял в уединенном месте. Госпожа К. спрашивала себя, удастся ли ей привыкнуть. Возможно, она и привыкла бы, но вряд ли бы ей удалось там расслабиться. А дом был идеален. С садом, красивой постройки, великолепно оборудованный, без малейшего налета мещанства, дешевый, и сообщение удобное. Но она боялась, а собаку заводить не хотела. Теперь в том доме живет молодой коллега.

— Я бы с радостью жил в нем с тобой,— говорит друг. Госпожа К. смотрит на него, и на сердце у нее становится тепло. Она прекрасно понимает, почему пожилые мужчины так любят молоденьких девушек. Эти юные создания, с их свежестью и нежным пушком, с сияющими глазами, бывают порой так трогательны, что дыхание перехватывает.

Госпожа К. рассказывает своему молодому другу еще одну историю. При этом она понижает голос, чтобы та дама не могла услышать и принять сказанное на свой счет. Как-то в одном итальянском городке госпожа К. искала вечером номер в отеле и ничего не нашла. Заранее номер она не заказала. «Ничего не нашла» означало, что в течение двух часов она обошла все богом проклятые отели любых категорий в том городе, постоянно преследуемая двумя мужчинами, которые делали ей все более заманчивые предложения, если она согласится пойти с ними. В конце концов когда она прибежала на вокзал, была уже половина первого ночи. Ей повезло. Как раз подошел поезд, в котором оказался спальный вагон и в нем — одно свободное место. В Ливорно, конечном пункте назначения поезда, еще очень рано утром, она сняла в самом дорогом отеле номер-люкс на одну ночь и снова легла спать. Ее молодой друг смотрит теперь на нее несколько неодобрительно, думая, по-видимому, о ее кредитной карточке.

Зимой вечер наступает быстро. Ужин подают между семью и половиной восьмого. После этого ресторан отеля закрывается. Поужинав, госпожа К. и ее друг выходят на прогулку по деревне. В половине десятого закрывается единственное местное кафе под названием «Голубые Гавайи», куда они заходят чего-нибудь выпить. Госпожа К. смотрит в окно, и ей кажется, что мимо проходит «та женщина».

Когда они возвращаются в отель, в комнате журналистки горит свет. Должно быть, она собирается читать в постели детектив, предполагает госпожа К. В номерах нет даже телевизора. На какой-то момент госпожа К. испытывает к ней зависть. К своему детективу она еще не притронулась.

Чтобы жить в этих номерах, необходимо обладать определенной выносливостью. В них совершенно невозможно избежать вынужденной интимности. Госпожу К. охватывает безудержная агрессивность. Друг ничего не замечает. Он неизменно весел и время от времени заставляет и ее рассмеяться. Двухместный номер состоит из супружеской кровати и стенного шкафа. Душ и туалет расположены в нише без двери рядом с кроватью. С другой стороны между кроватью и окном есть щель шириной приблизительно в шестьдесят сантиметров. Там лежит клочок ковра. Госпожа К. покрывается потом от бешенства при мысли об алчности хозяев отеля, которые не постыдились разделить пополам и без того маленькие комнаты, лишь бы выжать из этого здания побольше номеров и, соответственно, денег. Она лежит в кровати рядом со своим молодым другом и не узнает себя. Ее раздражает, что она согласилась жить в подобной норе. Из-за тонких стен они разговаривают шепотом и стараются не шуметь. Но за такой короткий срок даже этот номер нелегко было получить. Она не могла прибегнуть к услугам компаний,

организующих отдых по доступным ценам, которые предоставляют места и в дорогих отелях, если обратиться к ним заранее. В результате получалось довольно недорого, зато во много раз приятнее, чем здесь, в этом мрачном доме свиданий, где они оба лежали сейчас под одеялами. Она сделала это из-за него. Ей не хотелось обижать его тем, что она за него платит. Хотя и это лишь видимость, так как она платит ему за уроки по лыжному спорту, в которых в действительности не нуждается, а он теми же деньгами оплачивает свое пребывание здесь. К тому же у нее вряд ли хватило бы средств на дорогой отель. Но кто мог бы ей гарантировать, что к зиме ее друг еще останется с ней, если заказывать номер нужно было еще весной? С тоской думает она о собственной кровати в собственном доме.

Наутро госпожа К. наблюдает в окно, как та женщина идет по широкой открытой равнине. Она направляется к соседнему селению, с усилием преодолевая ветер. Туда ведут два пути — длинный и унылый по этой белой равнине и другой, более привлекательный, через лес. Не будь с ней спутника, ей бы тоже пришлось идти через открытое место. Придя к такому заключению, госпожа К., удовлетворенная, поворачивается к своему все еще спящему другу.

После обеда госпожа К., намереваясь зайти в аптеку, замечает внутри журналистку и из деликатности останавливается в дверях. Она делает вид, что ищет что-то в своей сумочке, и видит в зеркале то, чего и ожидала: «та женщина» покупает снотворное. Когда журналистка выходит, они коротко кивают друг другу и госпожа К. вместе со своим другом входит в аптеку. Позднее они встречаются еще раз: в книжном магазине теперь уже в третьем селении, пользующемся определенной популярностью благодаря тамошнему кафе и его пирожным. В книжном магазине примерно на двадцати стеллажах стоят только книги издательства Хайне [1]. А ведь это совершенно обычный книжный магазин. Почему же здесь только книги этого издательства? — удивленно спрашивает госпожа редактор К.

Продавщица отвечает, что только такие книги соответствуют высоте стеллажей. Эти стеллажи она унаследовала от магазина, располагавшегося раньше в этом помещении, и оказалось, что любые другие книги для них слишком велики. Услышав такой ответ, дамы впервые улыбаются друг другу. Госпожа К. обещает дать журналистке детектив, сейчас ей все равно некогда читать. Тут обе бросают короткий взгляд на молодого человека, который за окном помогает маленькому мальчику справиться с лыжными креплениями. Затем они быстро отворачиваются друг от друга.

К Новому году отель заполняется до отказа. Хозяин любезно приглашает одинокую даму за другой стол, где сидят только дети и подростки. Эту юную шестерку отправили сюда одних на неделю их идущие в ногу со временем родители. Днем они бегают на лыжах, а по вечерам беснуются в своих номерах, пока не удается их успокоить, стуча во все стены. Женщина протестует. Она не хочет сидеть за одним столом с детьми. Она будет сидеть одна. Теперь она отказывается из принципа, желая показать, что не позволит до такой степени помыкать собой. Говорит она, правда, не так уверенно, как хотела бы, потому что ничего не имеет против детей и, естественно, не желает остаться в одиночестве. Но ей хочется, чтобы ей оказывали уважение, а в таком случае не пристало усаживать ее к детям. Однако стола, за которым она сидела, ее все же лишают, туда садится вновь прибывшая пара. Просьбу дамы тем не менее удовлетворяют, она получает дополнительный столик, который устанавливают в проеме между дверьми в туалет и на кухню. Теперь дама сидит, закрывшись большой газетой, «Цайт», которую она купила, потому что ее можно долго читать и она достаточно велика, чтобы спрятаться за ней. Но спустя некоторое время она заявляет, что и здесь

[1] Heyne-Verlag — издательство, специализирующееся на выпуске книг в мягкой обложке небольшого формата.

сидеть невозможно. Если бы не разыгралась метель, она бы, наверное, уехала.

К Новому году столы украсили. На них поставили новые свечи. Лишь одинокой даме вчерашний огарок заменяют на огарок побольше с соседнего стола. С еле заметной дрожью в голосе она просит тоже новую свечу. Затем говорит, что согласна все-таки сесть к детям. Но теперь поздно, там уже сидят другие. Как бы то ни было, оставаться возле туалета она не намерена, заявляет она. В ее голосе появляется новый тон. В результате ее пересаживают за стол, где сидит пара с ребенком. Хозяин действует не без учета психологии. Паре дама мешала бы, а в маленькую семью она привносит разнообразие и дополняет ее. О ней и ее большом бюсте начинают шушукаться чуть ли не за каждым столом. И друг госпожи К. внезапно вспоминает, что видел ее раньше. Но госпожа К. тему не развивает. Она хранит анонимность той женщины, тем самым ее защищая. Совершенно очевидно, что среди обитателей отеля нет никого, кроме ее друга, кто мог бы ее узнать. Госпожа К. вновь меняется с ним местами, чтобы женщина по-прежнему оставалась за его спиной.

После ужина дама играет с супругами и их дочерью в карты. Супруги рассказывают ей о своей жизни. Журналистка же на все вопросы отвечает уклончиво. Госпоже К. все слышно. Дама умалчивает о детях и о своем статусе бабушки, так как выглядит моложе своих соседей по столу, хотя в действительности она наверняка старше. А в их глазах застыли немые и недоуменные вопросы. Время от времени дама, как бы проверяя, поглядывает на это свое пусть не слишком интересное, но все же присутствующее за столом семейство.

Дама не дотягивает до полуночи, когда должны выстрелить пробки. Вскоре и госпожа К. вместе со своим другом покидает ресторан. В своем номере они слушают новогоднее обращение канцлера.

— Я бы тоже хотела побывать в стране, о которой он рассказывает,— говорит госпожа К.

На следующий день журналистка досрочно уезжает. Ей приходится дополнительно заплатить еще за сутки, поскольку первоначально она собиралась оставаться дольше. Она уже стоит перед конторкой со счетом в руке, когда подходит отъезжающий отец семейства, который тоже намерен заплатить. Его обслуживают первым, и он убежден, что так и должно быть. Затем наступает ее очередь, и она наконец покинет это место. Прощаясь с отцом семейства, хозяин рассыпается в любезностях. Когда дело доходит до дамы, то прощание проходит довольно прохладно.

Госпожа К. глядит из окна ей вслед, когда та отъезжает на своей машине. При этом руки госпожи К. обвивают шею друга, который, тесно прижавшись к ней, стоит в щели между кроватью и окном.

Канун Дня Всех Святых в Берлине

Несколько лет минуло с тех пор, как госпожа К. утратила свою душу. Но однажды ей пришла в голову мысль, что, возможно, у нее есть шанс обрести ее вновь. Помочь ей в этом никто не смог бы, даже друзья, на которых она всегда полагалась. Ей казалось, что она обретет свою душу, если тот, кто душу у нее отнял, посмотрит ей в глаза.

Убедив себя в этом, госпожа К. теперь выходила из дому не только на работу или по крайней необходимости. Она снова стала ходить по городу, забредая в кварталы, которых давно уже старалась избегать. Переборов себя, подавала руку знакомым. Ее ищущий взгляд скользил по толпе, она выслеживала его и боялась пропустить.

В ночь на первое ноября он ей приснился. Она увидела его на автостраде, перед входом в мотель. Но еще до того, как его глаза встретились с ее взглядом, он повернулся на каблуках и бегом кинулся за

угол дома. Она сорвалась с места и побежала ему навстречу, обогнув дом с другой стороны. Пусть он хоть на секунду встретится с ней взглядом, молила во сне госпожа К. Но он, едва она появилась из-за угла дома, тут же бросился обратно. Узнав ее каким-то непостижимым образом, он так и не взглянул ей в глаза. Ей снилось, что они, как загнанные, долгие часы бегали вокруг дома. На рассвете госпожа К. проснулась совершенно разбитой.

С утра она собиралась ехать из Берлина в Западную Германию. И вот теперь госпожа К. неподвижно сидела, закутавшись в одеяло, и ждала. Ведь сон должен что-то значить. Поэтому она должна терпеливо ждать, пока весть не достигнет ее.

Проходили часы. Около полудня госпожа К. стряхнула с себя пелену сна. Потянулась. Горько усмехнулась. Все очень просто: он на нее не посмотрел. Не захотел. Она обречена по-прежнему пребывать без души в этом мире, а это означает, что ей уже никогда не суждено выйти из состояния зомби. Ведь она к нему почти привыкла. В нем были и свои положительные стороны. С тех пор как она стала такой, ей открылось многое из того, что ранее оставалось скрытым.

Прежде всего зомби были лишены способности решать нравственные проблемы. Они не разделяли свойственных нормальным людям взглядов на такие основополагающие понятия, как порядочность и уважение, а также на другие естественные законы человеческого сосуществования. Когда-то им было отказано в нормальном человеческом отношении — в чем неизменно был виновен кто-то из близких людей,— и это низвело их до нынешнего состояния полной бесчувственности. Госпожа К. уже давно утратила способность нормально реагировать на ту или иную ситуацию. Перестала ориентироваться в правилах общественной жизни. Для нее эти правила попросту рухнули. И потому ей стало непонятно, почему одни правила должны действовать, а другие нет. Правда, со временем она научилась интерпретировать некоторые отдельные факты на общепринятый манер, однако чисто механически. Встретив знакомых, она могла с любезной миной упомянуть о «чудесном дне». Позднее даже стала с легкостью оценивать некоторые социальные явления. И оказалась чуть ли не идеальной сотрудницей для всевозможных политических и научных организаций. Она без труда вникала в суть конфликта, ее ничто не могло поколебать или вывести из равновесия. Она всегда была невозмутима. Но никто не догадывался, что при этом она оставалась совершенно равнодушна к своей деятельности. Она уже не раз убеждалась, находя это забавным, что именно зомби способны распутать какую-нибудь безнадежную ситуацию, международную или внутреннюю, и сделать ее вновь управляемой благодаря своей равнодушной терпеливости. У нее даже снова появился друг, которому она, правда, была как личность до такой степени безразлична, что он вообще не замечал ее состояния. И только деги ее обезоруживали.

Превратившись в зомби, она стала узнавать себе подобных, а те узнавали ее. Среди них встречались и такие, кому удалось вернуться живыми из Вьетнама, из чилийских пыточных подвалов, из концлагерей. Но были и другие. Жертвы личных, персональных войн и катастроф. Все они оказались в своем теперешнем состоянии не по вине неизвестных врагов, каждый столкнулся с предательством друга. Их погубили совершенно конкретные люди. Впрочем, таких, как они, встречалось не слишком много. Но время от времени она замечала одного из них в какой-нибудь компании. Это было неприятно, потому что зомби избегали друг друга. Полумертвецы, лишенные души, они нуждались в обществе подлинных людей. Чтобы наблюдать за ними в надежде на спасение.

За завтраком госпожа К. просматривала купленную накануне книгу о кельтском праве, которая потребовалась ей для одной работы. Ей на глаза попалось интересное место. Там говорилось, что в канун Дня Всех Святых — то есть как раз сегодня — мертвецы оживают и бродят среди живых. День Всех Святых. В Западной Германии завтра выходной, и на автострадах автомобилей будет больше, чем обычно.

Госпожа К. захлопнула книгу. Если бы не этот проклятый сон, она уже несколько часов находилась бы в пути. Возможно, была бы уже у цели. Она позвонила и перенесла назначенные на сегодня встречи на более позднее время. Затем снова села. Она не знала, что ее удерживает, но и заставить себя ехать не могла.

Вскоре после полудня она наконец поднялась.

Теперь — в путь.

Погода стояла солнечная и для ноября необычайно теплая. Перед контрольно-пропускным пунктом Грибницзее скопились длинные вереницы автомобилей. Берлинцы стремились на праздники выехать из города. Из открытых окон автомобилей доносились музыка, голоса и смех.

Быстрым взглядом она окинула ряды машин. В последнее время это стало привычкой.

Те, кому процедура на границе была знакома, заглушили моторы и через определенные промежутки времени продвигали свои машины на несколько метров вперед, навстречу паспортному контролю. На вопросы таможенника о детях и оружии отрицательный ответ был уже дан. Автомобили стояли длинными параллельными рядами, и пассажиры время от времени с иронической покорностью обменивались замечаниями по поводу царящего в ГДР бюрократизма, закатывая глаза или понимающе улыбаясь друг другу. Тем самым они демонстрировали готовность примириться с ситуацией, изменить которую невозможно. Подобным образом порой ведут себя родственники со своей странноватой теткой: мол, у нее есть свои бзики и не стоит надеяться, что она когда-нибудь переменится. Когда в очередной раз прозвучал вопрос: «Оружие, боеприпасы, радиоустройства?» — из соседней машины донесся ответ какого-то шутника: «Только стратегические».

Завершив пограничные формальности, она въехала в Зону [1]. Чем чаще она ездила этой дорогой, тем больше ей хотелось употребить именно это, ранее ею отвергаемое, слово. За каждым большим кустом прятались автоинспекторы, охотившиеся за нарушителями и валютой. Водителям приходилось участвовать в чем-то, напоминающем детскую игру. На дороге действовали запреты, но их нарушение чуть ли не провоцировалось. Таким образом удавалось собрать очень много валюты, и потому власти никак не могли быть заинтересованы в том, чтобы транзитные водители не превышали скорость. Проблема состояла только в том, чтобы как можно раньше обнаружить засаду этих грабителей с большой дороги и успеть снизить скорость. Так превышение скорости превратилось в спорт берлинских транзитников.

Госпожа К. сожалела, что добрый обычай, мигая фарами, предупреждать встречных водителей об опасности, был теперь практически забыт. Она же неуклонно продолжала ему следовать. Вот в Италии, думала она, никому бы и в голову не пришло отказаться от подобного проявления водительской солидарности. Поддразнивать государственные власти стало там традицией. Правда, эта игра в прятки имела и определенные неудобства: приходилось все свое внимание концентрировать на других. Одни подстерегали нарушителей, другие старались не дать себя поймать. Погруженную в эти размышления, ее засекли и остановили.

Представитель государственных органов подошел к боковому окну и потребовал предъявить «путевые документы». Инспектор сказал с укоризной, что госпожа К. ехала со скоростью, превышающей допустимые КЭМЭ в час.

— Будьте добры, повторите.

Полицейский удивленно уставился на нее. Она что, издевается над ним? Но нет, женщина говорила совершенно серьезно.

— Со скоростью сто семнадцать КЭМЭ.

— Но мне необходимо было обогнать,— сказала госпожа К.— Что

---

[1] Обиходное название ГДР, принятое в ФРГ.

делать, если впереди машина идет со скоростью девяносто восемь КЭМЭ? Мне следует увеличить скорость на треть. Ведь этому обучают на любых курсах вождения. Что мне оставалось делать?

— Этого я вам сказать не могу,— ответил инспектор.— В любом случае вам не следовало попадаться, потому что максимально допустимая скорость в Германской Демократической Республике составляет сто КЭМЭ.

Бессмысленно спорить, бессмысленно кокетничать. Ее рассеянность обошлась ей в сорок марок, которые госпожа К. тут же уплатила. Но в наказание ей пришлось еще и ждать. Дольше того времени, которое она надеялась выиграть, превысив скорость. В завершение ее попросили расписаться в квитанции, удостоверяющей, что она уплатила.

— Я? Я не стану подписывать. Это вы должны дать мне квитанцию, подтверждающую получение денег. Таков порядок при капитализме.

Инспектор не согласился. Потом все-таки дал ей копию квитанции. Но госпоже К. вздумалось получить оригинал. Он ей был, собственно, вовсе не нужен, квитанцию она, конечно, тут же выбросила бы, просто ею руководило любопытство, ей хотелось узнать, чем все это кончится.

Инспектор многозначительно взглянул на своего коллегу и сказал, что ему нужно еще раз переговорить по телефону. Затем они пошли к своей машине, где в ожидании сидел еще один полицейский. Мужчины переговаривались, украдкой посматривая через окно в ее сторону, и ситуация начинала принимать совершенно немыслимый оборот.

А ведь это вовсе не так уж безобидно — то, что они там делают, думала госпожа К.

Полицейские, должно быть, решили, что с женщиной не стоит церемониться. Что ж, они правы, подумала она.

Пусть заработают на мне немного валюты. Это хоть можно понять. В конце концов не такие уж большие деньги.

Первый полицейский, напустив на себя важный вид, вернулся к ней с копией квитанции. Госпожа К., просто по инерции, сказала еще что-то насчет оригинала. Тот ответил, что, если она настаивает на оригинале, это обойдется дороже. Госпожу К. привело в восторг бесстыдство этих взяточников. Однако она решила воздержаться от дальнейших дискуссий. Нужно было ехать. Ей стало жаль потраченного времени, и она вдруг заторопилась. Покинув инспекторов, она тут же увеличила скорость до ста двадцати — ста тридцати километров в час, надеясь, что ее больше не поймают.

Большое красное солнце стояло слева от нее над самым горизонтом, когда она, проезжая мимо мотеля «Магдебургер бёрде», увидела автомобиль. Один-единственный автомобиль, «ситроен», по асфальтированной подъездной полосе приближался к автостраде. Госпожа К. вздрогнула, как от удара электрического тока, она уже знала: в машине сидит он. Лучи солнца, отражавшиеся в стеклах, были так слепяще ярки, что она смогла определить только марку автомобиля, не разглядев ни его цвета, ни кого-либо из сидящих в нем. Быстро миновала она боковую полосу. В зеркале заднего обзора она увидела, как тот автомобиль в нескольких сотнях метров позади нее влился в общий поток машин. Вскоре он перешел в левый ряд, что запрещалось, и последовал за госпожой К. Он двигался с ней в одном темпе. Другими словами, они как бы ехали колонной, обгоняя все остальные машины, хотя расстояние между ними, оставаясь неизменным, было достаточно велико. Пятьсот, тысяча, две тысячи метров? Трудно сказать.

Сон.

Неужели госпожа К. прождала все утро, а потом ее остановила полиция для того, чтобы она встретила его здесь? Мог ли он знать, что, увязавшись за автомобилем, мчавшимся с удобной для него скоростью, он преследовал женщину, которая по его вине практически перестала существовать? Она настолько мало значила для него, что он даже не считал необходимым соблюдать хоть какие-то общепринятые нормы

поведения. Для него ее просто больше не было. Он вычеркнул ее из своей жизни. И вот теперь он, возможно, ехал за ней.

Госпожа К. одернула себя.

Такого не бывает, подумала она. Подобное шаманство с участием полиции — это уже чересчур. Но в ней постепенно поднималась тревога. Она испытывала страх, чего с ней давно не было. Все подсказывало ей, что он где-то неподалеку.

Раз это случилось, ей необходимо предпринять все возможное, чтобы история не завершилась так же, как во сне.

Но может, успокаивала она себя, пытаясь умалить значение неожиданной трансформации сна в явь, может, все это чушь, а мне нужен всего-навсего хороший приемник в машине. Такой, чтоб нормально работал, чтоб нарушал монотонность этой утомительной трассы. ГДР — неподходящее место для призраков. Канун Дня Всех Святых — еще не сам День. Сон есть сон.

А теперь ей надо сосредоточиться и снизить скорость, призвала она сама себя к порядку. Там впереди, в лощине, они наверняка опять стоят и проверяют.

И действительно, она оказалась права. Миновав засаду, она снова увеличила скорость до ста тридцати. К счастью, «ситроен» позади нее тоже не был остановлен. Он, конечно, очень рад, подумала она.

Уже несколько раз, преодолевая возвышенность, она теряла из вида следующую за ней машину. Однако та неизменно вновь возникала в ее зеркале.

До границы оставалось около тридцати километров. Как и полагается в ГДР, теперь всем следовало ехать в своем ряду и снизить скорость со ста до восьмидесяти, до шестидесяти, до сорока, до двадцати. В результате все задние машины подтянулись вперед, и «ситроен», ехавший за госпожой К., оказался совсем рядом. На заднем сиденье уже можно было разглядеть силуэт ребенка. Машина подъехала еще ближе, и она увидела в зеркале своего бывшего возлюбленного, мужчину, который отнял у нее душу и разбил сердце. Сон, повторяла она про себя, не должен повториться. Пусть наяву все будет иначе. Он должен взглянуть на меня. Он должен сжалиться и взглянуть на меня. Однако ей показалось, что он побагровел. Боковым зрением ему, по-видимому, удалось сориентироваться в ситуации, и в течение последующих двадцати минут, когда она, не отрываясь, смотрела в зеркало, он сумел ни разу не посмотреть прямо перед собой. Он попал в ловушку. Позади него стояла следующая машина его ряда, слева находилась ограда, справа — другая вереница машин, спереди была она. Все складывалось таким образом, что он никак не мог ускользнуть от нее. Что ей было на руку. Нервно закурив сигарету, мужчина возбужденно заговорил, обращаясь назад, к ребенку. Подпрыгивая на заднем сиденье, ребенок смеялся, глядя, как казалось, прямо на нее. Но отвлекаться сейчас она ни в коем случае не могла. Не могла упустить момент, когда она вновь воссоединится со своей душой, который должен был вот-вот наступить. Необходим только один его добровольный взгляд. Через определенные промежутки времени, когда очередная машина после всех формальностей пересекала границу, она вслепую продвигала свою машину на четыре-пять метров вперед. Она смотрела в зеркало не отрываясь и все ждала, что он поднимет глаза и их взгляды встретятся. А он по-прежнему смотрел невидящим взглядом вбок или назад, на своего ребенка. И так же, как и она, вслепую продвигал вперед свою машину. Она могла бы оставаться на месте, в смятении говорила она себе, она же вовсе не обязана постоянно продвигаться вперед. Могла бы обернуться назад. Но все это было исключено, поскольку тогда на долю секунды, на время черного промежутка между двумя кадрами, она выпустила бы его из поля зрения. Она стремилась не допустить повторения сна, что означало, как ей почему-то казалось, не спускать с мужчины глаз.

А что, если упасть в обморок? Или выйти из машины, подойти

к нему и сказать «алло»? Или просто умереть на месте, и тогда пограничники попросили бы его отнести ее в помещение полиции для проверки, вот тут бы и выяснилось, что когда-то они путешествовали вместе. Но она оставалась в машине и смотрела. Скорее он упадет в обморок. Он был все такой же багровый и закуривал уже вторую сигарету. Госпожа К. смутно предчувствовала, что вся эта история, несмотря на благоприятные обстоятельства, завершится неудачей.

Ей вспомнилась притча о смерти в Самарканде: один мужчина в Дамаске видит перед собой Смерть. Он в страхе бежит домой. Там собирает все вещи, забирает жен, детей, верблюдов и слуг и скачет три дня и три ночи в Самарканд. Перед стенами города навстречу ему выходит Смерть и говорит, что была удивлена, увидев его три дня и три ночи назад в Дамаске, хотя она уже давно поджидает его здесь.

От неподвижного сидения в неудобной позе у госпожи К. начались боли в затылке. Это лицо она когда-то изучила до мелочей. С тех пор он немного обрюзг. Теперь страх прошел. Она вообще перестала что-либо ощущать. Внутри была абсолютная пустота. Она лишь смотрела не отрываясь. А если бы сегодня она увидела его впервые, возникло бы у нее желание вторично посмотреть на него, спросила она себя? Оставались ли бы они все еще вместе, не случись тот чудовищный разрыв? Возможно ли, чтобы они стали супругами, подобно той паре, что молча сидит рядом в машине? А может, ей повезло, что все сложилось именно таким образом?

А он так и не поднял глаз. Ее постигло разочарование. Госпожа К. устраивала позднее эксперимент: она подмигивала через зеркало заднего обзора водителям машин, стоящих позади нее, и те неизменно подмигивали в ответ. Осечки не было ни разу.

Подошла ее очередь. Она подъехала, с паспортом и транзитной карточкой в руке. Высунула голову из окна навстречу пограничнику, как это было принято. Все, она проиграла. Дальше шоссе проходило по нейтральной полосе. Максимальная скорость составляла тридцать километров в час. За две машины до нее какой-то чересчур осторожный водитель ехал со скоростью двадцать. В результате перед ним образовался промежуток. Нарушив правила и объехав всех справа, туда и проскочил ее бывший возлюбленный, вперив взгляд прямо перед собой. Его правая задняя мигалка была неисправна. Уже наступили сумерки, и все включили фары.

Надеюсь, с ним ничего не случится, подумала она.

Теперь они стояли перед западногерманскими пограничниками. Пройдя контроль, он тут же сорвался с места. Ехал очень быстро, насколько возможно. Но ее машина была проворней, и она вскоре догнала его. Проезжая мимо него, посмотрела направо. Он сидел, вцепившись в руль и неподвижно глядя прямо перед собой. Он боялся ее. Возможно, опасался, что она спровоцирует несчастный случай. Но у нее и в мыслях ничего подобного не было, ей не хотелось умирать, оставаясь зомби. Они несколько раз повторили эти маневры. Потом он обогнал ее. В конце концов, оказавшись зажатой между двумя грузовиками, она не смогла сменить ряд из-за плотного потока машин. Стало совсем темно. Вереница автомобилей, едущих впереди нее, уже не прерывалась, образуя ряды совершенно одинаковых огней. Машина с неисправной мигалкой исчезла.

Зачем мы все это рассказываем друг другу? Почему постоянно о них говорим?

— А о чем еще нам говорить?

— О чем нибудь другом.

— О том, к чему они не имеют отношения?

— Не знаю.

Три дамы К. стояли у окна и смотрели на улицу. Было время обеда.

Мимо брел по снегу молодой человек в свитере домашней вязки, он взглянул на три пары глаз, серьезно смотревших на него, отвернулся и ускорил шаг.

— То, что он испугался, просто отвратительно.

Все трое удрученно молчали. Вопрос «Так ли ты представляла себе ощущение собственного достоинства?» надолго повис в теплом воздухе комнаты.

Они стояли, глядели вслед молодому человеку, пока тот, все уменьшаясь, не скрылся наконец за белым сугробом. Они по-прежнему стояли, уставившись в окно, а на улице появилась парочка.

— Она библиотекарша, он профессор,— сообщила госпожа К.

Библиотекарша, склонившись к профессору, тяжело повисла на его руке, а он изо всех сил старался держаться прямо. При этом она оживленно о чем-то ему рассказывала. Слишком оживленно.

Выглядело это комично. Пара была им знакома. В их первый совместный вечер в ресторане они сидели за соседними столами. Три дамы К. за одним столом, а эта пара вместе с еще одной парой и одинокой женщиной — за другим. Во время общего оживленного разговора библиотекарша вдруг обняла своего уже несколько полноватого, седовласого друга и принялась осыпать его ребячливыми нежностями, желая, видимо, тем самым привлечь внимание соседей по столу, и прежде всего одинокой дамы, к своему счастью. Обычно так поступают обладатели детей или собак, стремясь вызвать в присутствующих интерес к чрезвычайной воспитанности своего чада или ловкому трюку своей таксы. Этот неожиданный демонстративный взрыв эмоций привел оба стола в состояние растерянности и оцепенения, и прошло какое-то время, пока сидящие за соседним столом сумели, соблюдая приличия, восстановить прерванную нить беседы.

— Если он в один прекрасный день от нее сбежит...

— Не сбежит. Он ей только изменяет. Это тот тип женщины, который пользуется наибольшим спросом, не надо заблуждаться.

Они продолжали смотреть в окно, на белый ландшафт.

— Почему же нам так плохо?

— Мой личный опыт редко соответствует общепризнанным понятиям,— осторожно заметила беременная.— И мне все время хочется надеяться, что не права бываю я. Или они заблуждаются, или я. Похоже, что у меня проблемы с восприятием реальности.

— Может, нам следует отказаться от убежденности, что освобождение приносит счастье.

— Но ведь даже бездомным, захватывающим дома, удавалось их удержать. Даже сандинисты однажды победили...

Они с завистью смотрели на важного толстяка, шествующего мимо под руку со своей спутницей. Парочка уже отошла далеко, но все еще виднелись два силуэта: один прямой, другой — склонившийся к нему.

— Не все же мужчины тупицы,— сказала беременная и с некоторой самоуверенностью посмотрела в окно.

Ей никто не ответил. Старшая из них отошла от окна, налила коньяку в стакан и стала рассеянно листать иллюстрированный журнал.

— Не забывай,— сказала она немного погодя,— что мы здесь говорим о лучших из лучших в мире искусства, политики и науки. Это не какие-то сомнительные личности. Это наши возлюбленные.

Она указала на фотографию мужчины, который был известен всем. Теперь три женщины склонились над журналами и начали рассматривать иллюстрации. Они пытались определять возраст политиков и постоянно ошибались. Они никак не могли понять ту закономерность, по которой они старели. Казалось, что вследствие успеха черты их лиц стираются.

— Вследствие стресса,— уточнила госпожа К.

Потом они прочитали в телепрограмме, что десять мужчин, большинство из которых были им знакомы, выступят сегодня вечером в дискуссии о формах взаимовлияния искусства и политики.

— Они будут дискутировать перед миллионами, считая это совершенно естественным. Наши приятели.

— А почему мы так хотим, чтобы они были непременно нашими приятелями? Зачем добиваемся еще и этого? Почему мы никак не можем с ними расстаться?

— Мы просто не хотим признать, что проиграли.

— А теперь расплачиваемся,— сказала средняя,— за то, что вели себя недостаточно осмотрительно, слишком легкомысленно или назовите это иначе.

— Прожигали жизнь,— сказала старшая.

— Будь в нас больше страха, будь мы менее любознательны, будь мы поглупее, вот тогда господин толстяк, проходивший только что по улице, смог бы своим жизненным опытом произвести на нас огромное впечатление, и мы еще были бы благодарны ему за внимание и в результате — не так одиноки.

Госпожа К. прочитала в местной газетке, что сегодня вечером в деревушке состоится еженедельный киносеанс. Они решили пойти, так как показывали фильм с Бельмондо. У него хотя бы крепкие мышцы.

ЭРИКА ДЖОНГ

Перевод с английского А. ШАРАПОВОЙ

В первую ночь

В первую ночь
полнолунья
прорвался
бурдюк первозданного моря,
и я дала тебе жизнь —
маленькой женщине,
морковному хвостику,
носику-пипочке,—
выпихнула тебя наружу,
как мама когда-то
меня выпихнула,
как бабушка — маму
и как прапрапра...
и все мы рождались
от женщин.

Я вторая дочь
второй дочери
второй дочери,
но ты — первенец.
«Слабый пол» —
только у классиков,
твое поколение
встретит эти слова
и полезет в словарь.
Только безумец
мог обозвать тебя
слабой —
такую изумительно
сильную,
что даже со мной,
твоей матерью,
смогла поделиться
своим первородством,
совершенством и могуществом,
подобно полной луне,
озаряющей все небо.

Теперь опять полнолуние,
и тебе скоро месяц.
Ты — львенок, львица,
тебе дорваться бы до моего молока
да порычать на луну,
до чего я люблю твою жадность,
краснощекую ненасытность,
и голодные причмокиванья,
и писки, и визги —
ими ты жизнь называешь по буквам,
и буквы огромные,
цвета крови.

Ты родилась девочкой
к вящей славе всего женского,
рыжик мой, красота, крикунья,
и никакой ты не слабый пол,
а сильнее сильного;
и когда луна
доверстает
последнюю фазу
твоего бытия,
ты закричишь от радости,
что была
женщиной,
и повелишь бледной луне
броситься вниз
и утонуть в море,
славя, славя и славя
в радостном упоении
ослепительное чудесное
«я».

© 1983 by Erica Mann Jong

Сердце, дитя, белый свет...

На белом свете ребенку
необходима мать,
как ране необходима соль,
как любящей необходим
нелюбимый,
как вешнему льду
необходимо растаять.

Сердце мое — родник,
нагнетающий алую кровь,
и вот как я научила бы
мое дитя, мою дочь,
представлять себе свою мать:
она не корчится от боли
под тяжелой пятой мужчины,
ей нравится, когда пенис
купается в горячей крови,
но она сознает
превосходство своего сердца
над этим поршнем из плоти,
над бессловесным орудием,
то ласковым, а то безжалостным.

Сердце мое на белом свете
как сирота, что рыдает
на перекрестке.
Найти бы теплое, надежное место,
куда можно забраться вместе
с моими книгами,
моей дочерью и моим сердцем,
которое испещрено рубцами
и похоже на чрево,
исторгнувшее на белый свет
самодержавного младенца, Цезаря:

оно невинно,
хотя и познало
тяжесть.

Моя любовь прихотлива

Прихотлива моя любовь...
Природа, поэзия, дети —
ей надо многое охватить...
Мои прихоти, алые, как кровь,
названивают тебе из-за океана;
мои прихоти, черные, как ночь,
шелестят страницами
твоего сердца...

А тебе надо бы
девчонку неприхотливую:
позавтракала, улеглась с тобой,
не требуя многого,
после ужина снова в постель,
иногда поработает ртом,

ее прихоти не горят, как открытые раны,
они прохладны и сини,
как телеэкраны
в благополучных домах.

Но знаешь, любимый,
такие простые, неприхотливые
девчонки
читают иногда мои книги,

и они говорят мне,
что чувствуют так же, как я.
Они говорят: я транскрипция
для языка их сердец.
Они говорят: я перевод
их темной, неизреченной муки
на ослепительный свет
языка.

Знаешь, любимый,
не бывает неприхотливой любви,
любовь бывает холодноватой,
пока не приходит страдание,
пока не рождается первый ребенок —
девочка,
она заявит о своих прихотях миру,
хоть мир ее и не ждал.

А такой любви, как ты хочешь,
у меня нет,
разве что поискать
в кулинарной книге.

Это не любовь —
кулинария,
пособие, а не песня,
собеседница не твоя,
а твоего пениса,
и при чем тут вопиющая неразбериха
живого сердца?

Женщины — хрупкие существа

Женщины — хрупкие существа,—
колониальные кладбища
усыпаны вашими костьми.
На островах Вест-Индии
ваша жизнь скоротечна,
вы погибали там,
как рыбы на рифах,
давая жизнь детям.

Женщины — хрупкие существа —
умирали в двадцать или
в двадцать три.
«Любимой жене и нежной матери» —
писали на стелах ваши мужья
(и новые жены),
выжившие, пережившие вас,
потом умершие
так же, как вы.

Только мужчины еще оставались
живы,
покуда не гибли на войне,
или от акульих зубов,
или жа́ра, кровавого поноса,
оспы, проказы,
подагры
(равно прожорливых
под солнцем Вест-Индии).

Человек — хрупкое существо;
дети мерли как мухи,
и женщины умирали,
давая жизнь детям,
обреченным на смерть.

Богу должно быть совестно.
Могучая Природа, ты
на двойку
написала контрольную,
насотворяла
сотни хрупких сосудов,
утлых суденышек
вместо одного корабля,
одной большой чаши.

Женщины — хрупкие существа,—
расколотые,
как черепки под колесами,
как ракушки на пляже,
как скорлупа ореха,
как бутылочное стекло.

Мне бы надо уже быть мертвой
в мои годы.

Тебе — чуть-чуть погодя.

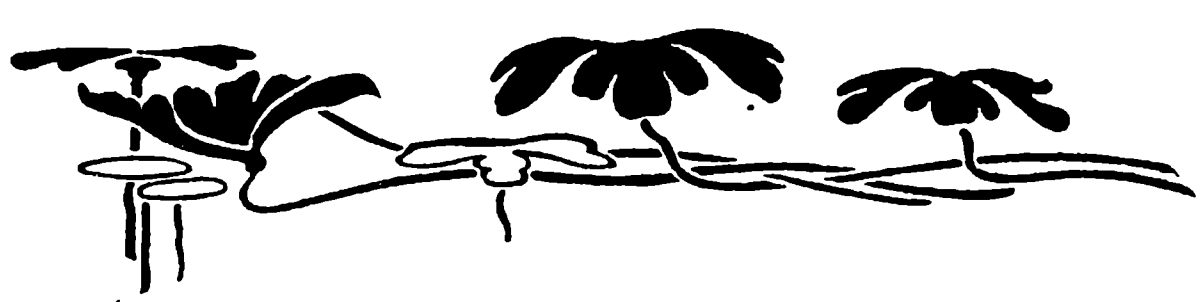
Улица

Мужской?
Женский?
Богу все равно,
какого мы
пола
и как далеко протянется эта
тенистая улица, ведущая к смерти.

Бог говорит:
червяк так же прекрасен,
как яблоко, им источенное,
и яблоко так же красиво,
как могучий
древесный ствол,
и древесный ствол
не прекраснее,
чем воздух
в лесу.

Богу нет дела
до битвы
между полами,
каковою мы
забавляемся
по дороге к смерти.

Бог утверждает,
что пола нет,
а мы забавляемся,
споря о том,
является ли она
мужчиной
или он
женщиной.



МАРГАРЕТ ЭТВУД*

Женское Тело

«...целиком посвященную теме «Женского тела».
Зная, как талантливо вы писали на эту тему...
...эту всеобъемлющую тему...»
— из письма «Мичиган куотерли ревью»

1.

Согласна: это животрепещущая тема. Но разве только она одна? Оглянитесь вокруг — и вы обнаружите целый букет подобных тем. Возьмите мою, например.

Я просыпаюсь утром. Моя тема ноет ужасно. Я окропляю ее водой, чищу отдельные ее части, обтираю насухо полотенцем, присыпаю тальком, смазываю кремом. Я подбрасываю в нее топлива, и — прочь уносится моя тема, моя тематическая тема, моя противоречивая тема, моя всеобъемлющая тема, моя хромающая тема, моя близорукая тема, моя тема с больной спиной, моя дурно воспитанная тема, моя вульгарная тема, моя скандальная тема, моя стареющая тема, моя тема, которая не подлежит сомнению и тем не менее с трудом формулируется, в не по размеру огромном пальто и поношенных зимних башмаках, бредущая по тротуару, словно это не асфальт, а кровь и плоть, в поисках чего бы там ни было — авокадо, олдермена, прилагательного, изголодавшаяся как всегда.

2.

Нормальному Женскому Телу сопутствует следующее: пояс с подвязками, резинки, кринолин, комбинация, турнюр, бюстгальтер, корсаж, ночная рубашка, пояс верности, туфли на шпильках, кольцо в носу, вуаль, лайковые перчатки, чулки «рыбачья сеть», косынка, обруч для волос, «Веселая вдова», траурная ленточка на шляпке, горжетка, заколка, браслеты, бусы, лорнетка, боа, тушь для ресниц, компакт-пудра, колготки, пеньюар, кружевное белье, кровать, голова.

3.

Женское Тело сделано из прозрачного пластика и вспыхивает, когда его включают в сеть. Нажимайте на кнопки, чтобы засветились разные системы. Кровеносная система — сердце и артерии — красного цвета, вены — алые, дыхательная система голубая, лимфатическая система желтая, система пищеварения зеленая, почки и печень цвета морской волны. Нервы окрашены в оранжевый цвет, мозг — розовый. Скелет, как можно догадаться, белый.

Система деторождения имеет факультативный характер, ее можно удалить. Она изображается как с миниатюрным эмбрионом, так и без оного. Таким образом осуществляется родительская воля. Мы не хотим испугать или оскорбить.

4.

Он сказал: Я не потерплю ничего подобного в своем доме. Эта штуковина дает девочке ложное представление о красоте, не говоря

---

* Эссе Маргарет Этвуд было написано по заказу редакции американского литературного журнала «Мичиган куотерли ревью» для специального номера, посвященного проблемам феминизма. Эссе Джона Апдайка — опубликованный в том же номере полемический ответ канадской писательнице.

© 1991 by Margaret Atwood

уж об анатомии. Если бы женщина была так устроена, она бы падала вниз лицом.

Она сказала: Если мы не позволим ей иметь то, что есть у других девочек, она будет чувствовать свою ущербность. И это будет вечной проблемой. Ей очень захочется иметь это, очень захочется в это превратиться. Репрессия порождает сублимацию. Ты же сам знаешь.

Он сказал: Это же не просто острые пластиковые сиськи, это целый гардероб. Гардероб — и еще этот дурацкий мужик, как его там, с приклеенными подштанниками.

Она сказала: Все-таки лучше пережить все это, пока она еще маленькая.

Он сказал: Ладно, только чтобы я этого не видел.

Она вихрем слетела вниз по лестнице, точно выпущенная из лука стрела. Она была абсолютно нагая. Волосы у нее были коротко острижены, голова повернута затылком вперед, у нее не хватало нескольких пальцев на ногах, и все ее тело покрывали пурпурные татуировки, своим причудливым узором похожие на восточный орнамент. Она с разбегу врезалась в кадку с азалией и, шатаясь, словно недоделанный ангел, упала.

5.

Женское Тело знает множество применений. Его используют как дверную ручку, как штопор, как ходики с тикающим животом, как стойку для торшера, как щипцы для орехов — надо крепко сжать медные ляжки, и тут же выскочит орешек! Оно гордо несет факелы, возносит победные венки, машет медными крыльями, бросает ввысь неоновые звезды, целые здания покоятся на его мраморных головах.

Женское Тело продает автомобили, пиво, лосьон для бритья, сигареты, спиртное, оно продает рецепты для похудания, брильянты и вожделение в крохотных хрустальных флаконах. Не оно ли выбрасывает на рынок тысячи товаров? Ну конечно, но только не воображай себе ничего такого, дорогой, не думай, будто улыбка гроша ломаного не стоит.

Женское Тело не только продает, но и само продается. Деньги притекают в эту страну и в ту страну, прилетают, вползают целыми мешками, соблазненные всеми этими безволосыми детскими бедрами. Эй, ты же хочешь уменьшить государственный долг, а? Разве ты не патриот? Вот он, наш истинный дух! Вот она, моя девчонка!

Она — природный ресурс, восполняемый, к счастью, ибо эти штуки быстро изнашиваются. Теперь-то их делают не так, как раньше. Барахло, а не товар!

6.

Один плюс один равняется еще одному. Удовольствие для женщины вовсе не обязательно. Брачные союзы куда прочнее у гусей. Мы же ведем речь не о любви, мы ведем речь о биологии. Вот как все мы произошли, доченька.

У улиток все происходит несколько иначе. Они же гермафродиты, и у них требуется участие троих.

7.

Каждое Женское Тело содержит женский мозг. Удобно. Эффективно. Воткни в него булавку и получишь поразительные результаты. Старинные популярные мелодии. Короткие замыкания. Дурные сны.

Кстати, каждый этот мозг состоит из двух половинок. Они соединяются толстым шнуром, нейронные протоки тянутся из одной половинки

в другую, искры электрической информации перебегают туда-сюда. Словно огоньки на воде. Словно разговор. А как женщина познает? Она слушает. Она прислушивается.

Мужской же мозг — совсем другое дело. Весьма незначительная взаимосвязь. Здесь восприятие пространства, там восприятие времени, музыка и арифметика в обособленных сегментах. Правое полушарие не ведает, что творит левое. Однако оно необходимо для прицеливания, для попадания в мишень, когда палец нажимает на спусковой крючок. А что за мишень? Кто — мишень? Да кому какое дело! Главное, попасть. Вот вам и мужской мозг. Вполне объективная картина.

Оттого-то мужчины так печальны, оттого-то они ощущают себя одинокими, оттого считают себя сиротами, которых несет по жизни без руля и без ветрил в бездонной пустоте. Какой пустоте? — спрашивает она. О чем ты? В пустоте мироздания, отвечает он. А она говорит: О! — и смотрит в окно и пытается понять его слова, но тщетно, ибо там так много всего происходит, шуршат листья, звучат голоса, и она спрашивает: Хочешь бутерброд с сыром, кусок пирога, чашку чаю? И он скрежещет зубами, потому что она ничего не понимает, и уходит — не просто один, но Один, заблудившийся во тьме, заблудившийся в собственном черепе, в поисках другой половинки, своего близнеца, который мог бы его завершить.

Потом до него доходит: он утратил Женское Тело! Смотри, вон оно сияет во мраке, далеко впереди — видение целокупности, зрелости, словно гигантская дыня, словно яблоко, словно метафора «груди» в плохом эротическом романе; оно сияет подобно воздушному шару, подобно полуденному солнцу в тумане, водянистой луне, мерцая в своем яйце света.

Поймай его. Положи в полую тыкву, спрячь в высокой башне, заключи в тесную темницу, в келью, в дом, в комнату. Скорее посади его на поводок, на цепь, под замок, сделай ему больно, свяжи его, чтобы оно уже больше никогда не смогло удрать от тебя.

Перевод с английского О. АЛЯКРИНСКОГО

ДЖОН АПДАЙК

Женское Тело

«Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино»,— говорит рассказчик Песни Песней Соломона,— «чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два сосца твои, как два козленка, двойни серны». Роберт Грейвз в книге «Смотри: поднимается ветер с севера» приводит народную переработку этих стихов, которая звучит так: «Твой живот — как сноп пшеницы, Груди — словно два козленка, Приходи ко мне в постель И сними свои одежды». Для многих мужчин обнаженная женщина являет собой самое

© 1991 by John Updike

прекрасное зрелище, когда-либо представшее их взору. Женское тело на нашей планете — главный эстетический объект, и оно воспроизводится не только в скульптурных или живописных формах, но и в виде дверных ручек, щипцов для орехов, подсвечников и кариатид. Мужчины викторианского века могли видеть его повсюду — обнаженным в бронзе, в то время как своих живых женщин они туго затягивали в подбитые ватой шелка, придавая им сходство с мягкой мебелью. В наше время женское тело навязчиво напоминает о себе во всех артикулах товарного ассортимента — будь то пачка сигарет, на ощупь шелковистая, как девичья кожа, или соблазнительно-округлая попка «порше». Женское тело является шедевром рыночного дизайна, побуждая нашу расу к самовоспроизведению, поколение за поколением, и извлекая семя у загипнотизированных мужчин с такой же легкостью, с какой карманный воришка шарит по сумочкам зрителей в кабаре.

Этот пленительный механизм вынужден дорого расплачиваться за все свои каверзы: рак поражает молочные железы и матки, менструальные спазмы и истерики вызывают перебои в работе. Пора его расцвета и плодовитости куда короче, чем у мужского тела, но зато протекает куда более пикантно и мощно. В письме Максу Броду Кафка отзывается о женщинах безо всякого пиетета: «До пришествия лета вряд ли кто имеет возможность лицезреть их прелюбопытную плоть во множестве экземпляров. Эта мягкая плоть содержит изрядное количество воды, чуть припухла и сохраняет свежесть лишь в течение нескольких дней». Но он продолжает со свойственной ему безупречной честностью: «Разумеется, она выглядит вполне привлекательно, но служит лишь доказательством краткости человеческой жизни». Вот именно — более продолжительная сохранность женского тела демонстрирует относительную биологическую пригодность мужчины и целебные результаты многолетних физических упражнений в виде работы по дому.

Если основное общественное свойство женского тела — его привлекательность, то основное политическое свойство заключается в его слабости по сравнению с телом мужчины. Возможно, найдутся особо ярые феминистки, которые станут оспаривать этот факт, но он остается непреложной истиной. Элизабет Хардвик в рецензии на книгу Симоны де Бовуар «Второй пол» заявила об этом со всей решительностью: «Физически женщины, конечно, уступают мужчинам, и если бы это было не так, то вся человеческая история развивалась бы иначе... Любая женщина, которой мужчина хотя бы однажды оставил синяки на запястье, относится к факту своей природной слабости с таким же покорным смирением, с каким хрупкая ветка гнется под натиском бури». Это обстоятельство определяет многие особенности условий женского существования — такие, например, как использование женщины в качестве домашней рабыни и вьючного животного в мировой экономической практике или же как непревзойденное умение женщин в наиболее развитых цивилизациях постигать все тонкости и нюансы бытовых интриг. «Привередливость женщины,— писал Стендаль в трактате «О любви»,— является результатом того опасного положения, в котором она себя ощущает с довольно раннего возраста, а также необходимости всю жизнь пребывать среди жестоких и обаятельных недругов».

Эта физическая слабость и все жестокости, ею обусловленные,— правда, но не вся правда, и с точки зрения рода человеческого даже не главная правда. Вот интересный мыслительный эксперимент для взрослого мужчины — попытаться взглянуть на девочку в пору, предшествующую достижению ею половой зрелости — скажем, когда ей десять или одиннадцать лет,— глазами мальчика того же возраста. Относительная слабость, привлекательные формы, привередливость — это еще в ней не проявилось, но магия уже присутствует: песня сирены, странное побуждение быть с ней добрым и одновременно завоевателем, неясное, но властное желание соединить свою жизнь и ее. Конечно, культурные соблазны, влекущие нас к противоположному полу, бомбардируют муж-

чину с самого детства, но они падают обычно на ужасно благодатную почву.

Женское тело, с его способностью зачинать и вынашивать плод, а потом вскармливать дитя, является локомотивом нашей жизни — паровым котлом и рельсами. Мужская же сексуальность, если вернуться к этому началу, утоляет жажду из вечного ключа бытия и вступает в мрачную область, где верх является низом, а смерть жизнью,— в область мифологии. Парадоксальная противоречивость отношения мужчины к женщине и к ее телу — все эти поползновения восхищаться и унижать, служить и порабощать, ранить и ублажать, поклоняться и осмеивать — восходит к некоему древнему первоисточнику, когда эмоции были еще неразличимы и энергия еще не имела четкой направленности. Половой акт, с мужской точки зрения, есть парадокс, трансформация его агрессивных устремлений в удовольствие,— тычок пониже живота, который с благодарностью приемлется. Садизм и мазохизм естественно вырастают из крайностей нашего, как выразилась Кэтрин Мэнсфилд, «глубокого и ужасающего... желания вступать в контакт».

И совершенно естественно, что современную женщину до глубины души возмущает любая попытка ее мифологизировать, когда ее воображают (поговорим теперь об истерике) то как мадонну, то как шлюху, то в виде Матери-Земли, то вампирши, беспомощной девочкой-малюткой и жестокой повелительницей — добавьте к этому еще и неспособность мужчины видеть секс просто таким, каков он есть. Что же это такое? Биологическая функция и процесс, надо полагать, аналогичный питанию и дефекации, и равным образом женщины, если их воспринимать реально,— это обладающие всеми правами человеческие существа и политические животные с собственным разумом. Правда, мужчины, насколько известно, в минуты отдохновения и сытости, да и то по небрежности, способны воспринимать женское тело всего лишь как тело, очень схожее с их собственным, предназначенное для перемещения в пространстве и воспроизведения рода, как прямоходящее временно устойчивое водянистое образование с чудодейственными цепными реакциями в молекулах, как комок противоборствующих сил гравитации и энтропии. Это истина прозрачная, но убогая: видеть в нагой женщине своего рода мужчину, только меньших размеров, с более хрупкой конституцией, без бороды, а во всем остальном сопоставимую с мужчиной в мельчайших деталях, с выпуклостями и мягкими припухлостями, с двумя немужскими образованиями на теле, упруго наполненными жировой тканью и мягко подрагивающими под действием гравитации... ворох пшеницы, обставленный лилиями... эти крутые изгибы, это занятное деликатное отсутствие... и момент прозрачной истины проходит.

Вымаливая прощение у женщин за мифологизацию их тела, за нашу неспособность реально воспринимать их, мы можем лишь воззвать к их собственной сексуальности, которая отличается, хотя, возможно, и несущественно, от нашей. И женщинам, кажется, тоже ведомы те лабиринты души, где малодушие попрошайки неотделимо от высокомерия собственника, и те же приступы детской неразборчивости, и та же всемогущая беспомощность, то же слияние с космическим материнским теплом, та же внезапно, импульсивно проявляющаяся склонность все преувеличивать, фантазировать, обманываться.

В Песни Песней Соломона мы слышим два голоса: есть там и женщина, восторгающаяся своим возлюбленным. Она заявляет: «Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других. Голова его — чистое золото, волосы его волнистые, черные, как ворон... Живот его — как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами» и т. д. Возможно ли, чтобы мужское тело — с его мускулистыми плечами, узкими бедрами, жилистыми руками и ногами, с его беззащитным бескостным животом над одноглазой приапической диковинкой — тоже могло бы воссиять как торжественная весть из бездны? Героиня последнего романа Маргарет Этвуд «Кошкин глаз» в одном из многих замечательных

пассажей, где описывается процесс взросления и одухотворения женщины, размышляет о мальчишках-подростках, с которыми она ведет беседы по телефону. «Самое важное — это их тела. Я сижу в коридоре, обнимая одной рукой телефонный аппарат, и слышу их тела. Я вслушиваюсь не столько в их слова, сколько в паузы, и в этих паузах их тела воссоздают себя заново, создаются мной, оформляются». Речь идет, замечает она, о переменах отчасти сексуального свойства, отчасти нет. Отчасти сугубо визуального: «Лица мальчиков сильно меняются, их черты смягчаются, они раскрываются, желают». Для мужчин и женщин в равной мере тела представителей противоположного пола являются вестью о том, что мы должны делать,— это сияющие символы наших собственных потребностей.

Перевод с английского О. АЛЯКРИНСКОГО

НАОМИ ВУЛФ

МИФ О КРАСОТЕ

Как представления о красоте используются против женщин

Главы из книги

Перевод с английского О. БАСИНСКОЙ

МИФ О КРАСОТЕ

Наконец после долгого молчания женщины вышли на улицы. За два десятилетия решительных действий, последовавших за возрождением феминизма в начале 1970-х, западные женщины добились юридических свобод и права контролировать рождаемость, получали высшее образование, вошли в ряды предпринимателей и приобрели различные профессии, перевернули старые, утвердившиеся понятия о своей социальной роли. Чувствуют ли женщины себя свободными поколение спустя?

Богатые, образованные, раскрепощенные женщины из развитых стран пользуются свободами, прежде не доступными ни одной женщине, однако не чувствуют себя достаточно свободными. Они больше не могут ограничиваться подсознательным ощущением, что свободы им недостает в сущих мелочах, которые на самом деле не стоят внимания. Многие стыдятся признать, что обыденные вещи — внешний вид, тело, лицо, волосы, одежда — значат так много. Но, несмотря на стыд, сознание вины и возражения, все больше женщин задается вопросом: может быть, дело вовсе не в том, что они одиноки и у них расстроены нервы, а в том, что на карту поставлено нечто более важное, связанное с взаимозависимостью между женской свободой и женской красотой?

Чем больше юридических и материальных преград преодолевают женщины, тем более тяжелым, суровым и жестоким бременем ложатся на нас представления о женской красоте. Многие из нас чувствуют, что женщины остановились в своем развитии; по сравнению с прошлым сейчас воцарилась удручающая атмосфера замешательства, разногласий, цинизма и, наконец, усталости. После многих лет тяжелой и неблагодарной борьбы женщины старшего поколения чувствуют себя перегоревшими, женщины помоложе, многие годы воспринимавшие свет их факела, как должное, не очень заботятся о том, чтобы зажечь в нем новый огонь.

За последнее десятилетие мы пробились в структуры власти; показательно, насколько в то же время увеличилось количество случаев нарушения питания, косметическая хирургия превратилась в самую быстроразвивающуюся отрасль медицины. За последние пять лет потребительские расходы удвоились, порнография потеснила нормальную кино- и видеопродукцию, а 33% американок сообщили исследователям, что главная цель их жизни — похудеть на 10—15 фунтов. Все больше женщин, чем когда-либо прежде, обладает деньгами, властью, возможностями и юридическими правами, но с точки зрения наших *физических* ощущений мы, может быть, действительно находимся в худшем положении, чем наши «несвободные» бабушки. Современные исследования показывают, что у большинства владеющих собой, привлекательных, преуспевающих работающих женщин Запада есть нечто, отравляющее свободу. Эта отрава — представления о красоте, темный источник ненависти к себе, навязчивых мыслей о своей внешности, страха перед старением.

Нет ничего случайного в том, что так много потенциально сильных женщин испытывают именно эти чувства. Против феминизма ведется целенаправленная борьба, когда представления о женской красоте используются как политическое средство, препятствующее развитию женщин. Главное оружие — «миф о красоте». Это современная версия социального феномена, известного еще со времен Промышленной революции. Когда женщины освободились от мифа о домашнем очаге, его место занял миф о красоте, набиравший силу по мере того, как первый терял свое влияние.

Современная атака на феминизм так

© 1991 by Naomi Wolf

яростна потому, что идеология красоты — последняя из старых идей, все еще способная контролировать тех женщин, которых в противном случае вторая волна феминизма сделала бы свободными. Она взяла на себя задачу социального принуждения, которую больше не в состоянии выполнять мифы о материнстве, о привязанности к семейному очагу, добродетельности и покорности. Сейчас она подспудно разрушает то хорошее, что открыто дал женщинам феминизм.

С помощью такого оружия пытаются уничтожить наследие феминизма на всех уровнях жизни современных западных женщин. Феминизм дал нам законы против половой дискриминации при приеме на работу; в Великобритании и Соединенных Штатах немедленно возникло прецедентное право, которое ввело дискриминацию женщин по внешности. Патриархальная религия пришла в упадок — ее сменил культ, созданный вокруг возраста и веса. Феминистки, вдохновленные Фриден [1], одержали победу в борьбе с рекламой товаров для домашнего хозяйства, которая пропагандировала мистику женственности; тогда под нажимом диетической и косметической индустрии худая юная манекенщица заменила счастливую домохозяйку в качестве критерия женственности. Сексуальная революция помогла открыть женскую сексуальность; «красивая порнография», впервые в женской истории искусственно связавшая товарную «красоту» прямо и недвусмысленно с эротикой, старается разрушить у женщин хрупкое сознание сексуальной самоценности. Право регулировать рождаемость дало женщинам на Западе контроль над собственными телами — зато вес манекенщиц стал на 23% ниже веса обычных женщин, показательно выросло количество случаев нарушения питания, поощряется массовый невроз, при котором пища и вес используются для того, чтобы лишить женщин этого контроля. Женщины настаивали на том, что здоровье — категория политическая; тогда стали быстро развивать новые способы проникающей, потенциально смертельной «косметической хирургии», вновь усиливая старые формы медицинского порабощения женщин.

Каждому поколению, начиная примерно с 1830 года, приходилось бороться со своим вариантом мифа о красоте. «Мне,— говорила суфражистка Люси Стоун в 1855 году,— мало иметь право голоса, владеть собственностью и т. д., если я не могу полностью распоряжаться своим телом». 80 лет спустя, когда женщины добились права голоса и первая волна организованного женского движения спала, Вирджиния Вулф писала о том, что пройдут еще десятилетия, прежде чем женщины смогут сказать правду о своих телах. В 1962 году Бетти Фриден процитировала молодую женщину, попавшую в ловушку Мистической Женственности: «В последнее время я смотрю в зеркало и боюсь, что стану похожей на свою мать». Через восемь лет, возвещая вторую крутую волну феминизма, Жермена Гриэр описала «стереотип»: «Ей принадлежит все прекрасное, даже само слово «красота»... она кукла... Я устала от этого маскарада». Несмотря на великие достижения второй волны, мы несвободны. Теперь мы можем взглянуть за разрушенные баррикады: революция, налетев на нас, изменила все на своем пути; с тех пор прошло достаточно времени, чтобы младенцы превратились в женщин, но конечная справедливость осуществлена все еще не полностью.

Миф о красоте излагает следующее: качество, именуемое «красотой», существует объективно и повсеместно. Женщины должны желать олицетворять его, а мужчины — желать обладать женщиной, его олицетворяющей. Это олицетворение является императивом для женщин, а не для мужчин, и такое положение необходимо и естественно, поскольку обусловлено биологией, сексуальностью и эволюцией: сильные мужчины сражаются за красивых женщин, а красивые женщины лучше осуществляют репродуктивную функцию. Красота женщин должна соответствовать их плодовитости, а поскольку эта система основана на половом отборе, она неизбежна и неизменна.

Все это неправда. «Красота» — это такая же валютная система, как золотой стандарт. Как любая система, она определяется политикой, и в нашем столетии на Западе это последний, самый совершенный способ сохранить в неприкосновенности мужское господство. Помещая женщин в искусственную систему ценностей, навязанную физическим стандартом, она отражает современную ситуацию, при которой женщины должны вступать в противоестественное соревнование за возможности, которые мужчины присвоили себе.

«Красота» вовсе не является понятие-

---

[1] Бетти Фриден — известный идеолог феминизма в 50—60-е годы, автор знаменитых книг «Мистика женственности» и «Это изменило мою жизнь». *(Прим. перев.)*

ем всеобщим и неизменным, хотя Запад и делает вид, что все каноны женской красоты происходят от платоновской Идеальной Женщины. Так, народу маори нравятся толстые наружные половые органы, а племени падунг — отвисшая грудь. Не является «красота» и функцией эволюции: ее идеалы меняются быстрее, чем происходит развитие видов. Сам Чарльз Дарвин не был удовлетворен собственным объяснением, что «красота» является продуктом «полового отбора», представляющего собой отклонение от принципа естественного отбора, потому что для женщин соперничество друг с другом через «красоту» противоречит принципу естественного отбора, действующего среди всех остальных млекопитающих. Антропология опровергает представление о том, что самки должны быть «красивыми», чтобы их выбирали самцы: Эвелин Рид, Элейн Морган и другие отвергли социобиологические утверждения о природной полигамности самцов и моногамности самок. Самки высших приматов являются инициаторами в половых отношениях: они не только сами ищут сближения и вступают в половые отношения со многими партнерами, но «каждая небеременная самка становится самой желанной в своем стаде. И этот цикл повторяется на протяжении всей ее жизни». Розовый цвет половых органов у приматов в состоянии возбуждения часто квалифицируется мужчинами-социобиологами как аналогия человеческого понятия женской «красоты», тогда как на самом деле это универсальное качество самок приматов, не имеющее отношения к иерархии.

И сам миф о красоте не всегда был таким. Хотя сочетание более старых богатых мужчин с молодыми «красивыми» женщинами считается чем-то неизбежным, в матриархальных культах, преобладавших в Средиземноморье в период приблизительно с 25000 до 700 гг. до нашей эры, ситуация была противоположной: «В каждой культуре у Богини было множество любовников... Вот образец: женщина постарше и прекрасный, легко заменяемый юноша — Иштар и Таммуз, Венера и Адонис, Кибела и Аттис, Исида и Осирис... их единственное предназначение — обслуживать божественную утробу». «Красоту» наводят не только женщины и оценивают не только мужчины: у нигерийского племени водабе экономическая власть принадлежит женщинам, племя одержимо мужской красотой; мужчины водабе часами занимаются сложной косметикой и соревнуются — вызывающе раскрашенные и одетые, соблазнительно виляя бедрами,— в конкурсах красоты, которые судят женщины. Не существует никакого законного исторического или биологического оправдания мифа о красоте; то, что он делает с женщинами сегодня, вызвано лишь необходимостью: современной структуре власти, экономике и культуре нужно вести контрнаступление против женщин.

Если миф о красоте основан не на эволюции, сексе, поле, эстетике или Боге, то на чем же? Он претендует на то, чтобы включать в себя интимность, секс, жизнь и воспевание женщин. На самом деле он соединяет в себе эмоциональное отчуждение, политику, финансы и сексуальное угнетение. Миф о красоте — миф вовсе не о женщинах. Он о мужских институтах и установленной ими власти.

Качества, которые в определенный период считаются в женщине «прекрасными»,— всего лишь символы женского поведения, которое в этот период является желательным: *миф о красоте на самом деле всегда предписывает поведение, а не внешность*. Соперничество между женщинами — часть мифа, призванная разобщить их. Молодость и (до недавнего времени) невинность считались в женщине «прекрасными», поскольку символизировали отсутствие опыта и сексуальное неведение. Старение женщины «некрасиво», поскольку женщины с возрастом становятся сильнее, и потому связи между поколениями женщин всегда должны разрушаться заново: более старые женщины боятся молодых, молодые боятся старых, и миф о красоте уродует им всю жизнь. А самое главное, чтобы наше самоощущение всецело зависело от «красоты», чтобы мы постоянно нуждались в признании извне, поскольку внешность наиболее уязвима и открыта всем взглядам.

Хотя миф о красоте, разумеется, существовал в каком-то виде с тех пор, как возник патриархат, его современная форма — изобретение сравнительно недавнее. Миф расцветает в тот период, когда опасно ослабевает материальная зависимость женщин. До Промышленной революции средняя женщина не могла испытывать по отношению к «красоте» такие же чувства, как современные женщины, которые ощущают на себе действие этого мифа в виде непрерывного сравнения с тиражируемым в массовом масштабе физическим идеалом. До эпохи развития технологий массового производства — дагерротипов, фотографий — обычная женщина редко сталкивалась с такими образами вне церкви. Поскольку семья

была производительной единицей и женский труд дополнял мужской, ценность женщин, не являвшихся аристократками или проститутками, заключалась в их трудовых навыках, практичности, физической силе и плодовитости. Внешняя привлекательность, конечно, имела значение, но «красота» в нашем понимании для обычных женщин не являлась серьезным атрибутом на брачном рынке. Миф о красоте в его современном виде получил распространение после скачка в развитии промышленности, когда семья как производственная единица была уничтожена, а урбанизация и нарождающаяся заводская система потребовали того, что инженеры-социологи назвали «отдельной сферой» домашнего хозяйства, которая вводила новую категорию «кормильца», уходившего днем из дома на работу. Средний класс расширился, поднялся уровень жизни и образованности, уменьшился размер семьи; появился новый класс образованных, неработающих женщин, от чьей принудительной привязанности к домашней жизни зависела развивающаяся система промышленного капитализма. Большая часть наших предположений о том, как женщины всегда воспринимали «красоту», исходит из периода не ранее 1830-х годов, когда впервые оформился культ домашнего очага и был изобретен стандарт красоты.

Впервые новые технологии смогли воспроизвести — в модных иллюстрациях, дагерротипах, ферротипах и печатных гравюрах — образцы того, как должна выглядеть женщина. В 1840-х были сделаны первые фотоснимки обнаженных проституток, в середине века появилась реклама, использовавшая образы «красивых» женщин. Копии классических произведений искусства, почтовые открытки с изображениями светских красавиц и королевских любовниц, фарфоровые статуэтки потоком хлынули в ту ограниченную сферу, где обретались женщины среднего класса.

Со времен Промышленной революции поведение женщин среднего класса на Западе управляется с помощью идеалов и стереотипов, имеющих не меньшее влияние, чем материальный аспект жизни. Эта уникальная ситуация дает возможность аналитически рассмотреть теорию «культурного заговора» против женщины. Развитие мифа о красоте было лишь одной из социальных легенд, которые выдавались за естественные составляющие круга женских интересов, дабы запереть нас в пределах этого круга. Одновременно возникли другие вымыслы такого рода: представление о детстве, которое якобы требует непрерывного материнского надзора; представление о женской биологии, которое заставляло женщин среднего класса изображать истеричек и невропаток; убеждение, что порядочные женщины фригидны; «типичные женские» виды работ — скучные, отнимающие массу времени кропотливые занятия вроде вышивки по канве и кружевоплетения. Подобные викторианские изобретения выполняли двойную функцию; хоть они поощрялись как способ направления женской энергии и ума в безобидное русло, женщины часто использовали их для выражения подлинной страсти и настоящего творчества.

Но несмотря на стимулируемые этими легендами творческие порывы женщин среднего класса в моде, вышивке, воспитании детей, а спустя столетие в роли хозяйки дома, главная цель была достигнута: в течение полутора веков беспримерной феминистской агитации эти стереотипы эффективно противодействовали опасности, порожденной тем, что образование женщин улучшалось, у них появились свободное время и относительная материальная независимость.

Социальные легенды о естественном предназначении женщин, поглощавшие ум и время, были разоблачены, однако приспособились к новой обстановке, чтобы всплыть в послевоенной Мистике Женственности, когда вторая волна феминизма камня на камне не оставила от того, что женскими журналами изображалось как «романтика» и «наука создания домашнего уюта и семейной жизни». Набивший оскомину вымысел о семейной «близости» потерял значение, и женщины среднего класса массами вышли из дверей своих домов.

Поэтому легенды просто в очередной раз преобразились: поскольку феминистское движение успешно расправилось с большинством выдумок о женственности, весь удар нужно было сконцентрировать на одном участке, что стократно усилило атаку. Она обрушилась на лица и тела освобожденных женщин, возродив все ограничения, запреты и наказания карающих законов, религиозных предписаний и репродуктивного порабощения, которые больше не имели достаточной силы сами по себе. Сизифов труд по ведению домашнего хозяйства заменился на сизифов труд по поддержанию красоты. В то время как экономика, право, религия, секс, образование и культура нехотя раскрывались, впуская женщин в свои владения, женским сознанием завладел миф о красоте. Используя

идеи «красоты», он создал альтернативный мир со своими законами, экономикой, религией, сексуальностью, образованием и культурой, и каждый из этих элементов был таким же репрессивным, как и те, что существовали до него.

Поскольку теперь, когда мы более независимы материально, средних западных женщин легче всего ослабить психологически, миф о красоте, всплывший в последнем поколении, должен был применить более изощренную технологию, чем прежде. Его современный арсенал — тиражирование нынешнего идеала миллионами; хотя этот образ, как правило, считается плодом коллективной сексуальной фантазии, на самом деле сексуального в нем очень мало. Он рожден страхом некоторых мужских институтов, которым угрожает женская свобода, и эксплуатирует женскую вину и смутные опасения по поводу нашего освобождения, тайный страх, что мы, возможно, заходим слишком далеко. Это коллективная реакционная иллюзия, воплощенная в жизнь волей мужчин и женщин, растерянных и ошеломленных быстротой, с которой изменились отношения полов — клочок твердой суши в бурном океане перемен. Массовые изображения современной женщины в виде «красавицы» содержат противоречие: в то время как (согласно мифу) западные женщины развиваются и совершенствуют свою индивидуальность, «красота» по определению остается инертной, неизменной и обезличенной. То, что такая иллюзия необходима и преднамеренна, очевидно, так как «красота» прямо противоречит реальному положению женщин.

Бессознательная иллюзия приобретает все больше влияния, распространяется из-за того, что становится сознательной рыночной манипуляцией: мощное производство — диетическая индустрия с оборотом тридцать три миллиарда долларов в год, косметическая промышленность (20 миллиардов), косметическая хирургия (300 миллионов) и индустрия порнографии (7 миллиардов долларов) — возникло из капитала, созданного бессознательными тревогами, и, в свою очередь влияя на массовую культуру, способно использовать, стимулировать и укреплять эту иллюзию в геометрической прогрессии.

Это не теория заговора, в таковой нет необходимости. Общество рассказывает себе сказки точно так же, как это делается в обычных семьях. Генрик Ибсен называл их «необходимой ложью», а психолог Дэниэл Гоулман пишет, что они действуют на социальном уровне так же, как и внутри семьи. «Тайный сговор поддерживается отвлечением внимания от страшного факта или изменением его значения до приемлемого вида». Цена такой социальной слепоты, пишет он,— разрушительные общественные иллюзии. Перед женщинами открылись такие возможности, которые угрожают подорвать мужскую культуру, и коллективная паническая реакция обоих полов потребовала контробразов.

Для женщин эта иллюзия слишком ощутима и реальна. Это не просто идея, она приобретает трехмерность, она становится Железной Девой. Настоящая «железная дева» была средневековым немецким орудием пытки — футляр в форме тела с нарисованными туловищем и чертами прекрасной улыбающейся молодой женщины. Несчастную жертву медленно закрывали внутри, крышка захлопывалась, лишая возможности двигаться, и человек погибал или от голода или, менее жестоким способом, от металлических шипов, вделанных внутри. Современная иллюзия, в которую, как в ловушку, женщины попадаются или заключают себя добровольно, так же неподвижна и жестока и так же разукрашена для приличия. Современная культура привлекает внимание к внешнему виду Железной Девы, в то же время подвергая цензуре тела и лица настоящих женщин.

Почему общественный строй чувствует потребность защищаться, игнорируя факт существования реальных женщин, наших лиц, голосов и тел, и сводя значение женщин к бесконечно воспроизводимым «прекрасным» шаблонам? Бессознательные личные тревоги могут быть могучей силой в создании «необходимой лжи», а экономический императив практически дает полную гарантию. Экономика, основанная на рабском труде, нуждается в создании таких образов рабов, которые «оправдывают» институт рабства. Западные экономики сейчас полностью зависят от постоянной низкой оплаты женского труда. Идеология, заставляющая женщин чувствовать себя «менее ценными», была крайне необходима, чтобы противодействовать феминизму, который давал нам почувствовать, что нас недооценивают. Для этого не нужен заговор, нужна просто соответствующая атмосфера. Современная экономика опирается на положение женщины в пределах мифа о красоте. Экономист Джон Кеннет Гэлбрейт предлагает объяснение «живучести взгляда на ведение домашнего хозяйства как на «высшее предназначение»:

представление о женщинах как о существах, по природе своей заключенных внутри Мистики Женственности, считает он, «внушается нам популярной социологией, прессой и художественной литературой, чтобы скрыть тот факт, что женщина в роли потребителя играет существенную роль в развитии нашего индустриального общества... Поведение, которое обусловлено экономическими причинами, превращается в социальную добродетель». Когда общественную ценность женщины стало невозможно измерять достижением идеала добродетельной хозяйки, миф о красоте ввел понятие идеала «добродетельной красоты», чтобы создать новый потребительский императив и найти новые оправдания ущемлению прав женщины на производстве — взамен разоблаченных старых.

В дополнение к Железной Деве возникает еще одна иллюзия: снова воскрешается карикатура Уродливой Феминистки, призванная скомпрометировать женское движение. Карикатура неоригинальна, она была придумана, чтобы высмеять феминисток, в XIX веке. Знаменитая Люси Стоун, которую сторонники считали «прототипом женской грации... свежей и чистой, как утро», была осмеяна злопыхателями в манере, в какой писали о викторианских феминистках: «крупная мужеподобная особа, в башмаках, курит сигару, ругается, как солдат». Бетти Фриден провидчески говорила в 1960 году, еще до возрождения этой старой карикатуры: «Отталкивающий образ феминистки, тиражируемый сегодня, заставляет вспомнить тех, кто так сильно противился введению права голоса для женщин в штате за штатом». Тридцать лет спустя ее вывод верен как никогда: эта карикатура, возрожденная, чтобы наказать женщин за общественную деятельность, унизить их личное достоинство, стала образцом для новых ограничений, повсеместно налагаемых на честолюбивых женщин. После успехов второй волны феминистского движения миф о красоте был усовершенствован, чтобы парализовать женщину на всех уровнях жизни. Неврозы, связанные с состоянием женского тела, приняли характер эпидемии. Миф разрушает — медленно, незаметно, оставляя нас в неведении об истинных масштабах разрушения,— то, чего женщины добились в долгой, тяжелой и честной борьбе.

Сегодняшний миф о красоте более коварен, чем какая-нибудь Мистика Женственности столетие назад. Нора захлопнула дверь кукольного дома; поколение назад женщины отвернулись от потребительского рая в виде собственного дома, набитого множеством приспособлений для хозяйства; но в той ловушке, куда угодили женщины сегодня, нет двери, которой можно хлопнуть. Современное разрушительное действие ответного удара «красоты» уничтожает женщин физически и опустошает психологически. Если мы хотим освободиться от бремени, в которое снова превращена женственность, в первую очередь нам будут нужны не голосование, не лобби и не плакаты, а новый взгляд на жизнь.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ МИФА О КРАСОТЕ

Можем ли мы создать другое будущее, когда машина, в которую нас хотят превратить, умрет, а мы будем жить?

Миф о красоте противостоит новым правам женщин, перенося социальные ограничения женской жизни прямо на наши лица и тела. В ответ мы должны сейчас задать вопрос, кто есть мы в своих собственных телах, как поколение назад женщины спрашивали о своем месте в обществе.

Что есть женщина? Является ли она тем, что из нее делают? Имеют ли ценность женская жизнь и женский опыт? Если да, то должны ли мы стыдиться их показывать? Почему надо *непременно* выглядеть молодой?

Мысль о том, что у женского тела есть свои пределы возможностей, за которые нельзя переходить, явно нова. Мы, очевидно, недостаточно прониклись ею. Можем ли мы развить эту мысль? Или все же женщины — пластичный пол, от природы приспособленный к тому, чтобы его формировали, шлифовали и подвергали физическому вмешательству? Заслуживает ли тело женщины такого же отношения к своей цельности, как тело мужчины? Есть ли разница между модой в одежде и модой на женское тело? Если допустить, что когда-нибудь внешность женщины можно будет переделывать дешево, безболезненно и без всякого риска, должны ли мы этого желать? Должна ли исчезнуть выразительность зрелости и старости? Неужели, если это произойдет, мы ничего не потеряем?

Принимается ли в расчет личность женщины? Нужно ли заставлять нас хотеть стать похожими на кого-то другого? Есть ли что-то безусловно непристойное в строении женского тела? Предположение о неполноценности женского тела теперь заменяет прежнюю идею о неполноценности женского ума. Женщины доказали, что их ум ничем не хуже; так чем же хуже наши тела?

В самом ли деле «красота» означает секс? Соответствует ли сексуальность женщины тому, как она выглядит? Имеет ли она право на сексуальное наслаждение и самоуважение, потому что она — личность, или она должна заработать это право с помощью «красоты», как раньше добивалась этого с помощью брака? Что такое женская сексуальность — на что она похожа? Имеет ли она какое-нибудь отношение к тому, как ее изображает торговая реклама? Должны ли женщины покупать ее, как товар? Что на самом деле притягивает друг к другу мужчин и женщин?

Красивы женщины или нет? Конечно, мы красивы. Но мы не поверим в это по-настоящему, пока не откажемся от мифа о красоте.

Значит ли все это, что мы не можем красить губы, не ощущая при этом вины? Ничего подобного. Мы должны отделить от мифа все то, что он захватил и держит в заложниках: женскую сексуальность, связь между поколениями женщин, визуальное и чувственное наслаждение тканями, формой, цветом,— женский источник радости, одновременно чистый и грязный. Мы можем разрушить миф, это не только не повредит сексу, любви, привлекательности, вкусу, но и даст им раскрыться полнее, чем прежде. Я критикую не то, что позволяет женщине чувствовать себя хорошо, а в первую очередь то, что заставляет нас чувствовать себя плохо. Всем нам нравится быть желанными и красивыми.

Однако в течение почти 160 лет образованными женщинами среднего класса на Западе манипулировали при помощи различных представлений о женском совершенстве. Этот старый успешный прием забирал все лучшее из женской культуры и вносил самые жесткие требования общества, где властвуют мужчины. Такими ограничениями обставлялся женский оргазм в 1920-х, дом, семья и дети в 1950-х, культура красоты в 1980-х. Из-за этой тактики мы, в каждом поколении, попусту тратим время, обсуждая симптомы более пылко, чем саму болезнь.

Эту модель *создания идеалов в корыстных целях* — как убедительно показано в работах Барбары Эренрайх и Дирдры Инглиш — мы видим на протяжении всей нашей истории. Мы должны соотнести ее с современным мифом о красоте, чтобы разобраться в проблеме раз и навсегда. Если этого не сделать, то, как только мы уничтожим миф о красоте, на его месте возникнет новая идеология. Миф о красоте, в конечном счете, говорит о внешности, или соблюдении диеты, или о хирургических операциях, или о косметике не больше, чем Мистика Женственности — о домашнем труде. Никого из тех, кто прикладывал руку к созданию мифа о женщинах в каждом поколении, в действительности вовсе не заботили эти проблемы.

Творцы Мистики Женственности не верили в то, что пол, натертый до блеска, воплощает основные женские добродетели. На моей памяти, когда в качестве последнего способа сдержать натиск женского движения была неуклюже воскрешена идея о психических отклонениях у женщин в период менструации, никто всерьез не верил в то, что *сама по себе* менструация влияет на дееспособность женщины. Точно так же для мифа о красоте совершенно неважно, сколько весит женщина, не имеет значения густота ее волос или гладкость кожи. Мы интуитивно чувствуем: если все мы завтра вдруг придем домой и скажем, что обойдемся без работы, без независимости, без оргазмов и денег,— миф сразу же ослабит свою хватку и станет более щадящим.

Осознание этого позволяет легче различить за симптомами болезни реальные проблемы и проанализировать их. Раз с точки зрения мифа на самом деле неважно, как выглядят женщины — лишь бы они считали себя некрасивыми, мы должны понять, что абсолютно все равно, как выглядят женщины, если они считают себя прекрасными.

Настоящая проблема не имеет ничего общего с тем, употребляют женщины косметику или нет, толстеют или худеют, прибегают к хирургическому вмешательству или избегают его, наряжаются или нет, превращают свою одежду, лицо и тело в произведение искусства или вообще пренебрегают украшениями. *Настоящая проблема состоит в отсутствии у нас выбора.*

Во времена господства Мистики Женственности все женщины среднего класса, независимо от их личных склонностей, были обречены на принудительную привязанность к дому. Сейчас, когда положение довольно сильно изменилось, те, кто расположен к аккуратному ведению домашнего хозяйства, этим и занимаются, а у тех, кого это абсолютно не интересует, есть (относительно) большой выбор. Мы стали более раскованными, и мир не рухнул. После того как мы разоблачим миф о красоте, так же будет обстоять дело и с нашим отношением к культуре красоты — ведь это так разумно, хотя и кажется пока недостижимым.

Проблема с косметикой существует лишь тогда, когда женщина без нее чувствует себя неполноценной или незаметной. Проблема, как похудеть, существует, только если женщина ненавидит себя за то, что не делает этого. Когда женщину принуждают украшать себя для того, чтобы на нее обратили внимание, когда ей приходится следить за собой, чтобы защитить свою личность, когда она голодает, чтобы не потерять работу, когда она должна завлекать любовника, чтобы иметь возможность вырастить детей,— тогда и проявляется яд «красоты». И дело не в самих украшениях, не в сексуальности и не во времени, потраченном на прихорашивание, и не в желании привлечь любовника. Многие млекопитающие ухаживают за собой, в каждой культуре есть свои способы украшения. Главное — борьба между болью и наслаждением, между принуждением и свободой.

Изменение одежды и внешности станет забавой и удовольствием, когда в женщине будет признаваться серьезная личность. Когда сексуальность будет находиться под нашим контролем, одежда, подчеркивающая ее, станет явлением случайным. Когда женская сексуальность будет полностью признана законной, естественной, когда страсть будет без стыда направляться на избранный предмет наших желаний, сексуально выразительная одежда или принимаемая нами манера поведения больше не смогут служить для того, чтобы стыдить нас, упрекать или делать мишенью для нападок.

Миф о красоте предлагает женщинам ложный выбор: какой быть, сексуальной или серьезной? Мы должны отвергнуть эту фальшивую и неестественную дилемму. Считается, что сексуальность мужчин ничуть не умаляет их серьезности: быть одновременно серьезной личностью и сексуальным человеком — значит, быть человеком в полном смысле. Давайте повернемся против тех, кто предлагает нам этот дьявольский выбор, и откажемся верить в то, что, выбирая одну сторону нашего «я», мы должны таким образом лишиться другой. В мире, где у женщины есть возможность настоящего выбора, то, что мы делаем с нашей внешностью, в конце концов будет оцениваться так, как нужно: не бог весть какая проблема.

Женщина сможет беззаботно украшать себя любыми безделушками, когда нас самих перестанут считать безделушками. Женщины освободятся от мифа о красоте, когда мы сможем использовать наши лица, одежду и тела просто как одну из форм самовыражения. Мы можем наряжаться для удовольствия, но должны громко заявлять о своих правах.

Многие писатели пытались начисто исключить фантазию, наслаждение и «очарование» из женской Утопии. Но «очарование» — это всего лишь демонстрация способности человека быть очарованным и само по себе не является вредным. Оно нужно нам, но в новом определении. Мы не можем уничтожить злую религию с помощью атеизма или искоренить плохую поэзию, вообще отказавшись от стихотворчества. С наслаждением болезненным можно бороться только наслаждением здоровым.

Но не будем наивны. Мы пытаемся придать красоте новое значение в обществе, которое не хочет нам позволить покончить со старым. Выглядеть так, как мы хотим, и быть услышанными, как мы этого заслуживаем,— для этого нам потребуется, по меньшей мере, третья волна феминизма.

РЕЧЬ

Трудность обсуждения мифа о красоте заключается в том, что он пользуется изощренным приемом: по существу, любую женщину, пытающуюся поднять эти вопросы, он наказывает, подвергая критике ее внешность. Поразительно, как это косвенное наказание действует в типичной ситуации с «двойным захватом»: как бы ни выглядела женщина на самом деле, ее внешность будет использована для того, чтобы дискредитировать ее слова и свести к личным проблемам те наблюдения, которые она делает о влиянии на общество мифа о красоте.

К несчастью, средства информации обычно так описывают внешность женщин, что это опошляет либо подрывает доверие к их выступлениям, а женщинам, читающим прессу или сидящим перед телевизором, мешает солидаризироваться с ними. В этом и состоит основная антифеминистская цель мифа. Если мы внутренне не согласны с женщинами, выступающими по телевизору или в печати, или просто не слушаем и не читаем их из-за того, что наше внимание было отвлечено на их фигуры или манеру краситься, прическу или одежду, значит, миф о красоте действует в полную силу.

Для женщины решиться выступить публично — значит, подвергнуть свою внешность придирчивому экзамену, который, как мы видим, заведомо не сможет выдержать ни одна женщина. Если женщина говорит про миф (как,

впрочем, и про женские проблемы в целом), это значит, что *она не может выглядеть правильно,* у нее нет такой возможности. В эти минуты ни один ее жест не проходит незамеченным. Ее считают или слишком «уродливой» или слишком «хорошенькой» — как такой поверить? Этот прием прекрасно действует в политическом плане: сегодня, когда женщины называют причины, по которым они больше не участвуют в женских группах и движениях, то часто ссылаются на разницу не в программах или взглядах, а в эстетике и личном вкусе. Если мы будем всегда держать в уме антифеминистское происхождение и реакционные цели такого перекоса внимания, мы сможем помешать ему. Для нас отвергнуть навязчивое утверждение, что внешность женщины говорит сама за себя, суметь выслушать друг друга за пределами мифа о красоте — само по себе является политическим шагом вперед.

ВИНА

Вина — это то, что питает легенду о красоте; чтобы уничтожить ее, давайте навсегда перестанем обвинять себя и других женщин в том, что пытается сделать сей могучий миф. Самая важная перемена, к которой следует стремиться, такова: когда в будущем кто-нибудь попытается использовать миф против нас, мы больше не станем смотреть в зеркало, чтобы выяснить, в чем мы ошиблись. Женщины смогут противостоять дискриминации по внешности на работе, только когда мы научимся отвергать обычное выражение недовольства («Почему вы носите такой облегающий свитер?» «Почему вы не займетесь своей внешностью?»). Мы не сможем говорить о действии мифа в полный голос, пока не убедимся, что это выдумка; когда женщину называют слишком некрасивой или слишком хорошенькой, чтобы заниматься тем, чем она хочет, дело вовсе не в ее внешности. Женщины наберутся смелости публично говорить о мифе, если запомнят, что публичные нападки на внешность или льстивые отзывы о ней никогда не следует принимать всерьез; они безличны, они — политика.

Попытки заставить нас молчать, несомненно, будут идти по нарастающей. «Вам легко говорить». «Для феминистки вы слишком симпатичны». «Неудивительно, что она феминистка — только посмотрите на нее». «Так одеваться — чего же она еще хочет?» «Вот к чему приводит тщеславие». «Почему вы думаете, что они восхищались вами?» «Не льстите себе». «Сейчас женщине непростительно выглядеть на свой возраст». «Что, зелен виноград?» «Смазливая дуреха». «Безмозглая». Зная цену таким отзывам, возможно, легче устоять под градом неизбежных похвал, или оскорблений, или и тех и других и суметь высказаться.

Это будет нелегко. Разговор о мифе задевает у большинства из нас некую крайне чувствительную струну. Поэтому нам потребуется проявить сострадание к себе и другим женщинам и быть с этими чувствами крайне осторожными. Если миф о красоте — религия, это потому, что нам все еще не хватает ритуалов с нашим участием; если это экономическая система, то из-за того, что наш труд оплачивается несправедливо; если это сексуальность, то потому, что женская сексуальность все еще остается белым пятном; если это борьба, то из-за того, что нам отказывают в возможности чувствовать себя героинями, смельчаками, стоиками и бунтарками; если это женская культура, то потому, что культура мужская все еще отвергает нас. Когда мы поймем, что миф захватывает все лучшее, что есть в женском сознании, мы сможем отвернуться от «красоты» и внимательней взглянуть на все то, что он пытался подменить.

ТРЕТЬЯ ВОЛНА ФЕМИНИЗМА

Таково наше положение. Что же можно сделать? Мы должны разрушить принцип «профнепригодности по внешним данным», поддерживать женские профессиональные объединения, сделать требования к внешности, дискриминацию по возрасту, вредные условия труда (например, принудительная косметическая операция) предметом трудовых переговоров; женщины на телевидении и в других сферах, где их подвергают дискриминации, должны подавать судебные иски один за другим; мы должны настаивать на равноправии в одежде; нужно набраться духу и говорить об этом.

Часто говорят, что нам нужно добиваться, чтобы к нашим голосам прислушивались при создании моды и рекламы, но это опасно-оптимистическое заблуждение насчет механизма действия рынка. Реклама, рассчитанная на женщин, принижает наше чувство собственного достоинства; если она станет льстить ему, то окажется неэффективной. Давайте оставим надежду на то, что нас будут учитывать, определяя «индекс красоты». Если бы это произошло, он потерял бы свой смысл. Пока определение «красоты» исходит не от женщин, нами будут манипулировать с его помощью.

Мы требовали свободы стареть и оставаться сексуальными, но это вылилось в клише «стареть, оставаясь молодой». Мы начали носить удобную одежду, но неудобство поселилось в наших телах. «Естественная» красота 70-х сама стала иконой, «здоровая» красота 1980-х вызвала эпидемию новых болезней, а лозунг «сила есть красота» сделал женщин рабынями своих мускулов. Этот процесс будет продолжаться с каждой попыткой женщин переделать индекс «красоты» до тех пор, пока мы совершенно не изменим свое отношение к нему. Рынок не способствует подъему сознания. Бесполезно тратить силы, нападая на рыночные модели сами по себе: они не могли развиваться иначе, учитывая недавнюю историю.

Раз мы не можем повлиять непосредственно на идеалы, мы можем лишить их силы. Мы можем отвернуться от них, посмотреть друг на друга и найти в женской субкультуре альтернативные образы красоты; отыскать пьесы, музыку, фильмы, которые показывают женщин объемно, найти биографии выдающихся женщин, которые были в каждом поколении, но о которых забыли, заполнить бреши, пробитые «красотой». Мы можем подняться сами и вытащить других женщин из мифа, но только если мы страстно захотим искать альтернативные варианты.

Поскольку мы не можем представить себе, как будем жить вне мифа, нам нужна культурная поддержка. На протяжении почти всей нашей истории представления о женщинах, нашей сексуальности и нашей подлинной красоте находились в чужих руках. После огромного двадцатилетнего рывка, когда женщины попытались определить эти понятия для себя, рынок, более влиятельный, чем отдельный художник, присвоил себе право определять наши желания. Позволим ли мы женоненавистническим символам сделать нашу сексуальность своей привилегией? Мы должны сотворить из нашего желания культуру, создавать убедительные, обольстительные и подлинные картины, романы, пьесы и фильмы, чтобы разрушить и победить Железную Деву. Давайте расширять нашу культуру, чтобы отделить секс от Железной Девы.

В то же время нам нужно помнить, как строго проверяют нашу массовую культуру поставщики рекламы «красоты»: пока они распоряжаются лучшим временем на телевидении и основной прессой, рассчитанной на женщин, миф о красоте будет задавать тон рассказу о том, как чувствуют себя женщины в массовой культуре. Понятно и без подсказки, что истории, где в центре внимания находится «необработанная женщина», будут появляться редко. Если бы нам показывали шестидесятилетнюю женщину, которая выглядит на свои 60 лет, миф о красоте дал бы глубокую трещину. В то же время надо понять, что в эфире миф господствует *только* потому, что время покупается теми, кто существует благодаря ему.

Наконец, мы должны всегда быть настороже, зная, какие формы принимает Железная Дева, как она может повлиять на наше восприятие. Когда мы понимаем это, они быстро становятся такими, какими являются на самом деле,— двухмерными. Они буквально уплощаются. Именно тогда, когда эти образы нам наскучат, они станут *приспосабливаться* к резким переменам в настроении женщин; рекламодатель не сможет рассчитывать на успех, если нет аудитории. Чтобы снова привлечь женщин, создатели культуры будут вынуждены представлять женские образы объемно. Продемонстрировав, как им надоела Железная Дева, женщины могут вызвать появление массовой культуры, которая в самом деле считала бы нас за людей.

В авангарде процесса изменения культурной атмосферы находятся женщины, занятые в основных средствах информации. Я слышала, как многие из них выражали недовольство теми ограничениями, которыми окружена трактовка мифа о красоте; многие говорят, что оказывались в изоляции, пытаясь снять эти ограничения. Возможно, возобновившиеся споры о мифе и серьезность их последствий постепенно помогут создать новые объединения в поддержку женщин, работающих в печати, на телевидении и в радиожурналистике,— тех, кто готов сражаться, начиная с нуля.

Стоит нам организовать контркультуру осмысленных образов красоты, и Железная Дева сразу приобретет непривлекательный и жестокий облик; многое начнет видеться по-новому.

«Розмари Фелл не была в полном смысле красавицей. Нет, вы бы не смогли назвать ее красивой. Хорошенькая? Пожалуй, если разобрать ее по частям... Но зачем же быть настолько жестокими и разбирать человека по частям?» (Кэтрин Мэнсфилд); «Лили ее красота казалась бессмысленной, поскольку не прибавляла ей ни страсти, ни свободы, ни близости, ни интимности...» (Джейн Смайли); «Она была поразительно красива... У красоты есть свои минусы — она слишком исчерпывающа, слишком совершенна. Она ско-

вывает жизнь — замораживает ее. Забываются мелкие волнения, внезапный румянец, бледность, неправильности, игра света и тени, на миг меняющие лицо до неузнаваемости, но привносящие нечто такое, что запоминается навсегда. Все это очень легко исчезает под покровом красоты...» (Вирджиния Вулф); «Если в лице что-нибудь есть, оно с возрастом становится лучше. Морщины обозначают индивидуальность и характер, они показывают, что человек жил, что он кое-что знает о жизни» (Карен де Кроу); «Хотя ей сейчас было за пятьдесят... нетрудно было поверить всем слухам о тех страстных чувствах, которые она некогда вызывала. От людей, которых много любили, и в старости исходит какой-то не поддающийся определению, но сразу заметный свет. Даже камень, весь день пролежавший на солнце, будет сохранять тепло после наступления ночи... это теплое сияние» (Этил Смит).

Культ красоты свидетельствует о нашей духовной потребности в ритуалах и обрядах, посвященных жизненным циклам. Нам нужно придумывать и внедрять обряды, которые заполнят этот пробел. Можем ли мы вводить в кругу друзей ритуалы и праздники в честь разных периодов жизни женщины? Пока мы отмечаем лишь день рождения и свадьбы, а как насчет обряда очищения, конфирмации, выздоровления после болезни и новых обрядов по случаю рождения ребенка, наступления первой менструации, потери девственности, окончания учебного заведения, поступления на первую работу, брака, возвращения к жизни после развода или большого горя, получения степени, наступления менопаузы? Какие бы формы эти праздники ни принимали, нам нужны новые торжества, символизирующие разные этапы женской жизни.

Чтобы защитить от мифа нашу сексуальность, мы должны поверить в то, как важно лелеять ее, заботиться о ней и воспитывать ее, словно ребенка или животное. Сексуальность не является чем-то неизменным, данным раз и навсегда, она, как живое существо, меняется в зависимости от того, что ее питает. Мы можем держаться подальше от образцов сексуального насилия или эксплуатации, а если все же столкнемся с ними, постараемся воспринимать их именно таким образом. Мы можем стремиться к таким мечтам и образам, в которых сексуальность свободна от насилия и эксплуатации, попытаться осознать то, что составляет мир нашего воображения, так же как сейчас мы сознаем, из чего состоят наши тела.

Наверное, сегодня трудно мысленно представить себе равенство полов в эротике. Критики сексуальности склонны ограничиваться предположением, что она не может развиваться. Но большинство женщин заражается мечтами о насилии или превращении в красивую куклу под воздействием чужих клише. Я считаю, что все это легко изменить, сознательно изменив условия — установив четкую связь между наслаждением и взаимностью. Наши представления о сексуальной красоте могут меняться больше, чем мы себе воображаем.

Нам нужно сблизиться с наготой, особенно поколениям, зараженным порнографией и отсутствием аппетита. Многие женщины описывали то чувство очищения, которое приходит даже после одного-единственного опыта переживания коллективной женской наготы. Над этим легко издеваться, но самый быстрый способ снять покров тайны с наготы Железной Девы — организовать экскурсии, фестивали, походы, во время которых в моменты отдыха — в турецких банях или на пляже — все раздевались бы догола. Мужчины, от студенческих корпораций до спортивных клубов, понимают ценность таких минут, возникающего при этом чувства сплоченности и уважения к своему полу. Простое открытие, как красиво наше бесконечное разнообразие, стоит больше, чем слова; одного такого опыта достаточно, особенно для юной девушки, чтобы понять лживость Железной Девы.

Когда сталкиваешься с мифом вплотную, нужно задавать вопросы не о лицах и телах женщин, а о том, кто владеет ситуацией. Кто этому служит? Кто говорит? Кто получает выгоду? Каков подтекст? Когда кто-нибудь в присутствии женщины обсуждает ее внешность, она может задать себе вопрос: что за дело до нее этому человеку? Равны ли их возможности? Сможет ли она спокойно высказать в ответ такие же замечания?

Чаще всего внимание женщины к ее внешности привлекают по причинам политическим, а не из истинного интереса и внимания. Мы можем научиться лучше замечать эту разницу — это уже само по себе освободит нас. Не нужно проклинать вожделение, соблазн или физическую привлекательность — качества гораздо более демократичные и субъективные, чем изображает нам рынок,— нам нужно лишь отвергнуть политические манипуляции.

Ирония заключается в том, что только возросшая женская солидарность

может дать то, что обещает «красота»: миф о красоте можно победить, только возродив политическую активность 70-х, сконцентрированную вокруг женщины; создав третью волну феминизма, соответствующую современным требованиям и охватывающую новые вопросы 90-х годов. В это десятилетие некоторые враги стали тише и умнее, их труднее распознавать, особенно молодым женщинам. Чтобы привлечь молодых, нам нужно поставить чувство собственного достоинства в разряд политических вопросов, отнести его наряду с деньгами, работой, заботой о детях, безопасностью к списку самых насущных потребностей женщин, а ведь оно *умышленно* держится на голодном пайке.

Я не претендую на то, чтобы определять цели, я лишь знаю, что круг проблем изменился. Я пришла к убеждению, что тысячи молодых женщин готовы и хотят присоединиться к третьей волне феминизма, которая наряду с классическими вопросами учитывала бы и новые проблемы, порожденные духом времени и реакцией на наше движение. Третьей волне придется столкнуться с трудностями. Молодые женщины говорят, что их одолевает страх, они чувствуют себя изолированными (а противник озлоблен и сплочен), и это различие составляет суть контрудара по феминизму: лучший способ остановить революцию — сделать так, чтобы людям было что терять. Требуется выявить политический контекст нарушений в питании, напряженного отношения молодых женщин к «красоте», влияния этого отношения на их сексуальность: раз вы не можете есть, значит, у вас нет прав на собственное тело. Придется проанализировать антифеминистскую пропаганду, которая досталась в наследство молодым женщинам, и вооружить их аргументами вроде вышеприведенного, чтобы они могли справиться с ней. Сохраняя наследие феминизма в неприкосновенности, третья волна должна была бы, как и все предшествующие, осуществляться равными по возрасту: каким бы мудрым ни был совет матери, мы слушаем не ее, а своих ровесников. Третья волна должна была бы сочетать радость, буйство и празднество с упорным трудом и тяжелой борьбой, и начать можно с того, чтоб отвергнуть вредную выдумку, калечащую молодых женщин, выдумку, именуемую постфеминизмом,— благочестивую надежду на то, что все битвы уже выиграны. Это ужасное слово «постфеминизм» побуждает молодых женщин, сталкиваясь со старыми проблемами, снова винить самих себя: ведь все улажено, верно? Оно лишает их теоретического оружия и заставляет опять чувствовать себя одинокими. Мы никогда не произносили самодовольно: постдемократическая эпоха. Демократия, как нам известно, вещь живая и уязвимая, ее должно обновлять каждое поколение. Это верно и для той стороны демократии, которую представляет феминизм. Итак, давайте не будем останавливаться на достигнутом.

Женщины научились желать «красоты» в ее современной форме, потому что в это же самое время мы узнавали, что феминисткам предстоит гораздо более трудная борьба, чем мы предполагали. Идеология «красоты» — сладкая микстура — обещала возмущенным женщинам, что уже в ближайшем будущем мы сможем обрести уверенность и без страха предъявлять наши требования, нас будут ценить, уважать, выслушивать. (На самом деле, сомнительно, что женщины действительно хотят «быть красивыми»; они могут желать «красоты» и жаждать совершенства, чтобы забыть обо всех проклятых проблемах. Будь у женщин выбор, в глубине души большинство, возможно, пожелали бы иметь свое собственное сексуальное и бесстрашное «я», чем обладать красотой такой же, как у «других».)

Рекламный облик красавицы предлагает такой вид свободы и храбрости: «Пляжный костюм для красивых и смелых», «Свежий бесстрашный вид», «Бесстрашие для робких», «Думайте решительно», «Борцы за Свободу — для женщины, которая не боится высказываться и выделяться». Но такая смелость и уверенность не станут реальностью, пока не будут подкреплены вещественными достижениями, а они появятся только тогда, когда мы увидим в других женщинах союзниц, а не соперниц.

80-е годы пытались откупиться от нас обещаниями решить наши проблемы в индивидуальном порядке. Мы достигли предела того, что под силу одиночке в рамках мифа о красоте, и этого недостаточно: мы всегда будем занимать 2% постов в высших эшелонах власти, 5% профессорских должностей и 5% кресел в правлениях фирм, если не сплотимся для следующего большого рывка вперед. Более гладкие скулы и более упругая грудь, разумеется, не прибавят нам подлинной уверенности и не расширят кругозора; это достижимо лишь через возвращение к основам политического развития женщин — программам заботы о детях,

эффективным законам против дискриминации, отпускам по уходу за детьми, сознательному планированию деторождения, справедливой оплате труда и настоящим наказаниям за сексуальное насилие. Мы не добьемся этого, пока не отождествим свои интересы с интересами других женщин, пока наша природная солидарность не преодолеет организационные преграды, воздвигнутые конкуренцией и соперничеством, которые искусственно возбуждает в нас контратака «красоты».

Ужасная правда заключается в том, что, хотя миф поддерживается рынком, он был бы бессилен, если бы женщины не использовали его друг против друга. Для того чтобы вырваться из мифа, женщинам нужна поддержка других женщин. Самая трудная, но и самая необходимая перемена произойдет не с мужчинами и не в средствах массовой информации. Она зависит от того, как мы будем смотреть на других женщин и вести себя с ними.

СОТРУДНИЧЕСТВО ПОКОЛЕНИЙ

Связь между поколениями женщин нужно восстановить, если мы хотим спасти друг друга от мифа о красоте, а женское развитие — от его прежней исторической судьбы: повторяющегося изобретения велосипеда. Джил Хадсон, редактор журнала «Кампани», показывает, до какой степени подействовал миф на юное поколение: молодые женщины, говорит она, «совершенно не хотят прослыть феминистками», потому что «феминизм не считается сексуальным». Было бы глупо и грустно, если бы в ближайшем будущем женщинам пришлось снова вступать в старые сражения только из-за разобщенности поколений. Было бы трагично, если бы молодым женщинам пришлось начинать все сначала из-за того, что мы поддадимся надоевшей пропаганде, длящейся двадцать лет, которая изображает женское движение как «несексуальное», пропаганде, направленной на то, чтобы помочь молодым женщинам забыть, чья борьба в первую очередь вернула сексу сексуальность.

Так как общество не будет поощрять молодых женщин устанавливать эти связи, мы избавимся от мифа, лишь активно разрабатывая новые идеалы, более разумные, чем красотки с глянцевых обложек. Нам крайне необходим контакт между поколениями: нужно видеть лица женщин, которые сделали возможной нашу сегодняшнюю свободу; пусть они услышат нашу благодарность. Молодые женщины лишены «материнской» опеки — их не защищают, не направляют, а ведь они нуждаются в наставницах и образцах для подражания. Труд и опыт старших поколений не пропадают зря, когда их передают ученицам, студенткам, подопечным. И все же обоим поколениям придется противостоять идущим извне импульсам, которые препятствуют сотрудничеству. В молодости нас приучают избегать отождествления со старыми женщинами; когда мы становимся старше — сурово оценивать молодых женщин, относиться к ним с нетерпимостью и презрением. Миф о красоте искусственно приспособлен к тому, чтобы натравливать поколения женщин друг на друга; если же мы будем сознательно укреплять связи между ними, то к нам вернется та полнота жизни, которой хотел бы лишить нас миф.

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

На самом деле женщины вовсе не опасны друг для друга. Если забыть о мифе, мы все — естественные союзницы. Чтобы женщины стали бояться друг друга, нас должны были убедить, что наши сестры обладают неким таинственным и мощным секретным оружием против нас — это воображаемое оружие и есть «красота».

Сущность мифа и причина, по которой он был так полезен в качестве силы, противодействующей феминизму,— это его способность создавать поводы для раскола. Повсюду можно увидеть и услышать: «Не надо меня ненавидеть из-за того, что я красива». «Я действительно ненавижу своего инструктора по аэробике; я считаю, что ненависть — хороший побудительный мотив». «Ты должна ненавидеть ее. У нее есть все». «Женщины, которые прекрасно выглядят с самого утра, раздражают меня». «У нее даже пор на лице не видно — вот досада». «Высокая, блондинка — тебе не хочется убить ее?» Соперничество, обида и враждебность, которые провоцирует миф, корнями уходят глубоко. Сестры обычно помнят обиду, возникшую из-за того, что одну из них называют «хорошенькой». У матерей часто возникают трудности, когда их дочери начинают расцветать. Ревность к лучшим подругам — жестокая реальность женской дружбы. Даже те женщины, которые являются любовницами, стремятся соперничать в красоте. Разговор о красоте причиняет нам боль, поскольку миф использует тело одной женщины для того, чтобы уязвить другую. Наши лица и тела становятся, часто без

нашего ведома и против нашего желания, орудиями наказания других женщин. Сейчас «красота» — это система, в которой женщины определяют «ценность» своих лиц и тел, сопоставляя их, назло самим себе, с лицами и телами других женщин. Это постоянное сравнение, в котором ценность одной женщины меняется в зависимости от присутствия другой, разделяет их и побеждает. Оно заставляет нас критически оценивать то, как выглядят другие женщины. Но положение, когда женщин натравливают друг на друга, не является неизбежным.

Чтобы уйти от этих раздоров, нам придется нарушить множество табу, обсудить немало запретных тем. Например, обратную сторону обращения с нами как с красивыми вещами. Выслушав десятки женщин, я понимаю, что общая сумма страданий, которые приносит конкретной женщине миф о красоте, не имеет никакого отношения к тому, как эта женщина выглядит. (Говоря словами одной из самых известных манекенщиц: «Когда моя фотография появилась на обложке журнала «Вог», все говорили мне, как великолепно я выгляжу. А я думала: «Невозможно поверить, что вы не заметили этих морщин».) Те, кто олицетворяет Железную Деву, могут быть жертвами мифа не в меньшей степени, чем те, кто подвластен влиянию их облика. Миф требует от нас одновременно слепой враждебности и слепой зависти к «красоте» других женщин. И враждебность, и зависть служат мифу и ранят всех нас.

Хотя «красавица» и находится недолгое время на вершине системы, ей, конечно, далеко до того изумительного состояния благодати, которое обещает миф. Удовольствие, которое можно получить, превратив себя в живой предмет искусства, от гула толпы и потока восхищенных взглядов, это какое-то подобие власти, но власти недолговечной. Оно не идет ни в какое сравнение с наслаждением навсегда вернуться в свое тело; с наслаждением открытия сексуальной гордости, очарованием обычной женской сексуальности, которая преодолевает барьеры «красоты»; с наслаждением отбросить застенчивость, нарциссизм и чувство вины как тяжелый панцирь, с облегчением забыть об этом.

Только тогда женщины смогут заговорить о том, что на самом деле заключает в себе «красота»: внимание людей, которых мы не знаем; награды за то, чего мы не заслужили; секс с мужчинами, которые тянутся к нам, как к пряннику; враждебность и скептицизм других женщин, юность, длящаяся дольше, чем следует; жестокость старения и долгая, упорная борьба за индивидуальность. И мы узнаем, что все хорошее, что обещает нам «красота» — уверенность, сексуальность и чувство собственного достоинства здоровой личности,— на самом деле не является специфической принадлежностью «красоты»; этих качеств заслуживают все женщины, и когда миф разрушится, они становятся доступны всем. Все то хорошее, что предлагает «красота», принадлежит нам по праву рождения. Когда мы отделим «красоту» от сексуальности, когда начнем ценить индивидуальность наших черт и особенностей, женщинам станет доступно наслаждение своими телами, которое объединяет, а не разъединяет нас. Миф о красоте станет историей.

Но пока женщины подвергают цензуре жизненный опыт друг друга, «красота» остается окутанной покровом таинственности и полезной тем, кто хочет нас контролировать. Мы живем в кастовой системе — это неприятная реальность. Она не является данной от природы и постоянной; она основана не на сексе, не на Боге и не на Христе. Ее можно и нужно изменить. Ситуация нас подталкивает к действию, и откладывать этот разговор уже нельзя.

Когда же он начнется, искусственные барьеры мифа станут рушиться. Мы поймем: если женщина выглядит «красивой», это не значит, что она себя и чувствует такой; в то же время она может ощущать себя прекрасной, даже если это незаметно с первого взгляда. Худая женщина может считать себя толстой, молодая женщина — хотеть состариться. Когда одна женщина смотрит на другую, она может и не представлять, как та себя воспринимает: хотя она выглядит стройной, возможно, на самом деле она морит себя голодом; хотя она одевается чересчур нескромно, возможно, она совершенно удовлетворена сексуально. Женщина может быть полной как из-за высокой самооценки, так и из-за низкой; она может пользоваться косметикой из желания выделиться или из желания спрятаться. Каждой из нас приходилось испытать на себе, как меняется отношение к нам в зависимости от нашего сиюминутного «рейтинга». Хотя этот опыт и разрушителен для личности, он показывает, что женщине доступен гораздо более широкий выбор, чем хотела бы нас уверить «красота» со своими моментальными фотоснимками. Мы без труда обнаружим, что наш нынешний взгляд на внешность мало что нам дает; независимо от того, как мы выглядим, мы испытываем одинаковые

чувства: иногда приятные, часто неприятные, всегда женские, и эта общность преодолевает бесчисленные решетки, которыми миф пытается отгородить нас друг от друга.

Женщины упрекают мужчин за то, что те смотрят, но не слушают. Но мы поступаем точно так же, и, возможно, даже чаще. Нам надо перестать судить по внешности друг о· друге, как будто внешность — это речь, политические убеждения, достоинство или агрессия. То, что женщина хочет сказать *другой женщине,* гораздо сложнее и сочувственнее, чем позволяет выразить внешность.

Давайте заново раскроем смысл красоты *не соперничающей, не иерархической и не жестокой.* Почему удовольствие и гордость одной женщины должны вызывать огорчение другой? Мужчины вступают в сексуальное соперничество только тогда, когда они соперничают сексуально, но женщин миф ставит в «сексуальное соперничество» в любой ситуации. Соперничество из-за определенного партнера — редкость; соревнование обычно происходит не «из-за мужчин», а стало быть, не является неизбежным с биологической точки зрения.

Женщины соревнуются, таким образом, «из-за других женщин»: частично потому, что мы — члены одной секты, а главным образом оттого, что тщимся заполнить, хотя бы временно, ту черную дыру, которую создал миф. Враждебное соперничество часто лишь подтверждает то, что запрещается современными сексуальными установлениями: наше взаимное физическое притяжение. Если женщины заново определяют сексуальность, чтобы подтвердить наше тяготение друг к другу, миф больше не будет ранить. Красота других женщин перестает нести в себе угрозу или обиду, а станет удовольствием и наградой. Женщины смогут наряжаться и носить украше́ния, не боясь обидеть или предать других женщин или быть обвиненными в измене. Тогда мы сможем спокойно наряжаться в пух и прах, совместно наслаждаясь нашим женским телом. Мы будем демонстрировать себя «из-за других женщин» в положительном, а не в отрицательном смысле.

А когда мы позволим себе испытать это физическое притяжение, рынок больше не сможет наживаться на своем представлении о мужских желаниях: зная лично, что влечение к другим женщинам может быть многообразным, мы больше не поверим, что те качества, которые делают нас желанными, являются тайной, приносящей кое-кому доход.

Изменив отношения друг к другу, мы познаем несоперничающую красоту. Миф изображает «другую женщину» как неизвестную опасность. «Познакомьтесь с Другой Женщиной»,— гласит брошюра по окраске волос фирмы «Велла», имея в виду женщину «после» этой процедуры. Идея заключается в том, что «красота» превращает *другую* женщину — даже собственный идеализированный облик — в существо настолько чуждое, что требуется специально с ним знакомиться. Эта фраза наводит на мысль об угрозах, любовницах, обворожительных разлучницах.

Мы уничтожим миф, когда приблизимся к этой неизвестной Другой Женщине. Поскольку наши представления об ухаживании чаще всего формируются под воздействием реакции мужчин на нашу «красоту», неудивительно, что молчаливо наблюдающие женщины могут представляться нам соперницами.

Мы можем растопить это подозрение и сократить расстояние между нами; почему бы нам не стать между собой внимательными, великодушными и кокетливыми? Давайте употребим хотя бы капельку того ослепляющего внимания, которое слишком часто приберегается только для мужчин, чтобы очаровать друг друга. Давайте делать друг другу комплименты, восхищаться друг другом. Мы можем познакомиться с Другой Женщиной: поймать ее взгляд, подвезти, когда она голосует на дороге, придержать перед ней дверь. Когда мы встречаем на улице незнакомку и окидываем ее с ног до головы настороженным, обороняющимся взглядом, почему бы нам не встретиться глазами, не улыбнуться?

Это движение к несоперничающей красоте уже начинается. Миф всегда отвергал понятие о женском благородстве. Повсеместно женщины разрабатывают кодексы чести, чтобы защитить нас от этого. Мы отказываемся от поверхностной критики. Мы будем осыпать друг друга искренними похвалами. Мы станем избегать таких ситуаций, в которых нашу красоту используют для того, чтобы принизить других женщин. Мы откажемся бороться за случайное мужское внимание. В 1989 году участница конкурса «Мисс Калифорния» вытащила из купальника флаг с надписью: «КОНКУРСЫ КРАСОТЫ ПРИЧИНЯЮТ ВРЕД ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ». Актриса кино рассказала мне, что, когда ей приходилось сниматься обнаженной, она отказывалась перед этим садиться на диету и тренироваться — из уважения

к зрительницам. Мы начинаем находить такие пути, когда мы не будем соперницами и орудиями в чьих-то руках.

Эта новая перспектива меняет не то, как мы выглядим, а то, как мы смотрим. Мы начинаем видеть лица и тела других женщин такими, какие они есть, а не через облик Железной Девы. Мы замираем, видя смеющуюся женщину. Мы внутренне радуемся, когда видим женщину, которая идет гордо. Мы улыбаемся, глядя в зеркало, наблюдаем, как собираются около глаз морщинки, и, довольные этим, улыбаемся опять.

Хотя только женщины могут открыть друг для друга эту новую перспективу, участие мужчин в ниспровержении мифа приветствуется. Конечно, многие из них используют миф о красоте против женщины, как кулак в драке, но оба пола уже сознают, что по-настоящему сегодня миф в жизнь проводят не конкретные мужья или любовники, а институты, зависящие от господства мужчин. Похоже, человечество начинает понимать, что сила мифа мало зависит от частных сексуальных отношений и много — от культуры и экономики общества. Оба пола все больше осознают, что их обманывают.

В интересах мужчин помочь женщинам справиться с мифом и в более глубоком смысле: следующей будет их очередь. Те, кто делает рекламу, недавно поняли, что нарушить уверенность в своей сексуальности можно у любого пола. Как пишет газета «Гардиан»: «Мужчины теперь смотрят в зеркало, а не на девушек... Сейчас можно видеть, как красивые мужчины торгуют всем чем угодно». Пользуясь образами гомосексуальной субкультуры, реклама начала изображать мужское тело в соответствии с мифом о красоте. Поскольку внимание больше концентрируется на сексуальности, разрушается сексуальное самоуважение мужчин в целом. Так как они более привычны к тому, чтобы отделять себя от своего тела и соревноваться до изнеможения, мужской вариант мифа, возможно, причинит им еще больше вреда, чем нам — женский вариант.

Психиатры предупреждают об увеличении у мужчин числа болезней, связанных с нарушением питания. Сейчас, когда мужчины стали новым рынком сбыта, ключ к которому — недовольство собой, рекламные образы начинают внушать гетеросексуальным мужчинам полуправду о том, как их видят и чего хотят женщины,— такую же полуправду традиционно рассказывали гетеросексуальным женщинам о мужчинах. Если они поверят пропаганде и загонят себя в ловушку, мы ничего не выиграем от этого. Не выиграет никто.

Но в интересах мужчин уничтожить миф еще и потому, что от этого зависит выживание планеты. Земля не может больше позволить себе потребительскую идеологию, основанную на бесконечном воспроизведении сексуальной и материальной неудовлетворенности. Нам необходимо научиться правильно наслаждаться тем, что мы потребляем. Мы представляем нашу планету женщиной, все-дающей Матерью-Природой, как женское тело представляем бесконечно изменяющимся ради мужчины. Мы поможем и себе и планете, если будем отстаивать новую женскую реальность, на которой зиждется новая метафора для Земли: женское тело в своей органической цельности, которую нужно уважать.

Экологический кризис требует нового мышления — общинного и коллективного, а не конкурентного, и требует немедленно. Мы можем, конечно, молиться и надеяться, что мужские институты введут и распространят это непривычное мировоззрение за несколько ближайших лет. Но не лучше ли вернуться к женской традиции, которая совершенствовала его около пяти тысячелетий, и приспособить ее к нашему обществу. Так как миф о красоте перечеркивает женскую традицию, идя по этому пути, мы подвергаем планету смертельной опасности.

Мы сохраняем для себя открытой возможность выбора. Нам не нужно изменять наши тела, необходимо изменить порядки. И без мифа женщин все равно будет порицать за внешний вид любой, кому это понадобится. Так давайте прекратим винить в этом себя, перестанем суетиться и извиняться, давайте начнем наконец наслаждаться. «Красивая» женщина ничего не выигрывает от мифа — не выигрывает и никто другой. Женщина, которой постоянно льстят незнакомые люди, не выигрывает, но и та, которая избегает обращать на себя внимание, не выигрывает тоже. Женщина, которая всегда одевается одинаково, ничего не выигрывает от этого, так же, как та, что имеет на каждый день новый модный наряд. Вы не сможете выиграть, пробившись на вершину кастовой системы, вы выиграете только, если вообще не позволите заманить себя в эту ловушку. Выиграет та женщина, которая, считая себя красивой, требует, чтобы мир изменился и увидел ее в истинном свете.

Женщина выигрывает, когда разрешает себе и другим женщинам норма-

льно есть, быть сексуальными, стареть, носить рабочий комбинезон, диадему со стразами, платье от Баленсьяги, потрепанный плащ или солдатские башмаки, закутываться по уши или ходить обнаженной, делать все в соответствии со своим вкусом или просто не обращать на это внимания. Женщина выигрывает, когда считает, что каждая из нас может поступать со своим телом как угодно, если это происходит добровольно, без принуждения,— это наше личное дело. Когда множество отдельных, конкретных женщин выключат себя из системы, она начнет разрушаться. Институты, некоторые мужчины и женщины будут продолжать попытки использовать нашу внешность против нас. Но мы не клюнем на эту удочку.

Может ли существовать понятие красоты, выгодное женщинам? Конечно. В его сегодняшнем варианте нет места игре. Миф о красоте вреден, напыщен и тяжеловесен, потому что от него зависит многое, слишком многое. Он не учитывает удовольствия, которое дает игра. Раз вы играете на интерес, неважно, насколько велика ставка, игра поневоле становится азартной, превращается в сражение. Когда властвует миф, ставка — жизнь, ненадежная любовь, безумная и фальшивая сексуальность. Это игра по чужим правилам, отказаться от которых невозможно. Нет выбора — нет свободной воли; нет легкости — нет и настоящей игры.

Но чтобы спасти себя, мы можем представить себе такую жизнь, когда телу его ценность не в тягость,— маскарад, сознательная театральность, возникающая от льющейся через край любви к себе. Новое, «проженское», определение красоты отражает наши новые понятия о том, что есть власть. Кто говорит, что нам нужна иерархия? Я вижу красоту там, где, может быть, вы ее не видите. Некоторые люди для меня более желанны, чем для вас. Ну и что? Мое восприятие не имеет власти над вами. Почему красивым должно считаться только исключительное? Столько всего может вызывать восхищение. Почему только необычность должна производить впечатление? Высокая ценность всего необычного — это мужская идея, которая имеет больше общего с капитализмом, чем со страстью. Зачем желать невозможного? Дети, например, существа самые обыкновенные, но ими дорожат и считают их красивыми.

Как могли бы вести себя женщины за пределами мифа? Кто может сказать? Возможно, мы захотим попеременно худеть и толстеть, наслаждаясь этими изменениями; будем избегать боли, потому что сочтем ее и то, что ее причиняет, безобразным. Наверное, мы будем украшать себя, испытывая подлинное удовольствие и ощущая, что стараемся украсить розу. Может быть, чем меньше боли станут женщины причинять своим телам, тем более прекрасными эти тела нам покажутся. Очевидно, нам уже не захочется вызывать восхищение у незнакомых людей; мы поймем, что нам это не нужно. Скорее всего мы будем спокойно относиться к тому, что наши лица стареют, и перестанем считать свою внешность только скопищем изъянов, поскольку все в нас совершенно. Может быть, мы больше не захотим менять свой облик.

С чего начать? Давайте быть нескромными. Жадными. Гоняться за наслаждениями. Избегать боли. Носить, есть и пить все, что захочется. Уважать выбор других женщин. Искать секс, которого мы хотим, и яростно сражаться против того, которого не хотим. И когда однажды нам удастся изменить правила так, что никто не сможет поколебать нашу уверенность в собственной красоте, давайте прославим эту красоту, будем щеголять и упиваться ею: в политике чувств женщина прекрасна.

Определение красоты, данное с любовью к женщине, заменяет отчаяние игрой, нарциссизм — любовью к себе, разделение на части — цельностью, отсутствие — присутствием, неподвижность — оживлением. Оно допускает свет, что исходит от лица и тела, а не свет прожектора, затмевающий личность. Красота сексуальна, разнообразна и неожиданна. Мы научимся видеть ее в других и не бояться и в конце концов сможем разглядеть ее в самих себе.

Поколение назад Жермена Гриэр спрашивала у женщин: «Что вы будете делать?» Их ответ вызвал крутой переворот, продолжавшийся почти четверть века. Следующий этап нашего движения вперед как отдельных личностей, как женщин в целом и как обитателей своих тел и этой планеты зависит от того, что мы захотим увидеть, когда посмотрим в зеркало.

Так что мы увидим?

ИРИНА САНДОМИРСКАЯ, БОРИС КУЗЬМИНСКИЙ

ПАУЗА И СЛОВО, ИЛИ ЕСТЬ ЛИ ИМЯ У БОЛИ

Беседа в редакции

В нашем литературном обиходе бытует понятие «женская проза». Но с феминистской точки зрения дискриминация налицо: ведь никто не говорит «мужская проза». Если писатель — женщина, означает ли это, что из-под ее пера выходит «феминистская проза»? Воплотимы ли идеи феминизма в полноценные художественные образы, или они работают только в рамках публицистики и критики (термин «феминистская критика» существует наравне с такими привычными словосочетаниями, как «марксистская» или «постструктуралистская критика»)?

К разговору на эти темы мы пригласили лингвиста Ирину Сандомирскую и критика Бориса Кузьминского.

БОРИС КУЗЬМИНСКИЙ. Среди материалов, выбранных «ИЛ» для мартовского выпуска «Литературного гида», наибольшее эстетическое впечатление на меня произвели фрагменты книги Наоми Вулф. Хотя этот текст — как раз не художественный, а чисто идеологический. Сначала он мне напомнил официальные «завещания» видных теоретиков различных политических течений, например, коммунистического: постоянное возвращение к одному и тому же, тавтологичность, настойчивое воспроизведение базового комплекса понятий, заостренная, шершавая и сырая стилистика. Текст явно не правился и не перечитывался автором. Писался как бы на едином выдохе, несмотря на солидный объем. Ощущение такое, что после финальной точки должна наступить тишина, всеобщая пауза — чтобы высказанные в книге идеи были осмыслены в благоговейном молчании.

Неофициальный вариант жанра, с которым мы имеем дело,— предсмертные записки самоубийц. Тексты-вскрики, попытки вывернуться до дна в одном-единственном речевом поступке. В последнем жесте, что примиряет общее и частное,— жизнь типа и существование индивида, высота должествования и дробные лужицы частностей под ногами. Но, как правило, желаемого эффекта такие записки не достигают. По крайней мере, у настоящих самоубийц.

ИРИНА САНДОМИРСКАЯ. Я бы хотела вам возразить. Во-первых, как мне кажется, вы льстите этому тексту. На самом деле, вам хочется немного усложнить ситуацию. Посмотрим правде в глаза, это самый обычный агитационный текст. Он рассчитан отнюдь не на благоговейное молчание, а на действие — действие тех женщин, к которым он обращен. И по своему жанру он напоминает пропагандистскую речь, к примеру, речь с паровоза какой-нибудь красавицы вроде Александры Коллонтай. По жанру он определенен и несложен, и нет необходимости приписывать ему какие-либо стилистические красоты.

Б. К. Уточню, что около трети самоубийств совершаются людьми, которые вовсе не умирать собрались, но жаждут привлечь к себе внимание, выделиться, спровоцировать окружающих на жалость и сочувствие. В этом смысле функция их прощальных записок — та же самая агитация. В глубине души они уверены, что их обязательно, непременно спасут, что впереди не смерть, а новая жизнь, в которой мир станет относиться к ним иначе — с должным пиететом. Гибель понарошку, думают они, многажды усилит феноменальную ценность их «я». Товарную ценность. Ведь каждый из нас и вправду хоть чем-то, да уникален и тем самым незаменим.

Сочинение Наоми Вулф отталкивается от реального, взаправдашнего различия — от оппозиции «мужчина — женщина», однако вкачивает в эту оппозицию какое-то катастрофическое неистовство, сжимает пружину, дабы та распрямилась и толкнула действительность в желательном для автора направлении. Наоми Вулф, будучи истинной феминисткой, конечно, стремится не уравнять мужчину с женщиной, а высвободить женское естество, чтоб то заблистало всеми гранями своей уникальности. По-

дарить женщинам новую жизнь, невозможную без мнимой смерти... Весь вопрос в том, правильно ли Вулф выбрала пружину. В лжесамоубийствах самое неприятное то, что иногда они удаются всерьез.

И. С. И все-таки мне этот текст видится немного по-другому. Мне представляется, что сам мотив самоубийства подсказан тем, что основной пафос этой работы направлен на отказ от женской красоты, на уничтожение представления о красоте как о чем-то святом и высоком. Женская красота — очень значительная культурная ценность и мощное символическое образование. Женщина — это или нечто прекрасное в высшем, духовном смысле, или (глядя с карнавальной изнанки символа) нечто от инфернального низа, необузданная стихия тела, «естества», «природы». Сакрализованная или профанированная женская красота все равно есть достояние культуры. Именно поэтому самоубийца — это женский вариант Герострата, поскольку, как и Герострат, она покушается на культурную ценность — в данном случае на свое собственное тело, давно присвоенное культурой в качестве емкого символа.

Отказ от красоты становится добровольным отказом женщины от того места, которое ей в результате остается. Поэтому у нас возникает ощущение, что она одновременно лишает себя своей личности, и души, и счастливой судьбы. А на самом деле она лишь отказывается от выполнения социального заказа. Так что, по моему мнению, в жанровом отношении этот текст — агитка. Он обращен к средней американке, работающей или домохозяйке. Этот текст кажется мне не самым оригинальным еще и потому, что он всего лишь один из многих, в которых анализируются те мифы, те элементы дискурса, на которых держится культура. За пятьдесят лет, которые прошли с тех пор, как Симона де Бовуар написала книгу «Второй пол», скрытых подпорок-стереотипов найдено очень много. В 50-е—60-е годы это были работы по обнаружению стереотипов, связанных с положением женщин в семье, раскрытие мифов материнства, прекрасной женщины, романтической возлюбленной. В 70-е годы демифологизированы представления о женской сексуальности. Оказалось, все то, что в отношениях мужчин и женщин мы называли естественным, данным природой, генетически обусловленным, насаждено культурой, причем для каких-то определенных политических, «управленческих» целей. Образ женской красоты — одно из средств контроля: мы играем образы, навязанные нам культурой.

На мой взгляд, здесь вычленяется очередной культурный фантом, его со всех сторон описывают, показывают, как он работает в качестве социального механизма, и призывают, чтобы с этим фантомом больше не считались. Речь о женской красоте там идет постольку, поскольку контроль над женщиной держится на ее желании быть красивой. И Вулф показывает: женская красота — это еще один крючок, на который ее вешают, еще одна петля, за которую ее тянут. Новый феминистский взгляд на женскую красоту крайне неудобен для культурного большинства. Может быть, ваша реакция в каком-то смысле показательна. У вас возникает протест. Если женщина отказывается от своей женской красоты, от своей женской привлекательности, что же от нее остается?

Б. К. Вполне понятно, что гибель сущности благотворна для существования, демонтаж мифа о человеческом «я» делает «я» чище и адекватнее самому себе. Но Вулф и ее коллеги по идеологии, мне кажется, совершают принципиальную подмену. Они противопоставляют женщин как некое биологическое множество, как часть человечества, обладающую определенной *физиологией,* мужчинам как биологической группе, физиология которой иная; говорят же при этом о *мифологии* домашнего очага, телесной красоты, творческой одаренности — заметьте, не о мифологии секса даже; во всяком случае, не о ней по преимуществу. А все перечисленное имеет отношение не к различию мужчин и женщин, а к различию *мужского* и *женского,* что не одно и то же, согласитесь. Сказать о человеке «женоподобный» — не значит заявить, что у него есть матка. Сказать о той или иной культуре «женственная» — не значит приписать ей зацикленность на пышных персях и мощном лоне.

И. С. На самом деле в феминистских текстах нет противопоставления мужского и женского. В них осознается — а не насаждается — совершенно четкое противопоставление не женщины и мужчины, а женщины и человека. Или женщины и художника, женщины и писателя... Действительно, бытует убеждение: женщины-писательницы пишут плохо, то есть настоящие писатели пишут хорошо, а женщины пишут плохо, настоящие художники пишут хорошо, а женщины делают это плохо, настоящие политики занимаются поли-

тикой хорошо, а женщины — плохо. Базовая оппозиция, вызывающая критику феминизма,— это противопоставление женщины человеку. Оппозиция feminine — masculine характерна скорее для мужских контраргументов.

Б. К. Противопоставление женщины и человека безусловно существует, но, мне кажется, в данном случае оно не стоит совсем особняком от других оппозиций, очень с ним схожих. В языке и общественном сознании актуально, например, противопоставление ребенка человеку. Но было бы довольно странно, если бы на этом основании дети организовали некое общественное движение и попытались добиться реального и полного равноправия.

И. С. Но есть же детский бизнес, детские фонды, в которые дети жалуются на насилие со стороны взрослых. Здесь нет другого критерия, кроме чисто языкового анализа. Так в русском языке есть местоимения трех родов: мужского, женского и среднего. Средний род — аналог третьего пола, «детского». В английском «отдельность» ребенка от системы полов тоже более или менее обозначена — через «неодушевленное» местоимение it. Самые глубинные понятия, на которые опирается сознание, отражаются именно в служебных словах, так что дети тоже «не-люди». И женщины «не-люди». А еще евреи «не-люди», негры «не-люди». Социализация — это усвоение человеком мифов, которые зачисляют в «не-люди» те или иные маргинальные группы. Женщины тоже не избежали такой культурной маргинализации.

Б. К. Если перебирать социальные мифы последовательно, под ярлык нечеловека рано или поздно подпадет каждый. Я только не понимаю, ради чего их перебирают те, кто хочет мифы разрушить — или обезвредить. Говорят, если борешься с врагом слишком яростно, слишком вплотную, в какой-то момент утрачиваешь запах собственного тела и с ног до головы пропитываешься запахом противника. Лучше, пожалуй, ускользнуть, отойти в сторону и дожидаться, пока мимо твоего крылечка торжественно пронесут супостатов труп. Разоблачая мифологию и авторитетные языковые структуры, начинаешь сам источать зловоние мифа, горячую испарину нормативной речи.

Упаси бог, я не противник борьбы за права человека, немыслимой вне анализа общественных легенд, педагогических установок, пословиц и иных форм бытования *здравого смысла*. Но бесполезно ожидать, что энергия, выделяющаяся при деструкции мифа, что-то переменит в действительном, немифологическом положении вещей — переменит к лучшему. Это все равно как если бы при анализе языка мы начали навязчиво абсолютизировать противопоставление слова и паузы. Конечно, в языке разница между словом и паузой существует — как мужчины и женщины в реальности отличаются друг от друга,— и она, скорее всего, центральная разница, конституирующая. Но *говорить* о том, что эта оппозиция центральная, что язык как таковой зависит только от нее,— идеальный способ устранить всякую дальнейшую необходимость в языкознании. Да и в самом языке. Фиксация на мифе порождает новый миф, новую ложную иерархию. Различие хочет обрести самость, а вместо этого кончает с собой.

И. С. Действительно, идея о том, что мир состоит из различий, от долгого употребления превратилась в структуралистский миф. И мне понятно стремление критика постструктуралистской эпохи избавиться от этого мифа. Однако важно, какая именно метафора придет на смену структуралистской. Мне представляется, что ваша холистическая концепция — а если ее развить, то это идея всеобщности, универсальности, цельности культуры, стремление к поиску вечного, неотъемлемого, неделимого в качестве культурной ценности — в целом порождается базовой метафорой культуры как кулака.

Б. К. Вещи, слагающие мир, не могут существовать без того, чтобы не отличаться друг от друга. Как и в языке, слово не существует без молчания. Но как только пауза начнет настаивать на том, что без нее не существует слова, как только она поставит себя *над словом*, наступит полное молчание. У паузы есть еще и другой чудесный путь: она сама может захотеть стать словом, вызвать в себе свойства слова, превратив текст в абсолютно слитный. Убив и изначальное слово, и себя-как-слово, и себя-как-паузу.

Оба художественных текста, которые мы прочли, схожи. Они построены на едином выдохе, на монологе. В этих текстах мало что поражает: художественно они недостаточно сильны. Пожалуй, самое шокирующее переживание ждало меня в маленьком фрагменте текста Хельке Зандер, где одна из героинь рассказывает о расставании с мужчиной, которого она очень любила. Помните, она долго потом ощущала свою кожу как сплошную рану? Шокирует здесь не сам сюжетный смысл, а способ литературной подачи:

это *проговорено* героиней, это — ее монолог. Вещи, которые заведомо принадлежат молчанию, облекаются в слова. С легкостью.

То же происходит и в повести Фэй Уэлдон. Все герои, женщины и мужчины, практически не совершают поступков, а рассказывают о своих минувших поступках. Подбивают итог, натягивают общее на частное, наперегонки совпадают с тем или иным *типом* и застывают в янтарном пространстве назидательной аксиологии и наглядных моралей. С тщательностью убежденных бунтарей и революционеров обмазывают дела и вещи, по праву принадлежащие молчанию, крепким дезодорантом слов.

И. С. Общество заинтересовано в том, чтобы на эту тему молчали! Это те ощущения, которые по правилам культурной игры не подлежат выражению!

Б. К. Дело не в том, что мужчины или мужской миф пытаются кому-то заткнуть рот. А в том, чтобы наряду со словом сохранить и паузу. Вещи, о которых герои рассказывают, как о походе в магазин,— заведомый предмет метафоры. Ведь единственный способ, которым слово может приблизиться к молчанию, это метафора. Заметьте, искусство, если оно действительно искусство, не умеет говорить о сексе. Сексуальные реалии мгновенно становятся кодом для повествования о человеческих страхах, об отдельности от других, о зияниях и совпадениях — никак не сексуальных.

И. С. И тем не менее, хотя об этом не принято говорить, в этих текстах многое узнаваемо.

Подобное я слышала множество раз, разговаривая с подругами, сама часто ловила себя на таких монологах, вернее, внутренних диалогах с глухим собеседником. А с вами такого не бывает? Такое говорится в женском кругу — на кухне, за чашкой чая, в курилке, у врача, в очереди на аборт, когда женщина оскорбленная, разъяренная выплескивает текст без малейшей паузы, когда она не рассказывает, а выговаривается. Неважно, о чем она говорит. Главное — это ее состояние. Диалог, который совсем не диалог, а маниакальный монолог, крик в спину человеку, который уже давным-давно ушел. Можно ли считать это жанром литературы?

Б. К. Я говорю о том, что далеко не у всего в мире должно быть имя. Давать всему имя — сознательно лгать о некоторых областях действительности.

И. С. Это не ложь, это отсутствие выразительных средств. Для выражения внутреннего мира женщины в словаре нет слов. Я могу сослаться на исследование, которое мы провели на материале русской и английской идиоматики в группе по общей фразеологии в Институте языкознания РАН под руководством проф. В. Н. Телия. Наши данные показали, что ни в том, ни в другом языке почти нет слов и словосочетаний, которые могла бы употребить женщина, говоря в первом лице единственного числа. Вот, например, женский характер: *бой-баба, черт в юбке, мужик в юбке, старая ведьма* и т. д. Это говорится о женщинах активных, темпераментных, эмоциональных и самостоятельных. Или наоборот: *корова* — пассивная, зависимая, выжидающая женственность. Или мужской идеал *сладкой* женщины: *пышная, сдобная, аппетитная, лакомый кусочек* — все эти каннибальские метафоры имеют прямое отношение к проблеме женской красоты и потребительства, о которой мы уже говорили. А вот женщина, которая признается «своей»: *своя баба, свой парень* — по существу, перед нами обозначения не слишком требовательных, умеющих довольствоваться малым женщин. Словарь описывает женщину как продукт «мужского взгляда» и как объект «мужского потребления». Особенно в этом отношении «откровенен» англо-американский сленг: здесь метафоры женщины отнесены к области съедобного или связаны с миром военных и прочих орудий, связаны с нечистой силой (помните — «не-люди»); сленгизмы откровенно символичны в смысле Фрейда. То же наблюдается и в русских номинациях. Нет только одного — возможности обозначить женщину (в первом лице) как человека.

Вообще, фаллологоцентризм — приспособленность языка к выражению преимущественно мужского взгляда — не наше открытие. Радикальные феминистки 60—70-х годов, французская школа феминистской семиотики уже ставили вопрос о соотношении языка, власти и женщины. Предпринимавшиеся в 60-е годы попытки переформулировать «обидные» для женщин слова окончились неудачей — они разбились о стену стереотипов, скрытых за подобными сочетаниями. Такие обозначения, как «ангел-хранитель домашнего очага», «роковая женщина» или «старая ведьма», оказалось, аккумулируют в себе мировоззрение, стратегию поведения в обществе, важный социально-культурный сценарий.

Основной конфликт разыгрывается

не между женщиной, с одной стороны, и политическими, социальными, властными структурами — с другой. Это глубинный конфликт с языком. Твоя несвобода запрограммирована родным языком, питающим родную культуру. Выйти за эти пределы невозможно. Можно только замолчать. Полная свобода — это полное молчание. Лишь отказавшись от самой себя, становишься свободной. В этом трагичность феминизма. Вернее, трагикомичность.

Если быть законопослушным, если жить в мире с порядком и правилами, тогда с языком никаких проблем не будет. А если иногда подвергать сомнению справедливость того, как устроено общество, тогда с языком будут сюрпризы. Правильно феминистки говорят, что мать, агукающая над колыбелью,— это первый колонизатор человеческой личности, первый агент социализации, первый источник культурного стереотипа. Ведь никто не говорил, что стереотипы — это освобождающее явление. Первые стереотипы мы получаем с навыками родного языка. Откуда нам известно, как вести себя в данной культуре, особенно в ее малой группе, например, в паре «мужчина и женщина»? Ведь очень немногие из этих норм сформулированы в правилах поведения учащихся средней школы, в кодексе строителя коммунизма, в законодательстве о семье и браке, наконец, в религиозных заповедях. Ответ один: по большей части мы обучаемся правилам игры, усваивая слова родного языка. Бороться с языком бессмысленно, но надо сознавать, что предпочтение, которое общество отдает мужчине в случае выбора, диктуется культурными предрассудками, поддерживаемыми языком.

Б. К. Сначала вы говорите, что вас тяготит роль, навязываемая вам языком, а потом начинаете заботиться о правильных, справедливых обозначениях. Обозначение — мини-стереотип, оно не может быть справедливым. *Новый* знак — всего лишь новый *знак*.

И. С. Но если я не обозначена, то меня нет вовсе. Я же должна как-то обозначиться в социуме, я же живу в этом мире.

Б. К. Если вы собираетесь обозначить то, что обозначить нельзя, не солгав при этом, ступайте в зону паузы... Хочу напомнить, что весь разговор о языке, паузе и слове возник у нас как метафора взаимоотношений, взаимных долгов и обязательств между мужчинами и женщинами.

Метафора может быть и иной. Мужчина — поставщик любви, женщина — ревности. Мне очень нравится одна фраза из Второзакония. Когда евреи достигли Земли Обетованной, Моисей единственный не переступил ее границы и умер. Бог, говоря с Моисеем перед смертью и имея в виду Ханаан, произносит: «Я дал тебе увидеть ее глазами своими, но в нее ты не войдешь». Он говорит о Земле Обетованной как о женщине, то есть как о центростремительном начале, которое, несмотря на свое тотальное притяжение, по сути недостижимо; и о Моисее как о мужчине, как о центробежной силе, как о некоем блуждающем электроне. Если все начала станут центростремительными, наступит остановка бытия.

И. С. Я призываю осторожнее относиться к таким метафоризациям. У Симоны де Бовуар была высказана одна очень грубая, но правильная мысль насчет того, что, как правило, особенно красивые, образно богатые метафоризации женщины начинаются тогда, когда ощущается резкая нехватка рабочих мест. И заметьте, это происходит сейчас в нашей стране. Сейчас, когда надо срочно сокращать рабочие места, началась активнейшая идеологическая работа по внушению женщине, что она должна быть а) сексуальной, б) красивой телом, в) украшением в жизни мужчины, но г) идеальной женой и матерью, д) хранительницей очага, е) носительницей древней семейной традиции — и чем только еще она не должна быть! Помню объявление в газете: «Женщина — лучший друг бизнесмена». Бизнесмен делает бизнес, а женщина, его жена, всегда рядом — лучшее украшение его офиса. «Приходите к нам учиться, мы обучим вас макияжу, имиджу»... «Даем диплом международного образца». Диплом кого? Жены бизнесмена! Женщины, годящейся в жены деловому человеку. В период обострения конкуренции всегда начинается такое.

Б. К. Насколько я понимаю, на протяжении всей цивилизованной истории были проблемы с рабочими местами... Вот вы ощущаете себя неловко, потому что общественная конвенция заставляет вас ориентироваться на жену бизнесмена в качестве идеала. Я же ощущаю себя неловко оттого, что конвенция заставляет меня ориентироваться на бизнесмена. Разве наряду с пособиями по вязанию не продаются сейчас книги и о том, как стать образцовым брокером? Их на лотках куда больше.

И. С. Нет, не то. Вас при этом никто не уподобляет мебели. Вас учат быть инициативными. А нас учат, как быть

красивым украшением офиса. Это совершенно разные вещи.

Б. К. Как мифы они один другого стоят.

И. С. Может быть. Но «наш» покруче. Сначала общество вырастило поколение женщин врачей, инженеров, ученых, женщин с высокими требованиями к жизни, а потом хочет, чтобы женщина была украшением офиса и помалкивала.

Б. К. Мне кажется, разговор о том, какой миф «мифее», пустой, и не потому, что оба они равно оскорбительны для нас с вами, но потому, что *эти мифы нас с вами не касаются.* Они имеют дело не с мужчиной и женщиной как чисто физическими существами, а с концепцией мужественного и женственного. С кодами, не с реальностью.

И. С. Вот феминистки и хотят в этих кодах выделить те компоненты, которые для женщин являются репрессивными, ограничивающими, подавляющими.

Б. К. Очень странное занятие — выделять в коде, обозначающем тебя, репрессирующие элементы. Это все равно как если бы глава «Анны Карениной» стала обижаться на какого-нибудь Штирлица за то, что тот ее обозначает некими цифрами и передает шифровки в Центр.

Штирлиц — это дискурсивный ритуал, мифологические законы, которые формируют идеологию. На самом деле они совершенно безразличны к художественным достоинствам романа «Анна Каренина» просто потому, что в своей оперативной работе Штирлицу эти художественные достоинства не требуются. «Анна Каренина» просто попалась ему под руку.

То же самое можно отнести к обществу. Когда оно говорит о мужском и женском, оно просто пользуется этими терминами как псевдонимами. Мифообразующие факторы, которые действуют в обществе, воспринимают «мужское» и «женское» чисто *функционально*. Им совершенно безразлична суть этих явлений, истинное содержание оппозиции.

Вот Наоми Вулф ссылается на первобытные племена. Пойду еще дальше в глубь эволюции и сошлюсь на горилл. Если две гориллы разного пола оказываются в изоляции от стада, иерархия их отношений зависит вовсе не от половых признаков, а от силы. Если самка сильнее и крупнее самца, она начинает брать на себя мужские функции, вплоть до того, что при копуляции самец принимает женские позы. Это очень напоминает те образы, которые навязывает нам реклама. Собственно, это и есть не женское, а женственное. Он становится *женственным,* оставаясь при этом мужчиной, самцом. В пещере, где обосновалась парочка, возникает мифологический микроклимат, но он рассеивается как дым, едва две отбившиеся от коллектива особи воссоединяются с популяцией. То, что с ними произошло,— просто сон, морок. «Эмансипация» реализуется сама собой, без всяких забот с чьей-либо стороны. Рекламный идеал красоты, на который ополчилась Вулф,— такой же морок, и чем яростнее его разоблачаешь, тем глубже погружаешься в логику бредов и грёз.

Хочу вернуться к текстам, которые мы прочли. В классической новелле Акутагавы «В чаще», как и у Фэй Уэлдон, все герои рассказывают одну и ту же историю, но абсолютно по-разному. Когда сопоставляешь их рассказы об одном и том же событии, выясняется, что ни один из них не совпадает ни с другими, ни с действительностью.

В случае с Фэй Уэлдон рассказы героев можно просто разрезать на кусочки и сложить из них плоскую аппликацию. Получившаяся картина событий будет достаточно логичной, непротиворечивой. Так происходит потому, что в этом романе люди даны с *функциональной* точки зрения. Они как шестеренки механизма, которые ничего не могут сказать о своем механизме сверх того, что написано в инструкции. Люди, описанные в повести,— это не люди, а просто функции, в них нет остатка человечности, который бы выпирал за схему.

И. С. Почему, остаток человечности там очень даже приличный. Надо еще сказать, что если бы эта история была рассказана со стандартных позиций, она бы очень отдаленно напоминала слабое подражание какому-нибудь Фришу. В конце концов каждый из персонажей обретает истинное счастье, любовь. Но автоматизм в перекраивании любовных пар и треугольников настораживает. То, что происходит с героями повести, абсурдно — так видится описанный ряд романтических томлений с позиций трезво глядящей на мир женщины. Перед нами целая серия банальных, убогих ситуаций. Это то, что принято считать любовью, жизнью чувств. Но как они ни банальны, они все равно повторяются в жизни реальных женщин. Да и в жизни тривиальных мужчин тоже. Но про жизнь тривиальных мужчин уже много написано. А про тривиальности в жизни женщины, даже если сама по себе

она не тривиальный человек, написано мало. Почему женщина может быть исключительной, сложной личностью, но почему ее жизнь все равно загоняет в одни и те же анекдотические ситуации? То это ситуации про тещу, то это ситуации «муж пришел с работы». Почему это так получается? Что бы я ни представляла из себя, сколько бы я ни работала над собой, сколько бы ни искала, ни обретала себя, жизнь все равно загонит меня в какой-нибудь анекдот.

Б. К. Совсем не потому, что современный социум загоняет женщин и мужчин в схему, а потому, что так захотелось Фэй Уэлдон, ибо она писала повесть с заранее известной и очень рациональной моралью.

Давайте посмотрим на мужчин — действующих лиц этой повести. Центральный герой не слишком приспособлен к профессиональной деятельности, поскольку, едва возникает та самая проблема сокращения рабочих мест, о которой вы говорили, он одним из первых вылетает с работы. Втайне от жены — он ее боится — он перезакладывает свой дом, чтобы лечь в больницу на косметическую операцию. После этой достаточно простой операции у него долго не заживают раны. И автор дает понять, что они заживут только после того, как он перестанет бунтовать против жены и примирится с ней, признает ее правоту. Другой персонаж, хирург, сделавший эту операцию, по сравнению со своей женой, работающей в той же больнице, находится все время на вторых ролях и не только в межчеловеческом общении ниже и примитивнее, но и в чисто профессиональном отношении. Она профессор, а он занимается всякой ерундой типа косметических операций. Кстати говоря, Фэй Уэлдон еще подчеркивает, что у него не белый цвет кожи, тем дополнительно его от жены отграничивая. А третий — электромонтер, в котором ничего нет, кроме производящей силы. Женщина, которая хочет решить свои внутренние проблемы, самоутвердиться по отношению к мужу, берет его за шкирку и затаскивает в постель.

И что же мы в результате имеем? Мужчин, которые в той или иной степени ущербны, во всяком случае по сравнению с женщинами, и женщин, которые если не вдвое, то по меньшей мере в полтора раза более похожи на людей.

И. С. Нет, скорее мы имеем одинаково безжизненные схемы — женские и мужские. И, мне кажется, что если можно говорить про пафос в данном случае, то он в том, что каждый из героев стремится к тому, чтобы его или ее существование стало жизнью. И доктор Хан, и его жена, кстати, самая «бумажная» фигура в романе. Почему они все рассказывают друг другу истории? Они ищут более полную жизнь. Но так или иначе оказываются в схемах.

Б. К. Они рассказывают друг другу истории, потому что автору так удобнее рассказать свою собственную историю — про них. Это элементарный прием.

И. С. Это уже следующий вопрос. Конечно, это прием.

Б. К. Но каким же образом можно стать более счастливым, назвав все, что с вами происходит, словами, применив ко всему этому языковые структуры, то есть подчистую все оболгав?

И. С. Счастливым от этого еще никто не стал. Но обозначить и понять, в чем причина твоей несчастливости,— можно. Называя словесно источник своего несчастья, герои изживают комплексы. Пока человек не назовет то, что его мучает, словами, оно не уйдет. Конечно, счастливее от этого он не станет. Помните, как у Тургенева кончается «Дворянское гнездо»? «Бывают такие ситуации, на которые можно указать пальцем и пройти мимо». И больше ничего сделать нельзя. В жизни очень много таких ситуаций, когда нельзя ничего изменить. И дальше возникает следующий вопрос: что делать? Мы должны их осознавать — или смиряться и сживаться с ними как с неизбежными данностями, такими, как явления природы. Для меня важнее понять, что со мной происходит. Другое дело, что я не могу устранить причину.

Б. К. Но осознать — все равно что смириться.

И. С. Нет, осознать — это осознать.

Б. К. Безнадежная ситуация очерчивает ваши контуры. Это то место, куда вы не можете достать рукой — и благодаря этому ощущаете свою руку.

И. С. Но есть женщины типа Наоми, которые не только осознают, но и призывают других женщин что-то сделать. Они уверены, что ситуацию изменить можно. Я в этом отношении пессимистка. Я считаю, что ситуацию изменить нельзя. Но мое право и моя обязанность эти вещи осознавать, отдавать себе в них отчет. Я должна видеть вещи такими, какие они есть. И что же я вижу: вокруг меня создан бумажный мир, и я должна в нем жить так, словно он настоящий.

Б. К. Не надо считать этот мир настоящим, бог с ним совсем. Кстати, между деянием и недеянием разница не количественная, а качественная; если недеяние — тоже феминизм, что ж тогда феминизмом не является?

И. С. Это очень интересный вопрос. Но я не знаю, как на него ответить. В принципе, классификаций существует очень много. Есть феминистки-либералки, которые считают, что надо совершенствовать законодательство и бороться за права человека, независимо от пола (Бетти Фриден, Белла Абцуг и др.). Феминистки-марксистки связывают положение женщины с пороками капиталистической системы производства (например, Мария-Роза делла Коста и др.); радикальные феминистки (Маргарет Этвуд, Андреа Дворкин, Кейт Миллетт и многие другие) занимаются репродуктивными функциями женщин, ищут корень зла в стремлении патриархального общества контролировать женскую сексуальность; феминистки-психоаналитики (Дороти Диммерштейн, Нэнси Чодороу) стремятся критически переформулировать концепции психоанализа, экзистенциальный феминизм (прежде всего Симона де Бовуар) изучает результат мужской проекции «иного»; феминистки-постмодернистки (французская школа — Юлия Кристева, Люс Иричаре, Элен Сису) рассматривают «женское» как элемент культуры, строят теорию культуры с точки зрения культурной маргиналии, деконструируют язык, символ, знание как факторы доминирования, тоталитарности. Феминистские концепции бесконечно разнообразны и зачастую непримиримо противоречивы. Но нам задан вопрос: можно ли любое женское деяние считать по определению феминистским? Я считаю, что субъективно нет. Есть Старовойтова, есть Тэтчер, есть множество художниц, которые считают, что женщины ни политикой, ни искусством заниматься не должны. Но объективно любая инициатива женщины является феминистской: в условиях патриархата личное для женщин приобретает политическое звучание. Так же и с этой литературой. Другое дело, является ли она объективно литературой.

Б. К. Можно поставить вопрос по-другому. Феминистская литература — это литература, которая способствует целям, которые перед собой ставит феминизм. Так?

И. С. Строго говоря, та литература, которая способствует социальному освобождению женщины.

Б. К. В этом случае повесть Фэй Уэлдон является антифеминистской. Потому что она способствует раздражению против женщин. В ней ведь не просто обозначена ситуация, но и выход намечен. Главный герой обретает новое лицо, становится моложе и симпатичнее. Чисто женский вариант хэппи-энда.

Электрик находит себе лучшую партнершу, при этом всей своей повадкой расписываясь перед читателем в собственной низменности.

Доктор Хан женится на девушке, которая специально забеременела, чтобы женить его на себе. Таким образом, он тоже подчиняется женщине.

Средний мужчина, читая повесть Фэй Уэлдон, испытывает очень сильное раздражение.

И. С. Согласитесь, она знает, о чем пишет. Она пишет о людях, которые заменяют свою жизнь схемами. Разве вы не знаете, что в схемах гораздо легче жить. Вокруг нас миллионы таких людей. О них что, нельзя писать? Раньше их называли обывателями, «серой массой». Чем они серые? Одна — профессор, второй — врач. Все они интересны сами по себе. Что их объединяет? Они очень умело взаимодействуют друг с другом, у них четко сработанный механизм общения. Немного страдает девочка по имени Гермес, которая оказывается вне этой схемы, но и она туда встраивается в конечном счете. Конечно, так им легче жить. Им кажется, что они живут чувствами, кажется, что они любят друг друга.

Мы же с вами сейчас говорим не о Человеке с большой буквы, а о homo simbolicus. Феминизм не может говорить о новом Адаме.

Б. К. Значит, феминизм не может говорить об искусстве. Тем не менее существует феминистская критика, которая занимается именно искусством. Выходит, феминизм претендует на нечто большее, чем на разговор о человеке как о социальном типе, как о презентации того или иного мифологического звена.

И. С. Феминистская критика хорошо осознает и ограниченность своего объекта, и свою собственную ограниченность как интегрирующей теории. Феминизм не есть Теория Всего. Это описание и анализ положения женщины в обществе и культуре, а также стратегия поведения женщины в условиях патриархального давления. С точки зрения русской религиозно-философской традиции, столь популярной сейчас, здесь отсутствует предмет разговора, поскольку космическими аспектами бытия феминизм, как правило,

не занимается. Точно так же я не стала бы и преувеличивать значение личности. Ведь новый Адам — это новый Адам, а личность — это всего лишь комплекс установок. И та ограниченная свобода, которая доступна нам — мужчинам и женщинам — в условиях светской, атеистической культуры,— это всего лишь свобода выбирать между сознательными свободными же установками и заморочками, насаждаемыми в нас (и с нами) для удобства взаимных манипуляций. В этом отношении идеи феминизма полезны, а опыт — и положительный, и отрицательный — поучителен и для мужчин и для женщин: даже если не ходишь в церковь, нужно все-таки стремиться отличать кесарево от Богова.

Б. К. Конечно, должны существовать не свобода слова — и свобода паузы, а свобода и-слова-и-паузы. Но мне кажется, что методы, которые применяются для достижения такого паритета, а именно критика бытующих в обществе мифологий, конвенций, критика имиджей и критика языка могут привести только к противоположному результату. К паритету может привести только игнорирование всего вышеназванного. Единственный путь к торжеству какого-либо «изма», если такой путь вообще можно отыскать,— это самоустранение «изма». Не ради агитационного эффекта. Ради реального результата.

У книжной витрины

БАРРИ АНСВОРТ

Священный голод

Barry Unsworth. **Sacred Hunger. «Hamish Hamilton»**

Барри Ансворт — автор девяти книг, член Королевского литературного общества. За роман «Священный голод» он получил премию «Букер» 1992 года, разделив ее с канадцем Майклом Ондаатжи (см. ниже).

1752 год. Корабль «Ливерпульский купец», принадлежащий английскому коммерсанту Уильяму Кемпу, везет рабов с африканского побережья на плантации Вест-Индии. На его борту находится племянник Кемпа, корабельный врач Мэтью Пэрис. В пути рабы поднимают восстание, к ним присоединяется взбунтовавшаяся команда. «Ливерпульский купец» не приходит в порт назначения, разоренный Кемп кончает жизнь самоубийством, и его сыну Эразмусу приходится поправлять свои дела, женившись на богатой невесте. Он составляет себе капитал на торговле сахаром, то есть опять же на труде рабов.

На самом деле корабль добирается до Флориды, где мятежники и уцелевшие рабы организуют общину на принципах равенства, установленных Пэрисом и его другом, молодым французом Дельбланком. Дельбланк верит в то, что человеческую природу можно изменить к лучшему, и ненавидит «священный голод», из-за которого человек становится живым товаром. Однако вскоре суровая действительность показывает, что идеалы приходится подкреплять жестокостью...

А. С. БАЙЕТТ

Ангелы и насекомые

A. S. Byatt. **Angels and Insects. «Chatto and Windus»**

Современная английская писательница, критик и литературовед Антония С. Байетт за роман «Обладание» была удостоена премии «Букер» в 1990 году. Действие ее новой книги «Ангелы и насекомые» также происходит в XIX веке, однако на сей раз это не цельное произведение, а две отдельные части, впрочем, объединенные некоторыми общими персонажами и темами, главная из которых — духовный мир викторианской семьи.

Новелла «Морфо Эугениа» (озаглавленная по латинскому названию тропической бабочки) повествует о встрече исследователя насекомых Уильяма Адамсона с Евгенией, дочерью богатого коллекционера, носящей траур по погибшему жениху. Уильям воспринимает Евгению как некую редкую бабочку, поймав которую (то бишь женившись на ней), он тем не менее сам оказывается в сетях монотонного и бессмысленного существования в доме ее отца. Дабы хоть как-то развеяться, Уильям пишет сказку и изучает жизнь колонии древесных муравьев.

Вторая новелла, «Ангел супружества», тематически в значительной мере является прозаической творческой переработкой стихотворения Теннисона: оно посвящено памяти рано умершего друга, Артура Генри Хэллама, жениха сестры Теннисона — Эмили. Она-то и становится главной героиней повести и клиенткой некоей вдовы, обратившейся к потустороннему миру и превратившейся в медиума. Опираясь на вполне реальный исторический сюжет, А. С. Байетт создает причудливое философское произведение — трагическое и забавное одновременно. Если первая часть литературного диптиха, «Морфо Эугениа», отличается четкостью образов и драматургии, то «Ангел супружества» в большей степени насыщен идеями и обобщениями, касающимися религии, материализма, жизни после смерти и связи всего этого с семейными отношениями.

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

Ангел молчал

Heinrich Böll. **Der Engel schwieg. «Kiepenheuer und Witsch»**

В архиве городской библиотеки Кёльна хранится около 100 неопубликованных произведений Генриха Бёлля. «Ангел молчал», его первый послевоенный роман, написан в 1949—1951 годах. К изданию его подготовил профессор Вернер Белльман.

В день капитуляции, 8 мая 1945 г., дезертировавший из своей части фельдфебель Ханс Шницлер возвращается в родной разбомбленный город — в нем без труда можно узнать Кёльн. Жизнь теплится лишь в подвалах и убежищах, люди ищут куска хлеба, который спас бы их жизнь. Среди этих развалин бродит Шницлер. Женщина по имени Регина Унгер дает ему приют, кормит и помогает постепенно выйти из состояния пассивности. В романе возникают мотивы и символы, которые будут характерны для более поздних произведений Бёлля. Есть здесь и «темный» человек — д-р Фишер, эстет и политический оппортунист, «неофициальный советник» кардинала по культурным проблемам — первый выпад писателя против католической церкви за ее сотрудничество с третьим рейхом и предательство по отношению к беднякам.

Хотя роман и был в свое время принят издателем, он так и не вышел из-за того, что после 1948 года вкусы публики резко изменились: уровень жизни после денежной реформы

повысился, и мало кому хотелось читать о солдатах, вернувшихся от ужасов войны к разрушенным домам и семьям. Часть книги была впоследствии опубликована в виде коротких рассказов, целые куски из нее вошли в более поздние произведения, например, в роман «И не сказал ни единого слова» (1953).

СЕБАСТЬЯНО ВАССАЛЛИ

Марко и Маттио

Sebastiano Vassalli. **Marco e Mattio. «Einaudi»**

Роман итальянского писателя Себастьяно Вассалли затрагивает две основные темы, характерные для его произведений последних лет. Он имеет посвящение — «Сумасшедшим» — и в этом смысле перекликается с книгой «Ночь кометы» (1989), написанной в память о «безумном» поэте Дино Кампана. Другая тема — поиск корней современной итальянской нации — уже звучала в «Золоте мира» (о послевоенном периоде) и в «Химере» (об эпохе средневековья).

События в новом романе происходят в конце XVIII и начале XIX века; в центре повествования — жизнь Маттио Ловата, мечтательного и неглупого сына сапожника из деревушки на северо-востоке страны. Из-за постоянного недоедания Маттио постепенно теряет здоровье, а затем и рассудок (о чем говорит его имя: по-итальянски «матто» означает «сумасшедший»). Бедняга искренне верит, что его предназначение — спасти человечество через самопожертвование, подобно Христу. Когда же он пытается распять самого себя, то его помещают на венецианский остров Сан-Серволо, в один из первых европейских домов для умалишенных.

История Маттио на протяжении всего романа переплетается с историей Марко, который впервые появляется в деревушке как Маркус Штромер, профессор философии и богословия из Баварии. Этот таинственный чужестранец с темным прошлым не раз внезапно исчезает и вновь появляется уже в ином обличье. Возможно, Марко — лишь плод больной фантазии Маттио (ибо возникает на страницах романа в основном во время бреда у безумца), либо воплощение учености в сочетании с образом вечного бродяги.

СТИВЕН КИНГ

Игра Джеральда

Stephen King. **Gerald's Game. «Viking»**

Первое издание нового романа популярного мастера прозы сверхъестественных тайн и ужасов вышло тиражом в полтора миллиона экземпляров, и книга тут же попала в список бестселлеров.

Джесси и Джеральд Берлингейм прожили в браке более двадцати лет. «Игра Джеральда» — это секс на грани извращений. В последнее время муж пристрастился к такому развлечению: он приковывает жену наручниками к ножке кровати... Во время одного из сеансов этой новой игры Джесси случайно убивает изобретательного мужа и больше суток остается узницей в собственной спальне. В течение долгих часов она борется не только со стальными оковами, но и со всем, чего она боялась прежде. Хлопающая от ветра незапертая дверь вызывает мысли о неведомых опасностях, тени, сгущающиеся в углах, таят немую угрозу...

ПАТРИК МОДИАНО

Цирк приезжает

Patrick Modiano. **Un cirque passe. «Gallimard»**

Лауреат Гонкуровской и других премий Патрик Модиано не перестает радовать читателей. В тринадцатом по счету романе «Цирк приезжает» он снова обращается к городу своей юности — Парижу 60-х годов. Действие книги разворачивается в излюбленных им местах — в Булонском лесу, на площади Пигаль и улице Дезе.

Сюжет носит детективный характер: рассказчик, молодой человек восемнадцати лет по имени Жан, живет один в обветшалом доме в центре Парижа вместе со старым другом своего отца, таинственным образом скрывающегося в Женеве, видимо, от полиции. Мать юноши обитает где-то на юге.

Молодого человека задерживает полиция под предлогом того, что его имя фигурирует в подозрительной записной книжке. Выходя из Дворца правосудия после допроса, он знакомится с молодой женщиной по имени Жизель, которая скрывается от мужа — служителя цирка. Друзья Жизель — темные личности, занятия которых кажутся весьма странными. Молодой человек помогает Жизель оказать сомнительную услугу ее друзьям — передать послание незнакомцу, который наводит на них такой ужас, что они решают немедленно уехать из Парижа в Рим. Однако перед самым отъездом Жизель погибает в автокатастрофе.

МАЙКЛ ОНДААТЖИ

Раненый англичанин

Michael Ondaatje. **The English Patient. «Bloomsbury»**

Уроженец острова Шри-Ланка Майкл Ондаатжи проживает в Торонто и представляет канадскую англоязычную литературу. Он — автор нескольких книг, в том числе имевшей международный успех «В львиной шкуре» (1987), повествующей о строительстве Торонто. Его новый роман «Раненый англичанин» удостоен премии «Букер» за 1992 год.

Действие разворачивается весной 1945 года на полуразрушенной вилле в окрестностях Флоренции. После эвакуации полевого госпиталя союзных войск здесь остаются только медсестра, канадка Хэна, и ее подопечный — умирающий от страшных ожогов английский летчик, подобранный бедуинами в пустыне Северной Африки. Позднее на вилле появляются еще двое: Дэвид Караваджо, до войны друживший с отцом Хэны в Канаде и занимавшийся воровством, и молодой сапер Кирпал Сингх, по прозвищу Кип — сикх из индийского штата Пенджаб, в совершенстве владеющий искусством обезвреживания неразорвавшихся мин.

Этот квартет оказывается как бы вне времени и событий и погружается в горькие воспоминания: у Хэны война отняла отца,

мужа и ребенка; Караваджо, завербованный спецслужбами союзников, был раскрыт и во время пыток изуродован — ему отрубили большие пальцы на обеих руках; Кип добровольцем отправился защищать Британскую империю, однако скоро разочаровался в «цивилизованных» белых людях (в конце романа, узнав об атомной бомбардировке Хиросимы, он сходит с ума). Более всего глобальные потрясения затронули судьбу раненого англичанина: составляя карты Северной Африки, он влюбляется в жену своего английского коллеги и становится причиной гибели их обоих. Проницательный Караваджо подозревает неладное, и вполне справедливо, хотя Хэна и Кип ему не верят: «англичанин» — на самом деле венгр, граф Ладислаус де Алмаши, в начале войны помогавший немцам переправлять шпионов через пустыню в Каир... Так постепенно рушится иллюзорно-спокойный мир четырех человек.

РЕНЕ ДЕ ЧЕКАТТИ

Ночь в чужой стране

René de Ceccatty. **Nuit en pays étranger. «Julliard»**

Рене де Чекатти известен как литературный критик, прозаик и автор прекрасных переводов на французский язык произведений современных итальянских и японских писателей, среди которых Моравиа, Пазолини, Звево, Мисима, Кобо Абэ и др. Его новая книга «Ночь в чужой стране» — беллетризованная биография удивительной женщины, итальянской поэтессы, писавшей под именем Сибилла Алерамо. В 1906 году (ей тогда было 30 лет) она опубликовала ошеломляюще-откровенную автобиографию «Женщина», ставшую одним из поворотных пунктов в развитии феминизма. Книга привлекла внимание Горького, Цвейга, Джойса, Родена.

Среди ее друзей были Валери Ларбо, Бенедетто Кроче, Виченцо Кардарелли, Сальваторе Квазимодо, Элеонора Дузе. Ее политические пристрастия круто менялись. Сначала борьба за распространение феминизма, увлечение идеями социалистов, активная поддержка ИКП, подпись под антифашистской петицией Бенедетто Кроче (1925 год). А затем, в январе 1929 года — долгожданное и многое решившее интервью с Муссолини, с которого и начинается книга: зная, что Тито Дзанибони, покушавшийся на него четыре года назад, был любовником Сибиллы, дуче все же предложил ей денежную помощь и пост официального фашистского стихотворца. Когда начинается война, это положение начинает тревожить ее, и она отрекается от всего, что написала... Рене де Чекатти писал свою книгу на основе архивов института Грамши в Риме.

АЙРИС МЕРДОК

Метафизика как путь к нравственности

Iris Murdoch. **Metaphysics as a Guide to Morals. «Chatto and Windus»**

В своей новой книге известная английская писательница и драматург, много лет преподававшая философию в Оксфорде, исследует серьезную общечеловеческую проблему: Что такое нравственность? насколько она важна и истинна? является ли она основой нашего существования или это — малозначимое и второстепенное понятие? Исторически нравственность веками была связана с религией, поэтому анализ различных верований и метафизических систем, служивших им в прошлом опорой, занимает одно из главных мест в книге. Айрис Мердок касается столь щекотливых тем, как порожденные религией нетерпимость, раздоры и ложные ориентиры. Размышляя о взаимном влиянии религии и морали, автор отмечает, что многих людей отталкивает в различных конфессиях — и в частности, в христианстве — проповедь некоторых явно неприемлемых моральных принципов, возводимых в догму. Поэтому, как считает А. Мердок, настала пора для диалога между философией нравственности и избавляющимся от мифов богословием, причем особую, новую роль в этом могли бы сыграть великие метафизики прошлого — например, Платон и Кант.

Сейчас философия как дисциплина оказалась в опасности: она легко распадается на психологию, социологию, антропологию и иные смежные науки; в отдельных университетах закрываются философские факультеты; есть попытки ограничить узкоспециальными рамками и философию нравственности — этику. Отсюда столь значимо и своевременно появление книги Айрис Мердок, которая рассматривает конкретные вопросы моральных ценностей и принципов в широком философском контексте, где нашлось место взглядам Св. Ансельма и Декарта, Шопенгауэра и Витгенштейна, положениям дзэн-буддизма и мистическим воззрениям Кьеркегора и Симоны Вайль.

КОНРАД НИШЛАГ

«...и завтра снова будет хлеб»

Konrad Nieschlag. **«...und morgen gibt es wieder Brot». «Oncken Verlag»**

Книга Конрада Нишлага имеет подзаголовок «Пять лет в русских лагерях». Совсем юным, в самом конце войны, попал Конрад Нишлаг в плен и до 1950 года пробыл в русских лагерях. Теперь, через пятьдесят лет, он рассказывает об этом периоде своей жизни в форме дневника. Непосильная работа, голод, болезни и вместе с тем надежда на освобождение, юношеская вера в будущее, отход от идей национал-социализма, на которых он был воспитан, обращение к религии... Когда Конрад наконец возвращается в свой родной Ганновер, это зрелый человек со своим мировоззрением. Годы плена не прóшли для него даром, они многому его научили. С благодарностью он вспоминает людей, которые помогли ему пережить тяжелые годы... Этим людям и посвящена книга, в названии которой Конрад Нишлаг дает несколько измененные слова из Библии.

Курьер «ИЛ»

Великобритания

НА ЧТО СПОСОБНЫ СКУЧАЮЩИЕ ДАМЫ

В 1989 году в одном из неприметных домов Брайтона сидела и скучала литератор, журналистка и переводчица с русского языка Хелен Захави. И тогда ей пришла в голову мысль написать книгу о приключениях женщины, которая от скуки убивает всех мужчин, каких встречает на своем жизненном пути. Закончив рукопись, Хелен Захави предложила ее первому попавшемуся издателю — и тот сразу же опубликовал этот опус под названием «Паршивые выходные». Историю кровожадной маньячки и «потрошительницы» довольно скоро окрестили «феминистским вариантом криминального романа ужасов», однако это произведение порадовало далеко не всех феминисток — некоторые из них сочли его порнографическим. Режиссер Майкл Уиннер, напротив, обнаружил в романе массу достоинств и снял по нему фильм. Вероятно, экранизация — как и сама книга — не останется незамеченной.

Германия

ЧТО «НАКВАКАЛА» ЖАБА ГЮНТЕРУ ГРАССУ

Последний роман известного немецкого писателя Гюнтера Грасса вызвал оживленные дискуссии и самые разные отзывы. Известный литературный критик М. Райх-Раницкий заявил, что фантазия Грасса иссякла. Газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг» поместила роман в список книг, от которых надо предостеречь читателей; другие издания

Гюнтер Грасс с жабой. Гравюра писателя из книги «Кваканье жабы»

(Журнал «Гутен Таг»)

оценивают его как «историю союза двух сварливых пенсионеров», «болтливый опус» и «скучную бухгалтерию». А вот известный писатель Анджей Щипёрский считает, что это произведение утешит многих поляков.

Роман называется «Кваканье жабы» (перевод названия приблизительный: по-немецки «жаба наквакала» означает примерно то же, что по-русски «ворона накаркала») — в зверинце Грасса стало одним животным больше. Действие происходит в том месте, которое справедливо можно бы назвать «страной Грасса» — Гданьск и его окрестности, откуда родом сам писатель и где разворачиваются события во многих его произведениях. 2 ноября 1989 года, за несколько дней до падения Берлинской стены, на гданьском кладбище случайно встречаются немецкий искусствовед Александр Решке и полька — реставратор Александра Пятковска. Это знакомство служит началом любви двух немолодых людей и рождает грандиозную идею: основать польско-немецкое кладбищенское общество, которое позволило бы всем уроженцам Гданьска хотя бы после смерти вернуться на землю, откуда они были изгнаны после второй мировой войны, и тем способствовать польско-германскому примирению. Вскоре задуманное начинает осуществляться. «Кладбище примирения» действует, покойников везут даже из-за океана; поблизости строятся дома и площадки для гольфа... Инициаторам же остается бессильно наблюдать, как благородная идея превращается в фарс.

Гюнтер Грасс весьма болезненно воспринял критику своего романа. В интервью журналу «Штерн» он обвинил своих «зоилов» в том, что они руководствуются не литературными, а политическими соображениями. Между тем отпечатан уже третий тираж книги, появились положительные рецензии и переводы на другие языки. Видимо, кваканье жабы не всегда приносит несчастье.

Италия

ОБЫЧНЫЙ ОРИГИНАЛ

«Самый выдающийся итальянский писатель» — так говорит о самом себе Альдо Бузи. И не только говорит, но и делает все возможное, дабы оправдать такое определение. Недавно перед многочисленной аудиторией, собравшейся послушать его лекцию, он предстал совершенно голым. «Знаете, известному писателю, которому пока еще сорок с небольшим и который по-прежнему весьма недурен собой, нелегко решиться на подобное,— признался затем Альдо Бузи.— Мне хотелось понять: какие чувства это разбудит — не

Витрина книжного магазина в Варшаве

(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»)

в окружающих, а во мне. И, как оказалось, я ощутил необычайную невинность. Что касается публики, то она, похоже, была в шоке всего десяток секунд, зато потом люди проявили столько нежности, столько любви!» В Италии, по его словам, «существует два мира — мир беллетристики и мир Альдо Бузи, и они никогда не пересекаются». В Лондоне на презентации перевода одного из своих последних романов писатель заявил, что Англией правят «бедняги, которых угораздило получить кое-какое образование», и посоветовал англичанам «избавиться от выпускников Оксфорда».

Однако Альдо Бузи, несмотря на все свои вызывающие слова и поступки, способен вести поистине монашеский образ жизни ради того, чтобы успеть за десять лет написать шесть романов. Его новая книга, выпущенная издательством «Мондадори», называется «Обычные люди». В традиционной для произведений А. Бузи разоблачающе-эпатирующей манере она рассказывает о клиентах знаменитого на всю Италию института красоты — «обычных людях», которые толстеют, садятся на диету, заботятся о теле, а душа меж тем продолжает страдать... В этом гротескном литературном портрете современного итальянского общества нашлось место и таинственно-криминальным штрихам. «Если после смерти чему-нибудь суждено остаться, пусть останутся слова»,— сказал однажды Альдо Бузи. Пожалуй, он на сей счет может не волноваться: его книги читают во всей Европе, в обеих Америках и, разумеется, у него на родине.

Польша

В КНИЖНОМ МОРЕ — ПРИЛИВ

Что сегодня читают поляки? Каковы их литературные предпочтения? Какова ситуация на книжном рынке и в издательском деле? На эти и другие вопросы, собрав и обработав солидный материал, попыталась ответить известная варшавская журналистка, писательница и переводчица Анна Хусарска. По ее мнению, нынешний читательский спрос в Польше преподносит сюрпризы на грани сенсации. Так, среди самых популярных авторов оказались Владимир Набоков и... Адольф Гитлер (!) Книга последнего «Майн кампф» вышла в анонимном переводе под маркой несуществующего краковского издательства и была мгновенно раскуплена; эта скандальная публикация вызвала шок и ожесточенные споры (многие считают, что люди должны хорошо представлять себе и отличать те идеи, которые сеют ненависть). В случае с «Лолитой» поляки стали жертвой перевода, загубившего знаменитую книгу. Однако неизменный интерес публики к произведениям Набокова все же способствовал определенному коммерческому успеху романа. Не залеживается на полках эротика: «Фанни Хилл» и ее современная коллега «Эммануэль» разошлись впечатляющими тиражами: 643 тысячи и 230 тысяч экземпляров соответственно.

В списке отечественных бестселлеров сильны позиции классиков. В первой десятке — Нобелевский лауреат 1905 года Генрик Сенкевич, два писателя того же периода — Болеслав Прус и Элиза Ожешко, а также великий польский поэт Адам Мицкевич. Среди зарубежных авторов тон задают представители англо-американской литературы (единственное исключение — Марсель Пруст).

Долгие годы с мировой культурой поляков знакомил «самиздат», давая пищу для ума и души. Таким образом, подпольные издания были одним из средств борьбы с цензурой, а потому воспринимались весьма положительно. Теперь же интеллектуальное пиратство превратилось для Польши в острейшую проблему.

Книгоиздание вообще (а пиратское в особенности) приносит немалую прибыль, поэтому неудивительно, что число издательств растет. Однако многие из них занимаются выпуском душещипательных романов «для домохозяек», псевдоисторических саг, гороскопов. Крупное издательство «БГВ» рискнуло ввести новую для Польши услугу — посылать книги почтой. После первого же объявления было получено 10 тысяч заказов, большинство на две книги: «Эротический массаж» и «Пособие по эротике для мужчин».

Пользуются спросом мемуары политических и государственных деятелей. Здесь и запоздалые оправдания бывших «слуг наро-

Марлен Дитрих в своей артистической уборной в Бостоне

(Журнал «Эт Рэндом»)

да» (Герека, Ярузельского), и свежие воспоминания посткоммунистических лидеров (Яцека Куроня, Кшиштофа Козловского, Леха Валенсы).

США

«ЦЕЛУЮ ИЗ НЕБЫТИЯ»

Незадолго до смерти легендарная Марлен Дитрих написала своему давнишнему другу прощальное письмо, которое заканчивалось так: «Не плачь обо мне. Целую из небытия». Этим другом был фотограф, журналист и художник Александр Либерман. С самого начала их знакомства в Нью-Йорке он почти на полвека сумел завоевать симпатии Марлен, относившейся к нему с доверием и задушевностью, необычными для нее. В память о талантливой актрисе и прекрасной женщине А. Либерман решил выпустить фотоальбом под названием «Марлен: фотомемуары близкого друга». В него вошло пятнадцать наиболее ярких кадров из фильмов, а также около ста ранее нигде не публиковавшихся снимков, сделанных самим составителем: Марлен на кухне, в гримерной, на пляже, на сцене...

Альбом открывается очерком А. Либермана, а своеобразным музыкальным приложением специально для этого издания служит компактный диск фирмы «Сони» с записями десяти популярнейших песен в исполнении актрисы.

Удачным дополнением к фотообразу незабываемой Марлен можно назвать подробнейший портрет, который на 1450 страницах биографической книги «Марлен Дитрих» нарисовала ее дочь, Мария Рива. Так совместными усилиями преданный друг одной из самых популярных актрис XX века и ее неизменная спутница в жизни создали панорамное полотно на радость поклонникам Марлен.

АГЕНТ 007 «РАСКОЛОЛСЯ»

В 1953 году Ян Флеминг опубликовал роман «Казино «Ройал», в котором читатели познакомились с агентом «007» по имени Джеймс Бонд. Этому герою суждена была долгая жизнь в детективной литературе: роман имел солидное продолжение, и за прошедшие сорок лет общий тираж книг составил 90 миллионов экземпляров. Сегодня произведения Яна Флеминга опубликованы на 35 языках, в том числе на украинском и китайском. Любопытна история появления «детского» выпуска в 1965 году. Ливанские деятели культуры были обеспокоены тем, что родному языку этнических армян грозит забвение, ибо его подрастающим носителям наскучили народные сказки из школьной программы по чтению. Тогда детям предложили захватывающие приключения агента 007 в армянском переводе, соединив таким образом приятное с полезным.

Интересно, что существует вполне реальный человек, которого газета «Таймс» называет настоящим Джеймсом Бондом. Это Уильям К. Диэр — именитый частный детектив, возглавляющий собственное сыскное агентство в Далласе. Восемнадцатилетним парнишкой поступил он на работу в дорожно-патрульную службу штата Флорида, однако вскоре стал грозой правонарушителей всех мастей. Как и Джеймс Бонд, Уильям К. Диэр побывал во многих переделках, исполняя свой долг: задыхался в багажнике автомобиля; пробирался по кишащим крысами узким подземным ходам, разыскивая пропавших детей; сажал самолет ночью, в кромешной темноте, чтобы найти спрятанные трупы. Он руководил эксгумацией тела Ли Харви Освальда, взявшись опровергнуть версию о заговоре; в другой раз, выдавая себя за врача, дежурил в больнице, чтобы поймать скрывавшегося там преступника. Опасности подстерегали его на каждом шагу: он был ранен но-

Обложка книги «Частный детектив»

(Каталог издательства «Блумсбери»)

жом в спину, а однажды ему располосовали горло и бросили, посчитав мертвым. Но он выжил, и история его службы, как и приключения Джеймса Бонда, получила продолжение. «Наверное, мне просто везло»,— говорит Уильям К. Диэр, размышляя о перипетиях своей бурной жизни в автобиографической книге «Частный детектив» (издательство «Блумсбери»).

Франция

КОЕ-ЧТО О ДНЕВНИКАХ

Многие писатели ведут дневник, который является для них своеобразной творческой лабораторией. Жорж Сименон заявлял без обиняков: «Я хотел бы вложить сюда все, что не умещается в моих романах».

Дневники писателей носят не только сугубо личный характер. Так, Жорж Дюамель задумал «Дневник 1925—1956 гг.» как своего рода «бухгалтерскую книгу», предназначенную главным образом его детям, куда он заносил в первую очередь «события своего сада» вперемежку с полемическими выпадами в адрес Жюля Ромена и воспоминаниями о ПЕН-клубе.

Некоторые писатели стремятся прежде всего быть свидетелями своего времени. Например, «Дневник эпохи 1926—1946 гг.» Дени де Ружмона является хроникой политических событий, запечатленных пером «ангажированного» европейского интеллектуала.

Существуют и дневники, посвященные исключительно одному событию, как «Дневник одного фильма» Жана Кокто, рассказывающий о съемках фильма «Красавица и чудовище», или его же «Опиум», повествующий о том, как он проходил курс лечения от наркомании.

Однако дневник — не только излюбленный жанр французских писателей, но и один из наиболее распространенных видов досуга. Согласно данным опросов, в настоящее время три миллиона французов ведут личный дневник как в классической форме записей, датированных определенными числами, так и в форме мемуаров либо автобиографий.

Год назад усилиями писателя Филиппа Лежёна во Франции была создана Ассоциация в поддержку автобиографий и автобиографического достояния (АПАПА), цель которой — объединить авторов — любителей дневников и автобиографий, а также поддерживать их в этом начинании, снабжая полезной информацией и способствуя установлению их связей с единомышленниками.

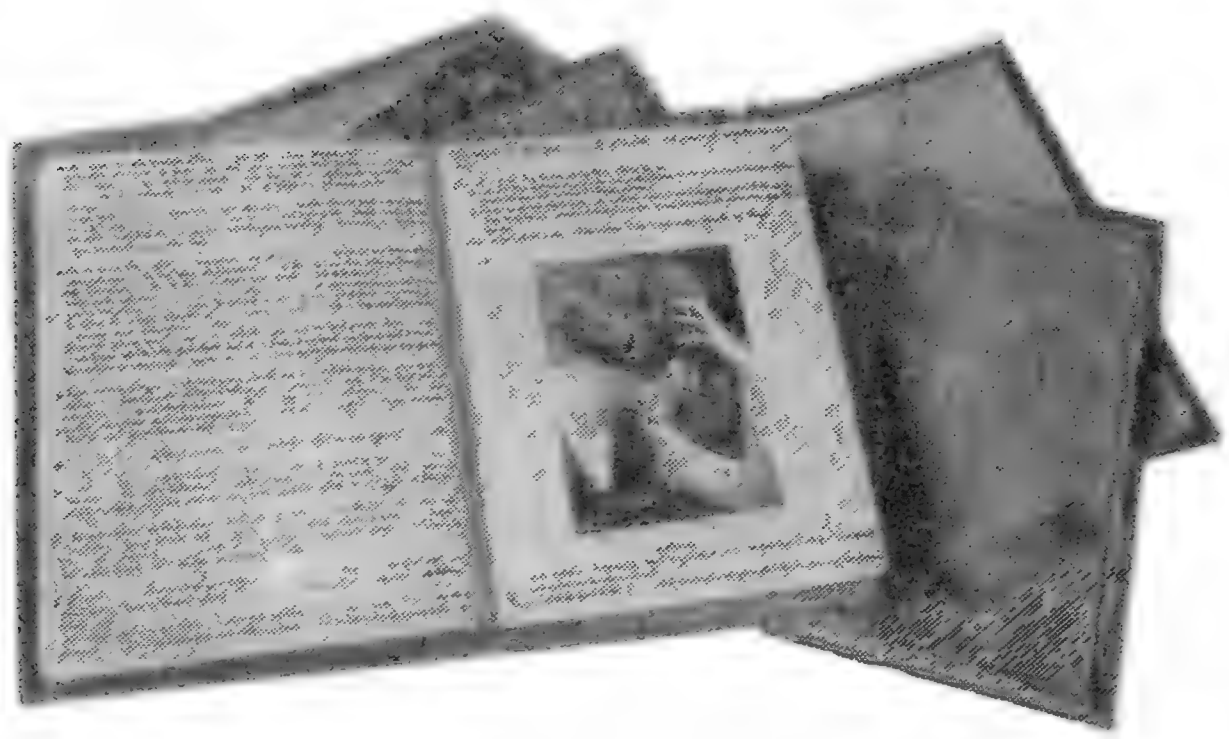
Швейцария

ПОЧЕМУ Я НЕ ШВЕЙЦАРЕЦ, ПОЧЕМУ Я НЕ ПИСАТЕЛЬ

До чего же повезло швейцарским писателям — даже самые скромные их труды щедро вознаграждаются. По свидетельству «Журналь де Женев», во франкоговорящей части страны присуждается около сорока литературных премий, в то время как публикуется ежегодно не более ста новых книг. Повезло и чле-

Дневник

(Журнал «Лир»)



нам жюри — никто не оказывает давления, нет нужды идти на компромиссы. С другой стороны, не всегда награждаются только шедевры, да и на коммерческий успех книги премии мало влияют. Впрочем, лауреаты на бедность не жалуются, ибо получаемые суммы нередко составляют несколько тысяч швейцарских франков, а «Гран-при» Фонда развития культуры (кантон Во) порадовал бы любого: все-таки 100 тысяч франков! Как справедливо заметил Этьен Барильер, первым удостоившийся этой награды в 1987 году, «это единственная премия в Швейцарии, которая может круто изменить материальное положение писателя».

По традиции, денежное и иное поощрение должны получать авторы выдающихся и оригинальных произведений. Именно так и произошло в случае с присуждаемой раз в четыре года высшей наградой городских властей Женевы — в 1991 году ее обладателем стал Робер Пенже, один из лидеров литературного течения «новый роман».

Не следует забывать и о тех преимуществах, которые несет с собой какой-либо приз и которые не измерить деньгами: известность, признание публики, престиж в широких писательских кругах. Вот что говорит по этому поводу романист Жак Шессекс, единственный швейцарец среди лауреатов Гонкуровской премии: «Когда в 1973 году я получил ее, самое главное, что она мне дала,— психологическую, моральную уверенность. Ведь до этого мне приходилось нелегко: и в Лозанне, и в Женеве меня всячески шельмовали и хулили. А после — все разом изменилось».

По материалам еженедельников «Лондон ревью оф букс», «Таймс литерари сапплмент» (Великобритания), «Нью-Йорк таймс бук ревью» (США), журналов «Шпигель», «Штерн» (Германия), «Паблишерс уикли» (США), «Лир», «Магазин литтерер» (Франция) и сообщениям наших корреспондентов

Авторы этого номера

ДЕРЕК УОЛКОТТ (DEREK WALCOTT; род. в 1929 г.) — поэт и драматург, уроженец острова Сент-Люсия (Вест-Индия). Лауреат Нобелевской премии (1992) и многих литературных премий. В настоящее время живет в США, преподает литературу и писательское мастерство в Бостонском университете. Широкую известность Д. Уолкотту принесла его первая книга стихов «В зеленой ночи» («In a Green Night», 1962). Затем вышли сборники «Изгнанник» («The Castaway», 1965), «Залив» («The Gulf», 1969), «Гроздья моря» («Sea Grapes», 1976), «Царство звездных яблок» («Star-Apple Kingdom», 1979; стихи из этого сборника и сб. «Гроздья моря» напечатаны в «ИЛ», 1983, № 3). Д. Уолкотт — автор многих пьес, пользующихся большой популярностью.
Пьеса «День поминовения» издана в США в 1980 г. («Remembrance». New York, Farrar, Straus and Giroux, 1980).
Эссе Иосифа Бродского «Шум прибоя», сопровождающее пьесу Д. Уолкотта, взято из книги избранных эссе поэта «Меньше единицы» (New York, Farrar, Straus and Giroux, 1986). Печатается в журнальном варианте.

РЫШАРД КРЫНИЦКИЙ (RYSZARD KRYNICKI; род. в 1943 г.) — польский поэт, переводчик немецкой и австрийской поэзии. Дебютировал в 1966 г. Автор поэтической тетради «Пыл погони, пыл побега» (1968), книги стихов «Акт рождения» (1969). С 1977 г. печатался на Западе и в самиздате (в связи с запретом на его публикации в Польше). Публикуемые стихи — из книги «Коллективный организм» («Organizm zbiorowy». Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1975) и книги избранных стихотворений «Непокорные небытию» («Niepodlegli nicości». Kraków, Znak, 1989).

АДАМ ЗАГАЕВСКИЙ (ADAM ZAGAJEWSKI; род. в 1945 г.) — польский поэт, прозаик, эссеист, публицист. В 1968—1975 гг. член краковской поэтической группы «Тераз» («Сейчас»). Его первая книга стихов — «Сообщение» (1972). В соавторстве с Корнхаузером выпустил книгу статей о современной польской литературе «Непредставленный мир» (1974). С 1978 г. печатался на Западе и в самиздате. Публикуемые стихи — из книг «Письмо. Ода множественности» («List. Oda do wielości». Paryź, Instytut Literackie, 1983) и «Ехать во Львов» («Jechać do Lwowa». Londyn, Aneks, 1985).

ЮЛИАН КОРНХАУЗЕР (JULIAN KORNHAUSER; род. в 1946 г.) — польский поэт, прозаик, критик, литературовед. Исследователь сербской и хорватской литературы XX века. Его первая книга стихов «Настанет праздник и для лентяев» (1972). В 1968—1975 — член краковской поэтической группы «Тераз». По-русски стихи Ю. Корнхаузера печатались в «ИЛ» (1979, № 7). Публикуемые стихи взяты из книги избранных стихотворений «148 стихотворений» («148 wierszy». Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1982).

СТАНИСЛАВ БАРАНЧАК (STANISŁAW BARAŃCZAK; род. в 1946 г.) — польский поэт, критик, литературовед, переводчик английской и американской поэзии. Дебютировал в печати в 1965 г. Его первая книга стихов «Корректура лица» вышла в 1968 г. Один из основателей Комитета Защиты Рабочих (1976) и журнала «Запис» (1977). С 1977 г. печатался на Западе и в самиздате (в связи с запретом публиковаться в Польше). С 1981 г. преподает польскую литературу в Гарвардском университете в США. Редактор журнала «The Polish Review». Публикуемые стихи — из книги избранных стихов «159 стихотворений» («159 wierszy». Kraków, Znak, 1990).

ВИКТОР ВОРОШИЛЬСКИЙ (WIKTOR WOROSZYLSKI; род. в 1927 г.) — польский поэт, прозаик, эссеист, публицист, переводчик русской поэзии и прозы, исследователь русской литературы XIX—XX вв. Автор многих сборников стихов, книг рассказов, повести о Салтыкове-Щедрине, книг о Пушкине, Есенине, Маяковском.
По-русски стихи В. Ворошильского печатались: из книги «Дневник интернированного» («ИЛ», 1991, № 7), «Венгерский дневник» в журнале «Искусство кино», (1992, № 4).
Публикуемая статья прислана в рукописи.

АЛЬБЕР КАМЮ (ALBERT CAMUS; 1913—1960) — французский писатель, драматург, эссеист, лауреат Нобелевской премии (1957). На русский язык переведены многие его произведения, в том числе роман «Чума» («La peste», 1947; п. 1969), повести «Падение» («La chute», 1956; п. 1969), «Счастливая смерть» («ИЛ», 1992, № 2), пьеса «Калигула» («Caligula», 1944). В «ИЛ» напечатаны повесть «Посторонний» (1968, № 9), пьесы «Реквием по монахине» (в соавторстве с У. Фолкнером; 1970, № 9), «Осадное положение» (1990, № 10), главы из книги «Человек бунтующий» (1990, № 5—6) и др.
Рассказ «Ренегат, или Смятенный дух» («Le Renegat, ou l'Esprit confus») взят из книги А. Камю «Изгнание и царство» («L'Exil et la Royaume». Paris, Gallimard, 1957).

ХУЛИО КОРТАСАР (JULIO CORTÁZAR; 1914—1984) — аргентинский прозаик, один из наиболее известных латиноамериканских писателей. Дебютировал в литературе в 1949 г. поэмой в прозе «Короли» («Los reyes»). Автор сборников рассказов «Зверинец» («Bestiario», 1951), «Конец игры» («Final del juego», 1956), «Секретное оружие» («Las armas secretas», 1959), романов «Выигрыши» («Los premios», 1960; рус. пер. 1979), «1962. Модель для сборки» («1962. Modelo para armar»; рус. пер. 1985), «Игра в классики» («Rayuela», 1963; рус. пер. 1986), «Книга Мануэля» («Libro de Manuel», 1973).
На русском языке выходило также «Избранное» (М., 1976; в серии «Мастера современной прозы»), в «ИЛ» печатались новеллы (1970, № 1; 1978, № 9; 1982, № 5).
Публикуемые рассказы «Конец пути» («Fin de etapa») и «Путешествие» («El viaje») взяты из сборника «Церемонии» («Ceremonias», Barcelona, Seix y Barral, 1968).

СИМОНА ДЕ БОВУАР (SIMONE DE BEAUVOIR; 1908—1986) — французская писательница. Автор романов «Гостья» («L'invitée», 1943), «Чужая кровь» («Le sang des autres», 1945) «Мандарины» («Les mandarins», 1954; Гонкуровская премия), автобиографической трилогии «Мемуары хорошо воспитанной девушки» («Les mémoires d'une jeune fille rangée», 1958), «Сила зрелости» («La force de l'âge», 1960), «Сила вещей» («La force des choses», 1963), повести «Прелестные картинки» («ИЛ», 1967, № 7), эссе, путевых заметок и др. произведений.
Книга «Второй пол» вышла во Франции в 1949 г. («Le deuxième sexe», Paris, 1949).

ФЭЙ УЭЛДОН (FAY WELDON; род. в 1933 г.) — английская писательница. Автор романов «Шутка толстухи» («The Fat Woman's Joke», 1967), «Праксис» («Praxis», 1979), «Грибдождевик» («Puffball», 1980), «Дитя президента» («The President's Child», 1982), многих пьес для телевидения. На русский язык переведены ее роман «Подруги» (М., 1985), повесть «Поларис» («ИЛ», 1988, № 5) и несколько рассказов. Повесть «Лишний! или Месть жены» («Redundant! or The Wife Revenge») взята из сборника «Поларис» и другие рассказы» («Polaris and Other Stories». London. Hodder and Stoughton, 1985).

ХЕЛЬКЕ ЗАНДЕР (HELKE SANDER) — немецкий кинорежиссер и сценарист, профессор Высшей школы изобразительного искусства в Гамбурге. Автор и режиссер многих игровых и документальных фильмов, активная деятельница женского движения в Германии.
Публикуемые рассказы взяты из сборника «Три дамы К. рассказывают истории» («Die Geschichten der drei Damen K.» München, Deutscher Taschenbuchverlag, 1991).

ЭРИКА ДЖОНГ (ERICA JONG; род. в 1942 г.) — американская поэтесса и прозаик. Автор ряда романов, ставших международными бестселлерами, в том числе «Страх полета» («The Fear of Flying», 1973), «Как спасти свою собственную жизнь» («How to Save Your Own Life», 1977), «Сереннссима» («Serenissima») и др. В «ИЛ» напечатана ее книга «Ведьмы» («Witches», 1992, № 3); это был первый перевод прозы и стихов Эрики Джонг на русский язык.
Публикуемые стихи взяты из сборника Э. Джонг «Обыкновенные чудеса» («Ordinary Miracles». New York, New American Library, 1983).

НАОМИ ВУЛФ (NAOMI WOLF) — американская журналистка, критик, поэтесса.
Книга «Миф о красоте» вышла в США в 1991 году («The Beauty Myth». New York, William Morrow and Company, 1991)

ПЕРЕВОДЧИКИ:

СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1933 г.) — переводчик с английского. В его переводах издавались книги избранных стихотворений Р. Фроста, Т. С. Элиота, Э. А. Робинсона. Переводил классику Э. Спенсера, Дж. Донна, У. Вордсворта, У. Уитмена и др. В «ИЛ» в его переводе печатались стихи К. Сэндберга, А. Гинзберга, романы В. Рида «Леопард», Г. Окары «Голос», Р. Харвуда «Одинаковые тени», Айи Квеи Армы «Целители», В. Шойинки «Интерпретаторы» и повесть «Аке, годы детства».

БРИТАНИШСКИЙ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ (род. в 1933 г.) — писатель, переводчик, полонист. Автор книг стихов, прозы, многих статей о польской литературе. Лауреат польской премии ЗАиКС за переводческую работу. В «ИЛ» печатались его статьи, переводы из польских и американских поэтов: У. К. Уильямса, Дж. Берримана, Э. Э. Каммингса, З. Херберта, С. Е. Леца, Т. Ружевича, Я. Ивашкевича, Т. Боровского, Ч. Милоша и др.

ЛИТВИНОВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА — переводчик с английского. В ее переводах издавались романы Т. Харди «В краю лесов», Дж. Голсуорси «Усадьба», Г. Уэллса «История мистера Полли», М. Брэгга «В Англии», У. Коллинза «Муж и жена», Дж. Ирвинга «Мир от Гарпа», Д. Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерли» (совместно с И. Багровым; «ИЛ», 1990, № 9—11).

ВОРОНИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1931 г.) — переводчик с английского. В его переводах изданы романы «Стрела бога» Чинуа Ачебе (Нигерия), «Неприкасаемый» М. Р. Ананда (Индия), «Жизнь и время» Дж. Гарднера (США), повесть Э. Л. Доктороу «Жизнь поэтов» («ИЛ», 1988, № 5). В «ИЛ» печатались фрагменты книг Ф. Моуэта «Лодка, не желавшая плавать» (1972, № 5), Дж. С. Магрудера «Американская жизнь. Одна из дорог к Уотергейту» (1977, № 1), пьесы Т. Уильямса, Дж. Б. Пристли и др.

БУХОВ ЛЕОНАРД СЕМЕНОВИЧ (род. в 1925 г.) — переводчик с немецкого и польского языков. Им переведены пьесы С. Мрожека «Эмигранты», «Стриптиз», «Летний день» (поставлены в театре-студии «Человек»), «Портрет»; И. Иредыньского «Мария»; Г. Мюллера «Тихая ночь» (поставлена во МХАТе), «Большой волк»; роман А. Щипёрского «Начало, или Прекрасная пани Зайденман» («ИЛ», 1992, № 2).

Читайте в «ИЛ» во второй половине 1993 г.

Роман ПИТЕРА АКРОЙДА «Завещание Оскара Уайльда», роман ДЖУЛИАНА БАРНСА «История мира в 10½ главах», новые рассказы ДЖОНА АПДАЙКА и немало иных литературных новинок, переговоры о приобретении прав на перевод которых ведутся редакцией.

В разделе **«ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И КЛАССИКА XX ВЕКА»** — повесть ЭЛИАСА КАНЕТТИ «Другой процесс, письма Франца Кафки к Фелице», новеллу ГАБРИЕЛЕ Д'АННУНЦИО «Леда без лебедя», рассказы ВЛАДИМИРА НАБОКОВА и Г КОЛЕТТ, роман И. Б. ЗИНГЕРА «Люблинский штукарь».

В разделе **ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЫ** — уникальную книгу рисунков и мини-эссе ЭЖЕНА ИОНЕСКО «Черное и белое», а также два американских бестселлера минувшего года: биографию Дэн Сяопина, написанную известным советологом и китаистом ХАРРИСОНОМ СОЛСБЕРИ, и книгу адвоката ЭДВАРДА ДЕ ГРАЦИА о знаменитых процессах века над литературными произведениями — «Улиссом», «Лолитой», «Тропиком Рака», «Любовником леди Чаттерли».

Будет продолжена серия **«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД»**, в которой предполагается выпустить тематические номера *«ПИСАТЕЛЬ В ИЗГНАНИИ», «СОВРЕМЕННАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», «КУЛЬТУРА ПОСТМОДЕРНИЗМА», «СОВРЕМЕННАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА».*

Где бы вы ни жили, став подписчиком «ИЛ», вы окажетесь в центре литературной жизни современного мира.

Уважаемые читатели!

По всем вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская площадь, 5.

Художественный
Технический реда

Адрес редакции: 109

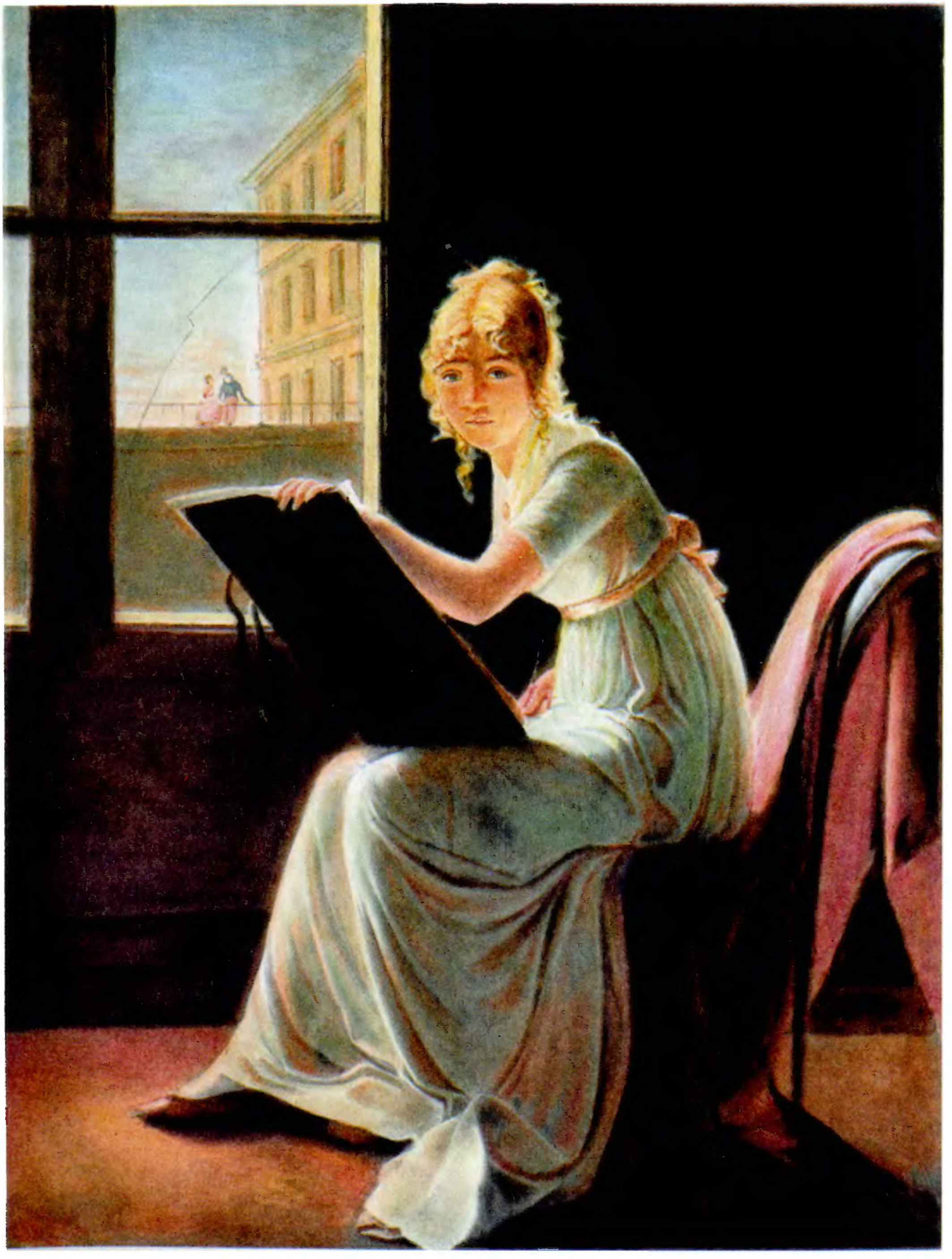
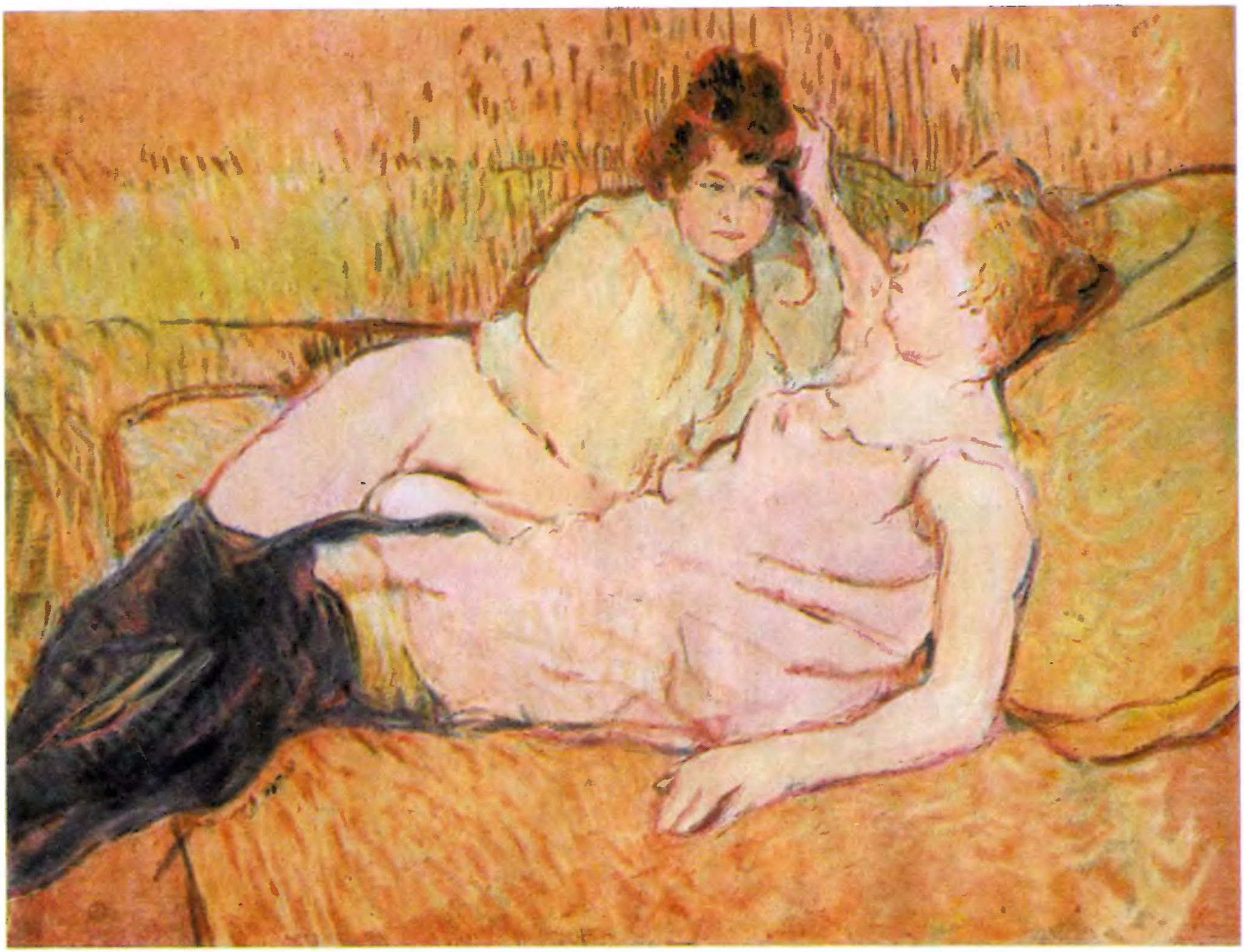
Журнал выходит один р

При участии издательств

Сдано в набор 06.10.92. Под
Печать офсетная. Бумага тип 23,80.
Уч.-изд. л. 24,37. Заказ № 332

Тираж 105 000 экз. Цена по подп

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика». Полиграфическая фирма «Красный пролетарий».
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



ИНДЕКС 70394